

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ
МИИР

4

1985

4

НОВОБЫИ
МИИР

1985



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

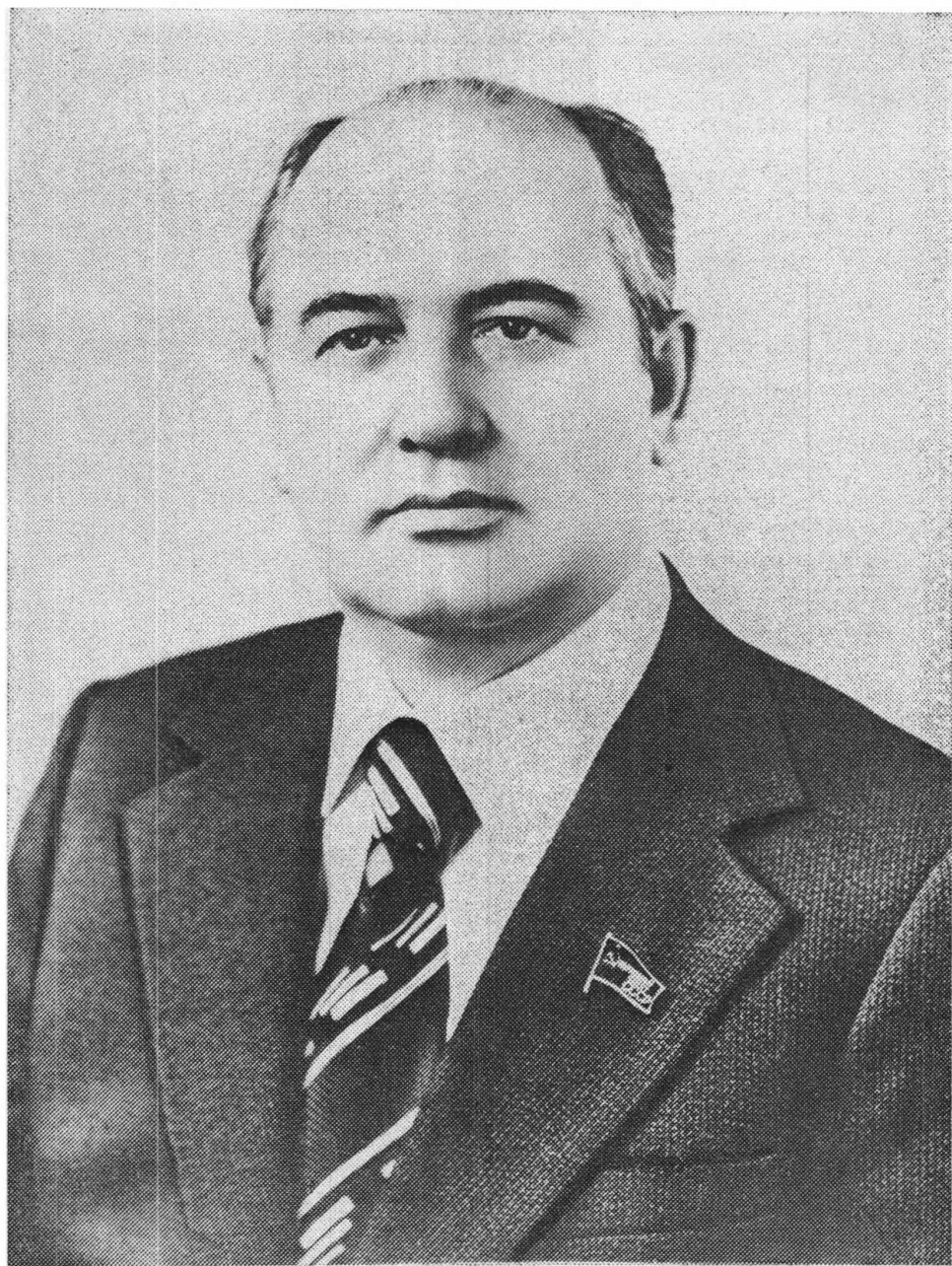
	Стр.
МАТЕРИАЛЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС	
ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ — Стихи	1
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Из военных дневников, стихи	5
НИКОЛАЙ ФЛЁРОВ — Воспоминанье о военном Севере, стихотворение	8
ФРАНЦ ТАУРИН — На баррикадах Пресни. Главы из книги	10
ЗУЛЬФИЯ — Мушоира, поэма. Перевел с узбекского Яков Козловский	78
ВИКТОР ТЕЛЬПУГОВ — Вкус арбуза, рассказ	82
ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ — Милан Руфус, Микулаш Касарда, Владимир Райзел, Андрей Плавка, Мариан Ковачик. Перевел А. Январев	94
Н. М. СКОМОРОХОВ — Атакуют истребители... Главы из книги	99
ПРИКАМЬЕ — НОВЫЕ ВСТРЕЧИ	
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА	118
МОЯ СУДЬБА. КАМАЗ. В ТВОЕЙ СУДЬБЕ — Николай Алешков, Мансур Сафин, Ямаш Игэнэй (перевел Николай Бедряев), Инна Лимонова, Назип Мадьяров (перевели Петр Прихожан, Лариса Васяленко), стихи	119
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Уральский дневник (Июль 1941—июль 1943). Публикация и примечания Елены Шагинян	122
УИЛЬЯМ СТАЙРОН — И поджег этот дом, роман. Продолжение. Перевел с английского В. Голышев	148
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
МИХАИЛ МАКОТИНСКИЙ — Записки фронтового маскировщика	213
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
И. КОЗЛОВ — Читаю книги о границе... Заметки критика	222
ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ — Из двух источников	228

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
Александра Спаль. Апрель сорок пятого и будущее.	
Григорий Левин. Песня в строю.	
Я. Варшавский. Портрет слова.	
Н. Анастасьев. Импрессионизм критика.	
<i>Политика и наука</i>	260
Ю. Шарапов. На пути к сближению.	
Наум Мар. Неисчерпаемая тема.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Еремин.—Лариса Васильева. Книга об Отце. Роман-воспоминание. ♦	
А. Дегтярев.—П. А. Жилин. Михаил Илларионович Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность. ♦	
В. Казаков.—Владимир Клипель. Солдаты Отечества. ♦	
Г. Койранская.—Алла Ахундова. Выражение лица. Пять повестей. ♦	
Ю. Трифонов.—Александр Ливанов. Солнце на полдень. Лирическая повесть. ♦	
Вик. Ерофеев.—Поэзия Плеяды. ♦	
Е. Борисова.—Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. ♦	
Михаил Буюнов.—Синтаро Накамура. Японцы и русские. Из истории контактов. ♦	
С. Яковлев.—Пауль Вернер Ланге. Великий скиталец. Жизнь Христофора Колумба	264
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272



*Генеральный секретарь
Центрального Комитета КПСС
Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ*

Михаил Сергеевич ГОРБАЧЕВ

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в семье крестьянина.

Вскоре после Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в возрасте 15 лет он начал свою трудовую деятельность. Работал механизатором машинно-тракторной станции. В 1952 году вступил в члены КПСС. В 1955 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (юридический факультет), а в 1967 году — Ставропольский сельскохозяйственный институт, получив специальность ученого агронома-экономиста.

С 1955 года М. С. Горбачев — на комсомольской и партийной работе. Работает в Ставропольском крае: первым секретарем Ставропольского горкома ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, а затем вторым и первым секретарем крайкома комсомола.

В марте 1962 года М. С. Горбачев был выдвинут парторгом Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления, а в декабре того же года утвержден заведующим отделом партийных органов крайкома КПСС.

В сентябре 1966 года он избирается первым секретарем Ставропольского горкома партии. С ав-

густа 1968 года М. С. Горбачев работает вторым секретарем, а в апреле 1970 года избирается первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС.

М. С. Горбачев — член Центрального Комитета КПСС с 1971 года. Был делегатом XXII, XXIV, XXV и XXVI съездов партии. В 1978 году избран секретарем ЦК КПСС, в 1979 году — кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. В октябре 1980 года М. С. Горбачев переведен из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 8—11-го созывов, председатель Комиссии по иностранным делам Совета Союза. Депутат Верховного Совета РСФСР 10—11-го созывов.

Михаил Сергеевич Горбачев — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. На всех постах, которые ему поручает партия, трудится со свойственными ему инициативой, энергией и самоотверженностью, отдает свои знания, богатый опыт и организаторский талант претворению в жизнь политики партии, беззаветно служит великому делу Ленина, интересам трудового народа.

За заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством М. С. Горбачев награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

11 марта 1985 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Горбачев М. С.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко участники Пленума почтили память Константина Устиновича Черненко минутой скорбного молчания.

Пленум отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся партийный и государственный деятель, патриот и интернационалист, последовательный борец за торжество идеалов коммунизма и мира на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до конца была отдана делу ленинской партии, интересам советского народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизменно, с присущей ему самоотверженностью боролся за претворение в жизнь политики КПСС.

Много внимания уделял Константин Устинович Черненко последовательному проведению курса на совершенствование развитого социализма, на решение крупных задач экономического и социального развития, повышение благосостояния и культуры советского народа, на дальнейший подъем творческой активности масс, улучшение идеологической работы, укрепление дисциплины, законности и порядка.

Большой вклад внес Константин Устинович Черненко в дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества с братскими странами социализма, осуществление социалистической экономической интеграции, упрочение позиций социалистического содружества. Под его руководством твердо и последовательно проводились в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем, давался решительный отпор агрессивным замыслам империализма, велась неустанная борьба за прекращение навязанной империализмом гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны, за обеспечение надежной безопасности народов.

Как зеницу ока берег Константин Устинович Черненко единство нашей Коммунистической партии, коллективный характер деятельности Центрального Комитета и его Политбюро. Он всегда стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях действовала как сплоченный, слаженный и боевой организм. В единстве мыслей и дел коммунистов видел он залог всех наших успехов, преодоление недостатков, залог поступательного движения вперед.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачиваются вокруг Центрального Комитета партии и его Политбюро. В партии советские люди с полным основанием видят руководящую и направляющую силу общества и полны решимости беззаветно бороться за реализацию ленинской внутренней и внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил член Политбюро тов. Громыко А. А. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единодушно избрал тов. Горбачева М. С.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выразил глубокую признательность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом КПСС, отметил, что очень хорошо понимает, сколь велика связанная с этим ответственность.

Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный Комитет КПСС, что он приложит все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу, чтобы неуклонно осуществлялись программные установки КПСС, обеспечивалась преемственность в решении задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, чтобы настойчиво воплощалась в жизнь ленинская внутренняя и внешняя политика Коммунистической партии и Советского государства.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.

Речь
Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища М. С. ГОРБАЧЕВА
на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 года

Дорогие товарищи!

Всех нас, всю нашу партию и страну постигло тяжелое горе. Ушел из жизни верный ленинец, выдающийся деятель Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства, международного коммунистического движения, человек чуткой души и большого организаторского таланта — Константин Устинович Черненко.

Большой и славный путь прошел Константин Устинович. На каждом участке, который ему поручала партия, все полнее раскрывались его талант, умение работать с людьми. На посту Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко отдавал все силы и знания развитию экономики страны, росту благосостояния и культуры народа, обеспечению безопасности Родины, сохранению и упрочению мира на земле.

Как зеницу ока берег Константин Устинович Черненко единство Коммунистической партии, коллективный характер деятельности Центрального Комитета и его Политбюро. Он всегда стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях действовала как сплоченный, слаженный и боевой организм. В единстве мыслей и дел коммунистов видел он залог успехов, преодоления недостатков, залог поступательного движения вперед.

Стратегическая линия, выработанная на XXVI съезде, последующих Пленумах ЦК при деятельном участии Юрия Владимировича Андропова и Константина Устиновича Черненко, была и остается неизменной. Это — линия на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества. Речь идет о преобразовании материально-технической базы производства. Речь идет о совершенствовании системы общественных отношений, прежде всего экономических. Речь идет и о развитии самого человека, о качественном улучшении материальных условий его жизни и труда, его духовного облика.

Нам предстоит добиться решающего поворота в переводе народного хозяйства на рельсы интенсивного развития. Мы должны, обязаны в короткие сроки выйти на самые передовые научно-техниче-

ские позиции, на высший мировой уровень производительности общественного труда.

Чтобы успешнее и быстрее решить эту задачу, необходимо и далее настойчиво совершенствовать хозяйственный механизм и всю систему управления. Идя по этому пути, выбирая оптимальные решения, важно творчески применять основополагающие принципы социалистического хозяйствования. Это значит неуклонно осуществлять плановое развитие экономики, укреплять социалистическую собственность, расширять права, повышать самостоятельность и ответственность предприятий, усиливать их заинтересованность в конечных результатах работы. Это значит подчинять все экономическое развитие в конечном счете интересам советских людей.

Партия будет неуклонно проводить разработанную ею социальную политику. Все во имя человека, на благо человека — это программное положение должно наполняться все более глубоким и конкретным содержанием. Понятно, что улучшение условий жизни человека должно основываться на его возрастающем вкладе в общее дело. Там, где допускаются отклонения от этого принципа, неизбежно нарушается социальная справедливость, представляющая собой важнейший фактор единства и стабильности социалистического общества.

Как одну из коренных задач внутренней политики партия рассматривает дальнейшее совершенствование и развитие демократии, всей системы социалистического самоуправления народа. Задачи здесь многогранны. Немало в этом плане делается. Имеется в виду дальнейшее повышение роли Советов, активизация профсоюзов, комсомола, народного контроля, трудовых коллективов. Впереди настойчивая работа и по уже намеченным, и по новым направлениям.

Углубление социалистической демократии неразрывно связано с повышением общественного сознания. Эффективность воспитательной работы проявляется прежде всего в том, как рабочие, колхозники, интеллигенция участвуют в решении больших и малых проблем, как они трудятся, как борются с недостатками. Повышение трудовой и социальной активности советских людей, укрепление дисциплины, воспитание патриотизма и интернационализма — важная задача всей идеологической деятельности.

При этом будут и впредь приниматься решительные меры по дальнейшему наведению порядка, очищению нашей жизни от чуждых явлений, от любых посягательств на интересы общества и его граждан, по укреплению социалистической законности.

Мы и дальше обязаны расширять гласность в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций. В. И. Ленин говорил, что государство сильно сознательностью масс. Наша практика полностью подтвердила этот вывод. Чем лучше информированы люди, тем сознательнее они действуют, тем активнее поддерживают партию, ее планы и программные цели.

В области внешней политики наш курс ясен и последователен. Это — курс мира и прогресса.

Первая заповедь партии и государства — беречь и всемерно укреплять братскую дружбу с нашими ближайшими соратниками и союзниками — странами великого социалистического содружества.

Мы будем делать все от нас зависящее для расширения взаимодействия с социалистическими государствами, для повышения роли и влияния социализма в мировых делах. Мы хотели бы серьезного улучшения отношений с Китайской Народной Республикой и считаем, что при наличии взаимности это вполне возможно.

Советский Союз всегда поддерживал борьбу народов за освобождение от колониального гнета. И сегодня наши симпатии — на стороне стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые идут по пути укрепления независимости и социального обновления. Они для нас — друзья и партнеры в борьбе за прочный мир, за лучшие, справедливые отношения между народами.

Что же касается отношений с капиталистическими государствами, то хочу сказать следующее. Мы будем твердо следовать ленинским курсом мира и мирного сосуществования. На добрую волю Советский Союз всегда ответит доброй волей, на доверие — доверием. Но все должны знать, что интересами нашей Родины и ее союзников мы не поступимся никогда.

Мы ценим успехи разрядки международной напряженности, достигнутые в 70-е годы, и готовы участвовать в продолжении процесса налаживания мирного, взаимовыгодного сотрудничества между государствами на началах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Новыми шагами в этом направлении можно было бы достойно отметить сорокалетие великой Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом.

Никогда прежде над человечеством не нависала столь страшная угроза, как в наши дни. Единственный разумный выход из создавшегося положения — это договоренность противостоящих сил о немедленном прекращении гонки вооружений — прежде всего ядерных — на Земле и недопущении ее в космосе. Договоренность на честной и равноправной основе, без попыток «переиграть» другую сторону и диктовать ей свои условия. Договоренность, которая поможет всем продвинуться к желанной цели — полному уничтожению и запрещению навсегда ядерного оружия, к полному устранению угрозы ядерной войны. В этом мы твердо убеждены.

Завтра в Женеве начнутся переговоры между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Подход СССР к этим переговорам хорошо известен. Могу лишь еще раз подтвердить: мы не стремимся к достижению односторонних преимуществ перед Соединенными Штатами, перед странами НАТО, к военному превосходству над ними; мы хотим прекращения, а не продолжения гонки вооружений — и поэтому предлагаем заморозить ядерные арсеналы, прекратить дальнейшее развертывание ракет; мы хотим действительного и крупного сокращения накопленных вооружений, а не создания все новых систем оружия, будь то в космосе или на Земле.

Хотелось, чтобы наши партнеры по переговорам в Женеве поняли позицию Советского Союза и ответили взаимностью. Тогда соглашение станет возможным. Народы мира вздохнули бы с облегчением.

КПСС — партия интернациональная по своей природе. Наши единомышленники за рубежом могут быть уверены: в борьбе за мир

и социальный прогресс партия Ленина, как всегда, будет тесно сотрудничать с братскими коммунистическими, рабочими, революционно-демократическими партиями, выступать за единство и активное взаимодействие всех революционных сил.

Товарищи! Решение стоящих перед нами сложных задач предполагает дальнейшее укрепление партии, повышение ее организующей и направляющей роли. КПСС всегда исходила и исходит из той ленинской мысли, что принципиальная политика — единственно правильная политика. Такая политика, разрабатываемая коллективно, будет осуществляться последовательно и неуклонно. Партия — именно та сила, которая способна учесть интересы всех классов и социальных групп, всех наций и народностей страны, сплотить их воедино, мобилизовать энергию народа на общее дело коммунистического созидания.

Политика партии была и будет направлена на упрочение союза рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, на неуклонное укрепление дружбы народов нашей великой многонациональной державы.

КПСС будет всемерно развивать творческую инициативу молодежи, заботиться об улучшении условий труда и быта женщин, о нуждах и запросах ветеранов войны и труда.

В сложной международной обстановке, как никогда, важно поддерживать обороноспособность нашей Родины на таком уровне, чтобы потенциальные агрессоры хорошо знали: посягательство на безопасность Советской страны и ее союзников, на мирную жизнь советских людей будет встречено сокрушающим ответным ударом. Наши славные Вооруженные Силы будут и впредь располагать для этого всем необходимым.

Сейчас широко развернулась подготовка к XXVII съезду КПСС. На нем будет рассмотрена новая редакция Программы партии, определены перспективы развития страны на следующую пятилетку и до 2000 года.

Время требует напряженной, творческой работы всех партийных организаций сверху донизу. На всех участках, везде и повсюду коммунисты должны быть примером выполнения гражданского долга, добросовестного труда на благо общества, повсеместно утверждать ленинский стиль в работе. В первую очередь это относится к кадрам партии, к партийным и государственным руководителям. КПСС будет неуклонно проводить линию на усиление требовательности, на повышение ответственности за порученное дело.

После завершения Пленума члены Центрального Комитета, первые секретари обкомов, все его участники разъедутся на места с тем, чтобы с новой энергией взяться за дела. А дел предстоит немало. Прежде всего надо успешно завершить работу по выполнению планов экономического и социального развития нынешнего года и обеспечить тем самым уверенный старт следующей пятилетки.

Суровая зима несколько затормозила реализацию плановых заданий в ряде отраслей. Значит, сейчас надо собраться, мобилизовать резервы, напрячь все силы, чтобы восполнить недоделанное и к концу года выйти на намеченные рубежи.

Товарищи, в эти дни мы еще острее ощущаем, насколько могучи и монолитны ряды коммунистов, насколько сплочен и един наш советский народ. На недавних выборах советские люди вновь выразили единодушную поддержку курсу нашей партии и государства. Эта поддержка вдохновляет и обязывает.

Сегодня Пленум Центрального Комитета возложил на меня сложные и большие обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС. Хорошо понимаю, сколь велико оказанное мне доверие и сколь велика связанная с этим ответственность. В предстоящей работе рассчитываю на поддержку и активную помощь членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК, Центрального Комитета партии в целом. Ваш многогранный опыт — сгусток исторического опыта нашего народа. Обещаю вам, товарищи, приложить все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу.

Разрешите выразить уверенность, что, идя навстречу XXVII съезду КПСС, народ и партия, сплоченные вокруг Центрального Комитета, сделают все, чтобы еще богаче и могущественнее была наша Советская Родина, чтобы еще полнее раскрылись созидательные силы социализма.



Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

к Коммунистической партии, к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, Советское государство, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни Константин Устинович Черненко — выдающийся партийный и государственный деятель, патриот и интернационалист, последовательный борец за торжество идеалов коммунизма и мира на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до конца отдана делу ленинской партии, интересам советского народа. Куда бы ни направляла его партия, он неизменно, с присущей ему самоотверженностью, боролся за претворение в жизнь политики КПСС, в рядах которой состоял более пятидесяти лет.

От комсомольского вожака и парторга пограничной заставы до Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР — таков жизненный путь К. У. Черненко. На высших постах в партии и государстве во всей полноте раскрылся его талант организатора, руководителя ленинского типа. Центральный Комитет партии, Политбюро ЦК КПСС во главе с К. У. Черненко вели большую и плодотворную работу по мобилизации трудящихся на выполнение решений XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов Центрального Комитета.

Последовательно проводился курс на совершенствование развитого социализма, на решение крупных задач экономического и социального развития, повышение благосостояния советского народа, дальнейший подъем творческой активности масс, улучшение идеологической работы. В центре внимания партии постоянно находились вопросы укрепления дисциплины, законности и порядка, кадровой политики, активизации деятельности Советов, комсомола, народного контроля, школьной реформы, повышения общественной роли литературы и искусства. Ведется активная работа по подготовке к очередному, XXVII съезду КПСС, разработке новой редакции Программы партии.

На международной арене усилия партии концентрировались на дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с братскими странами социализма. С деятельностью К. У. Черненко связаны переход к новому этапу социалистической экономической интеграции, упрочение позиций социалистического содружества.

ЦК КПСС, Советское государство твердо и последовательно проводили в жизнь принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем, решительно противодействовали агрессивным замыслам и устремлениям наиболее реакционных кругов империализма, неустанно боролись за прекращение навязанной империализмом гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны, за обеспечение надежной безопасности народов.

В связи с тяжелой утратой Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР обращаются к коммунистам, к советскому народу с призывом еще теснее сплотиться вокруг ленинского Центрального Комитета партии и его Политбюро. В Коммунистической партии Советского Союза трудя-

щиеся нашей страны с полным основанием видят руководящую и направляющую силу советского общества. Все дела и помыслы партии направлены на беззаветное служение коренным интересам советского народа, делу коммунизма.

КПСС вооружена бессмертным революционным марксистско-ленинским учением. Она неуклонно следует по пути, указанному Лениным, и с этого пути не свернет никогда.

Партия и впредь будет проводить курс на всестороннее совершенствование развитого социализма. Она считает высшим смыслом своей деятельности дальнейшее повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе интенсификации экономики, всемерного ускорения научно-технического прогресса. Со всей настойчивостью будет все более полно осуществляться во всех сферах нашей жизни присущий социализму принцип социальной справедливости, неотступно проводится одобренная и поддержанная трудящимися страны линия на укрепление дисциплины, порядка, организованности. Партия и дальше будет укреплять союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу советских народов, составляющих основу жизнедеятельности нашего общества, будет составлять социалистическую демократию. Партия считала и считает высшими духовными ценностями советских людей марксистско-ленинскую убежденность, коллективизм, патриотизм, пролетарский социалистический интернационализм.

КПСС, Советское государство делали и делают все возможное и необходимое для укрепления социалистического содружества, упрочения позиций социализма на мировой арене, для предотвращения ядерной катастрофы и обеспечения прочного мира. Мы хотим и настойчиво добиваемся прекращения гонки вооружений, предотвращения милитаризации космоса. Наша конечная цель — полное уничтожение ядерного оружия повсюду на планете, полное устранение угрозы ядерной войны. Советский Союз неизменно выступал и выступает за конструктивный диалог, за практические меры, ведущие к снижению международной напряженности, к установлению атмосферы доверия, сотрудничества и взаимопонимания между всеми народами и государствами.

Советский Союз никому не угрожает и не стремится к военному превосходству. Но он не допустит того, чтобы какая-либо другая страна или коалиция государств получили такое превосходство. Вот почему мы и впредь будем неустанно повышать бдительность, крепить обороноспособность нашей социалистической Родины.

Наши симпатии и наша поддержка на стороне народов, борющихся за свободу и национальную независимость. В борьбе за мир и социальный прогресс КПСС неизменно верна последовательному курсу на всемерное сплочение сил международного коммунистического и рабочего движения.

Цели партии ясны и благородны. Они позволили КПСС снискать безграничное доверие трудящихся. В единстве с народом — сила партии. В единстве с партией, в ее руководстве — сила народа.

Константин Устинович Черненко, посвятивший всю свою жизнь верному служению партии, советскому народу, навсегда останется в памяти коммунистов, всех советских людей. Он останется в нашей памяти как страстный пропагандист марксистско-ленинских идей, как отзывчивый и требовательный руководитель, как человек чуткий и внимательный к нуждам и заботам людей труда.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР твердо уверены в том, что коммунисты, все советские люди, проявляя высокую сознательность и организованность, будут трудиться с еще большим энтузиазмом и самоотверженностью, крепить экономическое и оборонное могущество нашей Родины, достойно нести знамя Великого Октября.

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ



СТИХИ

ПИСЬМО ОДНОПОЛЧАНИНУ

Рубен Васильич Цхведиани,
Я помню час и миг любой,
Когда, годки-однопольчане,
Мы снова свиделись с тобой.

У твоего стола сидели
И вспоминали то как раз,
Как кудри черные седели,
Секлись под бомбами у нас.

Как фриц хлестал по переправе,
Как вел ты «газик» под огнем...
Спасибо, жизнь, в хуле иль славе,
Тебе за то, что мы живем.

За этот поздний час обеда
И за беседу вкруг стола,
Где не одна текла беседа,
Но влага пенная текла...

Рубен Васильич, друг водитель
И многославный тамада,
Твоя семья, твоя обитель
Да будут счастливы всегда.

Да будут дочери любимы
Мужьями их и их детьми.
Да будет сын
Достойно имя
Твое нести,
Живя с людьми.

И да сопутствует удача
В нелегких рейсах по горам
Тебе, как там, в бою горячем,
Где не до тостов было нам.

Пускай, минуя все откосы,
 При солнце или при луне
 Бегут вперед не криво-косо
 Тобой ведомые колеса
 В высокогорной вышине.

И пусть обходят дом твой тучи,
 Течет над домом неба синь.
 Да будет в нем благополучье
 Во веки вечные.
 Аминь!

НА РУБЕЖЕ

Вернул долги и навестил родных,
 Всех по порядку — павших и живущих.
 Навел порядок в книжках записных —
 Слов было много, мало мыслей сущих.

Расчистил стол в длину и ширину —
 Хоть гроб носи, хоть чистый лист бумаги.
 И оглянулся — подошли к окну
 Деревья, как приспущенные флаги.

Но прямо, как на смертном рубеже,
 Стихи друзей в шкафах стояли строем.
 И, приготовясь ко всему уже,
 Он все еще не знал на той меже —
 Он пред концом иль перед новым боем?

СТИХИ О ТВАРДОВСКОМ

Подарок

Давным-давно прошел я поле,
 Где пули отпевали нас,
 А и сейчас —
 До малой доли —
 Весь предо мной тот поздний час.

Моя беседа в деревенском
 Дворе, под меркнувшей луной
 С поэтом, выходцем смоленским,
 Вернее — речь его со мной.

И мой
 В трехтонке дребезжащей
 Отъезд меж бочек с трех сторон.
 И плащ его,
 За мной летящий
 Вослед,
 Им кинутый вдогон...

Ах этот плащ!
 Как в годы оны,
 Солдат безусый и вост,

Я, сняв майорские погоны,
В нем лихо шествовал сквозь свет.

На нем те годы выжгли след свой —
Светились звезды сквозь него.
Но как высокий знак наследства
Носил я с гордостью его...

Теперь гляжу не без улыбки
В те дни, когда я горяча
Не понял, этот плащ влача,
Что, может, в пору смертной сшибки
Я награжден был по ошибке
Той шубой с царского плеча.

Новый справочник Союза¹

Вновь сегодня,
За обузу
Не считая этот шаг,
Новый справочник Союза
Пролистал я так и сяк.
Знаю, знаю —
Не шальная
Пуля свистнула вдогон.
Знаю — срок свой обгоняя,
Пал он. Пал — и погребен.
Но, опять тот том листая,
Поименно окликаая
Всех,
Что ждал я? —
Сам не знаю.
Верно, ждал, ответит он.
Ждал,
Но, как на поле брани,
Воин тот на рубеже,
Что был мертв иль тяжело ранен,
Не ответил он уже.

Над собранием сочинений поэта

Солдат — в окопе, пахарь — в поле,
Глашатай мира, не войны,
Как будто вышел он на волю
Из дома час всего, не боле,—
Еще шаги его слышны.

Еще звучит живое слово
Его. И с вышки наших дней
В порывах жарких ветра злого,
Прах поднимающего снова,
Звучит сильней оно, ясней.

¹ Имеется в виду периодически обновляемый справочник Союза писателей СССР (авт. Л.

И что ни день — необходимей
Он сам,
Идущий под косым
Дождем сквозь утра светлый дым,
Певец Смоленщины,
Родимой
Ему,
Сто раз воспетой им,

По всем законам в этом мире
Единственной в его судьбе,—
Певец.
Но и певец Сибири,
Как сам сказал он о себе.



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ



ИЗ ВОЕННЫХ ДНЕВНИКОВ

* * *

Тревоги затемненного июля,
Ночных сирен шальные голоса,
Мерцание трассирующей пули
И рев зениток, рвущих небеса.

Окончилось вечернее затишье.
Воюют воздух и земная твердь.
Посты не дремлют на столичных крышах,
И «ястребки» ниспровергают смерть.

Над головою слышен гул зловещий,
Щемящий звук — он каждому знаком.
Несем дежурство. Под рукою — клещи,
Упругий шланг и ящики с песком.

Лучи, шатром скрестившиеся тесно —
В глубинах мрака найдена мишень.
Мерцает «юнкерс», норовя исчезнуть,
Вильнуть, нырнуть в спасительную тень.

...В рассветный час, когда, очистив небо
Для красок дня и хрупкой тишины,
Последний залп растаял, словно не был,
Когда минуты ночи сочтены,

Мы видим — разворочен, исковеркан,
Как ржавый хлам на тлеющей граве,
Лежит палач Варшавы и Дюнкерка,
Возмездием настигнутый в Москве.

28 июля 1941.

* * *

Ни барабанов, ни сверканья сабель...
Буксует пушка. Под ногами грязь.
Докучный дождь. По каскам — цокот капель.
А тут еще оборванная связь.

Война несхожа с тем, что рисовалось
Восторженным подросткам. Все не так.
Она — озноб, распутица, усталость
И горечь захлебнувшихся атак.

Не всякое крещение боевое
Приносит лавры. А уж в этот год...
Уход с позиций, сданных поневоле,
Крутой урок душе преподает.

Предснежие, предбурье, предморозье.
Бессонница. Не съехать бы в кювет...
Горячей пищи долго не подвозят.
Послал письмо. Ответа нет и нет.

Тревожишься. Тоска по адресату.
Тоска по довоенным адресам.
По киевским бульварам. По Арбату.
По крымским пляжам и псковским лесам.

Война... Она и ожиданье почты,
И сводки об утрате городов.
Но, под ногами не теряя почвы,
Ты сызнова надеяться готов.

Ни шпаг. Ни труб. Лишь дождик барабанит.
И сабли ветра по лицу секут.
А ты не предавайся колебаньям,
Не трать на это дорогих секунд.

Здесь места нет ни слабости, ни лени
И не дано поблажек никому.
Здесь властвует закон преодоленья.
Ему доверься. И служи ему.

Брянский фронт. Ноябрь 1941.

* * *

Гирлянды огней разбудили Москву,
Над ней распахнулось цветастое зарево.
То Первый Салют грохотал наяву,
Со всею землей горизонт разговаривал.

Мы полностью освободили Орел.
А к полночи небо сияло от радости.
Вкруг башен Кремля трепетал ореол
Созвездий, восславивших пятое августа.

Газетчик, я видел солдатский успех
И — капля в реке наступления мощного —
Гордился, что все-таки был среди тех,
Кому рукоплещут московские площади.

А город, в который мы с боем вошли,
В руинах лежал. Но в часы затемнения
Среди отвоеванной нами земли
Дышал все раскованней, все вдохновеннее.

И те, что спасали, и те, кто спасен,
Друг другу безмолвно бросаясь в объятия,
Мгновенно забыв про усталость и сон,
Внимали раскатам столичного радио.

Мы знали, что многое нам предстоит,
Что ждут вызволения соседние области.
И чудилось нам, что орловский зенит
Окрасили залпов торжественных отблески.

Мы знали, хоть враг еще цепок и лют,
Что вновь над Москвой вознесутся созвездия.
И с нами навеки тот Первый Салют,
Тот август — победного мая предвестие.

18 мая 1945.



НИКОЛАЙ ФЛЁРОВ



ВОСПОМИНАНЬЕ О ВОЕННОМ СЕВЕРЕ

Еще полярное сияние
Цвело над гранью темных скал
И над волной, как изваяние,
Дозорный тральщик возникал,

Еще под разными квадратами
Подлодки сторожили даль
И пехотинцы с автоматами
Еще поглаживали сталь —

Но в блиндажах, в КП под скалами,
Где свет коптилочек не гас,
Уже комбригами усталыми
Определен был каждый час;

И от Кремля и до Рыбачьего
Как будто донесли ветра
То слово, как ни обозначь его,
А слово главное — «пора!».

И наступил тот полдень яростный,
В дыму и синеве небес,
Когда в горящий многоярусный
Входил я в город Киркенес.

Победы миг счастливый, сладостный!
С окрестных гор спускались к нам
Норвежцы и кричали радостно
«Салют, маринен!» морякам.

Мы дальше шли — до боя нового,—
Не наступил покоя час.
И в первый раз приказ Верховного
Три раза прозвучал о нас!..

Года бегут, десятки пройдены.
Передо мною океан.
На самый край любимой родины
Я вновь пришел как ветеран.

Гудят ветра разноголосые,
Шумит холодная волна.
Стоят березки низкорослые
На темных кручах Кильдина.

А я гляжу, гляжу я на море,
Что блещет будто бы хрусталь,
А в памяти опять та самая
Незабываемая даль.

От Кильдина иду к ней ближе я,
Туда, за Муста-Тунтури,
Где у залива галька рыжая
Сияет под лучом зари.

Вот здесь крещение боевое мы
И приняли на все года,
Североморскими конвоями
Вели союзные суда.

А те, фашистские, топили мы,
В фиордах поджидая их.
Прошли тут огненными милями
Друзья. И многих нет в живых.

Но голос их и ныне слышится,
Их подвиги в сердцах живут.
Наш флаг приспущенный колышется,
А по волнам венки плывут.

Вскипают вихри многобальные.
Полярных миль открыт простор.
Туда, как прежде, в воды дальние,
На труд уходят и в дозор.

Нет, бились мы не зря тут с врагом —
Кипит рабочая страда,
Здесь наше все,
Здесь все нам дорого
И все нам свято навсегда.

Сигналы слышатся привычные.
В причалы гулко бьет накат.
А там, где знаки пограничные,
Сыны и внуки
Вдаль глядят.



ФРАНЦ ТАУРИН



НА БАРРИКАДАХ ПРЕСНИ

...Среди рабочих выделяются настоящие герои, которые... несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике,— находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться и выработать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую интеллигенцию».

В. И. Ленин.

Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы были не напрасны.

В. И. Ленин.

НАКАНУНЕ ГРОЗЫ

1

Переправляя Зиновия в Москву, товарищи дали ему явку, по которой можно было разыскать одного из секретарей Московского комитета партии — Розалию Самойловну Землячку.

В письме, которое он должен был передать ей, Литвин-Седой характеризовался как опытный агитатор, неоднократно с успехом выполнявший самые трудные поручения партийного комитета.

Розалия Самойловна не спеша прочитала письмо, кинула на Зиновия быстрый, но пристальный взгляд поверх пенсне.

— Нижегородские товарищи рекомендуют вас использовать как агитатора. Они высокого мнения о вас.

Зиновий пожал плечами: дескать, не ему судить.

— Нам нужны опытные агитаторы,— продолжала Землячка.— Чтобы вам было понятнее, я расскажу о положении дел в нашей московской организации. На Третьем съезде партии отмечали, что в Москве почва для социал-демократии самая благоприятная. И прямо сказано было: нужны только умелые сеятели. Влияние большевиков растет, но еще много рабочих до сих пор в плену меньшевистских убеждений. Нужно усиливать агитацию на заводах и фабриках. Но наша беда — не хватает агитаторов, которые умеют говорить с рабочими. Вы понимаете меня?

— Хорошо понимаю,— сказал Зиновий.

— Нижегородские товарищи пишут, что вы из рабочих...

— Правильно пишут,— подтвердил Зиновий.

— Это очень важно,— сказала Розалия Самойловна.— А где вы работали?

— На разных заводах,— ответил Зиновий.— Гужона, Вейхельта, Густава Листа...

— Так вы москвич!— обрадовалась Розалия Самойловна.

— С детских лет,— ответил Зиновий.— И в тюрьме здесь сидел, в Таганке...

— Так вам же цены нет, голубчик!— воскликнула Розалия Самойловна.— И вы уж не обижайтесь на нас — мы сразу впряжем вас в работу.

2

Семена, посеянные Седым и сотнями других большевистских агитаторов, падали на благодатную почву и дали обильные всходы. Как зазеленела нива, как начала колоситься, Зиновий не мог разглядеть из-за тюремных стен, но и в казематы Таганки доходили вести о том, что происходит в Москве.

Уже в июле из Московского комитета РСДРП было отправлено письмо Владимиру Ильичу Ленину: «Организация в Москве становится превосходна и делает громадные шаги вперед. Рабочие принимают самое активное участие в постановке дела, в организации массовок и тому подобном. Авторитет Московского комитета РСДРП громаден среди сознательных рабочих».

Ленин оценил это сообщение как «крайне поучительный отчет одного из образцовых комитетов нашей партии».

Высокая ленинская оценка окрылила московских большевиков. Партийные агитаторы неустанно несли рабочим слова большевистской правды. Идеи политической стачки и вооруженного восстания овладевали массами и становились, по крылатому выражению Маркса, «материальной силой».

19 сентября началась стачка московских печатников. К ним присоединились булочники, табачники, мебельщики, трамвайщики. Стачка набирала силу и превращалась в политическую. 24 сентября многолюдный митинг у Никитских ворот завершился стычкой с казаками. Один человек был убит, несколько ранены. И отступили рабочие лишь потому, что у них еще не было оружия. На следующий день митинг на Тверской улице превратился в сражение с полицией и войсками. Рабочие забаррикадировались и более двух часов выдерживали осаду.

Московский комитет выпустил специальную листовку. В ней рабочих и работниц Москвы призывали присоединиться к забастовке: «От спячки к стачке, от стачки к вооруженному восстанию, от восстания к победе — таков наш путь, путь рабочего класса!»

Стачное движение повсеместно нарастало, и через несколько дней Московский комитет выпустил следующую листовку, которая была расклеена по всей Москве от центра до окраин:

«Товарищи, в Москве готовится всеобщая стачка. Эта стачка, может быть, сольет воедино все стачки России и соединит всех русских рабочих для решительного приступа на врагов. Готовьтесь к этой стачке, ждите ее и примыкайте к ней все, как только она начнется. Пусть она перейдет в могучее народное восстание, и пусть это восстание даст нам свободу.

Да здравствует всеобщая стачка!

Да здравствует всенародное восстание!»

26 сентября забастовали московские металлисты, в начале октября московские железнодорожники, а к середине месяца разразилась всеобщая стачка железнодорожников, которая, по словам Ленина, «приостановила железнодорожное движение и самым решительным образом парализовала силу правительства».

10 октября Московский комитет созвал общегородскую партийную конференцию. На ней присутствовали около четырехсот представителей от районных социал-демократических организаций, партийных ячеек и от всех бастующих предприятий.

Конференция приняла решение объявить с 12 часов 11 октября общегородскую политическую забастовку под лозунгом «Да здравствует всенародное восстание! Долой царское правительство!»

13 октября Владимир Ильич Ленин писал: «*Всероссийская политическая стачка* охватила на этот раз действительно всю страну, объединив в героическом подъеме самого угнетенного и самого передового класса *все народы* проклятой «империи» Российской».

В ходе сентябрьской и октябрьской стачек зримо проявились два примечательных процесса, поднявших рабочее движение на новый, качественно более высокий уровень: массовое формирование рабочих боевых дружин и возникновение Советов рабочих депутатов.

Первые рабочие боевые дружины в Москве были созданы еще весной на заводе Гужона и в Замоскворечье. Во время осенних стачек дружины возникали повсеместно. Наиболее крупными, хорошо вооруженными и организованными были дружины мебельной фабрики Шмита, Прохоровской мануфактуры и завода Грачева на Пресне, трамвайного парка на Миусах, типографий Сытина и Кушнерева, мастерских Брестской железной дороги. Формированием и обучением боевых дружин руководила созданная еще летом боевая организация при Московском комитете РСДРП.

Также в ходе стачечной борьбы родились органы восстания и революционной власти — Советы рабочих депутатов.

«Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения,— писал Ленин,— они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самостоятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут».

3

Российская буржуазия, как откровенно монархическая, так и щеголявшая до поры до времени либерализмом, была напугана, точнее сказать, ошеломлена размахом стачечного движения. Буржуазия единодушно требовала от царизма одного: в кратчайший срок покончить со всеобщей стачкой.

Этого же требовала от самодержавия и мировая буржуазия. Представители европейских банков, прибывшие в Петербург 7 октября, недвусмысленно дали понять царскому правительству, что не предоставят кредитов, пока с революцией не будет покончено. И председатель Совета министров Сергей Юльевич Витте, один из наиболее пронизательных царских сановников, настоятельно убеждал царя в том, что необходимо даровать конституцию для успокоения народных масс.

Конечно, не уговоры Витте вынудили самодержца пойти на уступки. Царизм дрогнул под напором рабочего класса, и 17 октября царь подписал манифест, объявлявший о даровании народу «незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Объявлялась также частичная амнистия политическим заключенным.

В статье «Первая победа революции» Владимир Ильич писал: «...телеграф принес Европе весть о царском манифесте 17 октября. «Народ победил. Царь капитулировал. Самодержавие перестало существовать»,— сообщал корреспондент «Таймса». Иначе выразились далекие друзья русской революции, приславшие из Балтимора (Сев. Америка) телеграмму в «Пролетарий»: «поздравляем с первой великой победой русской революции».

Эта последняя оценка событий, несомненно, гораздо более правильна. Мы имеем полное право торжествовать. Уступка царя есть действительно величайшая победа революции, но эта победа далеко

еще не решает судьбы всего дела свободы. Царь далеко еще не капитулировал. Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно только отступило, оставив неприятелю поле сражения, отступило в чрезвычайно серьезной битве, но оно далеко не разбито, оно собирает еще свои силы, и революционному народу остается решить много серьезнейших боевых задач, чтобы довести революцию до действительной и полной победы...»

Владимир Ильич предугадал развитие событий. Одновременно с провозглашением «свобод» самодержавие приняло меры к укреплению своих позиций. Председателем Совета министров был назначен граф Витте, который умел находить общий язык с буржуазией; сохранили при дворе и душителя революции генерала Трепова, которому поручили весьма влиятельный пост дворцового коменданта. Словом, манифест знаменовал переход от неприкрытой политики пули, штыка и нагайки к более гибкой политике кнута и пряника. Витте приманивал либералов пряником, а Трепов, печально прославившийся приказом: «Патронов не жалеть!» — по-прежнему грозил народу расстрелами.

Ленин писал: «Царю одинаково нужны и Витте, и Трепов: Витте, чтобы подманывать одних; Трепов, чтобы удерживать других; Витте — для обещаний, Трепов для дела; Витте для буржуазии, Трепов для пролетариата...»

Царизм и не думал уступать всерьез. Все гарантированные манифестом свободы остались на бумаге. Еще не дали отведать обещанного пряника, а кнут уже вовсю гулял по спинам. В самый день опубликования манифеста полиция обстреляла Петербургский технологический институт, в здании которого укрылись собравшиеся на митинг студенты. В тот же день были избиты участники демонстрации в Казани, расстреляны демонстранты в Лодзи, Мариуполе, Перми. В последующие дни расстрелы продолжались в Белостоке, Минске, Киеве, Баку и далеком сибирском Нижнеудинске.

В борьбе с нарастающим революционным движением царское правительство все чаще использовало черносотенцев. Названием «черная сотня» народ заклеймил различные монархические организации, которые в чаду военно-шовинистического угара стали возникать одна за другой с начала 1905 года. Разношерстное по своему составу — от столбовых дворян до лавочников и босяков — движение черносотенцев стало едва ли не самой надежной и безусловно самой верно-подданной опорой царского престола.

С трехцветными флагами, портретами Николая II, горланя «Боже, царя храни», черносотенцы нападали на участников рабочих и студенческих демонстраций и митингов. Только за короткий срок — одиннадцать дней — после милостивого царского манифеста черносотенцы буйствовали не менее чем в ста городах тридцати шести губерний. Они убили около четырех тысяч человек, искалечили почти десять тысяч. Только в одной Одессе погибли от их рук более двух тысяч человек. В Томске черносотенцы заперли здание театра, где проходил митинг, и подожгли его на глазах губернатора и архиепископа.

4

Октябрьская политическая стачка принесла освобождение заключенным в Таганке революционерам.

Наступил этот день...

Незадолго до полудня к тюрьме подошла огромная толпа рабочих, многие из которых были вооружены. Начальнику тюрьмы вручили требование: освободить всех политических заключенных. Он попросил час сроку, чтобы доложить градоначальнику и получить разрешение.

Как и в любой тюрьме, среди конвойных нашлись сочувствующие, которые сообщили заключенным о том, что их пришли освободить. Известие это чрезвычайно быстро распространилось по всем казематам. Договорившись между собой, политические принялись колотить в металлические двери камер. Вся тюрьма загудела натужным набатом.

Осаждавшие тюрьму, услышав набатные звуки, решили, что в камерах происходит расправа над их товарищами, и, вызвав на переговоры начальника тюрьмы, потребовали от него немедленно открыть ворота. Изрядно струхнувший начальник тюрьмы приказал выпустить политических во внутренний двор, чтобы прекратить тем самым зловеший звон. Надзиратели разбежались по коридорам, выполняя приказание.

Зиновий вышел одним из первых. Он уже понял, что до освобождения остались не часы, а считанные минуты, и ободрял тех, кто еще этого не понимал, а если и догадывался, то не смел верить...

Наконец распахнулись ворота, и разношерстная ликующая толпа ринулась навстречу заключенным.

Зиновий увидел бегущего впереди всех рослого человека. Он узнал в нем инженера Виноградова, который весной организовал митинг в миусском трамвайном парке, и поспешил ему навстречу. И Виноградов узнал выступавшего у них седого агитатора. Они протиснулись навстречу друг другу, крепко обнялись и расцеловались. Тут же Виноградов от имени миусской боевой дружины торжественно вручил Зиновию Литвину новенький вороненый браунинг.

Прямо из тюрьмы Зиновий поспешил на Балканы повидать и успокоить мать, которой давно не посылал вестей о себе. Шел смело, не таясь никого и не оглядываясь на каждом перекрестке. Шел и думал, какое же это великое счастье — чувствовать себя свободным...

И с матерью повидались как-то особенно хорошо и легко. Она не упрекала его ни в чем, хотя сам он понимал, что заслуживает упрека. Она даже и вопросов почти не задавала, довольствуясь тем, что он сам находил возможным рассказать ей.

Только когда уже собрался уходить, сказала ему: «Пожалуйста, сынок, очень тебя прошу, что случится, беду от меня не прячь».

И в этот же первый свой день на воле пошел на митинг в Московский университет.

Студенты и молодые рабочие собрались в сквере возле памятника Ломоносову. Когда Зиновий вошел в университетский двор, на сооруженной наспех трибуне ораторствовал какой-то щуплый человек в длинном пальто, которого, как заметил Зиновий, плохо слушали.

Пока Зиновий протискивался ближе к трибуне, его окликнули. Зиновий оглянулся и увидел ткача Василия Осипова, того самого, который помогал ему летом организовывать митинги на Прохоровской мануфактуре.

— Товарищи! — закричал Василий Осипов, перекрывая голос оратора на трибуне. — Товарищи! Рядом со мной стоит большевик Седой, только что вырванный московскими рабочими из Таганской тюрьмы!

В толпе раздались возгласы:

— На трубуну!

— Говори, Седой!

Зиновия подхватили под руки и подняли на трибуну.

— Товарищи! — воскликнул он и почувствовал, как голос наливается какою-то особенной, ранее ему неведомой силой.

Митинг продолжался. Партийный оратор Седой призывал к борьбе за свободу, призывал к вооруженному восстанию.

О том, как развивались события в Москве после царского манифеста и как направлялся ход событий властями города, можно судить по «Дежурным дневникам» московского градоначальства, которые велись с 25 сентября 1905 по 12 января 1906 года.

В эти дневники дежурные чиновники канцелярии градоначальника заносили все сообщения, которые поступали по телефону, устно или телеграммами от полицмейстеров городских частей и приставов полицейских участков, а также все распоряжения, исходившие из градоначальства.

«18 октября, 10 часов утра.

Градоначальник говорил по телефону с нач. штаба округа генералом Рауш фон Траубенбергом о том, чтобы войска, находящиеся в наряде, перешли бы на 1-е положение — т. е. подчинялись бы указаниям полиции ввиду того, что по случаю высоч. Манифеста могут быть патриотические манифестации и полиции легче разобраться и отличить манифестантов от демонстрантов.

18 октября, 11 часов утра.

Всем полицмейстерам и приставам срочная телеграмма: «В случаях проявления патриотических чувств в публичных местах не только не препятствовать, но и охранять патриотов от хулиганов. Зорко следить за уличным порядком, отличая манифестантов от демонстрантов. Градоначальник Медем»...»

Власти заботливо охраняли черносотенцев, направляя ход событий в нужное им русло.

Результатов не пришлось долго ждать.

«18 октября, 3 часа 5 минут дня.

Приставом 2-го Басманного участка — по телефону, что на Немецкой улице ломовиком убит человек с красным флагом».

5

Утром 19 октября вся Москва читала повсеместно расклеенную листовку Московского комитета:

«Товарищи! 18 октября у технического училища убит Николай Эрнестович Бауман, наш товарищ, социал-демократ, талантливый и смелый партийный работник.

Мы — дети нужды и труда, мы — братья по духу и плоти, все за одного, один за всех. Черная сотня, товарищи, — последняя опора правительства воров и убийц, черная сотня — это тупые, темные люди, звери, слепое орудие в руках подстрекателей к убийствам... Пора смести с лица русской земли всю грязь и гадость, позорящие ее, пора нам взяться за оружие для решительного удара.

Готовьтесь к вооруженному восстанию, товарищи, и не давайте черной сотне безнаказанно вырывать борцов из рядов наших!»

День 19 октября запомнился Зиновию как нескончаемый митинг. Зиновий где пешком, где на трамвае, где на извозчике добирался с фабрики на фабрику, с завода на завод. Как и сотни других таких же пламенных большевиков.

Московский комитет призывал всех рабочих выйти на похороны злодейски убитого большевика. И рабочие откликнулись на призыв.

20 октября с самого утра словно могучие реки потекли по улицам Москвы. Отовсюду — из Хамовников и с Пресни, от Бутырской заставы и Марьиной рощи, из Замоскворечья и от Рогожской заставы — шли рабочие колонны, стекаясь в Лефортово, где в актовом зале технического училища в окружении красных знамен стоял гроб с телом Николая Баумана.

Градоначальнику Москвы барону Медему доложили о скоплении рабочих числом до шести тысяч человек возле Пресненской заставы.

Барон выслушал сообщение и распорядился о всех последующих

также докладывать ему незамедлительно. Накануне вечером всем полицмейстерам и приставам была отправлена срочно-секретная телеграмма:

«Завтра, 20-го числа, по случаю похоронной процессии из технического училища на кладбище никаких особых полицейских мер не принимать и войсковых частей не вызывать, т. к. участвующие в процессии обяжутся сами поддерживать наружный порядок как туда, так и обратно. По мере движения процессии давать знать по телефону № 1. Градоначальник Медем».

Подчеркнутое миролюбие озадачило полицейских служаков. Многие из них считали, что более удобного случая дать острастку вышедшим из повиновения рабочим не сыщешь.

Не удивились лишь полицмейстер 1-го отделения города Москвы и состоящий под его началом пристав Тверской части. С ними барон Медем имел доверительный разговор (поздно вечером, после того как срочно-секретная телеграмма была отправлена во все полицейские части и участки).

— В телеграмме сказано: обяжутся поддерживать порядок как туда, так и обратно. Туда, — он подчеркнул это слово, — порядок будет. Похороны все-таки, и пойдут единой колонной. Против такой массы людей какие-либо действия бессмысленны, ибо многие дружинники вооружены. А вот когда пойдут оттуда — дело иное. Пойдут уже не единой колонной, а несколькими, каждая в свой конец Москвы. Многие просто разойдутся, и такого скопления не будет. Вот тут и следует поучить.

После короткого обсуждения определили: удобнее всего атаковать демонстрантов при выходе с Большой Никитской на Моховую.

— Засаду поместим в Манеже, — сказал полицмейстер. — Она начнет. А когда завяжется дело, двинем подмогу из гостиницы «Петергоф».

Барон Медем толстым синим карандашом размашисто написал на листе бумаги два слова одно под другим: «Манеж», «Петергоф», — после чего заключил встречу словами:

— И не забудьте призвать к участию «Союз русских людей».

Барон намекал на отданные накануне приказы не оказывать сопротивления черносотенцам, а, наоборот, поддерживать погромщиков.

На похороны большевика Николая Баумана собралось более ста тысяч московских рабочих. Такой могучей и организованной манифестации Москва не видела.

Шествие состояло из отдельных, следующих одна за другою колонн. Внутри их размещались женщины, подростки, пожилые люди. И в несколько рядов по всему периметру колонны — молодые рабочие. Во внешнем ряду почти все с оружием — боевое охранение.

В голове шествия, перед первой колонной, развевалось красное знамя Московского комитета РСДРП. Сразу за ним шел отряд вооруженных дружинников, и в первом ряду Зиновий Литвин-Седой, его друг по нижегородской организации, один из вожаков сормовских рабочих — Петр Заломов, начальник боевой дружины сахарного завода Федор Мантулин.

Полицейским властям известно было, что погребение состоится на Ваганьковском кладбище. Маршрут движения такой огромной массы должен был пролегать по самым широким улицам, и его можно было точно предугадать. В удобных для обзора местах, в верхних этажах высоких зданий, расположились наблюдатели. Их донесения немедленно докладывались градоначальнику.

«Дежурные дневники» канцелярии московского градоначальства запестрели новыми записями:

«20 октября, 1 час 5 минут дня.

Пристав 2-го Басманного участка сообщает, что процессия тронулась из технического училища.

1 час 30 минут.

Пристав 2-го Басманного сообщает, что процессия до 70 тысяч прошла по Немецкому переулку, направляется к Межевому институту, есть свои гофмаршалы в лентах и т. д. Масса красных флагов.

2 часа дня.

Район 2-й Басманной процессия прошла благополучно, вышла на Елоховскую, за процессией идут 4 фуры с докторами и перевязочными средствами и отрядом в 200 человек санитаров».

Неожиданное слово «благополучно» должно было сообщить кому следует, что провокация у Елоховской не удалась.

Перед выходом головной колонны на Елоховскую площадь толпа черносотенцев истошно заорала: «Кзаки!» — рассчитывая, что участники процессии дрогнут и разбегутся.

— Товарищи! Не волнуйтесь! — крикнул Зиновий что было силы. Его голос перекрыл могучий бас Петра Заломова:

— Вас охраняет боевая дружина! Спокойно, вперед!

И траурная процессия продолжала свое шествие.

«2 часа 55 минут.

Пристав 2-го участка Яузской части доносит, что процессия приближается по Садовой к Красным воротам.

3 часа 25 минут.

Пристав 1-го участка Мясницкой части доносит, что процессия пошла к почтамту.

3 часа 40 минут.

Пристав 1-го участка Мясницкой части доносит, что процессия подходит к Лубянской площади.

3 часа 50 минут.

Пристав 3-го участка Тверской части доносит, что голова процессии спускается по Театральному проезду.

4 часа 40 минут.

Процессия около университета.

5 часов 25 минут.

Хор консерватории следует за гробом».

За гробом действительно следовал оркестр консерватории. И хор под аккомпанемент оркестра пел похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

Уже стемнело, когда процессия прибыла на Ваганьковское кладбище. Состоялся грандиозный траурный митинг, в котором участвовали десятки тысяч людей. Ими были заполнены все окружающие кладбище улицы.

«10 часов вечера.

Пристав 2-го участка Пресненской части доносит, что толпа, хронившая Баумана, тронулась с Ваганьковского кладбища обратно с красными флагами и фонарями».

После получения этого сообщения казакам и черносотенцам, зашедшим в Манеже и гостинице «Петергоф», дана была команда: «Приготовиться!» И поздно вечером, когда демонстранты повернули с Большой Никитской на Моховую, по мирной толпе хлестнули винтовочные залпы.

Боевая дружина отразила атаку, заставила нападавших отступить и спасла этим жизнь сотням ни в чем не повинных людей. Но все же более десяти человек остались мертвыми на мостовой. Несколько десятков человек было ранено.

Это был первый в жизни бой — боевое крещение — большевика Зиновия Литвина-Седого.

Перед грозой душно. И когда становится вовсе невмочь от духоты, вдали над горизонтом начинают поблескивать зарницы, предвестники приближающейся и уже неотвратимой грозы.

Рабочая Москва после похорон Баумана и злодейского нападения на мирную манифестацию у Манежа жила в нетерпеливом ожидании надвигающихся событий.

Ожидание это не было пассивным. Рабочие многому научились за время сентябрьской и октябрьской стачек. Они убедились, что самыми последовательными защитниками их интересов являются большевики, и большевистский лозунг: «От стачки — к вооруженному восстанию» — становился им все более понятен и близок.

Готовясь к вооруженной борьбе, рабочие Москвы создали новую политическую организацию — Советы рабочих депутатов. В депутаты выбирали самых уважаемых рабочих, многие из них были членами партии большевиков или поддерживали их. Депутаты от фабрик и заводов входили в районный Совет. Одновременно выбирали депутатов в Московский Совет.

11 ноября возник Совет рабочих депутатов в Лефортовском районе. Вслед за ним хамовнический и пресненский районные Советы. На Трехгорной мануфактуре — крупнейшем предприятии Пресни — депутатами в числе других были избраны ткачи Василий Осипов и Иван Куклев, браковщик Сергей Дмитриев, гравер Иван Баулин. Все они потом возглавляли Пресненское вооруженное восстание.

К середине ноября районные Советы действовали по всей Москве, а 21 ноября в доме на углу Поварской и Мерзляковского переулков состоялось первое заседание Московского Совета рабочих депутатов.

Рабочая Москва набирала силу и уже откровенно противостояла власти предрержавцам. С площадок у заводских ворот агитация шагнула в обширные и даже раззолоченные залы. Учебные заведения и театры превратились в открытые трибуны.

Особое значение приобрел сад «Аквариум», расположенный в самом центре Москвы, на пересечении оживленнейших улиц — Садовой и Тверской. Просторный, оснащенный двумя вместительными залами «Олимпия» и «Буфф», сад «Аквариум» был очень удобен для массовых собраний и митингов. И Зиновий нимало не удивился, когда Шанцер вызвал его к себе и сказал, что ему поручается выступить в «Аквариуме». Зиновий спросил лишь, в каком часу начало, и собрался уже уходить, но Виргилий Леонович удержал его.

— Это необычный митинг,— сказал он.— Мы посылаем вас на митинг охотнорядских мясников... Среди них сильно влияние черносотенцев...

— Скажем проще,— добавил только что вошедший в комнату Мартын Лядов, тоже член Московского комитета,— добрая половина из них — отъявленные черносотенцы. Вы идете, товарищ Седой, в осиное гнездо.

— Мартын прав,— подтвердил Шанцер.— Но мы не можем упустить случая. Мясники собрались по необычной причине. Решили организовать свой профессиональный союз. Надо помочь определить им свое место в предстоящих событиях. Мы пошлем в ваше распоряжение дружину. Будьте готовы ко всему и сами вооружитесь.

Зиновий ринулся на этот митинг, как в бой. Меньше всего он думал об опасности. Лыстило, что именно ему поручили агитировать охотнорядцев. И понимал, что тут надо именно агитировать, а не просто рассказывать...

В зал Зиновий вошел, когда все уже были в сборе. Окинул взглядом помещение, и, хотя отлично знал, куда шел, стало не по себе... Особенно когда взглянул на первые ряды. Тут, видимо, разместились

вожаки, все как один рослые, можно сказать, дородные, с раскормленными красными лицами, в синих и черных чуйках и картузах. На многих белые фартуки, а за поясом ножи — орудия производства. И почти все с сигарками и папиросами в зубах. Некоторые несколько смущены, не приходилось еще сидеть в таком роскошном зале. Но большинство бодрятся, перекидываются шуточками, сквернословят без всякого стеснения. Словом, в огромном зале дым, шум и гам. Особенно возле дверей, где уселись опоздавшие, и среди них многие под крепким градусом.

Сразу надо их брать в руки, сразу... Но как? С какого боку подойти? И тут же мгновенно пришло решение: не сбоку, а прямо, лобовой атакой.

Вышел он на авансцену и сказал:

— А вот курить здесь нехорошо. Ведь в церкви вы не курите!

И сам удивился тому, как дружно все бросили на пол папироски и сигарки. Тут же схлынула вся скованность, пришла уверенность, та самая смелость, что города берет. К тому же понимал, что ни хитрить, ни ходить вокруг да около времени нет. Пришел говорить с мясниками, орудуй по-ихнему: бери сразу быка за рога.

— Вас учили бить рабочих за то, что они бунтуют. А почему они бунтуют? От хорошей жизни бунтовать не станешь. Откуда пришел рабочий в город? Из деревни. Почему пришел? Нужда погнала. И в городе не легче. И здесь впроголодь, от полочки до полочки. Назад в деревню податься — там своего хлеба до ползими чуть достанет, а после — жмых да лебеда. Рабочему голодно, крестьянину голодно... А кому сытно? Помещику, фабриканту и купцу. Эти с жиру бесятся, а народ голодает! У кого защиты искать? У бога? Так он только богатых любит. Да еще попов, потому что они с богатыми заодно. У царя? Пошли в Питере рабочие к царю, поп Гапон сговорил. По-доброму пошли, с семьями, с малыми детьми. С хоругвями, с иконами, с царскими портретами. А царь их встретил пулями! Всю площадь перед дворцом кровью залило! Вот какая защита рабочему от бога и от царя. Как же тут не бунтовать?

Остановился, как бы ожидая ответа, перевел дух и произнес, покачивая головой, словно укоряя:

— А вас, товарищи мясники, посылают бить рабочих, своих братьев! — И крикнул уже гневно, в полный голос: — И бьете! Смертным боем бьете! А сами-то? Такие же рабочие. Так же из вас жилы тянут купцы-охотнорядцы. Вон их сколько там, полна улица магазинов и лавок. И все эти купцы и лавочники вашим трудом живут, вашим потом жиреют!

И тогда в зале раздались возгласы:

— Правильно говорит!

— Вестимо, так!

Зиновий прыгнул со сцены в зал.

— Вы слушали большевика и теперь знаете всю правду. Я один, а вас сотни, можете расправиться со мной.

В ответ приветственно протянулись руки.

7

От дружинников, сопровождавших Зиновия, комитету стало известно, как блистательно выступил он в «Аквариуме».

— Впору направить его в охранку, чтобы всех филеров и провокаторов обратил в нашу веру, — смеясь, сказал Шанцер (Марат).

— В охранку, пожалуй, не стоит, — в тон ему заметил лектор Московского комитета Станислав Вольский, — а если всерьез, то я охотно взял бы его с собой в Спасские казармы.

Речь шла о предстоящем митинге в казармах Ростовского полка.

Этот полк был самой мощной частью в московском гарнизоне. На

складах полка хранилось до двух тысяч запасных винтовок, огромное количество патронов и двенадцать пулеметов (примерно половина всех пулеметов, имевшихся в московском гарнизоне). Если бы удалось поднять солдат Ростовского гренадерского полка на вооруженное восстание, это могло бы решить дело.

Известно было, что часть солдат уже вышла из повиновения. В конце ноября две роты были посланы в Сокольники на подавление волновавшихся саперов, но ростовцы отказались выполнить приказ, и пришлось вернуть их в казармы.

Брожение в полку все усиливалось, и утром 2 декабря командир полка приказал арестовать самых видных агитаторов — Черных, Ульянинского и Серебрякова. Аресты вызвали общее возмущение, обстановка еще больше накалилась. В ротах прозвучала команда: «В ружье!» Солдаты устремились на митинг с оружием в руках. Был избран полковой комитет, и решено было сместить всех офицеров и подчиняться только комитету.

В тот же вечер полковой комитет обратился с воззванием к солдатам полка. Воззвание гласило:

«Товарищи! Вся Россия восстала против правительства, втянувшего страну в бессмысленную войну и доведшего ее до разорения. Крестьяне, рабочие, солдаты — все ведут дружную борьбу за лучшее будущее, за освобождение всего народа».

Воззвание призвало всех солдат московского гарнизона присоединиться к требованиям ростовцев. Заканчивалось оно лозунгами: «Да здравствует свободный народ! Да здравствует свободная армия!»

Волнения в Ростовском полку вызвали переполох и смятение властей.

Ретивый в расправах с безоружным населением, градоначальник барон Медем доносил министру внутренних дел: «Обязываюсь доложить вашему превосходительству, что Ростовский полк в полном восстании; в Несвижском полку и саперном батальоне сильное брожение; остальные воинские части наготове на случай военного бунта, так что столичный порядок поддерживаю двумя тысячами измученных полицейских чинов и жандармским дивизионом».

В эти же часы 3 декабря командующий Московским военным округом генерал Малахов просил военного министра побыстрее прислать надежные войска, ибо на гарнизон Москвы рассчитывать было уже нельзя.

А Ростовский полк продолжал бурлить.

На митинге обсудили и приняли требования солдат. Начинались они с пунктов политических: созыв Учредительного собрания, повсеместная свобода собраний, отмена смертной казни, освобождение политических заключенных. И завершались рядом требований, касающихся материального и бытового положения солдат.

Требования эти были вручены командиру полка Симанскому, хотя от него, конечно, ни в малой степени не зависело ни созвать Учредительное собрание, ни отменить смертную казнь, ни даже освободить политических заключенных.

Командир полка отлично использовал тактическую ошибку солдатского комитета. Он принял требования, тут же пообещал удовлетворить те из них, что в его власти, но потребовал взамен разрешить офицерам посещать казармы.

Солдатский комитет согласился, еще не понимая, что упускает инициативу из своих рук. И лишь тогда (с явным опозданием) в Московском комитете партии решили, что надо помочь солдатскому комитету в поддержании революционного настроения солдат полка, и направили в Спасские казармы лектора Московского комитета Станислава Вольского и агитатора Зиновия Литвина-Седого.

По широкой, плохо освещенной лестнице поднялись на третий этаж. Нескончаемо длинным коридором прошли в казарменные помещения. Солдаты, большей частью с винтовками в руках, сидели на нарах, толпились посреди казармы.

Зиновий сразу обратил внимание на невеселые, даже мрачные их лица. Потом уже, после митинга, он понял, что солдатам приелись многодневные разговоры. Если не умом, то солдатским чутьем они уже дошли до мысли, что одними речами никакого дела не сладить. А дела настоящего, судя по всему, не будет. Стало быть, нечего было и кашу заваривать...

Первым выступил Станислав Вольский. Говорил он красноречиво, умело повышая и понижая интонацию.

Говорил о самой главной задаче русской революции, о свержении самодержавия. Сразу начал круто:

— Триста лет династия Романовых угнетает русский народ. Триста лет терпят русские люди гнет царизма. За эти триста лет на престоле российском сменились десятки царей, и у каждого из них руки обгажены кровью народной... Один из первых Романовых, Алексей, прозванный придворными льстецами Тишайшим, затопил в крови восстание Степана Разина. Его сын Петр, прозванный льстецами Великим, задушил восстание Кондратия Булавина. Развратная немка Екатерина, тоже названная Великой, жестоко подавила восстание Емельяна Пугачева...

«Неужто всех переберет, этак до утра не кончит», — подумал Зиновий, заметив, что солдаты начали переговариваться между собой. Но, видимо, оратор и сам почувствовал, что пора уже выбираться из дальней исторических.

— И каждый царь и царица, сколько их сидело с тех пор на шее народа, вели войны, расстреливали недовольных, гноили в тюрьмах людей, боровшихся за народную волю... — Оратор перевел дух и сделал последний бросок: — Но больше всех пролил народной крови нынешний царь Николай. Загубил в маньчжурских болотах русскую армию! Утопил при Цусиме русский флот! И наконец, совершил злодеяние, подобного которому не было еще на земле русской. Приказал стрелять в безоружных людей, стрелять в женщин, детей, стариков. Невинная кровь вопиет о мщении! Долой царя-убийцу! Долой самодержавие! Да здравствует свобода!

Вольский закончил на предельно высокой ноте. Но взрыва аплодисментов не последовало. Хлопали не все, да и те, кто хлопал, — тоже без особого азарта.

Словом, огонек едва тлел. Зиновий принялся раздувать гаснущие искры. Он начал с тягот солдатской службы, с притеснений, чинимых офицерами. Рассказал о своей нелегкой службе в туркестанской горной крепости. Поведал солдатам о том, как его едва не загнал в могилу унтер Истигнеев.

Зиновия с вниманием слушали, поддерживали одобрительными возгласами. Почувствовав, что его понимают, он стал подбираться к главному:

— Почему измываются офицеры над солдатами? Потому что такая им власть дана. А у солдата прав никаких нету. Солдат — серая скотинка. Что захочет офицер, то с ним и сделает. Захочет — в зубы! Захочет — под трибунал! И жаловаться некому. Над офицерами — генерал. Над генералом — царь. Все солдатские беды от него!

И вот тут самое время было сказать, что и рабочим живется не легче. И они тоже готовы подняться на царя. И поднимутся, не сегодня, так завтра. А солдат просить сберечь порох сухим и поддержать рабочих, когда они восстанут...

Но ничего этого он сказать не успел. Стоило только произнести, что все солдатские беды от царя, тут же из толпы крикнул один из старослужащих солдат:

— Царя ты, браток, не замай!..

А другой разъяснил:

— Против офицеров можем пойти. Супротив царя никак невозможно. Царю я присягу давал...

«Не успели... не сумели...» — терзался Зиновий, возвращаясь из Стасских казарм.

Было от чего терзаться. Полк упустили. Целый полк...

8

О своей неудаче Зиновий считал себя обязанным лично доложить товарищу Марату.

— Ты прав, товарищ Седой,— сказал Марат.— Мы опоздали. Но твоей вины в этом нет.— Помолчав, заговорил о другом: — Хорошо, что ты зашел. Прямо по пословице: на ловца и зверь бежит. Есть для тебя поручение самое боевое.

И рассказал Зиновию: комитету стало известно, что черносотенцы готовятся провести митинг на Красной площади. Задумано широко: сначала молебен, сам митрополит московский будет служить, потом митинг с охранительными речами и завершиться все должно грандиозным еврейским погромом.

— В твоём распоряжении боевая дружина — пятьдесят бойцов. Ваша задача — сорвать митинг и не допустить погрома, но действовать с предельной осторожностью, чтобы не вызвать уличных боев...

— На елку влезть, но не ободраться,— усмехнулся Зиновий.

— Именно,— подтвердил Марат и тоже усмехнулся.— Точно сказано. Если завяжутся уличные бои, можем спровоцировать преждевременное вооруженное восстание. Преждевременное потому, что мы к нему еще не готовы. Поэтому митинг сорвать, погрома не допустить. Задача понятна?

— Вполне,— ответил Зиновий.

С выделенными в его распоряжение молодыми дружинниками Зиновий обстоятельно побеседовал. Хотелось, чтобы каждый понял, что успех решается не лихостью, а только четкой организованностью.

— Задание боевое, значит, и дисциплина должна быть военная,— внушал Зиновий.— Нас всего пять десятков, а их, черносотенцев, будет несколько тысяч. Стало быть, должны мы действовать очень слаженно. И запомните главное — оружие применять только по команде.

Состояние оружия и обеспеченность патронами Зиновий тоже лично проверил у каждого дружинника.

Поздним вечером накануне митинга, взяв в помощь двух парней из своей дружины, Зиновий на надежном, своем лихаче подъехал к Преображенской заставе, где в квартире преподавателя железнодорожного училища Горохова, химика по специальности, помещалась мастерская по изготовлению бомб.

На сей раз Горохову были заказаны особые бомбы, которые дружинники именовали шумихами. Вреда большого они причинить не могли, зато дыма и особенно грохота выдавали предостаточно. Раз-мерами и окраской шумихи походили на апельсины средней величины, что было немаловажно с точки зрения конспирации.

Зиновий заказал Горохову сто штук таких бомб из расчета по паре на каждого дружинника.

«Апельсины» были готовы и даже упакованы в специальные фруктовые корзины и переложены мелкой сухой стружкой. «Как в магазине Елисеева»,— сказала им Маруся Наумова, ведавшая хранением и транспортировкой продукции. Бомбы были благополучно доставлены на сборное место дружины и розданы боевикам.

Митрополит со всем своим клиром расположился у самого Лобного места. В первых рядах толпы, обступившей их со всех сторон, стоя-

ла «чистая» публика: дворяне, купечество, военные. Монахи и передетые городовые держали в руках хоругви, флаги и царские портреты. Городовые и дворники отделяли публику «чистую» от многотысячной толпы черносотенцев и босяков, собравшихся с Хитровки и Сухаревки.

После молебна во здравие его императорского величества и всей царствующей фамилии начался митинг. Первым с проповедью к народу обратился кто-то из сопровождавших митрополита духовных лиц. Говорил он тихо, и слова его слышны были разве что стоящим поблизости от Лобного места. Толпа откровенно скучала. Одетые в лохмотья босяки ежились под студеным зимним ветром.

Затем на балконе смотрящего на площадь дома появился, по-видимому, высокопоставленный полицейский чин. В отличие от священнослужителя, державшего речь до него, полицейский обладал весьма зычным голосом. Он яростно выкрикивал угрозы в адрес смутьянов, студентов и евреев, стращал их всеми возможными карами и призывал собравшихся не давать им спуска и немедленно проучить врагов государства. Черносотенцы и босяки оживились. Решительные призывы оратора встречались одобрительным гулом.

Зиновий стоял неподалеку от Лобного места с двадцатью товарищами. Пятнадцать дружинников на углу Варварки и еще пятнадцать на углу Ильинки. Ему все было хорошо видно и слышно.

Когда толпа стала заметно разогреваться от воинственных призывов полицейского чина, он скомандовал: «Пора!» И первым бросил вверх бомбу, которая разорвалась в воздухе с оглушительным шумом. «Молодец Горохов!» — только успел подумать Зиновий и зажмурился от застлавшего глаза едкого дыма.

А оранжевые шары один за другим летели в воздух, взрывы грохотали, сливаясь в сплошную канонаду.

Первым ретировался с бадкона воинственный полицейский чин. Митрополит спешно устремился к Спасским воротам. Толпа, только что азартно откликавшаяся на призывы к немедленному погрому, раскололась надвое, и одна часть ее ринулась в сторону Замоскворечья, другая побежала к Иверским воротам.

Возле Иверской часовни офицеру, вскинувшему над головой царский портрет, удалось остановить бегущих. Кто-то запел «Боже, царя храни». Толпа подхватила и двинулась по Тверской к дому генерал-губернатора.

Зиновий половину своего отряда послал в обгон в Глинищевский переулок, сказав, что сам с остальными будет на углу Столешникова.

— Не упускайте нас из виду, — распорядился Зиновий, — по моему сигналу дайте залп разом из всех револьверов.

И когда черносотенцы с пением царского гимна подошли к дому генерал-губернатора и навстречу им вышел окруженный свитой сам адмирал Дубасов, Зиновий закричал что было силы: «Большевики-дружинники идут!» — и бросил вверх шумиху. Тут же раздался залп. И эхом донесся второй залп из Глинищевского переулка.

Адмирал Дубасов решил не искушать судьбу и скрылся в подъезде своей резиденции. Он был взбешен. Пошли всего вторые сутки пребывания его на посту московского генерал-губернатора. Выбор царского правительства пал на адмирала Дубасова как на самого опытного душителя революции, отменно зарекомендовавшего себя жесточайшим подавлением крестьянских восстаний в Черниговской, Полтавской и Курской губерниях. Адмирал стремился оправдать высокое доверие. Прибыв в Москву, он сразу же принял представителей сословий города и обнадежил их: «Я употреблю самые крайние меры...»

И вот вместо этого самому пришлось удирать, как зайцу от охотников.

Увидев, как поспешно ретировался генерал-губернатор, черносотенцы, только что браво распевавшие царский гимн, разбежались в разные стороны, побросав портреты, хоругви и флаги.

Зиновий не заметил, кто из его дружинников первым догадался поднять брошенный флаг и оторвать от него белую и синюю полосы. Из государственного флага Российской империи получился красный революционный флаг.

И через несколько минут боевая дружина, заметно пополнившаяся новыми добровольцами, высоко взметнув красное полотнище, с громкой песней прошагала мимо генерал-губернаторского дворца, следуя вверх по Тверской от Скобелевской к Страстной площади.

НАЧАЛО

1

Как условились, он ожидал ее у заставы. Товарищ Наташа должна была прийти со стороны вокзала, и потому Седой остановился на углу Пресненского вала и Большой Пресни и внимательно изучал наклеенную на тумбе красочную афишу цирка Труцци, возобновившего недавно гастроли на Цветном бульваре.

Зима в этом году запаздывала. Вплоть до декабря не было настоящих морозов. И декабрь начался оттепелью. Лишь только сегодня с утра подул порывистый северный ветер, обещающий большой снег и скорую стужу. Когда порывы ветра усиливались, Седой, одетый довольно легко — короткое полупальто с мерлушковым воротником, — отходил за угол дома.

— Кого ждешь, Седой? — окликнули его.

Зиновий резко обернулся. К нему подходил высокий статный парень, можно сказать, франтоватого вида — смоляной чуб лихо выбивался у него из-под лакированного козырька. За последние дни Зиновию пришлось обрести много новых знакомцев, но этого парня он прочно запомнил среди многих других рабочих Прохоровской мануфактуры. Василий Честнов только что окончил фабричное училище и был, как сказали Зиновию, самым молодым ткачом в цехе. Он сразу привлек внимание Литвина смелым, пронизательным взглядом, не по годам серьезным выражением лица и умением держаться среди старших, не теряя своего достоинства. Словом, он сразу приглянулся Зиновию. Но сейчас он допустил промашку, и стоило сделать ему замечание.

— Не годится на улице окликать партийным прозвищем. Не так ли, дружище?

— Одни мы вроде...

— И у стен есть уши... А ожидаю я, — Зиновий машинально оглянулся и понизил голос, — товарища Наташу. Да вот что-то задерживается...

Невысокий сутуловатый мужичок с козлиной бородкой, только что свернувший с Трехгорного вала на Большую Пресню, замедлил шаг, словно стараясь через улицу прислушаться к разговору.

Зиновий проводил его взглядом, обернулся к Честнову.

— Не знаешь случаяем, что за фигура?

— Как не знать, — усмехнулся Честнов. — Главная ябеда в наших спальнях. Смотритель Иван Колобовников. Этого остерегайтесь. Глаза и уши фабричного полицейского надзирателя Доктора.

— Запомним и учтем, — сказал Зиновий.

Василий Честнов вынул из жилетного кармашка серебряную луповицу, щелкнул крышечкой.

— Время, товарищ...

— Иди. Скажешь там, я следом.

Прошло еще несколько томительных минут. Зиновий пристально всматривался в каждую появлявшуюся вдали женскую фигуру. Наташи все не было...

Не случилось ли чего? Паспорт надежный, задерживать нет причины, даже повода... Скорее всего сбилась с пути, заплутавшись в бесчисленных московских переулках. И не диво: москвичи плутают, а она всего неделю как приехала из Нижнего... Подыскали ей квартиру в Грузинах. Уж лучше бы остановилась у матери на Балканах; правда, оттуда далеко до Пресни добираться, а по нынешним временам и во все не доберешься...

Надо идти, там ждут. Еще раз кинул взгляд вдоль Пресненского вала... Больше ждать тут нельзя. И так опаздывает. Сегодня на Прохоровской фабрике очень важное собрание. Много зависит от того, какое решение примут прохоровские текстильщики. Ему, партийному агитатору, поручено передать рабочим призыв Московского комитета большевиков.

2

В самом конце XVIII века двое выходцев из крестьян — Василий Иванов сын Прохоров, сын монастырского крестьянина Троице-Сергиевой лавры, и Федор, тоже Иванов сын Резанов, сын пахотного крестьянина стрелецкой слободы города Зарайска, — основали текстильную фабрику на берегу Москвы-реки, в местности, именуемой Три горы.

Судьба удачно свела их меж собой.

Федор Резанов подростком пришел в Москву и поступил в обучение мастерству на ситцевую фабрику, где много лет терпеливо переносил многотрудные работы, обстоятельно изучил красильное дело и стал едва ли не лучшим мастером в Москве по цветному крашению тканей.

Василий Прохоров не владел никакими производственными секретами, зато был хитер и оборотист. Карьеру свою он начал с должности приказчика у пивовара в Хамовниках. А через несколько лет владел уже собственным пивоваренным торгом и приписался в московские купцы.

Таким образом, Федор Резанов привнес в общее дело свои знания и умение управлять производством, Василий Прохоров — свой капитал и связи в торгово-промышленном мире.

Сохранился любопытный документ — собственноручное письмо Василия Прохорова своему компаньону:

«Свояк любезный и товарищ Федор Иванович. Двенадцать лет исполнилось, как мы с тобой сообща начали ситцевое набойное производство. Письменного условия не делали, полагаясь единственно на дружбу и совесть... Заведение наше началось в 1799 году в июле месяце по словесному условию с таким положением, что с моей стороны на заведение употреблена была сумма, а ваше знание и по всему производству распоряжение и что Бог поможет получить прибыли, делить девять частей поровну, а десятую, не полагая в раздел, оставить в пользу вам одному за ваше знание и распоряжение»...

Однако вскоре дружба между «своиками любезными и товарищами» разошлась, а потом последовал и раздел. Как оказалось, не на радость Федору Резанову. Еще через несколько лет Прохоров поглотил своего бывшего компаньона со всеми потрохами, и промышленное заведение на Трех горах стало единоличной собственностью династии Прохоровых.

Фабрика росла и развивалась с поистине сказочной быстротой. Были для того свои причины.

Прежде всего крайняя нужда в тканях. Фабрик текстильных во-

все было недостаточно (к концу столетия едва ли десяток на всю Россию). Ситцы и сатины отрывали с руками и цену платили доходную.

Второе — очень удачно выбрали место для фабрики. Речка Пресня славилась на всю Москву особо чистой водой (квасовары приезжали за пресненской водой из Замоскворечья и Лефортова), и поэтому цветные узоры на прохоровских ситцах были ярче и пригляднее; а на крутых склонах Трех гор вдоволь было места расстилать ткани на сушку и отбелку. И вообще место необжитое, было где разместить и новые цехи и рабочие спальни.

И не последнее дело — фамильная оборотистость прохоровского семейства. Даже стихийное бедствие умели обратить себе на пользу. Опустошивший Пресню пожар тоже пошел на пользу. Сгорело на миллион рублей, но застраховано было с умом, и страховки получили два миллиона.

И наконец, все поколения династии Прохоровых умели заставить рабочего выложиться до конца. Хозяева заботились о рабочих. Каменные трех- и четырехэтажные общежития на Прохоровской фабрике (здесь их именовали спальнями) были среди фабричных общежитий самыми лучшими в Москве. При фабрике была учреждена одна из первых в России ремесленных школ, где подростки обучались, стоя на хозяйском коште. Делалось все это не из филантропических побуждений, а из трезвого хозяйственного расчета. Общежития позволяли брать на работу пришлых, преимущественно деревенских, которые были богобоязненны, менее требовательны и более послушны хозяину. Свое училище позволяло обеспечивать производство работниками высокой квалификации, к тому же надежно привязанными к фабрике — хозяйский кошт надо было отработать.

Условия труда и быта хозяева устанавливали какие им заблагорассудится. При среднем заработке пятнадцать — двадцать рублей в месяц за каморку в семейных спальнях контора удерживала с рабочего шесть рублей, за койку, точнее, место на нарах в холостых спальнях — два рубля. Хлеб и прочую провизию рабочим приходилось покупать в фабричных лавках — там отпускали в кредит до получки, но зато по ценам гораздо более высоким. Работали от одиннадцати (ткачи и другие рабочие высоких квалификаций) до четырнадцати часов в сутки (подсобные рабочие).

После 9 января и прокатившихся по стране забастовок хозяева вынуждены были пойти на некоторые уступки рабочим. Несколько повысили заработок, укоротили слегка рабочий день.

Этих подачек оказалось достаточно, чтобы успокоить рабочих — вчерашних крестьян нечерноземных, неурожайных губерний. Для многих из них тяготы фабричной жизни казались вовсе не столь уж тяжкими по сравнению с голодной жизнью в обнищавшей деревне. Страх быть уволенными и выброшенными хотя из тесной, но все же теплой фабричной спальни заставлял смиряться. Только бы не прогневить хозяина, директора, инженера, мастера и подмастера...

И шесть с лишним тысяч рабочих Прохоровской мануфактуры — одного из самых крупных промышленных предприятий Москвы — не без основания считались, особенно при сопоставлении их с рабочими заводов Гужона или Бромлея, одними из самых отсталых.

Когда Московский комитет посылал партийного агитатора большевика Седого на Пресню, главным делом вменялось ему поднять пролетарское самосознание и революционный дух среди рабочих Прохоровской мануфактуры.

О специфических особенностях и проистекающих отсюда трудностях Седого предупредили, и он знал, куда идет. Оказалось, однако, не так страшен черт, как его размалевали. Среди сотен безучастных ко всему, кроме личной своей судьбы, сыскались и люди иного склада, готовые к борьбе, нетерпеливо ожидающие, когда же настанет их час.

На малой кухне, которая помещалась во дворе фабричных спален в одноэтажном бревенчатом доме на высоком каменном фундаменте, с подвалами для хранения провизии, Седого уже ждали.

Во вместительном, человек на двести, помещении находилось около сотни человек. Здесь присутствовали все двенадцать депутатов, избранных от прохоровских рабочих в Московский Совет, депутаты районного Совета, дружинники.

Караульный, стоявший у входа в малую кухню, знал Седого в лицо и пропустил его, не спрашивая пароля.

— Я же говорил, сейчас придет, — несколько обиженно вымолвил Василий Честнов, обращаясь к сидящему за председательским столом браковщику из отделочного цеха Сергею Дмитриеву, невысокому, худощавому, с жиденькой бородкой мочального цвета.

Сергей Дмитриев не удостоил его ни возражением, ни взглядом. Он поднялся навстречу идущему вдоль столов Седому.

— Все в сборе, товарищ Седой, тебя ждем.

— Одну минуту, — ответил Седой. — Свяznego только пошлю.

Тут же подошел к сидевшей в переднем ряду красивой девушке с огромными черными глазами, отозвал ее в сторону, сказал что-то. Та, заметно польщенная доверием, понимающе кивнула и быстро пошла к выходу.

— Сообщение сделает товарищ Седой, — объявил председательствующий Сергей Дмитриев.

Седой прошел за стол и, не садясь, внимательно оглядел собравшихся. С радостью удостоверился, что всех знает в лицо (не зря прошли дни и недели, проведенные среди рабочих Прохоровки); чужих не было, ненадежных и равнодушных тоже. Пришли сюда люди, готовые к борьбе.

— Дорогие товарищи! Братья и сестры! — негромко, но внятно начал свою речь Седой. — Настало наконец и наше время. В понедельник пятого декабря общегородская конференция большевиков призвала всех рабочих Москвы объявить всеобщую политическую стачку и перевести ее в вооруженное восстание...

— А нам большевики не указ, — раздался голос из задних рядов.

Седой узнал поднявшегося из-за стола дружинника. Боевой парень, отличный товарищ, но убежденный эсер («Ваше дело словами воевать, а наше — пулей и бомбой!»).

— Не горячись, друг, — успокоил его Седой, — и дай мне договорить. А вчера Московский Совет рабочих депутатов принял резолюцию. Принял единогласно. За резолюцию голосовали все: и большевики, и меньшевики, и эсеры, и беспартийные рабочие. Я прочитаю эту резолюцию. — И читал уже в полную силу своего звучного голоса: — «В Петербурге арестован Совет рабочих депутатов, собрания разгоняются; мы готовы ответить на этот вызов правительства всеобщей забастовкой, надеясь, что она может и должна перейти в вооруженное восстание. Московский Совет рабочих депутатов, комитет и группа Российской социал-демократической рабочей партии и комитет партии социалистов-революционеров постановили: объявить в Москве со среды, седьмого декабря, с двенадцати часов дня всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание»... Теперь нет возражений, товарищ Мазурин?

— Теперь нет. Да здравствует вооруженное восстание! — лихо воскликнул дружинник.

— Московский Совет, — продолжал свою речь Седой, — принял также воззвание «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам». Оно будет напечатано в газете. Сейчас прочитаю несколько строк: «Если бы собрать всю кровь и слезы, пролитые по вине правительства лишь в октябре, оно бы утонуло в них, товарищи... Революционный пролетариат не может дольше терпеть издевательств и преступлений

царского правительства и объявляет ему решительную и беспощадную войну!» Вот такие справедливые слова сказаны в этом воззвании. Товарищи рабочие Прохоровской мануфактуры! Это к вам обращается Московский Совет. Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане! Да здравствует всеобщая забастовка и вооруженное восстание! Кто за это, встань и подними руку.

Все как один встали и вскинули вверх руки.

— Кому поручим передать администрации наши требования? — обратился Седой к собранию.

— Сергею Дмитриеву.

— Осипову Василию.

— Баулину.

— Тюльпину Павлу.

— Ивану Куклеву.

Выкрикивали еще фамилии. Седой встал и поднял руку.

— Достаточно будет и пяти. Стало быть, поручаем товарищам передать директору наше решение. Остальные депутаты разойдутся по своим цехам и отделам сообщить рабочим. Дружинники займут посты у всех фабричных ворот. На фабрику никого не впускать. Ворота открыты только для выхода рабочих с фабрики. Приступайте, товарищи. Командиры дружин останутся здесь.

Еще не все депутаты и дружинники покинули помещение, проходя по предназначенным им постам, когда Мария Козырева, выполнив поручение Седого, вернулась вместе с другой девушкой, одетой так, как одеваются обычно молодые фабричные работницы: плисовая жакетка, длинная черная юбка и на голове шерстяной полушалак. Девушки были ровесницами, обе хороши собою, хотя рядом с броской внешностью Марии красота другой словно бы потускнела.

— Прости, товарищ Наташа, — извинился Седой, — не мог сам дождаться тебя, пришлось вот Марию послать.

— И хорошо, что так, — сказала Наташа и с улыбкой пояснила: — Мы, пока шли сюда, поговорили с Машей по душам и теперь подруги.

Представители боевых дружин Прохоровки, а также Шмитовской и Мамонтовской фабрик, сахарного завода и мастерских Брестской железной дороги столпились около Седого.

— Присаживайтесь, товарищи, — пригласил Седой. — Разговор будет долгий. Не сегодня, так завтра начнем боевые действия. Надо правильно расставить силы, превратить нашу Пресню в несокрушимый боевой лагерь. Ты, товарищ Наташа, садись рядом, будешь записывать. И, как решено было, адреса, фамилии, количество бойцов, время выступления, все это записывать обязательно шифром. Если не успеешь зашифровать, лучше пропусти...

— Успею, — уверила Наташа.

4

Директор Прохоровской Трехгорной мануфактуры Николай Иванович Прохоров разрешил ввести делегатов в свой кабинет.

Помощник заведующего хозяйственной частью, он же и заведующий спальнями Бузников, выйдя в приемную, пригласил рабочих:

— Проходите, директор вас примет.

Сергей Дмитриев, сидевший ближе всех к двери кабинета, как-то замешкался, и первыми вошли высокий и сутулый гравер Иван Баулин и коренастый ткач с озорными веселыми глазами Василий Осипов, а уже за ними Дмитриев и остальные.

Прохоров встал за столом, украшенным массивным письменным прибором каслинского литья, и, указывая на кресла, стоящие полукругом перед столом, сказал делегатам:

— Проходите, садитесь, господа!

— У нас, господин директор, разговор недолгий, так что можно и стоя,— ответил стоявший впереди Баулин, потом обернулся к Дмитриеву и попросил его: — Говори, Сергей.

Сергей Дмитриев, уже вполне оправившийся от минутной растерянности, сделал шаг и подчеркнуто жестко произнес:

— Пришли сообщить, господин директор, что сегодня в двенадцать часов дня все цеха мануфактуры прекращают работу.

Прохоров, не отводя глаз от Дмитриева, взял колокольчик и снова позвонил. Заглянувшему писцу приказал немедленно вызвать в кабинет заведующего ситценабивной фабрикой.

Затем, снова обратясь к Дмитриеву, спросил очень спокойно, как бы полюбопытствовал:

— По какой причине прекращаются работы?

— По постановлению Московского Совета рабочих депутатов,— ответил Дмитриев.

— Не понял,— сказал Прохоров.— При чем тут Московский Совет? Кто поручил ему управлять делами Прохоровской Трехгорной мануфактуры и приостанавливать работы в ее цехах?

— Такое же постановление принял Совет депутатов Прохоровской мануфактуры,— сказал Дмитриев.

— Теперь понятно,— усмехнулся Прохоров.— Каковы же ваши просьбы... требования?

— Пока одно: просим не позднее как девятого, следовательно, в пятницу, выдать всем рабочим и служащим жалованье за истекший ноябрь месяц.

— Распоряжусь,— сказал Прохоров.— Жалованье будет выплачено девятого в первой половине дня.

— А деньги получить из банка поторопитесь,— предупредил директора Баулин.— С завтрашнего дня все банки в городе будут закрыты.

Прохоров хотел спросить, откуда такая осведомленность, но не успел. В дверях кабинета появился запыхавшийся, склонный к полноте заведующий ситценабивной фабрикой инженер Шейнерт.

Удивленный необъяснимым присутствием простых рабочих в кабинете директора и члена правления товарищества, Шейнерт остановился в дверях, спросив лишь:

— Вызывали?

Прохоров жестом пригласил его войти и, когда Шейнерт приблизился к столу, сказал ему:

— Артур Карлович, меня известили, что в двенадцать часов дня прекращаются работы во всех цехах.

— Никак невозможно, Николай Иванович,— возразил Шейнерт,— у меня в отбельных кубах большое количество товара. Неизбежна порча... большие убытки...

Прохоров пожал плечами.

— Дозвольте хотя бы отбельному отделению доработать до двух часов! — взмолился Шейнерт.

Прохоров кивнул в сторону депутатов:

— Объясните им.

Впереди стоял Сергей Дмитриев, и заведующий кинулся к нему.

— Вы-то понимаете в производстве... Только отбельному отделению... на два часа... успеть загрузить, спасти товар...

Сергей Дмитриев снова замешкался с ответом. Тогда ответила стоящая за ним ткач Василий Осипов:

— Все цеха останутся в двенадцать часов. Так решил Совет депутатов, так и будет!

Взволнованный и раскрасневшийся Шейнерт заметался от одного к другому:

— Но как же? Как же, господа депутаты?

— Оставьте, Артур Карлович,— сказал ему Прохоров с брезгливой усмешкой.— Вы же видите, что они не вольны в своих действиях.

— Ошибаетесь, господин директор,— резко возразил до того молча прислушивающийся к разговору ткач Иван Куклев, годами самый старший из всей делегации, на висках и в густых усах у него обильно поблескивала седина.— Сильно ошибаетесь. У нас, у рабочих то есть, своя голова имеется.

— Значит, вы в состоянии понять, что бессмысленно ввергать фабрику, которая вас кормит, в тысячные убытки из-за каких-то двух часов.

— Опять ошибаетесь, господин директор,— строго, но спокойно сказал Куклев.— Рабочая солидарность дороже всяких тысяч.

— Я же безотказно принял вашу просьбу выплатить всем жалованье. Могли бы и вы пойти навстречу администрации.

Иван Куклев только руками развел. Возразил директору гравер Баулин:

— Мы свое потребовали. И никакого тут вашего одолжения нет, господин директор. Обратно скажу, за вами еще должок остается за неделю, что в декабре проработали. Да мы в надежде.— И Баулин широко усмехнулся.— За вами не пропадет... Только вам попрекать нас нечего... — Потом обернулся к остальным и словно скомаандовал: — Пошли по своим цехам, ребята!

5

Заседание на малой кухне продолжалось. Обсуждали вопрос, как и где добыть оружие.

— Есть у меня соображение,— заявил, поглаживая по привычке окладистую бороду, старик Иванов, выполнявший обязанности казначея прохоровской боевой дружины.— Оружие можно добыть, коли деньги будут.

— Много ли их у тебя, Василий Иванович? — с усмешкой спросил депутат Сергей Филиппов.

— То и беда, что мало,— ответил старик Иванов.— Но можно сделать, чтобы стало много.

— Каким образом? — поинтересовался и Седой.

— С миру по нитке — голому рубаха,— назидательно произнес старик Иванов.— А ежели мир большой, то и не одна рубаха. Сбор надо объявить. Как станут ноябрьское жалованье выдавать, тут и собирать с каждого. Понемногу, по копейке с рубля. Каждому посылно, и никто поперек не пойдет. А со всей фабрики может и тыща рублей насобираться.

— Дельно! — безоговорочно поддержал казначея внимательно его слушавший начальник одной из прохоровских боевых дружин.

— Так-то оно так,— согласился Седой.— А если кто воспротивится, не пожелает даже и копейки своей отдать?

— А это смотря кто,— сказал Сергей Филиппов.— Ежели по недомыслию — объясним, а ежели по супротивству — заставим.

— Убедил,— сказал Седой.— А кому поручим объявить и провести сбор? Дело, товарищи, не простое. Надо суметь и убедить и заставить.

— Поручить депутатам,— сказал Сергей Филиппов и перечислил: — Сергею Дмитриеву, Василию Осипову, Ивану Баулину и... Сергею Филиппову.

— Дельно! — одобрительно произнес Медведь, начальник одной из самых крупных прохоровских дружин.— Это хорошо, что за других не схоронился.

— Чего уж теперь хорониться,— засмеялся Сергей Филиппов.

— Это дело решили,— подытожил Седой.— А у тебя, Василий Иванович, как я понимаю, имеется купец на примете?

— Правильно понимаете, товарищ Седой,— подтвердил старик Иванов.— Вы только мне на подмогу пяток ребят надежных и непужливых, и в тот же день доставим товар на место.

— А если вдруг проверят по дороге? — спросил кто-то из дружинников.

— Гробы не проверяют,— возразил Иванов.— А как на Ваганьковское привезем, тогда уж поздно проверять будет...

Вернулись Сергей Дмитриев и Василий Осипов. Доложили, что работа в двенадцать часов повсеместно прекращается и что послезавтра выдача жалованья. Тут же им сообщили, что решено собирать на оружие по копейке с рубля.

— Понятно,— сказал Сергей Дмитриев.— Собирать кто будет?

— Мы с тобой, тезка,— подал голос Сергей Филиппов.

— Понятно... — повторил Сергей Дмитриев.— Веселенькое дело, не соскучишься.

Зиновий намеревался сам проводить Наташу до ее конспиративной квартиры в Грузинах. Но пришел связной и сообщил, что Седому надо быть в Московском комитете. Велели передать, что вопрос особо важный и явка строго обязательна.

— Проводи ее, пожалуйста,— попросил Седой Марию Козыреву,— она еще не освоилась в Москве.

— Со мной не потеряется,— бойко заверила Мария и откровенно стрельнула глазами.— Тебе куда идти-то? — спросила у Наташи.

— В Грузинах я остановилась,— ответила та.

— Это недалеко, мигом добежим,— сказала Мария,— только сперва ко мне заскочим, рядом здесь, на Ваганьковский проезд. Надо мне Тимофею сказать, что отработались.

Они спустились с высокого крыльца малой кухни, не обращая внимания на заигрывания молодых парней, толпившихся у входа, поднялись по Пресненскому валу до заставы, пересекли площадь и, миновав несколько заснеженных переулков, добрались до дома, где квартировала Мария Козырева.

Двухэтажный, обшитый когда-то крашенным, теперь выцветшим тесом флигель укрылся в глубине просторного двора. Протоптанная в снегу тропа вела к входу.

— Заходи,— пригласила Мария.

— Может быть, мне лучше подождать здесь? — спросила Наташа.

— Вот еще, стоять на морозе, заходи.

И, отворив обитую пегим войлоком дверь, пропустила Наташу в дом.

После яркого дневного света длинный коридор показался совсем темным, и Наташа с опаской остановилась у самого порога. Когда глаза несколько попривыкли, рассмотрела жестяной умывальник, подвешенный на вбитом в стену крюке, и под ним шайку, наполовину заполненную водой, а дальше два ряда узких дверей по обе стороны коридора.

Мария постучала в соседнюю с умывальником дверь.

— Кто там? Входи,— слышался из-за двери густой мужской голос.

Мария приоткрыла дверь, заглянула в комнату.

— Я не одна.

— Входи все, сколь есть.

— Входи, Наталья,— сказала Мария и, распахнув дверь, пропустила ее.

Сидевший на небрежно заправленной кровати худощавый молодой мужчина с расчесанными на косой пробор светлыми волосами поднялся неторопливо.

— Это моя новая подруга, Натальей зовут,— представила ее Мария.

— Тоже дружинница? — спросил мужчина довольно хмуро.

Мария коснулась губ кончиком пальца и с усмешкой возразила:

— Баб в дружинники покудова еще не берут. Модистка она, нялпница. И вообще по нарядам мастерица.

Наташа сразу даже и не поняла, с какой стати наделили ее такой профессией.

— Я чего зашла, Тимофей,— продолжала Мария.— На работу не ходи. Все забастовали.

— Все мне не указ,— совсем уже хмуро возразил Тимофей.— Я сроду не бастовал и сейчас не буду.

— Да пойми ты, все ушли из цехов. Ворота на замке.

— Это... стало быть, и завтра не работать,— сообразил наконец Тимофей.

— И послезавтра и послепослезавтра.

— А ты почему знаешь?

— На собрании объявили.

— Не таскалась бы ты лучше по этим собраниям,— с сердцем вымолвил Тимофей.

— А вот это не твоего ума дело,— резко бросила Мария и круто повернулась к двери.— Пошли, Наталья.

— Я тогда, однако, в деревню съезжу, ежели эта неделя нерабочая, чего мне здесь околачиваться,— сказал Тимофей.— Съезжу дня на два либо на три.

— По мне хоть навовсе уезжай,— сердито ответила Мария и даже дверью хлопнула...

— А ты, я вижу, куда как строга с мужем,— сказала Наташа, когда они вышли за ворота.

— Какой он мне муж! — Мария даже помрачнела и в сердцах махнула рукой.

— А кто же?

— Хахаль,— резко ответила Мария.

Но Наташа словно не заметила ее резкости, спросила спокойно:

— А почему?

— Что почему?

— Ты такая... красивая, если бы захотела, разве не могла бы семью завести?

— Семейно...— Мария пристально посмотрела на нее, сдвинув брови.— Нагляделась я на эти семьи. Та же каторга. Обложится ребятишками, потом день на фабрике, ночь у корыта. Да еще благоверный либо косу выдерет, либо синяков наставит...

— А твой не дерется?

— А он мой до первого замаха. Он это понимает. Что он мне? Повернулась и пошла. Это ежели повенчаны, тогда уж терпи.

— Однако все стремятся замуж.

— Дуры, потому и стремятся,—отрезала Мария. А после недолгого молчания спросила: — Сама-то замужем?

— Еще не успела,— отшутилась Наташа.

— Отчего же? Ты вон какая глазастая да еще и ученая. Ты, какой тебе поглянется, такого и отхватишь.

— Да вот...— и Наташа грустно улыбнулась,— как-то все не до этого...

— Ладно уж. не прикидывайся.— Мария хихикнула.— Я на этот счет приметливая. Сразу разглядела, как вы с нашим командиром друг на друга смотрите. Да ты не смущайся. Я ведь не в укор. Он мужчина представительный и самостоятельный...— И, помолчав, сказала неожиданно: — Мне бы такого...

Когда пришли в Грузины и отыскивали дом, где остановилась Наташа, она пригласила новую свою подругу согреться чашечкой чая. Мария, несколько не жеманясь, приняла приглашение.

Полутемная арка вывела их в тесно застроенный двор. Три очень схожих между собой двухэтажных каменных флигеля заполняли его.

— Вроде бы этот,— сказала Наташа. Подошла поближе, пригляделась к входной двери и уже решительно произнесла: — Этот!

Пока поднимались по деревянной поскрипывающей лестнице на второй этаж, Мария спросила:

— Не обозналась?

— Нет. Ручка на двери со щербинкой,— объяснила Наташа.

Комнатка, куда они вошли, крохотная, узенькая, едва можно протиснуться мимо койки, стоящей у стены с маленьким окошечком, приподнятым высоко от пола, больше годилась бы для чулана, да таковым, наверно, и было ее изначальное предназначение.

— Ну и хоромы тебе сыскали,— сказала Мария.

— Не век тут жить,— отшутилась Наташа.

Достала из горки объемистый пузатый чайник с голубыми цветочками по крутым бокам и скрылась за дверью. Довольно быстро вернулась, и началось чаепитие. Наташа, налив Марии чаю, хотела бросить в чашку несколько кусочков сахара.

Но Мария перехватила ее руку.

— Баловство! — сказала она неодобрительно.— Да вприкуску-то слаще... А вот чай хорош, густой...

— С детства привыкла,— сказала Наташа.— У нас в Сибири всегда крепкий чай заваривают.

— А ты откуда из Сибири? — полюбопытствовала Мария.

— Из Омска...

И дальше слово за слово разговорились по душам.

Мария Козырева поведала, как росла сиротой в деревне у чужих людей, как убежала в Москву, поступила в услужение, потом подросла и стал ее караулить по углам хозяйский сын-гимназист. Пришлось уйти от хозяев, хоть ухаживать и неохота было, хорошие были хозяева. Поступила на Прохоровскую фабрику, сошлась с Тимофеем и живет хоть и сытно и нарядно (Тимофей подмастером работает, жалованье хорошее, и на нее не скупится), а все равно тоскливо. Вот теперь только, как начались митинги и собрания, а потом и забастовку объявили, повеселела жизнь...

В свою очередь узнала о Наташиной судьбе. И немало подивилась услышанному.

Наташа не чета ей. Родилась и выросла в состоятельной семье. Отец священник. Да не в какой-нибудь захудалой сельской церквушке, а в городском соборе... А Наташа пошла по другой дорожке. Еще когда училась в Питере, участвовала в рабочих кружках. И в Москву приехала поэтому же... Почему именно в Москву приехала, не сказала Наташа. А Мария не стала допытываться. Чего спрашивать, когда и так все ясно...

6

В тот вечер на малой кухне было жарко. Началось с того, что депутат Иван Куклев сообщил: рабочие прямо берут за грудки и спрашивают, что дальше.

— И что я им должен отвечать?

— Ждать сигнала,— как всегда немногословно, высказался Медведь.

— Я примерно так и ответил,— сказал Иван Куклев,— а мне говорят: «Мы что, телята? Ждать, а чего ждать, неизвестно?»

— И мне так сказано было,— поддержал товарища депутат Иван Баулин.— Недовольны рабочие. Объявили стачку, восстанием поманили, а где оно, восстание-то?

— И все так говорят? — спросил его Седой.

— Нет, не все.— должен был признаться Иван Баулин.— Много и таких, которые одного слова «восстание» пугаются. Некоторые даже уходят из спален в Замоскворечье. Говорят, там спокойнее. Есть и такие, что в деревню подались.

— Вот видите, товарищи, какие дела,— сказал Седой, выслушав его.— Что же получается? Где же рабочая солидарность?

— Рабочая солидарность проявится, когда от слов перейдем к делу,— сказал Василий Осипов.

— Золотые слова! — подтвердил Седой.— И я такого же мнения, товарищ Осипов. Пора начинать. Но одним начинать нельзя. Одну Пресню задавят запросто. Надо, чтобы все разом — Пресня и Симоново, Лефортово и Замоскворечье, Бутырки и Сокольники. Тогда уже не генерал-губернатор Дубасов, а мы будем хозяевами в Москве... Да, видно, не все еще готовы. Ведь и мы, если по совести сказать, не совсем еще готовы.

— Так что же делать? — повторно спросил депутат Иван Куклев.— Ждать?

— Нет! — твердо ответил Седой.— Не ждать, а готовиться!

Прямо из малой кухни Седой, Медведь и с ними еще несколько пресненских депутатов и свободные от дежурства дружинники отправились в «Аквариум». Когда они пришли, собрание уже было в разгаре. Проходило оно крайне бурно. Только что стало известно: накануне поздно вечером охранка арестовала боевой штаб готовящегося восстания — Федеративный совет и в числе прочих его членов руководителей московских большевиков Виргилия Шанцера (Марата) и Михаила Васильева-Южина. Все выступающие призывали к немедленному вооруженному восстанию, и каждый призыв встречался одобрительными возгласами и бурными аплодисментами переполненного зала.

Председательствовал на собрании член Исполнительной комиссии Московского комитета Мартын Николаевич Лядов. После ареста Шанцера и Васильева-Южина только он из членов Исполнительной комиссии остался на свободе, и теперь ему — одному из ближайших соратников Ленина, профессиональному революционеру, делегату II и III съездов партии — выпало принять на себя груз забот по руководству восстанием.

Мартын Николаевич жадно вслушивался в речи ораторов, призывавших к восстанию, и эта увлеченность отражалась на его худощавом, с тонкими, правильными чертами лице.

Седой прошел на сцену. Лядов его пригласил сесть рядом с собой. Седой сообщил, что на Пресне готовится массовая демонстрация и что пресненские рабочие рвутся в бой.

— Выступи и расскажи о настроениях пресненцев,— предложил ему Мартын Николаевич.

— Я и сам хотел просить слова,— сказал Зиновий.

Но выступать ему не пришлось.

Из-за кулис на сцену вбежал начальник дружины, охранявшей собрание.

— Казаки окружили сад,— доложил он председательствующему.— Хватают поголовно всех и обыскивают. У кого находят оружие — бьют смертным боем...

— Твой совет? — спросил Лядов у Седого.— Принимать бой или уходить?

— Принимать бой нельзя,— ответил Седой.— Казаки — это только для затравки. Конечно, к площади подтянут пехоту с пулеметами, а то и с артиллерией. Уходить тоже нельзя. Всех, кого заподозрят, казаки шашками посекут.

— Выходит, ни так ни эдак,— усмехнулся Мартын Николаевич.— Что же предпримем?

Седой на какую-то минуту задумался.

— На собрании не все наши люди,— сказал он.— Много и таких, кто из любопытства заглянул. Обывателей, так сказать. Их, надеюсь, казаки не тронут. Сказать им, что собрание закрыто, пора по домам. И пусть уходят подобру-поздорову. А нам прорываться в обход.

— Дельно,— поддержал появившийся из-за кулис Медведь.— Я уже посмотрел. Забор можно разобрать и выйти во двор комиссаровского училища. Там сильная боевая дружина. Если казаки вздумают преследовать, можем и бой принять.

После неизбежной сумятицы и суматохи разобрались кому куда, и определились два потока. Один через входные двери к воротам, ведущим на Большую Садовую. Другой через кулисы и театральный вход в глубь двора, а там через пролом в заборе во двор комиссаровского училища, где молодые дружинники встречали гостей и разводили их по классным комнатам.

Свою пресненскую дружину Седой поместил в отдельной комнате на втором этаже. Разбил на три взвода, назначил начальников взводов: себя, Медведа и Владимира Мазурина. Определил время вахты: первому взводу до полуночи, второму — от полуночи до трех часов утра, третьему — от трех часов до шести.

— А после шести опять первому взводу? — спросил кто-то из дружинников.

— К шести часам здесь не должно быть ни единой души,— ответил Седой.

Он сам развел и выставил караулы ко всем входам и выходам и на лестницах, ведущих с этажа на этаж. Трем бойцам училищной дружины, выделенным ему для связи, приказал обойти помещения, уложить всех спать и проверить, везде ли погашены огни. После этого проверил, где улеглись Медведь и Мазурин, чтобы, если понадобится, ночью сразу найти их, а потом отошел к окну и присел на подоконник так, чтобы виден был выход из переулка на Тверскую.

Редкие огни в окнах окрестных домов гасли один за другим, и скоро за окном ничего уже нельзя было различить. Только на углу Тверской и Старопименовского переулка горели костры, вокруг которых грелись солдаты.

Стояла настороженная тишина, время от времени разрываемая одиночными выстрелами, а иногда и винтовочными залпами. Через несколько часов он узнает о зловещей сути этих залпов, пока же они лишь напоминали ему, что враг рядом.

Время шло; интервалы между залпами и выстрелами становились все продолжительнее, и наконец все стихло. И ничто не отвлекало его от глубоких раздумий...

Теперь уже ясно, что восстание неотвратимо. После сегодняшнего налета казаков на мирное собрание, после наглых обысков и избиений даже самые умеренные или, проще сказать, трусливые должны понять, что силе надо противопоставить силу. Жизнь подтвердила правоту тех, кто подобно ему призывал к восстанию.

И правильно поступали они на Пресне, положив все силы на создание боевых дружин, на вооружение рабочих. Если бы в каждом районе так, уже завтра Москва была бы в руках восставшего пролетариата... Готовых к борьбе людей и сейчас много, пусть в одном районе больше, в другом меньше, а по всей Москве наберутся тысячи убежденных бойцов.

И вспомнилось ему, как на бюро Московского комитета разгорелся жаркий спор, когда обсуждали план вооруженного восстания. Виргилий Шанцер требовал оттянуть все боевые дружины в центр, объединить в одну боевую армию и ударить по главной цели. Взять штурмом резиденцию генерал-губернатора, провозгласить в Москве власть Советов рабочих депутатов и обратиться с революционным призывом ко всей России. Ему возражал Станислав Вольский. Он

предлагал начать повсеместные восстания в районах, утвердить там власть Советов рабочих депутатов, окружить железным кольцом правительственный центр и принудить его к капитуляции.

Большинство склонялось к тому, чтобы принять план Вольского, и ему, Литвину, самому тогда казалось, что начинать надо с восстания в районах. Теперь же ему думалось, что смелее и, стало быть, вернее был бы план Виргилия Шанцера... Надо было тогда же, не теряя времени, привести его в исполнение... А теперь нет в их рядах ни Шанцера, ни Васильева, ни Вольского.

Теперь, хочешь не хочешь, начинать надо с восстания в районах. Прохоровцы, да и вся Пресня, уже готовы подняться с оружием в руках. Верно говорили об этом сегодня депутаты Куклев, Баулин и Осипов...

И перебирая в памяти эпизоды заседания на малой кухне, словно споткнулся. А как же Надя? Сам не смог проводить и поручить не успел никому... Если ее захватят с записями, не миновать беды. Охранка теперь лютует, не пощадит ни женщину, ни ребенка... Ах, Надя, Надя!

И тут же оборвал себя. Нет в Москве никакой Нади! Для тебя, как и для всех, — товарищ Наташа.

В тревожных мыслях прошло время до полуночи. Разбудил Медведя, вместе с ним обошел и сменил караулы. Приказал в случае малейшей тревоги разбудить и его. Лег на нагретое Медведем место и на удивление быстро заснул.

Разбудили его Медведь и Володя Мазурин. Зажег спичку, взглянул на часы: без четверти пять.

— Только что погасили костры на Тверской и на Страстной площади, — доложил Володя Мазурин.

— Откуда известно, что и на Страстной?

— С чердака видно.

Первая мысль: назревает внезапная атака. Приказал поднять всех спящих и приготовиться к бою. На улице по-прежнему было тихо. Стал выяснять у дружинников-учащихся, можно ли незаметно выйти из училища. Ответили, что из училища два выхода: парадный — в Благовещенский переулок и второй — во двор. Скорее всего оба под наблюдением.

И тогда кто-то предложил спуститься с чердака по водосточной трубе вдоль боковой стены. Словом, там, где не могут заметить ни с улицы, ни со двора.

Охотников сыскалось больше чем надо. Снарядили две группы молодых дружинников — ребят по пятнадцать-шестнадцать лет — по три человека в каждой. Выпустили первую группу разведчиков, спустя несколько минут — вторую и с нетерпением стали ждать.

Прошло более получаса. Седой начал уже корить себя, что отправил ребят на погибель. И тут условный стук в парадную дверь. Быстро разобрали завал из столов и прочей училищной мебели, впустили разведчиков.

— Все ушли, — запыхавшись, докладывали ребята. — И казаки и солдаты. Никого нет.

Сообщили и трагическую вест. На Страстной площади несколько раз расстреливали задержанных войсками людей. Об этом рассказал ребятам ночной сторож елисеевского магазина. Эти залпы и слышны были вечером и ночью.

Послал Медведя с группой дружинников проверить, свободен ли проход на Садовую и Большую Никитскую. Через несколько минут вернулся связной от группы Медведя.

Путь был свободен. Времени терять было нельзя. И небольшими группами по пять—десять человек все, укрывшиеся в училище, разошлись.

«ЕСЛИ БЫ СОБРАТЬ ВСЮ КРОВЬ И СЛЕЗЫ...»

1

Огромный обеденный зал большой кухни был переполнен. Усевшие войти первыми сидели за столами, словно пришли на обед, с тою лишь разницей, что были одеты, и за столом, определенным на шесть человек, теперь разместились по семь, а то и по восемь. И все же все не уселись. Теснились в проходах между рядами столов, вдоль стен, перед разделкой, перед раздаточными окнами.

Став на скамью, возвышался над толпой седобородый депутат Василий Иванов, гравер с Прохоровки, выбранный председателем собрания. По одну сторону от него — Седой, далеко приметный шапкою седых кудрей, по другую — плотный, кряжистый Медведь, и на этой же скамье депутаты Сергей Дмитриев и Иван Баулин.

Седой закончил свою короткую взволнованную речь боевым призывом:

— Товарищи рабочие Прохоровской мануфактуры! Только с оружием в руках отстоим мы свои права! Вступайте в боевую дружину! Превратим нашу фабрику, всю нашу Пресню в несокрушимый боевой лагерь! К оружию, товарищи!

Слова его потонули в аплодисментах, одобрительных возгласах, криках «ура». И резким диссонансом в общем боевом настроении прозвучал одинокий выкрик:

— Под пули загнать норовишы! Не надо нам оружия. Надо по-хорошему, миром да добром.

Кричал рослый мужик в нагольном полушубке, стоявший в проходе между столами.

— Провокатор! — взорвался зал.

— В шею его!..

Десятки рук потянулись к мужику.

— Тихо, товарищи! — во всю силу своего голоса крикнул Седой. — Это ведь свой, рабочий человек. И смелый к тому же. Не боялся поперек всех сказать. Он нашу правду поймет и хорошим дружинником будет. — И уже обратился прямо к нему: — Слушай, ты, миротворец. И если кто согласен с ним, тоже слушайте. Когда в январе питерские рабочие пошли к царю с миром, семейно, с иконами и царскими портретами, царь приказал в рабочих стрелять. Одним махом три тысячи положил. А ведь это очень много — три тысячи. Вдвое больше, чем нас сейчас здесь собралось... Вот как ходить к царю с миром. А имеется и поближе пример. Вчера вечером собрались на митинг. Вот он был, — Седой указал на Сергея Дмитриева, — и он тоже, — указал на Ивана Баулина, — и еще многие из прохоровцев. Собрание самое мирное, а пришли жандармы и казаки и разогнали нас. Кто сумел, ушел, не сумел — в тюрьму попал. Да если бы знали в охранке, что мы тут сейчас собрались, так мигом бы прискакали казачьи сотни. Вот потому и нельзя миром, а надо с оружием.

В малой кухне Седого ждал связной из Московского комитета. Лицо его показалось Зиновию очень знакомым. Да и связной — паренек лет восемнадцати — тоже, по-видимому, узнал его.

— Павлуша!

— Он самый, товарищ Седой, — с достоинством ответил Павлуша.

Он сообщил, что сегодня вечером в училище Фидлера на Чистых прудах, а точнее если, то на углу переулков Лобковского и Мыльниковых, состоится собрание представителей рабочих и студенческих дружин всех районов Москвы. И еще сказал, что ему — Седому — надо будет выступить на этом собрании.

— Передашь, что я не смогу быть, — сказал Седой. — Уже назначил сбор начальников дружин. А представители нашего района будут.

И поручил Володе Мазурину взять с собой шесть человек дружинников по своему выбору и представлять на собрании от Пресненского района.

2

Когда Володя Мазурин со своими дружинниками добрался до Чистых прудов, уже изрядно стемнело. Фонари на улицах не горели, и тротуары освещались лишь скудным светом, падающим из немногих освещенных окон. По счастью, Володя детство провел на Чистых прудах, и потому даже в темноте они быстро дошли до Лобковского переулка. Здесь вечерняя темень приметно разределась. Окна четырехэтажного дома в конце квартала были освещены так ярко, что с успехом заменяли погасшие уличные фонари.

— Что за дом? — спросил самый молоденький из дружинников и потому самый любопытный.

— Это и есть училище Фидлера, — ответил ему Володя.

— А пошто светится?

— Ты, Пантелей, шибко любознательный, — усмехнулся Мазурин и пояснил: — Своя у них в училище электростанция, стало быть, и свет свой.

У входа в училище пресненских дружинников остановили часовые. Мазурин назвал пароль, и их тут же пропустили в вестибюль. Но на широкой — не меньше двух сажен — парадной лестнице их еще раз остановили, и пришлось повторить пароль.

Затем их провели на второй этаж, в зал, где уже шло не то собрание, не то занятие. Высокий человек в солдатской форме с унтер-офицерскими лычками на погонах, стоя на возвышении, показывал различные приемы рукопашного боя: как правильно делать выпад в штыковом бою, как укрываться винтовкой от сабельного удара конного противника и другие.

Актальный зал училища, в котором проходило занятие, был переполнен. Пресненцы с трудом отыскивали свободные места в дальнем углу. Но едва они уселись, как раздался сигнал тревоги.

Унтер, руководивший занятиями, подал команду:

— Все, кто с оружием, немедленно вниз!

Пресненцы были вооружены револьверами и вместе со всеми выбежали в коридор. Снизу, из вестибюля, доносились глухие удары. В здание ломались, разбивая двери. Пресненцы протиснулись к парадной лестнице, на ступенях которой стояли уже вооруженные дружинники.

Расталкивая их, вниз по лестнице бежал владелец училища Иван Иванович Фидлер. Он спешил открыть двери, но опоздал. Ударами прикладов солдаты сбили запоры, и двери распахнулись. Солдаты с винтовками наперевес ворвались в вестибюль.

Унтер-офицер, руководивший занятиями в зале, крикнул громким голосом, перекрывая шум:

— Товарищи! Без команды не стрелять!

А высокий студент, начальник боевой дружины Высшего технического училища, подошел вплотную к солдатам и стал убеждать их покинуть здание, не доводя до пролития братской крови.

Командовавший драгунами ротмистр Рахманинов приказал студенту:

— Немедленно отойдите. Иначе прикажу стрелять!

Студент не виновался. Фидлер обнял его за плечи и уговорил отойти в сторону.

В вестибюле появился пристав 1-го участка Яузской части Гедеонов с отрядом полицейских. Гедеонов потребовал, чтобы все посторонние немедленно покинули здание. Фидлер ответил, что если полицейские и солдаты покинут вестибюль, то он обязуется проследить, чтобы ни один посторонний не остался в училище.

Гедеонов согласился беспрепятственно отпустить лишь не имеющих оружие. Фидлер настаивал на своем. Тогда полицейский пристав предложил: отпустить сейчас всех безоружных, относительно же лиц вооруженных он доложит начальству и поступит согласно полученному указанию. Фидлер посоветовался со студентом, начальником дружины, и сказал полицейскому приставу, что принимает его предложение. Безоружных стали выпускать из училища, причем полицейские на выходе тщательно их обыскивали.

Фидлер поднялся на второй этаж и пригласил к себе в кабинет всех начальников дружин. Передал условия полицейского пристава Гедеонова. Все с возмущением отвергли предложение о сдаче оружия.

Фидлер умолял принять условия полиции.

— Лучшее, наиболее ценное оружие — винтовки, карабины, маузеры, бомбы — спрячем в подвале, в тайниках, где его никто не найдет, — убеждал он. — Сдадим маловажное оружие: револьверы, кинжалы. Клятвенно обещаю приобрести взамен новое, лучшее. Сейчас важнее всего сберечь людей.

Но начальники дружин твердо стояли на своем: всем должен быть обеспечен свободный выход из здания.

— Как мне убедить вас! — с отчаянием в голосе воскликнул Фидлер.

— Не надо убеждать, — ответил ему кто-то из начальников дружин. — Оружие мы не отдадим.

Тогда Фидлер послал пригласить в кабинет пристава Гедеонова. Пристав пришел вместе с ротмистром Рахманиновым.

— Дружинники не сдадут оружия. И требуют беспрепятственно отпустить их всех.

— Я должен доложить его высокопревосходительству, — ответил Гедеонов.

Фидлер указал ему на висящий на стене телефонный аппарат. Гедеонов вызвал резиденцию, попросил соединить его с генерал-губернатором. И доложил, что здание училища оцеплено, в нем находятся вооруженные лица, которые требуют освобождения с оружием.

Адмирал Дубасов ответил одним словом: «Расстрелять!»

И выкрикнул это так зычно, что его отчетливо услышали все, кто находился в кабинете.

Гедеонов трясущейся рукой повесил трубку на крюк аппарата и обернулся к начальникам дружин.

— Слышали?

— Слышали, — ответила за всех высокий студент, начальник дружины Высшего технического училища. — Мы не сдадимся.

Гедеонов предпринял новую попытку:

— Господа! Молодые люди... Не как представитель власти, а как многожды старше вас убеждаю прекратить бесполезное сопротивление... Силы не равны, сопротивление бессмысленно... Вспомните о своих матерях, о всех своих близких.

— Не тратьте понапрасну слов, господин полицейский пристав, — сказал студент. — Мы давно все решили.

— Я исчерпал все возможности, — сказал Гедеонов. — Передаю свои полномочия военным властям. — И, поклонившись Фидлеру, вышел из кабинета.

Ротмистр Рахманинов, до того с жесткой усмешкою на продолговатом холеном лице слушавший разговор, выдвинулся вперед и предъявил свой ультиматум. Обращался он как бы только к владельцу училища Фидлеру, но ясно было всем, что обращен его ультиматум прежде всего к руководителям боевых дружин.

— Если в течение четверти часа не последует сдача оружия, солдаты будут выведены на улицу и после трехкратного предупреждения по зданию будет открыт огонь, — пригрозил ротмистр. И, немного помолчав, добавил: — Рукопашной не будет.

Ровно через пятнадцать минут ротмистр приказал драгунам покинуть здание.

Сразу же загрохотали парты, которые сбрасывались прямо по лестнице со второго этажа. Из парт быстро сложили баррикаду, наглухо закрывшую главный вход. В это время с улицы донесся резкий звук рожка. С полуминутными интервалами он был повторен трижды. И едва отзвучал последний сигнал, раздался пушечный выстрел, потрясший все здание.

— Из пушек бьют! — раздался громкий испуганный возглас.

Предупреждая панику, начальник студенческой дружины громко крикнул:

— Не пугайтесь! Это взорвалась наша бомба.

Вряд ли это могло кого-нибудь успокоить. Тем более что на глазах у всех первым же снарядом был убит один из учеников фидлеровского училища и ранены несколько дружинников.

На первый снаряд нападавших осажденные ответили несколькими бомбами, брошенными из окон верхнего этажа, и беглыми, но довольно беспорядочными выстрелами. Разрывом бомбы были убиты молоденький прапорщик и три или четыре казака. Пушечные выстрелы следовали один за другим с интервалами ровно в минуту. Каждый снаряд умножал число жертв. Одним из первых же снарядов была повреждена электростанция, и все здание погрузилось в темноту. Фидлер принес из своей квартиры несколько стеариновых свечей, и их зажгли по две на каждом этаже. Но после ярких электрических ламп трудно было что-либо разглядеть в тусклом и колеблющемся свете.

После двенадцатого выстрела бомбардировка училища приостановилась. Начальники дружин вновь, уже при свете свечей, собрались в кабинете Фидлера. На этот раз мнения разошлись.

— У моих дружинников кончаются патроны, — сказал один начальник дружины.

— У всех кончаются, — сказал другой.

Но большинство командиров дружин по-прежнему были против капитуляции.

Через пятнадцать минут обстрел возобновился. Теперь навочки упорно били по одному и тому же месту — по простенкам между окон первого этажа. После четвертого выстрела обрушилась часть стены. При молчаливом согласии всех начальников дружин владелец училища статский советник Иван Иванович Фидлер приказал вывести в окне белое полотнище.

Каждый дружинник в дверях должен был сдать оружие, после чего его еще и тщательно обыскивали. Обезоруженных отводили во двор соседнего дома под строгую и надежную охраной.

— Что же, повинимся и оружие отдадим? — спросил у Мазурина Пантелей Кривобоков.

— Держитесь за мной! — приказал своим дружинникам Володя и устремился в дальний конец коридора.

Черным ходом он вывел их во внутренний двор училища. Там по водосточной трубе взобрались они на крышу замыкающего двор сарая. Мазурин, поднявшийся первым, нетерпеливо понукал остальных, больше всего опасаясь, как бы кто в темноте не оборвался и не рухнул вниз. Но все сошло благополучно, ребята молодые, здоровые, осилили необычный подъем без особого труда. А то, что в глухом дворе было темно, как в колодце, даже и хорошо: солдаты не заметили беглецов.

— Теперь ползком за мной! — скомандовал Мазурин и осторожно пополз вверх по заснеженной крыше.

Когда перевалили через гребень крыши, отлегло от сердца. Теперь не увидят. Передохнули минуту-другую, отдышались, оттерли снегом застывшие ладони.

— Как это ты сообразил, Владимир? — спросил кто-то из дружинников. — И как в такой темноте углядел трубу?

— Еще когда мальчишкой был, — ответил Мазурин, — мы с ребятами в школьный двор через эту самую крышу не один раз лазили. Там в столовке всегда пожить можно было... Ну вот, как прижало, вспомнил...

Передохнув, перебрались на другую крышу, там спустились и проходными дворами выбрались в Большой Харитоньевский, а оттуда — на Садовую-Черногрязскую. Не менее часа добирались по Садовым улицам до Кудринской площади. И вот тут, на пороге Пресни, когда до малой кухни осталось рукой подать, тяжело ранило самого молодого и нетерпеливого — Пантелея Кривобокова.

3

Вокруг Седого за одним длинным столом расположились начальники прохоровских дружин — Медведь, Василий Честнов, представители боевых дружин Шмитовской и Мамонтовской фабрик, завода Грачева, сахарного завода, железнодорожных мастерских, а также почти все депутаты, избранные в Совет рабочими Прохоровки. Сбоку стола пристроилась Наташа со своими записями. У входа в малую кухню стояли на карауле двое дружинников, вооруженных револьверами.

Все, включая и караульных у входа, внимательно слушали Седого.

— Мы начали всеобщую политическую стачку, значит, бросили вызов царскому правительству, — говорил он. — Проще сказать, мы объявили правительству войну. Не надо обманывать себя пустой надеждой, что царизм уступит без боя. Вооруженная борьба неизбежна. Она начнется в ближайшие дни, может быть, часы. Надо срочно, не теряя ни минуты, готовиться к вооруженному восстанию! — Окинув всех взглядом, Седой продолжал: — Чтобы вести бой, нужен боевой штаб. Создать его, и создать немедленно, нам рекомендуют Исполнительная комиссия Московского комитета партии и Московский Совет рабочих депутатов.

Согласно решили создать штаб пресненских боевых дружин. Так же единодушно определили начальником штаба Седого, в помощь ему — Медведя.

— Начнем первое заседание нашего боевого штаба, — произнес несколько даже торжественно Седой. — Обсудим план подготовки боевых действий на Пресне. Мы уже посоветовались с товарищами Медведем, Николаевым, Мантулиным и выносим его на ваше обсуждение.

Он достал из кармана листы бумаги, исписанные крупным почерком, расправил их, положил на стол перед собой.

— Разберем по порядку. Первое: срочно вооружаться. Добывать оружие любым, каким только возможно, способом. Отбирать оружие у полицейских. Реквизировать в оружейных мастерских и магазинах. Окружать, задерживать, обезоруживать малочисленные патрули и казачьи разъезды. Объявить сбор оружия у населения. На всех фабриках и заводах, где есть механические мастерские, наладить изготовление холодного оружия — пик, кинжалов, сабель. Какие имеются, товарищи, мнения по первому пункту? Давайте обсудим.

— Мнение одно, — как обычно не спеша и степенно, произнес кряжистый, сурового вида человек, начальник шмитовской боевой дружины Михаил Николаев, — добывать оружие любым путем. В нашей дружине, конечно, с оружием неплохо обстоит. Николай Павлович Шмит, хозяин наш, не поспешил, но и нам, если еще добудем, не лишнее будет. Удвоим, утроим число дружинников. Сейчас все дело за оружием.

— Надо на всех фабриках и заводах сбор сделать, как мы у себя на Прохоровке по копейке с рубля собирали,— предложил депутат Сергей Дмитриев.

— Сейчас главное не деньги собирать,— возразил Седой,— а узнать, где есть оружие. Узнаем, немедля реквизируем.

— Товарищ Седой,— обратился к нему самый молодой член штаба ткач Василий Честнов.— Имею предложение. Городовых, конечно, надо разоружать, только ловить их по одному — дело канительное. Лучше бы участок окружить и всех сразу...

Седой с особым любопытством пригляделся к парню. Нет, не зря выбрали его в штаб. Видать, и умен и смел.

— Годится, очень толково,— сказал он Честнову и увидел, как тот вспыхнул от похвалы.— Очень даже годится. Эту операцию беру на себя.— Подождал, не будет ли еще каких предложений, и спросил: — По первому пункту есть еще суждения? Пойдем дальше. Второе. Надо значительно, в несколько раз, увеличить число бойцов. Пока в пример могу поставить только фабрику Шмита. У них, считай, каждый третий — дружинник...

— Не перехвали, Седой,— возразил Михаил Николаев.— Пока только каждый пятый.

— Пусть пятый,— согласился Седой.— Если бы у нас на Прохоровке был каждый пятый, то, считая только по числу мужиков, должно бы в дружине состоять сот шесть или семь. А у нас едва сотня наберется. Ставим задачу добиваться, чтобы каждый пятый — в боевой дружине. Какие мнения будут?

Поднялся один из прохоровских рабочих.

— Ежели не идет в дружину, что же, силком его?

— Какой же из него боец, если его в дружинники силой загонять? — ответил вопросом Седой.— Тебя самого-то, товарищ Морозов, силой загоняли?

— По доброй воле.

— И что тебя заставило?

— Потому как понял, что милости от царя и хозяина ждать нечего, биться надо за свою долю.

— Очень правильно понял. Вот и объясни это самое другим рабочим, товарищам своим из тех, которые пока что в спальнях отлеживаются. Надо ли еще обсуждать этот вопрос? Тогда так и решим: равняться на шмитовцев. А теперь главное. Обсудим план боевых действий...— И прервал свою речь на полуслове, отвлеченный шумом у входной двери.

— Куда ломишься? — строго окликнул дежурный дружинник.— Здесь штаб заседает!

— Что, память отшибло? — столь же строго возразили ему.— Не видишь, свои!

Это вернулись Володя Мазурин и с ним пятеро дружинников.

Обсуждение плана прервали, и Мазурин рассказал, как войска громили училище Фидлера...

— Из пушек били?..

— Из пушек...— подтвердил Володя Мазурин.

— Наши-то все целы остались? — спросил Сергей Дмитриев после довольно продолжительного общего молчания.

— Целы...— ответил Володя Мазурин и уточнил: — Там остались целы. А Пантелея Кривобокова уже на Кудринской ранило, возле Вдовьего дома. Можно сказать, по собственной вине... И по моей...

— Так по чьей же? — усмехнулся Седой.

— Судите сами,— ответил Володя Мазурин.— На Кудринской площади темно, тоже фонари все разбиты...

— Наша работа,— вставил Василий Осипов.

— ...еще днем заметил: у ворот Вдовьего дома часовой стоит. Чтобы на него не наткнуться, я перешел на другую сторону и ребятам

велел следом за мной вдоль стенок пробираться. Пантелей заметил часового у Вдовьего дома и шепчет мне на ухо: «Сейчас я у него шашку отберу и револьвер, если есть». Мне бы его за руку, а я только сказал: «Не надо». А он бегом через улицу...

— Ну, он бегом, а ты что? — спросил Сергей Дмитриев.

— Да, наверно, то же самое, что бы и ты сделал на моем месте. Подскочил к нему, завалил на спину, да и бежать под гору.

— Непонятно, — сказал Сергей Дмитриев.

— Все понятно, — уже слегка раздражаясь, возразил Володя Мазурин. — У городского кроме шашки и револьвер оказался. Хорошо хоть, что трусоватый попался. Как увидел, что второй бежит, сразу укрывлся за воротами.

— Ну вот все и прояснилось, — сказал Седой.

— Ты о чем это? — не понял Медведь.

— Милости не ждать.

— А ты милости ждал? — усмехнулся Медведь.

— Я не ждал. Я ихнюю милость не один раз на своей шкуре испробовал. Но многие, даже и среди нас, надеялись сладить дело миром, только бы не братья за оружие... — Седой помолчал, как бы ожидая, не пожелает ли кто возразить ему, и продолжал: — Теперь всем ясно: только с оружием в руках можно отстоять свои права. Вооруженное восстание уже началось. Вы слышали, что сказал Мазурин? Уже есть убитые и с той и с другой стороны. Предлагаю первое. На Пресне объявить военное положение. Второе. Всю полноту власти передать штабу боевых дружин. Возражения есть?

— Нет! — решительно произнес Медведь.

— Проголосуем. Кто за? Так... принимается единогласно... А теперь, — продолжал Седой, — определим, кто за что отвечает...

Порешили так: все распоряжения по боевой части — в полной власти начальника штаба Седого и помощника его Медведя. А все, что по рабочей части: сооружение баррикад, охрана фабрик и внутренние караулы, — поручить депутатам Сергею Дмитриеву, Василию Осипову, Ивану Куклеву. На Сергея Филиппова возложили обязанности артельного старосты, на Василия Иванова — обязанности казначея.

— Все запиши, товарищ Наташа, — распорядился Седой. — Только самым строгим шифром.

Затем вернулись к прерванному приходом Мазурина обсуждению плана, который теперь уже называли не планом подготовки, а планом боевых действий.

— Завтра утром, как уже решили, проводим массовую манифестацию пресненских рабочих, — напомнил Седой. — А как только она закончится, приступаем к сооружению баррикад. Прежде всего перекрывать мосты Пресненский и Горбатый. И подступы к мостам. Стало быть, по Кудринской, по Конюшковской, по Большому Девятинскому. Затем прикрыть подступы с тыла. Значит, по Звенигородскому шоссе, по Воскресенской, по Ходынской и по валам. А в каком месте сооружать, смотрите сами применительно к местности.

— Где — это мы сообразим, — заверил Михаил Николаев. — Из чего строить? На Тверской опрокинул пару трамвайных вагонов — и баррикада готова. А у нас?

— Хватит и у нас материалу, — успокоил его Седой. — В баррикаду все годится. Бревна, доски, бочки, сани, телеги. Все, что сыщется во дворах.

— Откуда в городе бревна? — усомнился кто-то.

— Срубить все столбы фонарные и телеграфные, вот и бревна, — ответил ему Медведь. — В первую очередь руби телеграфные, двойная выгода: еще и связь городскую порушишь. А проволокой так окутать баррикаду, чтобы не растащить было.

— Ворота, калитки снимать и туда же, — поддержал Василий Осипов.

— Любой материал годится,— подтвердил Седой.— Даже снег. Когда сложится каркас баррикады, забить все дыры и щели снегом, да еще водой залить. За ночь морозом прихватит, пушкой не прошибешь. Так что дело только в рабочих руках. Поэтому в каждом участке подготовить рабочие отряды, разбить их на десятки, и чтобы каждый десятник знал свой десяток. Где кого найти, когда понадобится. А начальнику дружин знать, где искать десятников.

— Считаю, на главном участке сейчас же надо назначить ответственных за постройку баррикад,— сказал Медведь.

— Правильно,— поддержал Седой.— Какие будут соображения?

— Соображение одно,— сказал Василий Осипов,— наше это дело, депутатов то есть. Коли рабочие нас выбирали, значит, мы и должны сказать им, куда идти и что делать.

Затем решили, что перекрыть баррикадами Кудринскую улицу и Пресненский мост поручат Ивану Куклеву и Сергею Дмитриеву. Перекрыть Конюшковскую, Большой Девятинский и Горбатый мост — Василию Осипову и Сергею Филиппову, Воскресенскую, Пресненский вал и Малую Грузинскую — депутатам Ивану Баулину и Павлу Тюльпину. Это баррикады первой очереди, их построить обязательно завтра. Послезавтра может быть поздно.

— Переходим к основному вопросу — организации боевых действий,— продолжал Седой.— За каждой дружиной закрепляется участок. Предлагаем так поделить наш боевой район на отдельные боевые участки. Первый участок — берег Москвы-реки. Поручается дружине сахарного завода. Установить круглосуточное наблюдение. В случае появления городских — задерживать и обезоруживать. В случае появления воинских частей — немедленно сообщать штабу. Задача ясна?

— Ясна! — отозвался Федор Мантулин, начальник дружины сахарного завода.

— Двинулись дальше. Второй участок — район Горбатого моста. Улицы Конюшковская, Нижняя Пресня, Большой Девятинский переулок. Очень ответственный участок, товарищи. Как и район Пресненского моста. Через эти мосты путь на Пресню. Этот участок поручаем боевой дружине Шмитовской фабрики.

— Спасибо за доверие,— сказал Михаил Николаев.— Шмитовцы не подведут.

— Третий участок — район Брестских мастерских. Улица Ходынская и вся полоса, прилегающая к железнодорожным путям. Поручается боевой дружине железнодорожников. Четвертый участок — Грузинский вал, переулок Курбатовский, до Сенной площади. Этот участок за боевой дружиной чугунолитейного завода Грачева. А теперь о последнем и главном участке — от Кудринской площади до Пресненской заставы. Здесь скорее всего поведут наступление царские войска. Этот участок поручается непосредственно штабу. Основная боевая сила — дружина Прохоровской мануфактуры. Здесь место решающих боев.

Сказав эти строгие слова, Зиновий внимательно оглядел слушающих его рабочих и подумал, что именно эти люди первыми прольют свою кровь, первыми отдадут свою жизнь за рабочее дело. За короткое время, проведенное им на Пресне, он успел крепко сдружиться с этими людьми, мысль о том, что многим из них, а может быть и всем, суждено погибнуть в боях, наполнила его душу и печалью и горечью. Самые смелые, самые честные идут впереди не щадя себя. Но иначе не может и быть. Кому же идти впереди как не самым лучшим?

А ему, призывающему их к борьбе, а теперь и посылающему в бой, труднее всего. От его мужества и разума тоже зависит, сколько прольется крови, пока придет победа... Он знает, твердо знает, что победа придет, но когда... И сколько потрется жизнью...

Люди шли и шли со всех концов Пресни, вливаясь в просторную площадь Пресненской заставы, как шумные реки вливаются в широкое озеро. Рабочие Прохоровки выходили из спален и собирались во дворе, возле большой кухни.

Седой отправил к заставе двух членов штаба, поручил им передать начальникам дружин, чтобы выстраивали колонны по предприятиям по десять человек в ряд; и у каждой колонны обязательно боевое охранение. А сам попросил депутатов собрать народ кучнее, сказал, что должен выступать перед рабочими.

— Неуютно на морозе-то, — возразил Седому Сергей Дмитриев.

— Вся речь моя от силы на пять минут, — успокоил его Седой. — Надо, чтобы рабочие знали.

Из подвалов малой кухни выкатили две порожние сорокаведерные бочки, бросили поперек несколько толстых плах. На изготовленную наспех трибуну поднялись Седой и депутаты Сергей Дмитриев и Василий Осипов.

— Товарищи прохоровцы! Дорогие товарищи рабочие! — обратился Седой к тысячам ткачей, красильщиков, металлостов. Вот когда пригодилась звонкая сила его далеко слышного голоса. — Дальше терпеть нельзя! Три дня назад Московский Совет рабочих депутатов принял воззвание к рабочим. В воззвании сказано: «Если бы собрать всю кровь и слезы, пролитые по вине правительства лишь в октябре, оно бы утонуло в них, товарищи...» Прошло всего три дня. И за эти три дня пролиты новые реки рабочей крови! В пятницу по приказу генерал-губернатора из пушек стреляли по нашим товарищам, собравшимся в училище Фидлера, а потом шашками рубили безоружных людей. На Страстной площади, на Большой Садовой десятками расстреливали рабочих, наших товарищей, наших братьев! Доколе будем терпеть? Царские палачи хотят нас запугать казацкими нагайками и шашками, солдатским штыками и пулями. Не выйдет! Пусть они теперь страшатся нашего пролетарского гнева! Все на манифестацию! Покажем царским прихвостням свою рабочую силу! Пусть знают: ни одна капля рабочей крови не останется без отмщения!

Дружно построились в колонны. С красными флагами на высоких древках, с несомкающими боевыми песнями вышли на Трехгорный вал и двинулись к заставе.

Мария Козырева поднялась задолго до часа, определенного для начала манифестации. Тимофей еще не вернулся из деревни, по-видимому, решил пересидеть там опасное время.

Так оно и лучше, подумалось Марии. Никто не будет над душой стоять, не станет выговаривать да совестить: куда? да зачем? да не бабье дело... А так, можно сказать, руки развязаны и сама себе голова.

Хотела было отправиться в Грузины за новой своей подругой. Да вспомнила, как Наташа говорила, что Седой строго-настрого запретил ей ходить на манифестацию и вообще без особой нужды показываться на улице. Потому что она как секретарь штаба слишком много знает такого, за чем шпика охранки настырно охотятся день и ночь.

И Мария решила пойти к старой закадычной своей подруге Александре (в цехе ее звали просто Сашуней) Быковой. Сашуня жила неподалеку, по пути к заставе. Но заходить за нею не пришлось. Едва выйдя за ворота, Мария увидела, что Сашуня торопливо идет ей навстречу.

— Вот уж правда, на ловца и зверь бежит, — сказала Мария. — Я-то ведь к тебе собралась.

— Это кто же ловец, а кто зверь? — засмеялась Сашуня.

Она была тоже девка красивая, но на другой лад. Хоть и не такая яркая и броская, как Мария, но и на нее оборачивались на фабричном дворе и на людной улице. Была она стройная и подвижная, как белоч-

ка, в своей голубой жакетке, а на хорошем лице — большие серые глаза в пушистых ресницах. Кроме того, была веселая и смешливая. Словом, лучшей подруги Мария Козырева себе и не желала.

Колонна Прохоровской мануфактуры шла во главе манифестации. Мария и Сашуня успели занять место в первом ряду, всего на какой-то шаг позади знаменосца. Хотя шли по десять человек в ряд, так много явилось на манифестацию, что, когда передняя колонна подошла к Малой Грузинской, последняя еще не оторвалась от Пресненской заставы.

В рядах манифестантов было шумно и весело. Песни прокатывались по колоннам одна за другой. Едва угасала песня в одном месте, как тут же разгоралась следующая. Вокруг Марии и Сашуни собрались голосистые ребята, и в голове прохоровской колонны песня не смолкала.

Миновали Малую Грузинскую, вышли на спуск к Пресненскому мосту. Связные передавали по колоннам, чтобы, переходя по узкому мосту, не сминали рядов и не теряли равнения.

Но до моста не дошли. Слева из-за угла Волкова переулка на рысях выехала полусотня казаков, развернулась «левое плечо вперед» и двинулась навстречу манифестантам.

— Разойдись! — высоким, срывающимся голосом скомандовал казачий офицер.

Колонны остановились. Но никто не покинул рядов, все остались на месте.

— Приказываю разойтись! — еще истошнее закричал офицер и приказал казакам изготавиться к стрельбе.

— В братов своих стрелять будете! — закричал из передних рядов высокий старик с длинной седой бородой. — Али креста на вас нету?

И, раздвигая ряды, вышел из колонны навстречу изготавившимся к стрельбе казакам. И хотя двигался он вперед, а не назад, все равно ряды смешались и нашлись малодушные, кто попятился в глубь колонны.

— Женщины с нами и дети! — продолжал кричать старик. — Али у вас своих матерей и детишек нету?!

А в это время две цепочки дружинников, двигаясь по обеим сторонам улицы, обошли полусотню и как бы взяли ее в кольцо. Огибая строй казаков, один из дружинников вынул из-за пазухи черный шар величиной с крупное яблоко и выразительно потряс им в воздухе. Ни офицер, за спиной которого это происходило, ни манифестанты, отгороженные строем казаков, этого не могли видеть. Зато казаки отлично поняли что к чему, и шепоток: «Бомба!» — с невероятной быстротой обежал всю полусотню.

— Заряжай! — скомандовал казачий офицер.

Только несколько затворов клацнуло, но звякающий звук этот стоящим в передних рядах показался громким и зловещим.

Высокий горбоносый мужик, державший в руках знамя, попятился, отступил и, падая, выпустил из рук древко.

Мария Козырева подхватила падающее знамя, вскинула его сколь могла выше и шепнула стоящей рядом Сашуне Быковой:

— Помогай! Не удержать одной на ветру!

И обе, держа высоко вскинутое знамя, сделали несколько шагов вперед, приближаясь к ошеломленным казакам.

— Стреляйте в нас! — закричала Мария Козырева. — А живыми мы знамя не дадим!

Казачий офицер одну за другой выкрикивал команды, но никто не исполнял его приказов. Сломавшиеся было ряды передней колонны выправились и распрямились.

А Мария Козырева и Сашуня Быкова шли прямо на казаков.

Ряды казаков дрогнули и смешались, всадники медленно повернули коней.

Седой зашел к Наташе. Он считал своей обязанностью рассказать ей, как проходила манифестация. Наташа вела дневник событий, и эпизоды нападения казаков и мужественного поступка двух молодых работниц должны найти там свое место.

— А кто эти девушки? — спросила Наташа.

— Фамилии не надо в дневник, — напомнил Седой.

— Я для себя, — сказала Наташа. И когда узнала, что это Мария Козырева, сказала Седому: — Очень она мне понравилась с первого взгляда. Почти неграмотная, а какое благородство и какое мужество! Ей бы учиться, она бы многого достигла.

— За это и боремся, Наташенька! — сказал Седой.

5

В конце дня, когда уже начало смеркаться, на малую кухню доставили постановление Исполнительной комиссии МК и вновь созданного Федеративного совета.

Большая часть членов штаба и депутатов вместе с рабочими трудились на сооружении баррикад. На малой кухне кроме Седого оставались только его помощник Медведь и дежурный депутат Иван Куклев.

Посыльный из МК вручил пакет Седому. Тот ознакомился с полученной бумагой, а вслед затем прочел ее вслух.

Постановление состояло из трех пунктов:

«1) Ввиду трудности поддерживать связь между Исполнительным комитетом и массами — непосредственное руководство борьбой масс должно принадлежать районным Советам рабочих депутатов; 2) устраивать баррикады; 3) устраивать демонстративные шествия к казармам с целью снимать солдат».

— Этим документом, — подытожил Седой, — вся власть на Пресне передана районному Совету рабочих депутатов. А наш Совет все военные дела поручил штабу боевых дружин. Баррикады мы уже начали строить, так что тут все правильно. А что касается солдат, то мы все опоздали. Остается только надеяться, что солдаты не станут стрелять в рабочих.

А на следующий день на Пресню доставили еще пакет из МК. Седой прочитал бумагу и приказал немедленно вызвать в штаб всех начальников дружин. В эти дни никто не отлучался со своих боевых постов, и поэтому все собрались очень быстро.

— Получен документ особой важности, — объявил Седой. — Боевая организация Московского комитета разработала и разослала по районам «Советы восставшим рабочим». В документе сказано: «Наша ближайшая задача... передать город в руки народа. Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. В захваченной части мы сейчас же установим свое выборное управление, введем свои порядки...» А дальше, товарищи, идут советы, как этого достичь. Я прочитаю их вам пункт за пунктом. «Первый: главное правило — не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами... Пусть только этих отрядов будет возможно больше и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать... Полиция и войска будут бессильны, если вся Москва покроется этими маленькими отрядами. Пункт второй: кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть наши крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти...»

С места поднялся молодой вихрастый парень, дружинник с завода Грачева, пришедший вместо раненного накануне начальника дружины.

— Непонятно! — заявил он гулким ломающимся басом. — Как это

не занимать укрепленных мест... Выходит, не надо было баррикады строить? А теперь что, без боя их отдать?..

— Объясню,— спокойно ответил Седой.— Баррикады уже построены. Это и есть наши укрепленные места. Нам советуют, и правильно советуют, не толпиться за баррикадами. Из толпы один пушечный снаряд или винтовочный залп вырвет сразу десятки бойцов. Оборонять баррикаду надо, но оборонять умеючи. Нечего торчать на гребне баррикады. Укройся в подворотне, на чердаке, в проходном дворе и поражай врага. Словом, будь бойцом, а не мишенью. Так нам советуют. Вот дальше в пункте третьем прямо сказано: «Кто будет призывать идти большой толпой — либо глупец, либо провокатор. Если это глупец — не слушайте, если провокатор — убивайте!»

Седой перевел дух и продолжал читать:

— «Пункт четвертый: избегайте также ходить теперь на большие митинги. Мы увидим их скоро в свободном государстве, а сейчас нужно воевать и только воевать... Пятый: собирайтесь лучше небольшими кучками для боевых совещаний, каждый в своем участке, и при первом появлении войск рассыпайтесь по дворам... Шестой: строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бессознательных, случайных. Первых уничтожайте, вторых щадите. Пехоту по возможности не трогайте. Солдаты — дети народа и по своей воле против народа не пойдут... Каждый офицер, ведущий солдат на избивание рабочих, объявляется врагом народа и ставится вне закона. Его безусловно убивайте. Пункт седьмой: казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих... Смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте их без пощады... Пункт восьмой: на драгун и патрули делайте нападения и уничтожайте». Все слышали? — спросил Седой, закончив чтение. И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Полагаю, все поняли смысл этих советов, которые дает нам партия большевиков. Царскому правительству объявляется партизанская война. Это значит: держаться стойко и беречь свои силы. Сегодня же соберите свои дружины, разъясните им новую тактику борьбы.

6

Кроме караульных у входа, только два человека засиделись далеко за полночь в малой кухне. Начальник штаба боевых дружин Седой и его помощник Медведь сидели за планом Пресненского района, скопированным для них гравером Василием Ивановым.

Все помещение освещала одна высоко подвешенная керосиновая лампа, и приходилось пристально вглядываться в частую сетку улиц, переулков и проездов, чтобы представить себе, в какое место будет нанесен первый удар.

— Горбатый мост у нас обороняет шмитовская дружина, — сказал Медведь. — А кого на Малую Грузинскую? Если дружинников завода Грачева, так за нами Пресненский вал. Вовсе некого на Малую Грузинскую.

— Возьмем по взводу от тех и других, — сказал Седой.

— Ослабим и ту и другую дружину, — возразил Медведь. — Мало у нас бойцов...

— Бойцы найдутся, оружия мало.

— В том и дело. Без оружия боец не боец, а просто... сочувствующий гражданин, — усмехнулся Медведь.

— Отсюда вывод: добывать оружие всеми путями. Завтра навестим полицейский участок.

— Дельно. Давно тоскую по настоящему делу.

— Я сказал ребятам, сам с ними пойду, — возразил Седой.

— Разве двоим места не найдется?

— Нет, — сказал Седой. — В районе военное положение. Стало быть, в любой миг, и днем и ночью, кто-то из нас должен быть в штабе.

На сей раз ты, в другой раз я.— И так как кустистые брови Медведя все еще оставались сдвинутыми, Седой добавил: — Когда будем брать резиденцию адмирала Дубасова, ты будешь командовать штурмом, а я посижу здесь, в штабе.

— Все шутишь...

На что Седой возразил уже совершенно серьезно:

— Не шучу... Именно со штурма генерал-губернаторского дворца собирался начинать восстание наш Марат... Не поддержали его... И я не поддержал... Теперь только понимаю, как он прав был. Мы-то сейчас чем занимаемся? Готовимся к обороне. А Энгельс сказал: оборона — смерть вооруженного восстания.

Медведь слушал со вниманием, но ссыла на Энгельса ему явно не понравилась.

— К чему же начинать, если все заведомо обречено на гибель?

Ему любопытно было, что на это ответит Седой.

— Теперь уже не от нас с тобой зависит,— сказал Седой весело.— Началось! Не удержишь! И не надо удерживать. Если во всех районах рабочие так подымутся, как на Пресне, вполне может дойти и до штурма дубасовской резиденции.

— Не рано ли замахнулся? — сказал Медведь.— Я и не знал, что у меня начальник тоже мечтатель.

— Лучше раньше, чем никогда,— ответил Седой.— А насчет мечты... что же, мечта в нашем деле не помеха. Вот и сейчас две мечты вынашиваю. И обе, заметь, могут сгодиться.

— Поделишься?

— Поделюсь. Когда отобьем первый натиск, установим связь со своими соседями и справа и слева. Твердо на это рассчитываю. И на такой случай обдумываю два плана.

— Какие же?

— Если раньше соединимся с Миусами, тогда общими силами взять Бутырскую тюрьму, освободить политических. Вот тебе сразу полк, да не просто полк, а, можно сказать, гвардия революции. Как находишь?

— Мечта хороша. А вторая?

— Вторая еще лучше. Если соединимся с Замоскворечьем, то опять же общими силами захватить симоновские склады оружия и боеприпасов. А если склады возьмем, тогда уж не полки будем формировать, а новые дивизии.

И оба замолчали, хорошо понимая: ох как далеко еще до того, пока такое сбудется...

— Ну вот, помечтали, и ладно,— сказал Седой.— Пойдем посмотрим, как оно там на самом деле...

Караульным сказано было: вернуться через час, если будут связные от центрального штаба, пусть обождут их возвращения.

Переулками, увязая местами в сугробах, вышли на Среднюю Пресню. Было безлюдно и мрачно. Но извечной ночной тишины не было и в помине. Издали и со стороны заставы, и со стороны зоологического сада доносились частые, приглушенные расстоянием удары.

— «В лесу раздавался топор дровосека»,— продекламировал Медведь.

— Дровосека? — не понял Седой.

— Учил же в школе: «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел...»

— Не учил,— признался Седой.

— Как так не учил? — удивился Медведь.

— Я всего три зимы ходил в школу... Наверно, не успел еще из лесу выйти.

— Три зимы, говоришь? Негусто...

По Средней Пресне спустились до Прудовой улицы.

— Если к Горбатову мосту, то направо,— сказал Медведь.

— Сперва пройдем на Кудринскую,— сказал Седой.— Там самое опасное место. Останется время, пройдем и на Горбатый.

Около зоологического сада и на Кудринской возле Вдовьего дома горели костры, бросая багровые отсветы на высокие сугробы. Здесь сооружались первые баррикады. Все деревянные телеграфные столбы уже были спилены или срублены. Металлические фонарные столбы, припрягая к ним лошадей, выворачивали с корнем. Снимали с петель ворота и целыми полотнищами волокни и укладывали на баррикаду. В дело шли прихваченные во дворах сани и телеги. Взвалив какую-нибудь громоздкую вещь на гребень баррикады, ее тут же припутывали телеграфными или телефонными проводами. Расщелины забрасывали дровами, прикрывали досками.

Постройкой баррикады на Пресненском мосту руководил Сергей Дмитриев. Баррикада на Кудринской улице, примерно посередине между мостом и Вдовьим домом, возводилась под командой Ивана Куклева.

Иван Куклев стоял на гребне баррикады, словно стог вершил, и указывал, куда укладывать подносимое. Увидев Седого и Медведа, спустился к ним.

— Может быть, лучше было закончить баррикаду на мосту, потом общими силами приниматься за вторую,— сказал Седой.

— Без этой баррикады той долго не устоят,— возразил Иван Куклев.— Пока они здесь задержатся, можно их с моста обстреливать. А не будь этой, сразу к мосту подойдут.

— А не слишком близко одна от другой? — спросил Медведь.

— Винтовок и карабинов у нас не так чтобы густо,— ответил Куклев.— Да что я вам, вы лучше меня знаете. Надо, чтобы и револьверная пуля достала.

— Видать, служивый? — спросил Седой.

— Запасной унтер-офицер Низовского пехотного полка.

— Ну так тебя учить нечего,— обрадовался Седой.— Смотри только в оба. Завяжется дело — принимай команду над обеими баррикадами...

На Горбатый мост не пошли. Там Василий Осипов, мужик бывалый, и Михаил Николаев со своими шмитовцами. Там участок надежный. Да и ночь на исходе. Поспать хоть часок-другой. Завтрашний день, судя по всему, будет и крутой и горячий.

?

— Не могу я всех взять,— объяснял Седой обступившим его дружинникам.— Если такой толпой пойдем, смеху не оберешься. Возьму Мазурину, Честнова и еще человек восемь. Отбери восемь человек,— сказал Володе Мазурину. И тут же коротко проинструктировал свой отряд: — Первое дело — спокойствие и дисциплина. Без команды ни шагу вперед, ни шагу назад. Я вхожу в участок первым, за мной Мазурин и Честнов, за ними остальные. До первого ихнего выстрела оружие не применять...

Будка у ворот полицейского участка оказалась пустой. Седой отворил калитку и прошел во двор. Остальные за ним.

На крыльце их тоже никто не встретил. Зато в коридоре наткнулись на самого пристава участка штабс-капитана Шестакова.

Седой приставил револьвер к тучной груди штабс-капитана и спокойно, но довольно твердо предупредил:

— Советую не сопротивляться. Иначе вы будете расстреляны, а участок взорван.

Штабс-капитан лишь пробормотал что-то в ответ.

— Поднимите руки! — приказал Седой.— Войдите первым и прикажите сдать оружие. Предупреждаю: первый выстрел — вам пуля в затылок. Вперед!

За рослой фигурой пристава сразу не разглядели стоящего за ним Седого. Но увидев еще двоих с револьверами в руках, все вскочили. Щеголеватый подпоручик с аккуратными бачками на розовых щеках схватился за кобуру.

— Не стрелять! — излишне зычно скомандовал пристав.

В дежурной комнате кроме двух офицеров находились еще трое околоточных надзирателей и несколько городских. Но после строгого окрика штабс-капитана они словно остолбенели.

Дружинники вбежали в дежурку и уткнули револьверы в незадачливых блюстителей порядка. Седой сам обезоружил пристава, затем приказал ему сесть в углу.

— Где хранятся патроны? — спросил Седой у пристава.

— Не знаю, — прохрипел тот.

— Вы не исполняете условий, — строго сказал ему Седой.

— Егоров, — распорядился пристав, — отопри кладовую.

Патронов винтовочных, а больше револьверных набралось около двух пудов.

— Теперь слушайте меня внимательно, — приказал Седой полицейским чинам. — Революция не мстит. Хотя вы виноваты перед ней. Все по домам, на улицах не показываться. Возьмем еще раз — арестуем. Возьмем с оружием в руках — расстреляем.

Все устремились к дверям. И пристав дернулся со стула.

— Вам задержаться! — приказал Седой.

— Вы же обещали...

— Не тревожьтесь, — сказал Седой, когда полицейские чины вышли. — Мне нужны адреса офицеров и нижних чинов.

— Я не могу покупать свою жизнь ценою чужой крови, — запоздало сыграл в благородство штабс-капитан.

— Нам не нужна ваша кровь, — усмехнулся Седой, — нужно оружие, так что не терзайте свою совесть.

Пристав открыл несгораемый шкаф, достал клеенчатую папку и бросил на стол.

— Все равно найдете...

— Совершенно верно, господин пристав, — сказал Седой. — Теперь можете идти.

И пристав, понурясь, вышел из дежурки...

Сразу же как группа Седого вернулась с трофеями на малую кухню, по всем добытым адресам отправились дружинники.

Особенно повезло отряду, направленному на Звенигородское шоссе. Там в доме Суворова было что-то вроде общежития для несемейных городских. Почти все они, не решаясь показываться на улицах, оказались дома и, не сопротивляясь, а скорее даже охотно расстались со своим оружием.

8

11 декабря адмирал Дубасов вызвал к себе с докладом градоначальника генерала Медема и распорядился пригласить также начальника штаба Московского военного округа генерала Шейдемана. Точно к назначенному часу оба генерала явились в резиденцию генерал-губернатора на Скобелевской площади.

— Доложите обстановку по городу, — обратился Дубасов к Медему, после того как все трое уселись за большим круглым столом, стоящим посреди кабинета.

— За истекшие сутки она осложнилась. Полностью под нашим контролем осталась только центральная часть города в пределах Садового кольца. Окраины Москвы и большая часть пригородов в руках мятежников.

— Все окраины? — переспросил Дубасов.

— Разрешите доложить подробнее. — Генерал Медем встал из-за стола, подошел к висящему на стене крупномасштабному плану Мос-

квы, на котором были четко обозначены не только улицы города, но и самые незначительные проезды и тупики, и, вооружившись указкой, продолжил: — Я начну с севера и пойду по кругу по часовой стрелке. На Каланчевской площади, вокзалах и прилегающих улицах нашим войскам противостоят дружины железнодорожников. Бои продолжаются. По счастью, нам удалось удержать Николаевский вокзал, чем обеспечивается железнодорожное сообщение с Петербургом...

— Это очень важно! — заметил генерал Шейдеман. — Николаевский вокзал нельзя терять ни в коем случае.

— Примите к исполнению, — подтвердил генерал-губернатор.

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — почтительно отозвался Медем. — В Рогожском районе бои ведут дружинники завода Гужона и Курских железнодорожных мастерских. Они контролируют территорию между Покровской и Рогожской заставами, Владимирской и кладбищем. Еще южнее, — продолжал он, сопровождая свои слова движением указки, — район, который мятежники самонадеянно именуют Симоновской республикой. Далее — Замоскворечье. Здесь нашим силам противостоят дружинники типографии Сытина и завода братьев Бромлей. Хамовническо-Пресненский район полностью отрезан от центра города сплошной цепью баррикад, удерживаемых дружинами Прохоровской мануфактуры, фабрики Шмита, завода Мамонтова, сахарного завода. И наконец, в Бутырском районе бои ведут дружины миусского трамвайного парка и табачной фабрики Габай. Они даже пытались взять приступом Бутырскую тюрьму, но все их атаки были отбиты.

— Бутырскую тюрьму! — вскричал Дубасов, и полное его лицо стало красным.

— Так точно, ваше превосходительство, — подтвердил Медем. — Более того, наглость мятежников достигла того, что вчера толпа пыталась захватить мой дом на Тверском бульваре...

— Вы же сказали, что центральная часть города полностью под нашим контролем? — перебил барона Дубасов.

— В том смысле, ваше превосходительство, что здесь мы имеем явный перевес в силах и здесь любое сопротивление немедленно подавляется крутыми мерами вплоть до применения артиллерии.

Долгая минута прошла в молчании. Медем и Шейдеман сидели потупясь, Дубасов, вскинув голову, пристально рассматривал план города, по которому градоначальник только что прошелся указкой.

— Получается, господин барон, — произнес Дубасов с явным раздражением в голосе, — что мы в кольце... — Голос его все гуще наливался яростью. — Нас обложили, как на охоте!

Медем не нашелся с ответом, и Дубасов, недобро усмехнувшись, задал еще вопрос:

— Вы хоть выяснили, кто у них главный загонщик?

— Призыв к мятежу первоначально исходит от Московского комитета РСДРП. Повторен Московским Советом рабочих депутатов, в коем участвуют также меньшевики и эсеры. Три дня назад мы арестовали руководителей московских большевиков Шанцера и Васильева-Южина.

— Почему же мятеж продолжается?

На этот вопрос барон Медем тоже не сумел ответить, и Дубасов обратился к Шейдеману:

— Каково же, генерал, положение в частях гарнизона?

— Положение неблагоприятное, ваше превосходительство, — ответил Шейдеман. — Все, что нам удалось сделать, это лишь запереть в казармах неблагонадежные части, с тем чтобы удержать их от выступления в поддержку мятежников. Но рассчитывать на войска мос-

ковского гарнизона как на боевую силу для подавления мятежа пока нельзя.

— Что же получается? — спросил Дубасов. — Все части гарнизона... неблагонадежны?

— Есть и благонадежные, — ответил Шейдеман. — Они несут охрану возле казарм неблагонадежных.

— Как же поступить? — спросил Дубасов.

— Надлежит просить помощи у Петербурга, — твердо ответил Шейдеман.

— Ваше мнение? — Дубасов перевел взгляд на градоначальника.

— Полностью согласен с его превосходительством, — ответил Медем. — У меня всего две тысячи полицейских и один дивизион жандармерии, а силы мятежников каждодневно множатся. Надо иметь в виду, что мятежников городских поддерживают рабочие подмосковных поселков. Непокойно в Мытищах, Люберцах, Щелкове, Филях... Необходимо срочная помощь из Петербурга.

Отпустив генералов, Дубасов отправил в Петербург срочную телеграмму, сразу в три адреса — председателю Совета министров, военному министру и управляющему министерством внутренних дел:

«Положение становится очень серьезным, кольцо баррикад охватывает город все теснее; войск для противодействия становится явно недостаточно. Совершенно необходимо прислать из Петербурга, хоть временно, бригаду пехоты».

Просить больше Дубасов не решился. Помнил суровую отповедь, полученную от великого князя Николая Николаевича всего три дня назад.

НА ПРЕСНЕ НАША, РАБОЧАЯ ВЛАСТЬ

1

За сутки Пресня оцетинилась баррикадами. Перегорожены были не только магистральные улицы — Большая и Нижняя Пресня, Кудринская и Пресненский вал, Воскресенская и Звенигородское шоссе, — но и все улицы с переулками, примыкающие к ним.

Пресненские рабочие вышли и за пределы района, помогая сооружать баррикады на Новинском бульваре, на Садовой-Кудринской, на Большой Никитской и Поварской, на всех подступах к Пресне.

В строительном азарте кое-где даже перестарались. На малую кухню пришел к Седому Сергей Филиппов и потребовал, чтобы разобрали баррикаду в Домбровском переулке, потому что невозможно подвезти воду к рабочим спальням.

Но опасность явилась с другой стороны. Ровно в час дня над Пресней громыхнул первый пушечный выстрел. И началась канонада. Стреляла батарея с Ваганьковского кладбища.

Первые залпы вызвали панику среди населения. Послышались вопли и причитания женщин. Начали связывать в узлы белье и одежду. Прятали детишек в подвалы.

Дружинники как по сигналу сразу же стали собираться во дворе возле малой кухни. Начальники боевых дружин — в штабе. Решили развести дружины по баррикадам, укрываться в близлежащих дворах и ждать атаки.

— Как прекратится пальба, будьте начеку, — наставлял Седой начальников дружин. — Возможно, это артиллерийская подготовка.

— Палят по всему городу, — сказал начальник дружины завода Грачева. — И у Александровского вокзала и, сказывали, на Страстной площади.

— Может быть, готовятся к общему штурму, — высказал предположение Медведь.

— На общий штурм силенок не хватит,— возразил Седой.— Московскому комитету переданы копии телеграмм, которыми обменялись адмирал Дубасов и верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич. Дубасов просил о немедленной присылке бригады пехоты из Петербурга. А Николай Николаевич ответил ему коротко и ясно: «В Петербурге свободных войск для посылки в Москву нет». Как полагаете, почему так ответил?

— Нас пожалел,— ответил под общий смех Володя Мазурин.

— Себя пожалел,— сказал Седой.— Стало быть, и в Питере неспокойно, если штыка лишнего нет в запасе. Вот потому и надеюсь, что общего штурма не будет. Постараются задушить нас порознь. И вполне может быть, что первый удар придется по Пресне. Надо быть в полной боевой готовности. А весь этот шум и гром для того, чтобы страху нагнать.

Седой не мог и предположить, как недалек он от истины. Он только догадывался — но догадывался прозорливо,— что московские власти, потеряв голову от страха и не зная, как подавить революционный порыв, ухватились за самое простое: тупой жестокостью нагнетать ужас. Отсюда эта беспорядочная, бесприцельная артиллерийская пальба, слепо поражающая мирное население, пальба не по целям, а по площадям.

Очевидец событий писал в дневнике 10 декабря:

«Первый пушечный выстрел грянул в два с половиной часа дня от Страстной площади по Тверской к Триумфальным воротам. С этого момента в Москве началось безумие и зверство, каких не видели здесь с 1812 года. По толпам мирного народа стреляли пачками из ружей, сыпали свинцом из пулеметов и палили из пушек шрапнелью. Эта безграничная кровожадность царских властей внесла страшное, невиданное озлобление во все слои населения Москвы, кроме высшей буржуазии и бюрократии».

Что было на следующий день, 11 декабря, убедительно засвидетельствовала либеральная газета «Русские ведомости»:

«11 декабря происходит ожесточенная стрельба в разных частях города. Стреляли из пушек на Сухаревской площади, в Каретном ряду, на Страстной площади, в Неглинном проезде, у Николаевского вокзала и в других местах. Жертв в этот день было особенно много; ранеными были заполнены многие больницы, частные лечебницы и перевязочные пункты; в полицейских часовнях не хватало мест для убитых, которых сваливали в пожарных сараях».

2

Этих двух девушек на малую кухню привел Медведь, сказал, что обе будут заниматься снаряжением патронов, а если удастся достать материал, то и изготовлением бомб.

— Обе из нашей технической группы,— пояснил Медведь.— И Пчелка и Павлова дело свое знают и неробкого десятка. Не раз смерти в глаза смотрели. Им надо отвести помещение.

— Пока пусть здесь начинают.

— Нельзя,— возразил Медведь.— Порох, взрывчатка... Подойдет любопытный паренек с сигаркой в зубах и... к богу в рай.

— Ты прав.— согласился Седой.— Опасная штука...— Подошел к дежурным депутатам, посоветовался с ними.

— В семейных спальнях каморку отвести,— сказал Дмитриев.

— Не годится,— возразил Баурин.— Там детишки кругом. Вот если подвальный этаж в директорском доме. Отдельный вход. Карану поставим. И от штаба близко, всего двор перейти.

— Действуйте,— сказал Седой.

Помощник заведующего хозяйственной частью Бузников наотрез отказал депутатам.

— Да что вы, господе с вами! — восклицал он, размахивая коротенькими ручками. — В директорский дом захотели! Да меня Николай Иванович сию же минуту взащей с фабрики прогонят!..

— Не о твоей шее забота, — строго одернул его Иван Баулин. — Нам помещение надобно. — И так глянул с высоты своего роста на коротенького Бузникова, что тот сразу заюлил.

— Я всегда пожалуйста, могу предложить вам дом купчихи Юкиной по Большому Никольскому. Дом правлением арендован, но еще никем не занят, могу предоставить...

— Не годится, — отверг Иван Баулин. — Далек.

— Могу ближе. Дом купчихи Шохиной. Совсе здесь, на Нижней Пресне, тоже не занятый...

— Тоже не годится. Давай нам ключи от парламента. Старост отменили, зря помещение пустует. А нам самый раз.

— Доложить обязан...

— Кому обязан?

— Правлению, директору Николаю Ивановичу...

— Давай ключи. Потом беги докладывая.

Дальше Бузников спорить не решился и передал депутатам ключи от помещения во дворе фабрики, именуемого парламентом, и также от калитки возле прядильного корпуса.

— Этот ключ от парламента, этот — от фабричной калитки, что у прядильного, — доложил Баулин, вернувшись в штаб.

— От парламента?.. — удивился Медведь.

Сергей Дмитриев объяснил:

— Когда прошлой зимой выбрали по цехам старост, правление выделило помещение, где старостам проводить свои собрания. И не знаю кто уж там, только кто-то окрестил его парламентом...

— Но этот парламент за фабричной оградой?

— А вот ключ от калитки.

Девушки осмотрели помещение, остались довольны.

— Еще чего не хватает? — спросил их Медведь.

— Работы, — ответила Павлова.

— Пусть вас это не волнует, — заверил Медведь. Работой обеспечим в избытке.

Пчелка сказала, что нужно хотя бы двух подручных, хорошо бы молодых девчат. После этого мастерская будет готова к большой работе.

— А по части бомб? — поинтересовался Медведь.

— Дело за оборудованием, — сказала Пчелка. — Впрочем, на такой огромной фабрике, конечно же, первоклассная лаборатория. Откройте нам, остальное наше дело.

Когда депутаты снова взяли в оборот Бузникова, он ответил, что лаборатория не в его ведении и доступ может разрешить только сам господин директор.

От имени Совета депутатов Иван Баулин передал директору просьбу выдать делегации ключи от фабричной лаборатории.

— Прежде хотел бы слышать, для какой именно цели необходима вам фабричная лаборатория? — предчувствуя недоброе, спросил Прохоров.

Иван Баулин какой-то миг промедлил с ответом:

— Таково требование штаба боевых дружин Пресни.

Прохоров слегка пожал плечами.

— Позвольте... Мне непонятно, какое отношение имеет штаб боевых дружин к делам товарищества Прохоровской мануфактуры?..

И почему этот штаб берет на себя распоряжение имуществом фабрики?..

На это Иван Баулин ответил сразу:

— Время военное, господин директор. А в военное время высшая власть принадлежит боевому штабу.

— Допустить в лабораторию посторонних лиц я не имею права. Там хранятся вредоносные вещества, неумелое обращение с которыми опасно для жизни людей. Я не хочу садиться в тюрьму по той лишь причине, что малодушно подчинился вашему незаконному требованию.

— Это ваше последнее слово? — спросил Иван Баулин.

— Иного решения я принять не могу.

— Уговаривать не станем, — бросил через плечо Иван Баулин, оборачиваясь к остальным депутатам. — Пошли, товарищи...

И тут же сбили замки с дверей лаборатории. Пчелка и Павлова осмотрели все шкафы и кладовые и указали, что именно надо перенести в парламент.

Мастерская была приготовлена к работе.

3

А вскоре после наступления темноты дружинники донесли в штаб, что казаки прибыли в пешем строю и разбирают баррикаду на Пресненском мосту.

— Окружить и уничтожить! — сказал Медведь.

Но Седой с ним не согласился.

— Этого они и ждут от нас, — сказал он. — Напоремся в темноте на засаду, и уничтожены будут наши бойцы. Нет, атаковать нельзя. Пошлем два взвода. Пусть дворами приблизятся к баррикаде, один со стороны Волкова переулка, другой со стороны Прудовой. И пусть постреливают по казакам.

— Все-таки зря ты меня не послушал, — сказал Медведь Седому, когда отряды дружинников отправились на задание, — отбили бы охоту раз и навсегда!

Седой усмехнулся:

— У государя императора войска много, а у нас с тобой каждый боец на счету... Но почему они начали разбирать баррикаду у моста, а не на Кудринской?

Медведь не успел ответить. Голос подал сидевший поодаль Володя Мазурин:

— Значит, пойдут не с площади, а в обход, по Большой Грузинской. Там вовсе жидкая баррикада.

— Молодец! — похвалил Седой. — Вывод: завтра с утра восстановить баррикаду у моста и нарастить на Большой Грузинской.

— А если с утра прорвутся казаки?

— Не посмеют, — возразил Седой. — Они нас боятся. Если бы не боялись, штурмовали бы днем. А они подкрались ночью, по-воровски. Значит, считают нас хозяевами положения. А если наши сумеют ночью подстрелить на баррикаде хоть нескольких казаков, еще больше будет к нам почтения.

— Правильно! — поддержал Федор Мантулин, начальник боевой дружины сахарного завода. Начальники дружин поочередно дежурили в штабе. Сегодня был его день.

Казаки, тревожимые летевшими со всех сторон пулями, потеряли двух человек убитыми и нескольких раненными, дали наугад два-три залпа по окрестным домам и убрались восвояси.

Утром Седой осмотрел баррикаду — разрушения были незначительны: у казаков не нашлось ни ножниц, ни клещей для перекусь-

вания проволоки, которой она была обильно опутана. Зиновий распорядился, не теряя времени, заделать все бреши, а вслед затем укрепить баррикаду на Большой Грузинской.

— Что за шум? — спросил Василий Осипов, дежуривший этим вечером на малой кухне.

— Женщины, — ответил караульный. — Требуют допустить в штаб.

— Допусти.

Женщины не вошли, а хлынули в малую кухню. Оказалось их не менее десятка.

— Все? — спросил Василий Осипов.

— Все. Не пугайся, — ответила вошедшая первой высокая статная женщина в белом полушубке с меховой оторочкой. И тут же спросила в упор: — Кто здесь главный?

— Я за него, — ответил Василий Осипов.

— Тогда рассуди. Мы с жалобой.

— Мужики обижают? — спросил Василий Осипов.

— Мы сами кого надо обидим, — оборвала его горбоносая женщина в суконной жакетке и полушалке, накинутом на плечи. — А ты за главного сидишь, так не шуткуй. Мы к тебе по делу пришли.

— Давно слушаю. Излагайте ваше дело.

— Дело простое, а рассудить некому, — сказала высокая в полушубке. — С жалобой мы на артельщика. Голубевым его кличут...

— Ястребовым его кликать, — вставила горбоносая.

— Этот Голубев, ежели кто задержится на собрании, ужин не выдает. Поздно, говорит, и все. Это, выходит, он нам запрещает на собрания ходить. Кто ему такие права давал?..

— Понятно, — сказал Василий Осипов и окликнул караульных: — Кто там подсменный? Ты, Павел? Сходи, Павел, в семейные спальни и приведи сюда артельщика Голубева.

— А ежели не захочет идти?

— Я ж тебе и говорю: приведи!

По-видимому, Голубев не упирался. И через несколько минут явился в малую кухню.

— Почему? — коротко спросил Василий Осипов.

Голубев сразу понял и, не прекословя, стал оправдываться тем, что его вины тут нет, что распорядок дня установлен давно и всегда исполнялся в точности, как приказано...

При этом узкие глазки его опасливо перебегали с Василия Осипова на сидящего рядом Федора Мантулина, а на длинном, траченном мелкими рябинами носу выступили капельки пота.

— Кем приказано? — строго спросил Василий Осипов.

Голубев вконец смешался.

— Ну, стало быть, кому положено... Кто над нами властью поставлен, тот, стало быть, и власть имеет...

— Теперь на Пресне наша, рабочая власть! — жестко произнес Василий Осипов. — Понял?.. Крепко это запомни. Если встретишь кого, кто еще этого не понимает, объясни. А насчет ужинов... чтобы больше таких притеснений не было.

Женщины от души благодарили депутата.

А горбоносая не преминула попрекнуть товарок:

— Говорила вам, сразу надо идти, а то вчерась пришлось ложиться на пустое брюхо... Пошли, бабы, быстрее. Покудова не опамятовался, стребуем с него и вечерошний ужин.

Женщины рассмеялись и так, смеясь, ушли.

— У вас не соскучишься, — сказал Федор Мантулин Осипову.

— А у вас?

— У нас проше. Велик ли наш завод против вашей мануфактуры? И спален хозяйских у нас нету, и кухонь артельных. Живут кто в своей хатенке, кто в постояльцах.

— У вас жизнь сладкая,— засмеялся Володя Мазурин.— Известно, сахарный завод!

— Везде нашему брату рабочему одна сладость,— сказал Федор Мантулин.— Разве что теперь чего добьемся...

4

— Если к баррикаде подступает отряд, превосходящий вас по силе, встречайте его прицельным огнем. Приблизится к баррикадам — бросайте бомбы,— инструктировал Седой своих командиров.— Если же разъезд уступает вам по силе, немедленно командуйте вылазку и атакуйте его. Старайтесь окружить и взять в плен.

И сразу же объяснил преимущества такой тактики:

— Двух зайцев убиваем. Первое: пополняем запасы оружия и патронов. Второе: станут бояться нас. Каждый солдат поймет, что легкой победы ждать не приходится. Труднее будет офицерам и генералам посылать солдат в бой.

Вылазки дружинников участились. Обычно вражеские разъезды и патрули отступали, не принимая боя. Иногда удавалось зайти в тыл и окружить отряд противника. Тогда казаки и драгуны отступали, сражаясь, оставляя убитых и раненых. Трофейное оружие доставалось дружинникам после каждой вылазки. А случалось, захватывали и пленных.

Сегодня привели сразу шестерых артиллеристов. Столкнувшись с дружинниками, они не сопротивлялись, а сразу вскинули винтовки вверх. Их не стали обезоруживать, а так, с винтовками и тесаками, и доставили на большую кухню.

Когда сообщили Седому, он распорядился прежде всего накормить солдат досыта. Они еще трудились над огромной миской с рассыпчатой гречневой кашей, когда Седой в сопровождении Володи Мазурина появился на большой кухне. Был в ношеной солдатской гимнастерке без погон, и с увлечением обедавшие артиллеристы не обратили на него особого внимания.

— Начальник штаба боевых дружин, командующий всеми войсками на Пресне,— представил его Володя Мазурин.

Солдаты по привычке мгновенно вскочили и застыли как по команде «смирно».

— Вольно, вольно...— улыбнулся Седой.— Доедайте не торопясь, а потом побеседуем, товарищи артиллеристы.

Солдаты сперва заметно дичились своего собеседника, но у Седого был за плечами многолетний опыт партийного агитатора. И он сумел вызвать их на откровенный разговор.

Зачинать разговор пришлось самому:

— Если вы, товарищи солдаты, спросите меня, почему я против царя, я вам объясню. Вырос в нищете, не всякий день ел досыта. С тринадцати лет пошел работать. Слесарную науку вбивали в меня кулаками... К семнадцати годам понял на своей шкуре, кому царь батюшка, а кому вовсе наоборот. Понял, что царь всегда держит руку помещика и фабриканта, а крестьянину и рабочему на царя надеяться нечего. И стал бороться... Сколько раз арестовывали, сколько раз били смертным боем в охранке и в тюрьме, не стану рассказывать. Сами видите: тридцати годов еще не прожил, а голова белая... Вот почему я против царя. Это вы понять можете?

— Чего уж тут не понять... — сочувственно отозвался один из артиллеристов, возрастом заметно постарше остальных.

— А теперь вы мне поясните,— продолжал Седой.— Вы-то по какой причине за царя стоите? Может, вы дворянского роду-племени или из именитого купечества? Может, у вас именья богатые, земли по тыще десятина? Не скрывайте, говорите, чтобы понял я, чем вас царь прельстил.

- Мы царю присягали...
- Не в первый раз слышу эти слова,— возразил Седой.— Конечно, солдатская присяга дело крепкое. Только на это я вот что скажу. Присяга — это ведь по совести, от чистой души, по доброй воле... А ну-ка вспомните, так ли вы присягу давали?..
- Все сидели насупившись. Зацепил-таки он их за живое.
- Наконец пожилой солдат сказал со вздохом:
- Какая уж там добрая воля...
- Так надо ли повиноваться такой подневольной присяге? — продолжал допытываться Седой.
- Все одно грех! — убежденно произнес тот же солдат, что первый помянул о присяге.
- А в братьев своих стрелять не грех?
- А мы и не стреляли,— сказал пожилой.— Как ваши подошли, мы винтовки подняли.
- Правильно поступили! — сказал Седой.— Рабочие и крестьяне солдатам не враги.
- Это мы понимаем...
- Надо так повернуть дело,— сказал Седой,— чтобы это поняла вся ваша батарея, а потом и весь ваш полк.
- Я тебе вот что скажу, товарищ командующий,— заявил пожилой артиллерист.— Здесь, в московском гарнизоне, почитай, во всех полках такое понятие. Не хотят солдаты стрелять в рабочих. Потому многие полки разоружены и в казармах заперты.
- Ты принес хорошие вести. Спасибо тебе!
- Есть и плохие. Слышно, из Питера ждут подмогу.
- Будем надеяться, что и в Питере солдаты с понятием.
- Однако плохая надежда,— возразил солдат.— Слышно, везут гвардейские полки, муштрованные. Те никого не помилуют...

Побеседовав с артиллеристами, отпустил их с миром. Володя Мазурин хотел забрать у них винтовки, но Седой приказал отпустить с оружием.

- Шесть винтовок! — с укором сказал Мазурин.
- Шесть новых друзей куда дороже шести винтовок,— наставительно заметил ему Седой.

В тот же вечер было решено послать в Тверь особую группу с заданием подорвать железнодорожный мост через Волгу, чтобы преградить путь в Москву перебрасываемым из Петербурга гвардейским частям.

Ночью группа под видом путейской ремонтной бригады погрузилась на дрезину на запасных путях Николаевского вокзала и выехала в сторону Твери.

5

В ежедневных стычках с отрядами царских войск, которые пытались овладеть баррикадами, большой урон несли наступающие. Но были убитые и раненые также и в рядах боевых дружин.

Однако же общее число бойцов осажденной Пресни не сокращалось, а, напротив, увеличивалось. По мере того как войска и полиция гасили отдельные очаги восстания на окраинах Москвы: в Лефортове, Симоновке, Миусах, Замоскворечье,— на Пресню стекались остатки боевых дружин из этих районов.

Пресня оставалась единственной непокоренной твердыней революции, и все, кто готов был продолжать борьбу, стремились на Пресню. В ряды пресненских дружин вливались настоящие бойцы, с оружием в руках, обстрелянные в сражениях. Приходили и в одиночку и мелкими группами, а иногда и крупными отрядами. В железнодорожной дружине, которая пришла после боев в районе Николаевского вокзала, было более тридцати человек.

Когда Седой убедился, что число бойцов изо дня в день растет, у него снова шевельнулась надежда. А может быть, выстоим?.. И если успешно выполнит свое задание группа подрывников, выехавшая в Тверь, тогда... Тогда может стать Пресня той искрой, из которой возгорится пламя победы...

В это время его опустили с заоблачных высот на грешную землю. Пришел Сергей Филиппов и доложил, что артельная кухня не справляется, не может накормить всех дружинников, так много их стало. Ночная вахта пришла к пустым котлам.

— Что думаешь делать? — спросил Седой.

— Котлов на такую армию не хватает. Поговорю с печниками, может, сумеют еще пару котлов вмазать...

— Я постараюсь вам помочь, товарищ Филиппов,— неожиданно вступила в разговор оказавшаяся рядом Пчелка.— Моя подруга Надя Дробинская из серебряковского училища хочет устроить столовую для детей рабочих. Я поговорю с ней, может быть, и дружинников там кормить.

— Вместе поговорим,— сказал Сергей Филиппов.— Давайте не откладывая сейчас и сходим...

Утром по Большому Предтеченскому переулку проехали две груженые подводы. В розвальнях везли три больших котла и мешки с какими-то продуктами. Подводы завернули во двор серебряковского училища и остановились у черного входа.

Сергей Филиппов, сопровождавший обоз, прошел в училище и через короткое время вернулся с молодой женщиной в длинной шали, накинутой поверх темного казенного платья.

— Вот, Надежда Николаевна,— сказал он,— привез вам котлы на случай, если ваших будет мало, еще два мешка крупы да пять мешков картошки. Завтра мясо привезу.

— Мясо? — удивилась она.— Где вы теперь достанете мясо?

— Седой пообещал. У него, оказывается, старая дружба с охотничьими мясниками.

— Ну если уж старая дружба! — воскликнула Надежда Николаевна и весело рассмеялась.

— Я не шучу,— нахмурился Сергей Филиппов.— Седой сказал, значит, пришлют.

— Вряд ли... — усомнилась Надежда Николаевна.

— Седой зря не скажет.

Седой не обманул доверия Сергея Филиппова. На следующее утро чуть свет на кухню серебряковского училища доставили полдюжины бараньих тушек и четыре стегна отборной говядины.

Бдительный дворник училища, старый соглядатай, немедля предостерег старшую учительницу. Та пригласила к себе Дробинскую и допросила с пристрастием. Надежда Николаевна успокоила свою начальницу, сказав, что в кухне училища будут готовиться обеды для детей, оставшихся сиротами.

— Я полностью полагаюсь на ваше благоразумие,— сказала та и поспешно удалилась в свои комнаты.

Она торопилась как можно скорее перебраться в отчий дом в Замошворечье, подальше от этой богом проклятой Пресни, где стреляют из пушек и ружей и днем и ночью...

НА ОПЫТЕ ПРЕСНИ БУДУТ УЧИТЬСЯ УПОРСТВУ

1

Группа, которой командовал Володя Мазурин, получила название отряда фидлеровцев, потому что, отбирая дружинников, Володя первым включил в свой отряд тех, кто с ним ходил в училище Фидлера. И самого его стали звать Володя Фидлеровский.

Главным назначением отряда было разоблачать провокаторов, производить аресты по указанию штаба. Объясняя фидлеровцам их задачи и обязанности, Седой назвал их нашим политическим розыскным управлением.

Нашлись даже желающие позубоскалить над «нашенскими сыщиками», но фидлеровцы вскоре же провели дерзкую операцию, после которой никто уже не решался пересмешничать.

Им удалось установить адрес одной актрисы из театра Шарля Омона, которой покровительствовал казачий полковник и которую он исправно посещал. Конечно, не легкомыслием своим привлек казачий командир особое внимание фидлеровцев. Были за ним куда более тяжкие грехи. Он еще в октябре приобрел мрачную славу самого ретивого усмирителя рабочих. Выполняя его приказы, лютовали казацки сотни. И немалую долю той крови и слез, о которых говорилось в воззвании Московского Совета, следовало отнести на его счет.

Когда Володе Мазурину сообщили об амурных похождениях того самого полковника, первой его мыслью было: подстеречь полковника у квартиры его возлюбленной и пристрелить на месте. Но поразмыслив, он нашел меру наказания слишком мягкой, никак не соответствующей содеянным преступлениям. Нет, пуля в затылок — слишком легкая смерть для царского опричника. Взять в плен и живого, целехонького доставить в штаб, там судить и потом уж по приговору суда... Чтобы видеть, кто его судит, и чтобы было у него время поразмыслить что к чему...

За полковником установили наблюдение. Он не заставил себя долго ждать. Похоже, ездил он к пассии не менее исправно, чем на службу в полковую канцелярию.

Проследили, как он подъехал, как отпустил ординарца. Дали время войти и расслабиться. Тут и арестовали. И целого, невредимого доставили на малую кухню.

— Ваше приказание выполнено! — отрапортовал Володя Мазурин начальнику штаба. — Арестованный полковник казачьих войск доставлен в штаб!

Седой не только не изумился, но и виду не подал.

— Благодарю отряд за преданную службу революции! — И тут же распорядился собрать членов боевого штаба для суда над полковником.

Суд состоялся без проволочек и приговорил казачьего офицера к расстрелу.

Полковник заявил, что не признает законным ни сам суд, ни вынесенный им приговор.

— А без всякого приговора расстреливать и шашками засекают законно? — спросил его Медведь.

В тот же день фидлеровцы получили новое задание. Седой отвел Володю Мазурину к окну и сказал, понизив голос:

— Возьми, сколько есть, своих, не менее пяти, и быстрее по этому адресу. Запомнил?.. Войлошников, начальник московской сыскной полиции. Арестовать, немедленно доставить в штаб. Есть сведения: с наступлением темноты он намеревается скрыться. Нельзя допустить, чтобы он ушел. Потому торопись!

Сбор был назначен на четыре часа, и из всего отряда фидлеровцев сейчас на малой кухне оказалось только три человека: Сережа, Гриша и Петруха. (Все фидлеровцы были ребята молодые; их двадцатипятилетний командир Володя был среди них самый старший.)

Всего три... с ним четверо. А Седой сказал не менее пяти. Седому Володя Мазурин, как, впрочем, и все остальные в штабе и дружине, повиновался беспрекословно. Но и ждать тоже нельзя. Пятым прихватил Федьку Карнеенкова, вовсе молодого парня, но рослого и отчаянного.

Адрес Володя Мазурин запомнил: Волков переулок, дом Скворцо-

ва, второй этаж. Где переулочек, Володя знал. Вот только дом Скворцова с какого краю?.. Пока дошли до Большой Пресни, опросил ребят.

— Смотри откудова идти,— ответил Гришка.— Ежели как мы сейчас, с Пресни, то с левой стороны.

Дальше двигались молча, быстро дошли до Волкова переулочка, свернули в него, пошли по левой стороне. Вот и дом Скворцова — двухэтажный, с нарядными наличниками на высоких окнах.

Лестница с парадного входа вела на второй этаж. Поднялись. Широкий коридор разделял этаж на две половины. По обеим сторонам — высокие двери. Володя поставил у лестницы Федьку Карнеенкова, приказал никого не впускать и не выпускать. А сам требовательно постучал в ближнюю дверь.

Выглянула испуганная женщина.

— Здесь квартира Войлошникова? — спросил Мазурин.

Женщина молча кивнула.

— За мной! — скомандовал Володя Мазурин, вынимая маузер из кобуры, и, когда дружинники вслед за ним вошли в прихожую, спросил строго у женщины: — Сам Войлошников где?

— Там ихние комнаты,— показала женщина.

— Оставайся тут,— распорядился Володя Мазурин.— И ты тоже! — сказал дружиннику Петрухе.— Никого не выпускай!

Ступив в комнату, Мазурин едва не столкнулся с женщиной в темном бархатном платье, которая, услышав чужие голоса, устремилась в прихожую. Увидев револьверы в руках, она перепугалась и застыла не в силах произнести ни слова.

— Где сам? — спросил Мазурин, догадавшись, что перед ним супруга Войлошникова.

— Не убивайте меня!.. — простонала мадам Войлошникова.

— На черта вы мне нужны. Где сам?

Женщина снова ничего не ответила. Но в это время дальняя дверь комнаты распахнулась и в дверном проеме обозначилась высокая фигура плечистого мужчины, одетого в суконную охотничью куртку. Он был без шинели, но в высоких зимних сапогах с меховыми отворотами. Правая рука его метнулась было к заднему карману, но тут же он овладел собою и шагнул в комнату, тщательно прикрыв за собою дверь.

— Господин Войлошников? — спросил Володя Мазурин.

— Да, я Войлошников.

— В таком случае,— сказал, приближаясь к нему, Мазурин,— вы арестованы. Сдать оружие и документы!

— На каком основании?

— На основании приказа штаба боевых дружин Пресни.

— Не знаю такого штаба.

— Узнаете. Сдать оружие!

«Шансов никаких...» — подумал Войлошников, не спеша достал из заднего кармана большой плоский браунинг и, держа за дуло, протянул Володе Мазурину.

— Документы!

— Документов в квартире не держу,— ответил Войлошников.

— Обыскать! — приказал Володя Мазурин дружинникам.

В карманах не оказалось ничего, кроме бумажника и двух связок ключей. В бумажнике — пачка денег и листки бумаги с записями. Бумажник и деньги Володя Мазурин вернул Войлошникову, листки с записями спрятал в карман.

— Это медицинские рецепты,— сказал Войлошников.

— Там разберемся,— ответил ему Мазурин и, показывая на дверь в комнату, приказал: — Пройдите!

Комната, судя по обстановке, была домашним кабинетом. Канцелярский стол с тремя объемистыми ящиками, книжный шкаф, контор-

ка для письма. Удостоверившись, что ящики заперты, Мазурин положил на стол обе связки ключей.

— Откройте!

Войлошников, помедлив немного, открыл один за другим все три ящика. В одном из них оказалась папка с фотографическими карточками. Когда дружинники стали перебирать фотографии, Войлошников заметно насторожился.

— Тут и наши есть! — воскликнул Гришка.

— Точно, — подтвердил Сережа. — Это вот гравер с нашей фабрики, Савелием звать, а это красильщик Лукьян Степанов.

— Где они сейчас? — спросил Володя Мазурин.

— Однако обоих в октябре забрали. Потом, слышно, расстреляли, — ответил Сережа.

— К этим арестам и расстрелам не имею никакого отношения, — поспешно заявил Войлошников.

— И с этим разберемся, — заверил Мазурин и показал на конторку и шкаф. — Откройте остальные ящики. А ты, Сергей, сходи к кухарке, попроси сумку или мешок.

Войлошников проводил его глазами, потом перевел взгляд на второго дружинника и вдруг сказал совершенно неожиданно:

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

— Гриша, выдь. Подожди в той комнате.

— Я не виновен в смерти ваших людей, клянусь честью офицера, — начал Войлошников. — Отпустите меня. Получите тысячу рублей. Целое состояние. К чему вам кровь моя? Лично вам я не сделал ничего плохого...

— Гриша! — крикнул Володя Мазурин. — Пойди сюда!

Вошел Гриша, за ним Сергей с холщовым мешком в руках.

— А ну повтори, что ты тут говорил мне! — приказал Володя Войлошникову.

Но тот нимало не смутился.

— Я сказал и повторяю, что если отпустите меня и мою жену, то каждый из вас получит по тысяче рублей.

Володя чуть приметно подмигнул оторопевшему Гришке.

— Деньги на стол!

Войлошников побледнел и слотнул наполнившую рот слюну, еще не смея верить в удачу.

— Сейчас выпишу вам чеки на предъявителя, каждому по тысяче рублей.

— А получать по чекам в Гнездиновском переулке? — сузив глаза, спросил Мазурин.

— Я не обману вас... — заметался Войлошников. — Верьте чести, не обману... Если не хотите чеки, возьмите золото... вот часы, перстень, драгоценности жены...

— Дешево покупаешь, — оборвал его Володя. — Давай, ребята, укладывай бумаги в мешок. Фотографии не помните, важная улика.

Когда бумаги были уложены, скомандовал Войлошникову:

— Встать!

— Если вы намерены убить, не уводите, убейте здесь!..

Володя Мазурин жестом остановил его изливания:

— Нам приказано арестовать начальника сыскной полиции. Мы исполняем приказ. Как решит штаб, нам неизвестно. Сергей, свяжи ему руки. И покрепче, чтобы не дергался по дороге.

Войлошников пытался все отрицать. К арестам и расстрелам пресненских рабочих не причастен. Агентурной сети на Пресне не имеет. Сведений о боевых дружинах не собирал. Никаких сведений о положении на Пресне в охранное отделение не передавал. Скрываться не собирался, так как вины за собой не знает. Единственно признал, что

пытался подкупить дружинников, потому что опасался за жизнь жены.

Запирательство не помогло начальнику сыскного отделения. Отыскались бывавшие у него на допросах, и даже не раз, хотя Войлошников упорно это отрицал.

— Самолично мне в своем кабинете зубы чистил,— показал пожилой дружинник с завода Грачева.— И не мне одному.

— Первый раз в глаза вижу,— отпирался Войлошников.

Также установлено было, что квартиру его по вечерам и по ночам посещали посторонние лица. И сам Войлошников только вчера навещался в Гнездииковский переулок.

— Уведите,— распорядился Седой.

Споров не возникло. Решили единогласно: расстрелять.

— Сегодня же ночью,— приказал Седой Володе Мазурину.— Во дворе его дома.

Уже после заседания штаба Медведь сказал Седому:

— Не хотелось мне затевать спор, а сейчас думаю, зря поостерегся. Получается так, вроде мы концы в воду прячем.

— Ты о чем? — спросил Седой.

— Расстрелять его надо было при всем честном народе на нашем фабричном дворе.

— И навлечь этим на всех рабочих самую жестокую кару?

— Ты что же, не веришь в нашу окончательную победу?

Медведь был одного с ним возраста, но тут Седой посмотрел на него как на ребенка. И сказал серьезно, почти строго:

— В нашу окончательную победу я твердо верю. Но не стану утверждать, что она уже пришла. Пресня — не вся Москва. А Москва — не вся Россия...

— А может быть, за себя и за меня боишься?

— За себя и тебя бояться напрасный труд,— усмехнулся Седой.— Мы с тобой давно идем по этой дорожке. Сворачивать поздно.

2

С каждым днем стычки на баррикадах, прикрывавших основные подступы к Пресне — у зоологического сада, на Горбатом мосту, на заставе, — становились все чаще и ожесточеннее. Противник изменил тактику. Теперь наступление на баррикады вели крупные отряды. Атаки поддерживались пулеметным огнем. Патронов не жалели, и защитники баррикад несли большие потери.

И все чаще тревожили пресненцев продолжительные артиллерийские обстрелы. Особенно угнетала пальба с батареи, размещившейся на Ваганьковском кладбище. Били по заграждениям на заставе и на Воскресенской улице, а также по штабу боевых дружин. Но ни один снаряд не попал еще ни в баррикаду, ни в малую кухню. Зато и в домах обывателей и в рабочих спальнях насчитывались десятки убитых и раненых.

— Надо выдернуть эту занозу,— сказал Седой своему помощнику.

Медведь предложил поручить эту операцию дружине чугунолитейного завода. Ваганьковское кладбище — их зона обороны.

Седой не согласился.

— Они обороняют подюжины баррикад. Нельзя ослаблять оборону. К тому же, сказать по совести, я все время опасаясь удара именно со стороны Александровского вокзала.

— Почему?

— Вполне могут выгрузить войска на Александровском вокзале. Он ближе всех к Пресне. Или того ближе, выгрузят прямо на Ходынке.

— Войска ждут из Петербурга. Значит, по Николаевской дороге, — возразил Медведь.

— Могут по Окружной перегнать эшелоны на Смоленскую, — сказал Седой. — Словом, дружинников завода Грачева трогать не след. Они на особо опасном направлении.

— Тогда кому?

— Тебе, — сказал Седой. — Возьмешь дружинников из штабного резерва и... с богом!

— Когда?

— Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше.

Когда миновали заставу, Медведь разделил свой отряд на две неравные части. Большой отряд оставил при себе. Меньший поручил Василию Честнову.

— Мы пойдем по Воскресенской, — сказал Медведь Честнову, — вы — по Звенигородскому шоссе. Выйдем на кладбище с двух сторон. Меж могил подбираемся к церкви. Орудия стоят возле паперти. Ваше дело приблизиться на прицельный выстрел и ждать. После нашего залпа считаешь до пяти и командуешь своим «пли!». Так же после второго нашего залпа. И так же после третьего.

— А пошто врозь стрелять-то? Вместе куда громче.

— Чтобы поняли: бьют с двух сторон. Если после третьего залпа не побегут, тогда «ура» и в атаку. Все ясно?

— Если после третьего залпа не побегут, в атаку!

Побежали после второго залпа, оставив возле орудий двух убитых и одного тяжелораненого.

— Оружие забрать, — приказал Медведь, — и раненого тоже.

Кто-то вроде бы возразил, но его тут же урезонили. Сняли шинель с убитого, уложили на нее залитого кровью солдата.

— Хоть одну пушку заберем, — сказал Василий Честнов. — А ну взяли!

Пушка подалась довольно легко. Поднатужились, выкатили ее за ограду кладбища.

— А ну навались! — подбадривал Честнов. — До баррикады на себе доволокем, а там уже за конями сбегает.

Немало побились, но до баррикады доволокли.

Докладывая в штабе, Медведь помянул и про захваченную пушку. Седой обрадовался, велел опросить всех отбывших солдатскую службу. Но ни одного артиллериста не сыскалось.

— Оставить надо было из той шестерки хоть одного, — сказал он словно в укор самому себе.

Прибежал связной из отряда, оборонявшего баррикаду на Пресненском мосту.

— Велено сказать, что на Кудринской и на Большой Грузинской скапливаются войска.

— И много? — спросил Седой.

— Не видно. Стемнело уже... — пояснил связной.

— Откуда же известно, что скапливаются?

— Слышно, — ответил связной.

— Оставайся здесь, — сказал Седой Медведю. — Собирай резерв и подсмренных. Я на баррикаду.

Но в дверях столкнулся с высоким мужчиной, одетым несколько странно: из-под зимнего пальто виднелись полы белого халата.

— Кто здесь старший начальник? — спросил вошедший.

Спросил спокойно, но строго, как человек, привыкший, что на его вопросы отвечают сразу, без промедления.

— Я начальник штаба.

Вошедший несколько недоверчивым взглядом окинул мятую шинель Седого.

— Прошу вас выслушать меня,— сказал он.— Я старший врач фабричной больницы Клименков. Прошу унять ваших подчиненных..

Вопроса не последовало, и Клименков продолжал:

— Только что в больницу явились два субъекта, не то старосты, не то депутаты, и запретили перевязывать раненых солдат. Это тем более странно, что перед этим тяжело раненного солдата доставили в больницу ваши же дружинники.

— Действительно,— подтвердил Медведь.— Я приказал.

Врач, все еще недоумевая, перевел взгляд с одного на другого.

— Вы врач,— сказал Седой Клименкову,— и ваше дело оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается. А мы позаботимся, чтобы вам не мешали.

Подозвал к себе Володю Мазурина и распорядился:

— Проведи доктора до больницы и наведи там порядок.

Оживленная перестрелка, звуки которой доносились со всех концов Пресни, к вечеру стала стихать, потом, когда уже стемнело, как-то сразу оборвалась, и стало непривычно и пугающе тихо... Лишь изредка — с интервалом в четверть часа, а то и больше — раздавались где-то одиночные выстрелы, но, не получая отклика, так и замирали вдалеке...

Непривычная тишина настораживала и тревожила. На малой кухне кроме караульных находились только Пчелка и Наташа, решившая дожидаться возвращения Седого.

Женщины с первой встречи как-то сразу потянулись друг к другу, и зачастую и та и другая с грустью думали о том, что в этой сумасшедшей круговерти не найти и короткого времени, чтобы поговорить по душам...

Но вот сейчас, когда время нашлось, и не столь уж короткое, они сидели молча, трепетно прислушиваясь, не раздастся ли где выстрел, способный разорвать эту гнетущую тишину.

Около полуночи вернулся Седой. Он обошел почти все баррикады и от усталости едва держался на ногах. Тяжело опустился на лавку.

— Ну и зловещая тишина и тьма на улице... Будет что-то в эту ночь или рано утром...

Пришел Медведь вместе с Володей Мазуриным и начальником дружины Брестских мастерских.

— Он утверждает,— Медведь указал на железнодорожника,— что Семеновский полк выгрузился на Николаевском вокзале.

— Собирай начальников дружин.

— Сюда?— спросил Медведь.

— Нет, как утром договорились, собираем штаб в серебряковском училище.

— Поближе к харчам,— подмигнул Володя Мазурин.

Медведь сердито оборвал его:

— Нашел время зубоскалить!

— А мы, товарищ Медведь, и умирать будем весело,— сказал Володя Мазурин.

3

Предоставив на день малую кухню депутатам, Седой употреблял светлые часы на то, чтобы обойти по возможности все баррикады, побывать во всех дружинах. Сегодня, как и вчера, особых событий не произошло. У Горбатого моста и на Малой Грузинской появились казачьи разъезды, но ограничились тем, что обменялись с дружинниками выстрелами и ретировались, не проявив особой настойчивости. А на Кудринской, Воскресенской, на Пресненском валу ни казаки, ни пехота и не показывались.

Это необъяснимое бездействие властей не могло не тревожить Седого. Наивно было думать, что Дубасов благодушно смирился с тем, что целый район города находится во власти восставших.

Каждый час, каждую минуту мог начаться ожесточенный штурм. Перевес сил у Дубасова был многократный. На одного пресненского дружинника генерал-губернатор мог выставить десять, если не двадцать штыков и сабель. Не говоря уж об артиллерии, которой у восставших совсем не было. И все-таки минуты, часы и дни проходили, а штурм не начинался. Почему?..

Седой понимал, точнее, догадывался, что у грозного адмирала есть своя ахиллесова пята. Не все полки московского гарнизона были надежной опорой. Вспомнить восстание в Ростовском полку. Против царя солдаты идти отказались, но и расстреливать рабочих тоже, конечно, не будут. Грозный адмирал сам опасался решительных действий. Гневный порыв рабочих, которые в ответ на расстрелы на Страстной площади и на Садовой и на разгром училища Фидлера окружили кольцом баррикад центр города, заперев в нем генерал-губернатора, показал, что с рабочими шутки плохи. Отсюда и мольбы о помощи из Петербурга. Но Петербург не спешил с помощью адмиралу, и оставалось одно — выжидать...

И все же Седому было ясно, что на одну Пресню сил у Дубасова хватит. И скорее всего выжидание — лишь тактический маневр: усыпить бдительность, а потом внезапным ударом... Удара можно ждать каждую минуту, и минуту эту нельзя упустить.

Баррикадами на Малой Грузинской Седой закончил сегодня обход позиций. Он намеренно выбрал такой маршрут.

Накануне вечером перед допросом Войлошниково он отпустил Наташу, поручив Марии Козыревой и Сашуне Быковой проводить ее до дому. Как они добрались в Грузины, он не знал; Мария и Сашуня получили особое задание штаба, с которого еще не вернулись.

Особое задание состояло в том, чтобы женщины навести своих знакомых. У Марии кто-то работал на заводе Густава Листа и жил неподалеку, там же в Бутырках. Знакомая Сашуни кухарила в столовой фабрики Цинделя в Замоскворечье и при фабрике же проживала. Надо было разузнать, кто хозяин в районе: городские власти или рабочие, как на Пресне.

Положение именно в этих районах — в Бутырках и Замоскворечье — особенно интересовало Седого и всех членов штаба, с которыми он успел уже поделиться своими заветными мыслями.

Сперва Седой намеревался отправить в разведку фидлеровцев, но, к его удивлению, решительно запротестовал Медведь:

- Пошлем ребят на верную гибель!
- Что предлагаешь? — спросил Седой.
- Удобнее пробраться женщине. Особенно старухе.
- Есть у тебя на примете такая отчаянная старуха?
- Старухи нет. Есть молодухи. Целых две, Козырева и Быкова давно просятя: «Пошлите нас шпионить».

Седой задумался.

— Занятно получается. Мужчин опасно — пошлем женщин.

— Напрасно оспоряешь, товарищ Седой, — возразил старик Иванов. — Правильно Медведь говорит, женщине способнее. Женщина, как коза, в любом плетне дыру найдет. Надо только, чтобы причина имелась уважительная.

Позвали Марию и Сашуню, спросили, сумеют ли... Обе неприятно обрадовались.

— А если спросят, куда идешь? — задал вопрос Седой.

— Долго ли соврать! — бойко ответила Мария Козырева.

— Врать тоже надо с умом, — заметил Василий Осипов.

— Значит, так,— подытожил Медведь.— Козыреву отправим в Бутырки, а Быкова пойдет в Замоскворечье.

— Мы вместе пойдем,— запротестовала Мария.

— Концы-то вовсе разные,— удивился Василий Осипов.

— Все равно обе вместе.

И вот уже скоро сутки, как вышли они вместе с Наташей из малой кухни, и ничего о них неизвестно. Вчера не было времени обговорить, по какому пойдут маршруту. Может быть, Наташа знает, может быть, был разговор меж ними.

4

Наташа тоже встревожилась, узнав, что Мария и Сашуня еще не вернулись. Предполагали вернуться засветло. Вышли они, как и собиравшись, чуть свет и решили идти сперва в Бутырки, оттуда в Замоскворечье. Было, правда, сказано, что если не успеют засветло, то переночуют у Сашуниной тетки. Адреса, по которым они пошли, Наташа запомнила.

Ну вот все и выяснил, что можно выяснить. И можно идти. В штабе уже ждут его начальники дружин. Но сегодня почему-то особенно не хотелось уходить. Он так и сказал Наташе.

— Не уходи,— сказала Наташа.— Можно ведь и тебе отдохнуть. Я уложу тебя, а сама буду сторожить, чтобы никто не подобрался. Я очень чуткая...

— Нет, не могу,— сказал он с мягкой улыбкой,— не пришло еще время отдыхать. Да и не в том дело, что устал. Я за тебя тревожусь. И себя осуждаю, что не отправил тебя обратно в Нижний...

— Не осуждай,— сказала Наташа.— Я бы не уехала. Ты же знаешь, что я тебя не оставляю... А почему именно сегодня ты заговорил об этом? Узнал что-нибудь плохое?

— Мы накануне боя. В бою все может случиться.

Она села рядом с ним, взяла его за руку.

— Ты уходишь от ответа. Прежде так не поступал.

— Я ничего не скрываю от тебя. Я сам не все понимаю, но нутром чувствую, что приближаются решающие события...

— Ты уже не уверен в нашей победе?

— Удивительное дело...— произнес Седой как бы про себя,— просто удивительное. Уже второй человек на этих днях... Что, разве паника проступает на моем лице?

— Обиделся? Напрасно. Паника и ты — это несовместимо. Просто я раньше никогда не видела тебя хмурым, а теперь иногда вижу. А по пустякам ты хмуриться не станешь...

— Я постараюсь объяснить... Вокруг хорошие люди. Все, кто взялся за оружие, очень хорошие люди. Но среди них есть и такие, кто вышел потому, что поверил в сегодняшнюю, немедленную победу. Взяли власть на фабрике, взяли власть на Пресне, завтра возьмем в Москве, послезавтра по всей России. Таким сейчас легче. У них нет причин хмуриться. Но зато если мы потерпим временное поражение, ты слышишь, я говорю в р е м е н н о е, им будет очень тяжело, они могут пасть духом... К счастью, больше таких, кто твердо верит, что окончательная победа все-таки за нами. Их никогда не сломит временная неудача, они будут бороться до конца.

— Ты такой. Я всегда это знала. Но к чему тогда хмуриться?

Седой ответил не сразу.

— А кровь?.. Каждое поражение — реки рабочей крови. И все равно мы правильно сделали, что взялись за оружие. Ты согласна?

— Согласна.

— Ну тогда все хорошо.

Известия, доставленные отважными разведчицами, не могли радовать. Некоторые предприятия прекратили забастовку, рабочие вышли на работу. Мария, правда, сообщила, что трамвай по Бутырке еще не ходит и слышно, что дружина миусского трамвайного парка еще обороняет баррикады на Лесной и Новослободской, но их уже теснят войска со всех сторон, и едва ли они долго продержатся. Похожими были вести и из Замоскворечья. На фабриках собирались начать работу, баррикады остались неразобранными только кое-где по переулкам. Открылись трактиры и магазины, лавки и ларьки. На каждом углу стоят городовые.

— Вроде ничего и не было...— грустно заключила Мария.

Предстояло решать, что делать дальше. Мелкие стычки на баррикадах, порождаемые наскоками казачьих и драгунских разъездов, надоели. Даже отбив такой наскок, защитники баррикады уже не радовались, как это было в первые дни восстания. Все понимали: долго так продолжаться не может.

От имени штаба Седой объявил благодарность разведчицам.

— А теперь идите отдыхайте...

Мария подошла к Наташе:

— Тебя обождают?

— Не надо. Я здесь ночую, с Пчелкой и Павловой.

Она твердо решила: теперь с фабрики не уходить, не расставаться с Зиновием надолго...

— Надо посоветоваться с рабочими депутатами,— сказал Седой Медведю.

Сегодня за длинным столом на малой кухне народу больше обычного: кроме начальников дружин многие депутаты районного Совета. Представлена власть восставшей Пресни — военная и гражданская.

— Что будем делать дальше?— спросил Седой.— Продолжать или прекращать забастовку? Защищать баррикады или сдать без боя?

— Как защищать-то?..— как бы про себя произнес Сергей Дмитриев.— Одни остались...

— Что значит одни? Нас тысячи!— крикнул Василий Честнов.

— Говори, товарищ Дмитриев,— сказал Седой.

— Нет, нет, я потом...— явно смутившись, уклонился Сергей Дмитриев.

— А, ты потом...— с издевкой протянул Василий Честнов.— Ну коли потом, тогда я скажу.

— Говори, Честнов.

— Какой может быть разговор!.. Попусту время вести!— в крик ударился Василий Честнов.— Может, кто думает, сдадимся, так помилуют. Надейся! На всех петель хватит. Так лучше пуля на баррикаде, чем петля в остроге. По мне, сражаться до конца.

— А семья? А дети? — не вытерпел Сергей Дмитриев.

— Товарищ Дмитриев,— сказал Седой,— вижу, у тебя другое мнение. Выскажи нам его.

— Мнение мое трудное,— медленно начал Сергей Дмитриев.— Даже выговорить тяжело. Начинали по общему согласию, надеялись всей Москвой против хозяев, против властей... А вышло не по-нашему. Одни остались. В смысле одни пресненские... На нас еще не навалились, по другим местам остатки подчищают. А как по всей Москве подметут, тогда и навалятся всей силой. Сколько мы выстоим?.. День, два, пушай неделю!.. Нас перебьют, туда нам и дорога, знали, на что шли... Семьи порешат, и старых и малых...

— Ты вот что, браток,— прервал его Василий Осипов,— не ходи вокруг да около. Прямо говори, что предлагаешь.

— Я прямо и говорю. Сила солому ломит. Кончать забастовку, выходить на работу.

— Отработать грехи думаешь,— усмехнулся старик Иванов.

— Не о себе думаю. За свое сполна получу. Все, что причтется.

О тех думаю, кто еще провиниться не успел.

Протянул руку, прося слово, Федор Мантулин.

— Обожди, Федор,— остановил его Василий Осипов.— Сергей друг мне. Дай-кась я первый ему врежу.

— Говори, Василий,— сказал Седой.

— Плохо вяжешь концы, Сергей,— жестко начал Василий Осипов,— не сходятся у тебя концы с концами. Ты забастовку объявлял? Объявлял. На баррикады народ выводил? Выводил. Деньги на оружие собирал? Собирал. А теперь, как до дела дошло, в кусты! О детях вспомнил. А неделю назад их у тебя не было? Нет, друг, посередь реки не перепрыгают. Начали — стоять до конца!

— Вот это правильно сказано,— поддержал Федор Мантулин.— По-рабочему. Стоять до конца! Я так понимаю: если даже погибнем мы все до единого, все равно наша победа. Потому что докажем мы и хозяевам, и властям, и всем генералам, и губернаторам, и самому царю, что дальше терпеть не будем. Другого языка они не понимают... А если мы сейчас располземся по своим углам, как нашкодившие псы после хозяйского окрика, нас вовсе в бараний рог согнут. Победа, она сама не приходит, ее завоевывают. Мое мнение такое: всем на баррикады, сражаться до последнего!

— Кто еще хочет сказать?— спросил Седой.

— Надо ли слова метать?— сказал Михаил Николаев.— Мнение у всех одно. Федор Мантулин хорошо сказал: сражаться до последнего. От имени шмитовской дружины поддерживаю.

Седой встал за столом.

— Против есть кто?.. Нету... Стало быть, продолжаем борьбу!

Это была самая радостная минута в его жизни. Нет, не зря партия проводила годами свою требующую мужества и терпения работу. Не зря. В решающий час простые рабочие люди оказались достойными великой задачи, какая встала перед ними.

Он был так взволнован, что не сразу нашел нужные слова.

— Товарищи! Дорогие товарищи! Уже неделю над Пресней красное знамя... Без боя его не отдадим. Помните, товарищи, это первый бой рабочего класса России с царизмом. Нам выпала высокая честь начать битву. Даже если мы погибнем в этой битве, за нами поднимутся другие. Теперь рабочий класс понял свою силу, а наша Пресня будет ему примером...

6

Штаб боевых дружин собирался обычно вечером, и случалось, что заседали до поздней ночи. Днем же в малой кухне верховодили депутаты, гражданская часть штаба. Дежурили в малой кухне чаще всего Василий Осипов, Иван Куклев, Сергей Дмитриев.

Приходили на малую кухню с просьбами и жалобами по самым различным поводам. С утра пришли пресненские булочники за разрешением выпекать хлеб на продажу.

— Никто и не запрещал выпекать хлеб,— ответил булочникам дежурный Василий Осипов.

— Это точно, выпекать запрету не было,— согласился дородный булочник, по-видимому старший в делегации,— на продажу запрет. Лавки-то все закрыты.

— А чем торгуете в лавках?— спросил Василий Осипов.

— Чем в булочной торгуют? Хлебом, калачами, сайками... Ну еще бывает чай, сахар...

— Еще вино, водочка...— добавил Василий Осипов.

Булочник замешкался с ответом.

— Значит, так,— заключил Василий Осипов.— Выпекайте и торгуйте. Хоть хлебом, хоть калачами, хоть сайками... Но упаси бог, ежели вином. Все заведение на распыл пустим.

— Помилуй бог!— перекрестился булочник.— Да чтобы этого вина нам сроду не держать...

Немного погода заявилися два мужика в овчинных тулупах и стали просить, чтобы их обозу из двенадцати подвод дозволили проехать через Пресню в Замоскворечье.

— Сюда-то как доехали?— удивился Василий Осипов.

— Пешком дошли, обоз-от стоит у кладбища,— пояснил мужик.— Явите божескую милость, прикажите пропустить. Ежели нам теперь ворочаться через Кунцево, дотемна не успеть. А по нынешним временам куда ночью податься?..

— Ума не приложу, как с вами быть,— задумался депутат.— Везде перегорожено. Пешему не пройти.

— Можно вдоль берега проехать, обочь фабрики нашей и к Дорогомиловскому мосту,— сказал один из караульных.

— А на берег как выехать?

— Дворами можно проехать, возле сахарного завода.

Не успели выйти повеселевшие мужики, вбежала расстроенная дама в лисьем салопе.

— Господин депутат!.. Защитите бедную вдову. Никто не стрелял из моего дома, никто, а они... они грозят сжечь дом...

— Кто они?

— Провокаторы, господин депутат. Вчера грозились и сегодня тоже... Поставьте, господин депутат, охрану у моего дома!..

— Какая улица?

— По Малому Предтеченскому, через два двора от церкви, на личники голубые, дом Сыропятниковой...

— Хорошо, хорошо, примем меры.

И дама удалилась, рассыпаясь в благодарностях.

— Чего это ты, Василий, так расшаркался перед купчихой?— удивился Володя Мазурин.

— А хоть бы и купчиха,— возразил депутат.— Вдова, поди, и дети есть. У кого ей искать защиты? Ты, Володимир, не забывай: нонче мы власть, стало быть, на нас и забота.

7

Вечером 16 декабря в штабе Московского военного округа начальник штаба генерал Шейдеман и командир только что прибывшего из Петербурга гвардейского Семеновского полка флигель-адъютант полковник Мин составили диспозицию для предстоящих на следующий день боевых действий по разгрому мятежной Пресни. Семеновскому полку ставилась задача:

«Окружить весь пресненский квартал с Прохоровской мануфактурой и с помощью бомбардировки последней заставить мятежников, предполагаемых на фабрике и в квартале, искать себе спасение бегством и в это время беспощадно уничтожить их.

Для чего под начальством командира полка сформировать отряд, который разделить на несколько колонн.

Правой колонне под командою полковника фон Эттера в составе двух рот — 3-й и 4-й — при четырех орудиях гренадерской артиллерийской бригады занять Пресненский мост.

Левой колонне под командою капитана Левстрема в составе трех рот — 5-й, 6-й и 7-й — при четырех орудиях той же бригады занять Горбатый мост.

Ротам его величества и 2-й стать заслонами по углам Расторгуевского переулка.

13-й и 8-й ротам и четырьмя пулеметами под командою капитана Албертова стать на берегу Москвы-реки для обстреливания реки.

Восьми пешим орудиям под командою полковника Михайлова занять позицию скрытно за Ваганьковским кладбищем, откуда по сигнальному выстрелу с Пресненского моста начать канонаду по Прохоровской фабрике.

Двум сотням казаков встать с северной стороны близ дачи Алексева, чтобы преследовать бегущих».

Все было учтено и точно рассчитано, так, чтобы ни один мятежник не сыскал спасения.

А то, что при массированной бомбардировке неминуемо погибнут тысячи женщин, детей, стариков, нисколько не тревожило верных царских слуг.

8

На заседании штаба, которое на этот раз проходило в директорском кабинете серебряковского училища, собрались все его члены и почти все депутаты районного Совета.

Седой занял место за директорским столом, положил перед собой полученную из МК бумагу и сообщил, что несколько часов назад Московский комитет и Исполком Московского Совета рабочих депутатов приняли решение прекратить восстание с вечера 18 декабря и забастовку с 19 декабря.

Известие это, как сразу заметил Седой, восприняли по-разному. Сергей Дмитриев был явно обрадован. Он уставился на Седого широко раскрытыми глазами, и по губам его блуждала несмелая улыбка. Василий Осипов, Федор Мантулин, Василий Честнов и особенно Владимир Мазурин помрачнели и насупились. Остальные смотрели на начальника штаба с настороженным вниманием.

После короткого молчания Федор Мантулин сказал:

— Мы вчера собрались по этому делу. Все согласно решили не сдаваться, стоять до последнего.

— Ты прав,— сказал Седой.— Мы решили стоять до последнего. Но Московский комитет и Совет депутатов поправили нас...

— А я считаю,— перебил его Владимир Мазурин,— вчера мы всё решили правильно и нечего отступаться от своего решения. Вот так я предлагаю!

— Кто еще желает высказать свое мнение? Прошу!

Никто не отозвался на его приглашение. Подождав минуту-другую, Седой встал из-за стола.

— Мы бойцы революции,— сказал он.— И должны соблюдать революционную дисциплину. Мы получили приказ, и он должен быть выполнен! Я убежден,— продолжал Седой после короткого молчания,— адмиралу Дубасову и царю Николаю угодно, чтобы мы стояли до последнего. Им надо уничтожить нас, стереть с лица земли очаг восстания — нашу Пресню. Но, думаю, Московский комитет и Московский Совет правы: надо закончить восстание своей волей. Сохранить бойцов для будущей решающей битвы. Решайте!

Седого поддержали. Не менее часа понадобилось, чтобы составить последний приказ штаба пресненских боевых дружин. Наташа переписала его набело, и Седой зачитал:

«Товарищи дружинники! Мы, рабочий класс поработенной России, объявили войну царизму, капиталу, помещикам и их прихвостням — дворянам. Война объявлена 17 октября, но последняя схватка, которая войдет в историю под названием Декабрьское вооруженное восстание, началась 9 декабря. Ныне мы по воле партии и революции решаем в нашей цитадели, что делать. Продолжать или кончать смертельную схватку между трудом и капиталом?»

Пресня окопалась. Ей одной выпало на долю еще стоять лицом к врагу. Вся она покрыта вами баррикадами и минирована фугасами.

Это единственный уголок на всем земном шаре, где царствует рабочий класс, где свободно и звонко рождаются под красными знаменами песни труда и свободы. Пресня — крепость. Но удержим ли мы ее до тех пор, чтобы вновь восстали рабочие Москвы?

Петербургские рабочие, давшие лозунг 9 января начать, устали, разбиты, не поддержали начавшую Москву. Мы были слабы, расшевелив многомиллионное крестьянство. Московский гарнизон остался только нейтральным и сидит в казармах под замком. Мы одни на весь мир. Весь мир смотрит на нас. Одни — с проклятьем, другие — с глубоким сочувствием. Одиночки текут к нам на помощь. «Дружинник» стало великим словом, и всюду, где будет революция, там будет и оно, это слово, плюс Пресня, которая есть нам великий памятник. Враг боится Пресни. Но он нас ненавидит, окружает, поджигает и хочет раздавить. Он готовит насилие женам и сестрам рабочих. Дети рабочих будут под копытами лошадей и под сапогами пьяных царских солдат. Мы начали. Мы кончаем. В субботу ночью разобрать баррикады и всем разойтись далеко. Враг нам не простит его позора. Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего. Будущее — за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству.

Я отдал приказ в воскресенье развести пары, и все фабрики работают, а начальники дружин укажут, где прятать оружие. Но пока вы — солдаты революции и нас окружают, приказываю стоять на своих постах. Нам смерть не страшна, и если враг помешает нашему плану, нашей воле, то дорого обойдется ему наше отступление. Мы непобедимы! Да здравствует борьба и победа рабочих!

Командир пресненских боевых дружин».

— Товарищ Мазурин! — сказал Седой, прочитав приказ.— Тебе поручается размножить и завтра днем расклеить по всей Пресне на видных местах... Всем начальникам дружин разойтись по своим баррикадам. Стоять насмерть! Без приказа не отходить!

Седой долго еще сидел за столом, глядя куда-то вдаль и ничего не видя. Все разошлись по своим боевым участкам. Только Наташа, приткнувшись за маленьким столиком в углу комнаты, переписывала приказ для Володи Мазурина.

Пока его окружали члены боевого штаба, товарищи по борьбе, Зиновий держался бодро и твердо, чтобы никому и в голову не пришло, что можно оспорить полученный ими приказ.

Но как тяжело ему было, знал только он один... Легче, куда легче было бы пойти грудью на граненые солдатские штыки, жизнью своей защитить революцию!..

«Вот и конец всему... Нет, не конец. Это только начало... Только потому мы и прекращаем сейчас борьбу. Решающий бой впереди. И в том бою победа будет наша!..»

Рано утром в полной темноте все подразделения отряда полковника Мина заняли предназначенные им места.

Орудия, установленные на Кудринской, дали первый залп по баррикаде, перекрывшей Пресненский мост. И тут же эхом ответила батарея, укрытая за Ваганьковским кладбищем, которая начала обстреливать спальни Прохоровской мануфактуры.

Полковнику доложили, что снаряды пронизывают баррикаду, отнюдь не разрушая ее. Приказано было отправить два взвода ее разобрать. Но едва солдаты поднялись на ее гребень, как из окон всех близстоящих домов в них полетели пули. Стрельба не могла быть

прицельной — только начало рассветать, — но все же один солдат был убит, многие ранены.

Унтер-офицер, командовавший вылазкой, отвел солдат и доложил по начальству о потерях. Приказано было разборку баррикады продолжать, а дома, из которых стреляли, разбивать пушечными залпами прямой наводкой или поджигать.

Солдаты снова поднялись на баррикаду, и снова по ним зачастили выстрелы, теперь уже прицельные, с чердаков и из окон верхних этажей. Солдат снова отвели и ударили по домам из пушек. А взвод стрелков, укрывшись за лицевой стороной баррикады, должен был перестрелять дружинников, когда они побегут из разрушаемого дома.

Но дружинников или не было в этом двухэтажном, обшитом крашеным тесом доме, или же они успели уйти незаметно дворами. Из дома бежали дети и женщины, многие с младенцами на руках. Ни один солдат не вскинул винтовку, но пушки продолжали бить по обреченному дому, и не то осколком снаряда, не то разлетавшимися обломками сразило женщину вместе с ее ношей. С предсмертным криком она упала и затихла...

Прискакал с объезда позиций полковник Мин. Ему доложили об упорном сопротивлении противника и о потерях, понесенных третьей ротой.

Полковник потребовал к себе командира третьей роты.

— Приказываю взять баррикаду!

Офицер развернул свою роту, и в разомкнутом строю солдаты бросились в атаку. Из-за укрытия, с чердаков и из окон домов дружинники открыли яростный огонь по наступающим. Падали на снег раненые и убитые, но натиск был столь стремителен, что большая часть роты добежала до баррикады и с ходу завладела ею. Но за баррикадой не оказалось ни одного ее защитника. Нападающие оставались в растерянности, а пули по-прежнему летели из окрестных домов, поражая солдат одного за другим.

Полковник приказал отвести третью роту назад и накормить солдат. Только пушечной службе приказано было повременить с обедом и продолжать свое дело. Велено было разбивать один за другим дома вдоль Большой Пресни, чтобы впредь не было помехи для наступающих войск.

После обеда в наступление была послана четвертая рота. Ближайшие дома были разбиты артиллерией или сожжены. Поэтому когда солдаты принялись растаскивать баррикаду, их тревожили лишь отдельные, и то отдаленные, выстрелы. Но едва солдаты двинулись вверх по Большой Пресне и приблизились к уцелевшим еще домам, оттуда снова полетели пули и самодельные бомбы. Продвигались медленно, отвоевывая дом за домом. И только к вечеру добрались до заставы. С наступлением темноты вернулись обратно к Пресненскому мосту.

И снова из каждого еще уцелевшего дома стреляли по проходящей мимо роте.

Наташа вышла из дому в восемь часов утра, почти сразу после того как семеновцы, тщательно обыскав все до единой квартиры, покинули дом. Вышла, хотя не вполне еще оправилась от только что пережитого потрясения.

— Куда вам идти?.. Вы на ногах-то едва стоите, — сказал ей хозяин квартиры, конторщик Прохоровской мануфактуры.

— Нет, нет, надо уходить... — возразила Наташа. — Второй раз меня не спасете. Только себя и семью свою погубите. Спасибо вам! А мне надо идти...

Как все-таки страшно человеку, когда он беззащитен... Они пришли рано утром. Рванули дверь, она была на крюке. Застучали резко, грубо: «Открывай!» Поздно было корить себя за то, что разделась, ложась в постель... Могла бы убежать... Впрочем, может быть, и лучше, что не смогла. Попалась бы им в руки во дворе, и тогда... Ворвались в комнату — она еще не успела одеться, сидела на постели, завернувшись в простыню. Велели пересесть на стул. Переворостили всю постель, все в комнате перевернули вверх дном. Сказали, ищут оружие и прокламации. Хорошо, Седой заставил все отнести в штаб... При ней допрашивали хозяина квартиры: «Есть ли были дружинники в доме?» Ответил: «Нет и не было». Рисковал жизнью...

Очень правильно поступила, что сразу ушла. Могут еще раз прийти. Могут узнать, кто жил в этой комнатухе. От кого? Знает только Мария. Она не выдаст. Но она могла рассказать подругам, она разговорчивая... Нет, нет, пока цела, надо добираться до училища. Седой сказал: «Надо обязательно». Если бы не его две раны, он сам бы пошел, сам все сделал... Он не может, сделать должна она...

Короток был их последний разговор. А ведь, может быть, последний раз видели друг друга... Он повторил еще раз, что надо сделать в штабе, потом улыбнулся как-то особенно — она вздрогнула от этой улыбки — и сказал: «А это запомни особо...» — и тихо прошептал ей на ухо улицу, дом, номер квартиры. «Там тебя дождусь, или тебе там скажут, где я».

Казалось, потянулся к ней, она думала, обнимет ее на прощанье; нет, только руку пожал. «До свидания, товарищ Наташа!» И ушел в тревожную, пронизанную выстрелами ночь...

На какие-нибудь три тысячи шагов — от своей квартиры в Грузинах до серебряковского училища — ушло четыре часа. Не шла, а прокрадывалась от дома к дому и то и дело затаивалась в подъездах или на лестницах. Многие так прятались, и никто из жителей не обратил на нее внимания. Наконец добралась до Большого Пречистенского переулка и, сделав несколько перебежек из дома в дом, поднялась на крыльцо серебряковского училища.

Дружинник — пожилой ткач с Прохоровки, — дежуривший в вестибюле, удивился и растревожился, увидев ее:

— Ты пошто заявляешься?.. Чуть свет вывел дворами на Звенигородку Пчелку с подружкой. Думали, всех женщин отослали, а ты опять вернулась.

— Поручено мне, — сказала Наташа.

— Кому теперь поручать-то? — возразил дружинник. — Все, почитай, разошлись.

— Седой поручил мне.

— Ну коли Седой, тогда...

Наташа поднялась на второй этаж. Там в учительской, где последние дни располагался штаб, находилось еще несколько депутатов Совета и дружинников. Она объяснила, что должна взять из шкафа все документы штаба и уничтожить их, а также передать начальникам дружин последние распоряжения Седого.

— А сам Седой где? — спросил один из депутатов.

— Он ранен, — ответила Наташа.

— Знаю, сам помогал перевязывать, — сказал депутат, — сейчас-то где его оставила?

— Его должны надежно укрыть, — ответила Наташа.

— То и дело, что надо особо надежно, — сказал депутат. — За его голову большая награда назначена.

— Награда?!

Он протянул ей листок, снятый со стены или с афишной тумбы. На листе аляповатая — слава богу, непохожая — его фотография, а ниже крупным шрифтом: «Кто доставит в полицию или сообщит о местонахождении — ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ».

— И про Медведя тоже расклеено. За его одну тысячу.

Очень растревожила Наташу поганая афишка. Вся надежда на то, что фотография несхожа. Выдать может только знающий лично, а такому Зиновий не доверится...

Наташа достала все свои записи, которые вела на заседаниях штаба, писанный рукой Седого черновик последнего приказа дружинникам Пресни, проверила тщательно все ящики стола и полки шкафа, выгребла все до последней бумажки. Свернула в пук, сожгла в печке и золу переворошила кочергой.

Последние приказания начальникам дружин: надежно спрятать оружие, а самим дружинникам уходить из Москвы, не полагаясь на милость победителей, — Наташа передала некоторым лично, к остальным послала дружинников.

За день почти все депутаты и большая часть дружинников разошлись. Те же, кого темнота застала в училище, решили дожидаться здесь утра. Ночевать условились на нижнем этаже, ближе к черному ходу, чтобы в случае тревоги успеть скрыться.

Но было не до сна. Надежда Николаевна уговаривала:

— Вам надо уснуть. Вы же утром уходите. Кто знает, сколько придется вам скитаться без отдыха, без сна...

— А вы разве не уйдете?

— Я остаюсь здесь, — ответила Надежда Николаевна.

— Мне страшно за вас.

— Почему? За мной никакой вины нет. Я кормила детей-сирот, женщин, стариков.

— И дружинников.

— Я этого не знаю.

— Они все узнают. Уходите, Надя!

— Не надо меня уговаривать. Я решила. Я так и поступаю... А если не спится, пойдемте наверх, в большой зал. Оттуда на все стороны видно.

Эту ночь она не забудет до последнего дня своей жизни... Высокие окна двусветного зала проступали в полутьме багровыми пятнами. Наташа подбежала к окну и отшатнулась в ужасе. Ей показалось, что огонь подступает к самому зданию. Потом поняла, что ошиблась. Горели дома на Средней и Большой Пресне. Отдельные пожарища сливались в сплошную стену огня. Огромным костром, пламя которого вздымалось выше всех, пылала мебельная фабрика Шмита со своими складами. Горели дома на Прудовой улице, на Нижней Пресне, в прилегающих к ним переулках...

— словно на острове среди пылающего моря, — сказала Надежда Николаевна и заплакала. — Бедные люди... Сколько осталось без крова...

Потом спустились вниз и до утра сидели, крепко прижавшись друг к другу, успокаивая и утешая одна другую...

Утром, едва рассвело, пришел дружинник и сказал, что можно пройти к железной дороге и там, укрываясь за вагонами, пробраться к Брестским мастерским. Уходили мелкими группками, по два, по три человека. Ей пришлось задержаться. Прибежал, запыхавшись, какой-

то запоздалый дружинник. Принес оружие. Закопала его в одном из сараев училища.

Обнялись с Надеждой Николаевной, и Наташа пошла.

Еще не дошла до двери, сзади что-то лязгнуло. Оглянулась в испуге... Еще раз лязгнуло. Били старые стенные часы. Было два часа дня, воскресенье, 18 декабря.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Судьба пощадила товарища Наташу. По улицам и переулкам горящей Пресни уже рыскали патрули семеновцев, хватая всех, вызывавших подозрение. Но ей удалось выбраться незамеченной. И удалось разыскать товарища Седого.

Их переправили за границу, и уже там, за рубежами родины, Надя Синева стала женой Зиновия Литвина. И была его верным другом и помощником всю свою жизнь.

Зиновий Яковлевич Литвин-Седой был скромен, как и подобает истинному большевику. Но скромность не мешала ему ценить свое прошлое. Он помнил, что великий Ленин назвал рабочих Красной Пресни передовым отрядом всемирной рабочей революции. И никогда не забывал, что волею партии ему — большевику Седому — выпало счастье возглавлять этот отряд в незабываемые декабрьские дни 1905 года.



ЗУЛЬФИЯ



МУШОИРА¹

Поэма

Сверкают звезды ярче самоцветов,
И вечер объявил турнир поэтов.
«Любезный друг, тебе ли не пора
Войти в мой круг? — зовет мушоира.—
И я восторжествую над пространством,
Когда ко мне с сердечным постоянством
Прибудут снова, высказав привет,
Те, кто рожден поэтами на свет.
Крылатых слов искусны мастера,
Блеснув стихом, они рванутся в споры,
Чтоб озарились вдохновенно взоры
И радовалась я — мушоира.
Чья мысль острее и сложней задачи,
Цветник души и ярче и богаче,
Под пологом походного шатра
Я рассудить должна, мушоира!»
И на земле индийской, что прекрасно,
На суд неся сердечные дары,
Поэты выступать должны согласно
Обычаю мушоиры.
Сердца близки, и голоса созвучны.
Зачем роскошных залов мишура?
Среди дерев, что с музыкой неразлучны,
Поэтов собрала мушоира.
Один из них, прославленного ранга,
Нам повествует о величье Ганга,
Другой, счастливый обладатель крыл,
В стихах своих обожествляет Нил.
На воле мы, и только легкий полог,
Что к небесам бы приравнял астролог,
Расписанный цветами манго весь,
Нас, словно парус, осеняет здесь.
И все вокруг напоминает диво,
И синевой Бенгальского залива
Наполнен вечер. И огней игра
Сверкает, как сама мушоира.
Цветов благоуханье, пенье птиц,
Стихов звучанье, лучезарность лиц
И песнь девичья рядом под луной —
Все сделалось гармонией одной.
Входило в круг поэтов вдохновенье,
Имели в нем высокое значенье
Служенье муз и острота пера.
«Сюда, друзья!» — звала мушоира.

¹ Мушоира — состязание поэтов.

Под стать супе² узбекской был ковер,
Укрывший сцену, а его узор
Стать радугою мог бы, и, добра,
Вновь славилась любовь мушоира.
Да здравствует ристалище поэтов!
И пламени его мы и заветов
Хранители достойнейшие есть,
Здесь торжествует истина и чести!
Эй, стихотворец! Пусть блеснет твой дар,
Кто б ни был ты, прославленный чинар
Иль молодого лотоса росток,
А ну яви, какой ты есть пророк!
Индийского обычая устав
Не нарушаем мы и, обувь сняв,
Сидим среди хозяев на ковре,
Причастные к мушоире.
Толпилась наша обувь в стороне,
Я глянула, и показалось мне,
Что каждая из пар для красоты
Имеет самобытные черты.
Вот Индии с подошвой из сандала
Сандалии, достоинств в них немало.
Я б обошла, нанизывая стих,
Всю Индию великую в таких.
И туфельки китайские что надо!
И сшитые сапожником Багдада
Добротны тоже. И найти изъяна
Я б не сумела в тех, что из Ирана.
И чьи-то сохранить смогли ботинки
Цейлонские дорожные пылинки.
С пенджабскими ковушами, высок,
Беседовал монгольский сапожок.
И тут я осознала, что сапожник
Творить способен так же, как художник.
И собственные словно ненароком
Я туфельки окинувшая оком,
Вмиг оценила мастерство Ахмета,
Нет, не подвел он своего поэта.
Благодарю тебя, земляк Ахмет,
Что ты художник, в том сомненья нет.
И у тебя всегда найдутся в мире
Соперники в Бомбее и в Кашмире.
Между собой сегодня, как вчера,
У вас своя идет мушоира.
Как тамада отзывчивого пира,
Пред микрофоном встал глава турнира,
Хоть в волосах сиянье серебра,
Но молод он душой, мушоира.
Глаза лучатся, хоть они видали
Страну родную в вековой печали,
Но родина его теперь другая,
И обратился к нам он, предлагая
Побольше пылких слов подбросить в спор,
Чтоб не сникал мушоиры костер.
Сердца поэтов — горные вершины,
И песни с них летят, как реки с гор.
«Ночь синяя, прекрасный мой толмач,
Поэтам всем свидание назначь,

² Супа — глиняное ложе в саду.

Я жду их», — говорит мушоира,
 Как муз единокровная сестра.
 И вот Пенджаба нежный соловей
 Выходит в круг и песнею своей
 Соединяет времени ко благу
 Тревогу матери и воина отвагу.
 Как будто хворост в жар огня кидая,
 Стихи читали русский и таджик,
 И вслед за стихотворцем из Китая
 Звучал стиха непальского родник.
 И воином не зря казался нам
 Поэт, здесь представляющий Вьетнам.
 И синдхи нас вниманьем окружили,
 Как черный пламень, бороды их были.
 Бенгальцы, от почтения тихи,
 В одежды белоснежные одеты,
 Покачиваясь, слушали стихи,
 Которые читали здесь поэты.
 И представлялось мне: волненья полны,
 Течению в лад покачивались волны.
 А песнь? Она звучала то призывом
 К святой борьбе, то славилась любовь,
 То сеяла надежду, чтобы нивам
 В воображенье разливаться вновь.
 То смех ребенка, будто бы алмаз,
 Искрился в ней, то подведенных глаз
 Меж строчек возникало очертанье,
 То правды удушаемой стенанье
 Вдруг слышалось. То справедливый меч
 Стремился цепи рабские рассесть.
 То пред свободой сладостный восторг
 В ней стихотворец радостный исторг.
 И Азии и Африки она
 Была ожившей картой, что полна
 И гордости душевной и ненастья,
 Любви напевной и людского счастья.

Мушоира почетна на Востоке,
 Во все края ее летели строки
 И оказались на устах молвы,
 О чем, наверно, догадались вы.
 И обращалась к западным она
 Поэтам, дружелюбию верна:
 «Я вас, умельцы своего тавра,
 Приветить рада как мушоира!»
 О вечера индийские, остались
 Вы в памяти сокровищницей таинств.
 И силой волшебства соединили
 Поэтов с почитателями их.
 Мушоиру мы проводили или
 Мосты между сердцами наводили?
 Да будет с миром неразлучен стих!
 Ристалище поэтов — это небо,
 В котором звезды ярко зажжены,
 И обрели не зря значенье хлеба
 Слова о мире для любой страны.
 Ристалище поэтов не забава,
 А чести неотъемлемое право,
 И негодуя в свете и любя,
 Со всею страстью утверждать себя.

Мушоира, рабочий и дехканин
Того достойны, чтоб твоим дыханьем
Наполнить грудь художнику сродни,
Пусть в наш круг приходят и они.
Мук творчества не ведает иной,
Но все равно имеет за спиной
Невидимые крылья, как поэт,
И книгою его, что вышла в свет.
Любовь к свободе стала для времен,
И пусть в наш круг войдет свободно он!
Пусть с голосом поэзии всегда
Сливает голос человек труда.
От века правда ходит без чадры,
И в честь ее пусть станет под луной,
Охваченный тревогой, шар земной
Ареною мушоиры.

Перевел с узбекского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.



ВИКТОР ТЕЛЬПУГОВ

★

ВКУС АРБУЗА

Рассказ

Дружили мы с Одинцовым, моим соседом по дому, давно, с конца войны, но знал я о нем, в общем-то, мало. Молчалив был старик, нелюдим. За шахматами, в которые мы хоть и редко, но играли, по крупинке приходилось выуживать из солдата его, как он выражался, автогеографию. Ну воевал, ну ранен был. А кто с фронта без чугуна меж ребер пришел? Полстраны в кирзовых сапогах прошагал, пол-Европы. Однополчан порастерял всех до единого. Особо много их полегло под Харьковом, в Зеленом Гаю, под Мерефой. И еще под Прагой. Но главное боевое крещение получил Одинцов на Украине, большая часть войны с теми местами у него связана. Оттуда и словечки принес украинские. Не в Зеленом скажет, а в Зеленом, не в Гае, а в Гаю. Протяжно словечки те выговаривал, будто песню спивал. Задумчиво-грустную. Вскоре после войны обратно на «шарик». Куда же еще? Говорил об этом удовлетворенно, как космонавт, выполнивший задание и благополучно возвратившийся домой, на родную землю. Московский шарикоподшипниковый завод был и домом ему и как бы целым шаром земным.

Жил Николай Васильевич одиноко, замкнуто. На здоровье никогда не жаловался, врачей избегал. Те сами находили его и каждую весну все же упекали в госпиталь на профилактику. Больницу он именно так и называл — госпиталь. По старой привычке. В прошлом году упекали даже дважды — сперва в самом начале весны, потом ни с того ни с сего еще и глубокой осенью. Я в то время в командировке был, узнал о случившемся по возвращении и в тот же день под вечер отправился навестить Николая Васильевича. Прихватил с собой плоскую бутылочку темно-коричневого, почти черного горноалтайского бальзама, настоящего на десятках чудодейственных трав, каждая из которых, как объяснили мне друзья-алтайцы, способна была воднять человека на ноги при любой хворобе.

С трудом напаяв на себя жесткий, как картон, халат и перешагнув порог указанной мне палаты, я сначала подумал, что дела обстоят не так плохо, как рассказали соседи. Большая, коек на двенадцать, комната остановила острым запахом лекарств. Подумалось: не станут тяжело больного содержать в таких условиях. В этот миг кто-то из дальнего угла окликнул меня с напускной бодростью:

— Ну заходи, заходи, коль уж прорваться тебе удалось. Часики наши пущены, топают...

Меня при словах этих ожгла уже совсем другая мысль, невеселая. Слова-то, собственно, были обыкновенными, время посещения, мол, давно кончилось, но насторожил этот голос — слабый, чужой. Интонация, правда, осталась прежней, не изменилась, судя по всему, и манера старика немного подшучивать над собой и над другими.

Я стал пробираться между коек, вглядываясь в повернутые в мою сторону серо-желтые, изможденные лица. Самым измученным показалось лицо Николая Васильевича. Я едва узнал его. Он понял это, опять пошутил в своем обычном духе:

— Богатым буду.

Он даже попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Туго натянутая на обострившихся скулах кожа едва шевельнулась. Очевидно, не такой, как всегда, была и моя улыбка. Это не прошло мимо внимания Одинцова:

— Утешать будешь? Не мужицкое дело, брось.

— А чего тебя утешать? — возразил я. — Просто соскучился, вот и заехал прямо почти с корабля.

— Ну садись, коли так, гостем будешь. А у меня тут видишь какой корабль. Да ну их к лешему, эти болячки! — сам себя одернул Одинцов. — Как съездилось-то? Выкладывай. Открыточку твою принесли уже сюда. Прочел, вспомнил старый анекдот про самую короткую телеграмму. От тебя же, кажись, и слышал: «Подробности письмом. Вася». От тебя?

— От меня. Но сегодня наговоримся вдоволь, — успокоил я Николая Васильевича. — Меня с ходу в новую командировку налаживают. Так что я медицину вашу укланчил, получил разрешение. Посидите, говорят, если так.

Одинцов сделал еще одну попытку улыбнуться. Я отвел глаза. Мне стало почему-то стыдно за свое здоровье, за то, что полный энергии сижу возле немощного человека и бессилён хоть чем-то помочь. Одинцов понял мое состояние.

— Не убивайся. Живы будем — не помрем. Я давеча сон один видел, к добру, думаю. Ты в сны веришь?

— Совсем не вижу снов, Николай Васильевич, с родедормом засыпаю. Я хоть и помладше, но все равно — годы...

— Какой ты солдат после этого? — рассердился Одинцов. — Мне один старый доктор знаешь чего сказанул?

— Про родедорм?

— Про годы. Не в них дело, а в нас. Шестьдесят годков, к примеру, самый распрекрасный возраст для мужика. Лучше шести десятков ни черта, говорит, не придумашь. Самый цвет! Но понимать мы про то начинаем, когда нам аж под-за семьдесят. Понял?

Я рассмеялся. На этот раз, кажется, более естественно. Во всяком случае, Одинцов остался мною доволен и с видом заговорщика сказал негромко:

— Кавуны приснились.

— Кавуны?

Мне известна была манера Одинцова загадки загадывать. Начнет, бывало, что-нибудь говорить о себе, о молодых годах своих, например, и сам же себя на полуслове остановит. Так и сегодня будет, подумал я, а он повторил:

— Кавуны. Полосатые такие, здоровущие, каждый обхвата в два. — Одинцов выпростал из-под одеяла руки — тоже серо-желтые, с истончившимися пальцами. — Нет-нет да и приснятся.

— Чудные бывают сны! — удивился я.

— Всякие, — ответил Одинцов, — но все из жизни, заметь, все из жизни. Так и давешний.

Одинцов оторвал голову от подушки, обшарил глазами все уголки палаты, велел мне подсесть поближе. Я послушно выполнил просьбу.

— Не дает мне покоя история одна. Про кавуны и чернявую. Все как было, тебе доложу, хотя ничего и не было. Раскручу, так и быть, всю катушку — такое настроенье нынче.

Я подумал — очередная загадка. Кавуны, чернявая, был и небыль. Сейчас слова два-три еще молвит, и точка на том, как всегда.

Но точку Одинцов на сей раз не спешил ставить. По словцу, по другому стал раскрываться передо мной заповедный уголок солдатской души.

— Так вот, чернявая, значит. Вроде дежурной сестрички. Обратил внимание?

Я ответил, что какая-то симпатичная девушка проводила меня сюда, наказала, чтоб не волновал больного. Одинцов встрепенулся:

— От той будет копия!

И без того тихий наш разговор перешел с этой минуты на шепот, еле слышный нам самим.

Вечер давно сменился ночью. Все население палаты спало. В двери время от времени стала появляться дежурная. Тогда мы вообще умолкали. Молчала и она. Немного приоткроет дверь, постоит и снова исчезнет. Разглядеть ее было трудно — в палате тлел ночничок, в коридоре тоже была полутьма. Но белый халат был все равно белым, черная коса — черной.

Постепенно странное завладело мной ощущение. Будто на пороге не дежурная сестра, а сама наша молодость, чуть подсвеченная ночным огоньком, возникает из далекого далека. Постоит, остановит на каждом из нас свой короткий, пристальный взгляд и снова уйдет, скроется за тяжелой, массивной дверью...

Такие же чувства испытывал, по-моему, и Одинцов. И когда бронзовая запятая ручки на белой двери возвращалась в исходное положение, он тихо вздыхал.

После одного из появлений сестры Николай Васильевич шепнул:

— Аллочка! Всей палаты нашей любовь. Каждому слово молвит, каждому подсобит. Ко мне тоже нет-нет да и подсядет. Не часто, правда. Видно, не значусь у нее сильно больным. И то слава богу... А я, по правде сказать, очей от нее отвести не могу.

Я посмотрел на Одинцова, видимо, как-то не так. Он предупредил вопрос, который я готов был задать:

— Не подумай чего-нибудь. Просто так — информация к размышлению...

— Не часто, но редко, — попробовал я помочь Одинцову сформулировать мучившую его мысль.

— Оно, оно, как говорят чехи. Не редко, но и не часто. Понял больше половины?

— Половину понял, — сказал я.

— Вторую тоже поймешь.

Одинцов не спеша, степенно, хотя и не без волнения продолжал «раскручивать катушку».

В одном из боев где-то между Зеленым Гаем и Мерейфой Одинцов, истекавший кровью, остался на поле боя один. Он лежал ничком на горячей, как сковородка, земле. Дивизия дралась уже где-то там, впереди, звуки выстрелов становились все глуше, все слабее. Так, во всяком случае, казалось терявшему сознание солдату. Как потом выяснилось, так оно и было в действительности. Дивизия перешла от обороны к наступлению неожиданно, стремительно. Про Одинцова и ему подобных подумать ни у кого не было времени.

Сколько часов пролежал он, раненный, под палящим солнцем — этого Одинцов не мог потом вспомнить, как ни старался. Помнит только, что почувствовал вдруг, как щека вместе с кровью прикипела к земле и оторвать ее можно только с кожей. Дурацкое создание: если жив, то надо вставать, а встать невозможно. Кое-как все же отлепился от раскаленной глины, осмотрелся. Кругом ни души, ни деревца, ни былинки. Приподнялся на локтях и увидел, что метрах в трехстах от него — бахча! До неузнаваемости перемолотая, вдоль и поперек изъезженная тяжелой телегой войны, но

все же бахча — кое-где полосато пестрели на ней уцелевшие ядра арбузов. Горло Одинцова перехватило, жажду терпеть не было больше никакой возможности. Не рассуждая ни о чем, пополз напрямик. Долго полз: по-пластунски не получалось — почему-то не слушались ноги, — работал одними локтями, посдирал их в кровь. Много раз останавливался. Потом бахча, когда до нее было совсем близко, вдруг исчезла. Подумал: или мираж, или уже мозга за мозгу цепляется. Но удача, оказывается, еще не совсем позабыла солдата. Постепенно додумался: это местность скрыла его в своей складке, чтобы снова поднять на раскаленных ладонях...

Когда солнце начало клониться к горизонту, обжигающие лучи перешли от прямой наводки к навесному огню. Это было уже легче, это можно было стерпеть еще немного. К тому же Одинцов теперь лучше мог разглядеть кавуны — разможенные выстрелами, расположенные осколками. Он видел теперь даже запекшуюся кавунную кровь, вылушенные из мякоти зерна — крупные, черные, еще не успевшие потерять глянца...

Нежданно-негаданно где-то за собой Одинцов услышал слабый, испуганный женский возглас. Превозмогая боль, обернулся. В нескольких шагах стояла дивчина.

— Чернявая, совсем молодая, лет осьмнадцать, не больше. Как эта. — Николай Васильевич скосил глаза в сторону белой двери.

— Как же она оказалась там, в этом аду? — невольно перебил я.

— Я уж потом про то узнал. Четверо их было, таких, как она. Гнали скотину колхозную куда-то в дальнее место. И угодили в самую кутерьму. Одним словом, отбилась деваха от своих. Помогли, говорю я ей, если можешь. А она убоялась вида моего, постояла-постояла, руками лицо закрыла — и деру! Погода все же слышу за спиной вроде бы тот же голос, только чуть посмелевший. Оборачиваюсь — она! А с ней рядом такой же, как я, бедолага. Одной рукой на дрын опирается, из-под другой плащ-палатка торчит. Разостлали они ту палатку, меня на нее пересунули, поволокли. Куда? — спрашиваю. На перевязку, отвечают. Тут, дескать, недалеко овраг, в овраге — госпиталь. Никакого госпиталя там не было. Десятков пять раненых-перераненых и она. А над оврагом, гляжу, уж «рама» висит. Высоко, правда, но нас видит, конечно, сквозь цейсы свои распрекрасно. Нутро у меня горит все сильнее, пить хочу — помираю, а воды нет. Все перекошилось перед взглядом моим. Небо и «рама» в одну сторону ушли, земля с оврагом в другую...

В этом месте Одинцов вынужден был прервать свой рассказ — дверь палаты приотворилась, в матовом прямоугольнике снова возникла фигура дежурной. Ни словом опять не обмолвилась, постояла, посмотрела в наш угол, покачала головой, ушла.

— Что дальше было? — спросил я, когда звук шагов растаял в глубине коридора.

Одинцов ответил не сразу и несколько невпопад:

— Точно как та. Две капли! Только эту Аллой зовут, та Галкой была. Все остальное сходится. И лицо, и косы, и глаза. Чуть поведет ими, черными, — занимается мое сердце. Смерили б мне давление сейчас — сбежалась бы вся медицина!

— А я гипотоник, Николай Васильевич, стабильный.

— Знаю, — ответил он. — Давай как-нибудь скинемся и пополам поделим.

Помолчал, прислушался к тишине Одинцов, стал «катушку» дальше раскручивать. Так, мол, и так, кровь кругом, стоны, смерть. «Рама» совсем не зря была немцем повешена. Высмотрел он овраг и раненых в нем, стали скоро мины кругом свистеть. То недолет, то перелет, то в самое яблочко.

Возле Одинцова в песок тот, с дрыном, зарылся и ему приказал сделать то же самое. Не было у Одинцова сил выполнить тот приказ.

Чернявая помогла. Он усмехнулся — не хорони, мол, прежде срока. Она обиделась, дурнем обозвала.

— Я и был дурнем, — откровенно сказал Одинцов. — Стопроцентным.

— Правильно! — невольно вырвалось у меня.

Он подтвердил:

— Правильней некуда. И знаешь, удумала еще что? Когда немец к ночи поутих малость, за кавунами решила ползти. Тут они, говорит, почти рядом, а вас всех напоить-накормить надо. За ней колченогий с дрыном своим увязался и еще какие-то отпетые головы, человека два-три, кому полегче стало. Остальные пытались отговорить их — глупость, мол. Не послушались, выбрались на край оврага. Немец в тот миг ракету вывесил точно над нами — для остратки. Не убоялись и этого — с ракетой, дескать, даже видней.

Одинцов продолжал, я слушал, честно говоря, уже веря и не веря своим ушам. Мыслимое ли дело? Под миной, под ракетой — за кавунами! Оказалось, мыслимое — через какое-то время в овраг по зыбучему песку будто бы тяжелые ядра стали скатываться. Одно за другим. «Кавуны!» — рявкнул кто-то. С одним из арбузов чернявая скатилась к Одинцову. Пыль с кавуна обтерла, на скибки порезала — ешь, мол, скорей, тобой крови много потеряно. И косит на него глазами, словно родственник он ей какой. Одинцов отказать не смог — все нутро будто выгорело. Впился в арбузную мякоть, глотал вместе с зернами, лишь утолив жажду, усовестился, спросил, почему, мол, сама не ест, только смотрит. Я успею, говорит, вот тебе еще скибочка, вот еще. Что болит, где болит? — спрашивает. Еще прикатить кавун? И, не дожидаясь ответа, снова за край оврага...

Одинцов умолк.

— Поговорили вы тогда меж собой? — спросил я после долгой паузы.

— Поговорили. Спросил, из каких краев, как звать, кем была до войны, о чем мечтает. Мечтаю, говорит, своих найти. Вот и весь разговор. Когда особо говорить-то? Чуть не целую неделю местность та полем боя была. Овраг то в тылу у наших, то в тылу у немцев оказывался, то вроде бы линией фронта становился. Раненых у нас ото дня ко дню прибывало. Как кавуны в овраг скатывались. Ни единого цельного человека! Она одна за всех была — и за санитаров и за врачей. И хоть одну минуту, но для меня найдет. Пошепчусь, как с тобой сейчас, погорюем. У нее вся семья потерялась в первые же месяцы. Отец, мать, трое братишек мал мала меньше. А у вас? — спросит. И у меня, отвечу. Вот и все разговоры. Потом и вовсе растащила нас судьба в разные стороны... Как-то под утро машина пробилась санбатовская. Стали нас в кузов затаскивать, самых тяжелых, а мы не помещаемся. Я останусь, говорю, а она — ни в коем случае! Сама помогала санитарам грузить меня. Когда наклонилась поближе, обожгла вдруг мне щеку и губы ее слеза, сладко-соленая, как сок кавуна. Да черная коса упала вот сюда. — Одинцов дотронулся до своей груди чуть пониже плеча. — Больше мы с ней ни разу не свиделись. Такая, понимаешь, история...

В этот миг мы с Одинцовым одновременно глянули в сторону белой двери, которая вновь отворилась, на сей раз более решительно.

— Вам пора, — шепнула дежурная, обращаясь ко мне.

Мы стали прощаться.

— Перед отъездом постараюсь навестить, — пообещал я, Одинцову. — Чего принести-то?

— Ни-ни-ни! Ты что! — запротестовал он. — Вон полна тумбочка провианта всякого. Давеча чуть не всем цехом ребята притопали. Так приходи, рад буду.

Я пожал протянутую мне тонкую руку, пожелал здоровья Одинцову, он, как положено, послал меня к черту. Тихонечко так послал,

еще с одним очень слабым подобием улыбки. Была в ней затаенная боль человека, знающего про себя гораздо больше любимых врачей.

В коридоре меня поджидала сестра Алла.

— Не верите, что ухожу? — спросил я.

— Просто хочу проводить вас до выхода. Все двери давно на замке.

— Вот и говорю, не верите, — повторил я.

— Напрасно вы так. Кое-что сказать вам хочу.

— Говорите. — Я внимательно посмотрел на Аллу.

— Вы друг его. Он мне про вас рассказывал. Через войну вместе прошли?

— На разных фронтах воевали, — уточнил я, — уже в госпитале в мае сорок пятого свела нас судьба.

— Сколько же люди муки приняли! И сколько еще осталось...

Мы в тот миг медленно, почти на ощупь спускались по темной узкой лестнице запасного хода. Я замер на полушаге. Остановилась и Алла. Мне показалось, она собиралась сказать мне что-то очень важное, но не решалась.

— Неважные у него дела, да? — спросил я.

От прямого ответа она уклонилась.

— Хороший он человек, мне жалко его. И один на всем свете. Люди-то к нему ходят, не забывают. Вчера сразу ползавода явилось. Халатов не хватало на всех. Несколько смен организовали.

— Ну вот, а вы говорите: один, — поправил я Аллу.

— А родных не было, — сказала она. — Никого за эти два месяца.

— Он так давно здесь? — поразился я.

— Из командировок не вылезаете, — помогла мне оправдаться Алла.

Я попробовал вспомнить, когда последний раз виделись с Одинцовым, о чем говорили. Два месяца никак не получалось.

Словно угадав ход моих мыслей, Алла уточнила:

— Два. Завтра третий пойдет.

Мне стало стыдно. Обещал Алле исправиться, выкроить еще вечерок перед новой дорогой.

— Сколько он тут еще пролежит? — спросил я ее.

Ответ снова уводил далеко в сторону:

— Не забывайте его. Я таких одиноких еще не встречала.

— Что принести ему? Какие фрукты? Соки?

— Все есть у него. Про это он вам правду сказал. Когда придет? У нас со дня на день карантин. Так что проникнуть будет сложно даже к Одинцову.

Долго шел я в ту ночь по дождливой Москве. Думал о Николае Васильевиче, о его судьбе. О солдатской его молодости. Как бы трудно она ни сложилась, все равно чертовски жаль, что ушла, плотно прикрыв за собой дверь, и не воротись. Можно только окликнуть в самый последний момент — а вдруг напоследок все-таки обернется, бросит прощальный взгляд? Обернется, чуть убавит шаг, обожжет черным или зеленым огнем и исчезнет, чтобы больше уже не являться перед тобой, разве что во сне, на одно краткое мгновение. Кстати, что такое мгновение? И может ли оно быть кратким или длинным? — спрашивал я себя на ходу. Все в мире относительно. В одной книжке про вечность прочитал как-то: «Возвышается на краю земли огромная гора из чистого алмаза. К горе раз в столетие прилетает ворон — поточить клюв. Когда вся гора сточится, для вечности пройдет только один миг». Восстановив в памяти этот образ, я невольно пошел почему-то медленнее. Заметив это, сам над собой посмеялся. Чужак человек! Нельзя ничего ни торопить, ни тормозить в жизни. Чему быть, того не миновать, само собой в свой черед явится. А то и вовсе без всякого череда пробьется. Дрянная, конечно, философийка, но другой у меня в тот час не было. Самую обыкновенную команди-

ровку и ту пойдика отсрочь. Черта с два! Впрочем, насчет командировки мы еще посмотрим, поборемся. Объясню начальству, что друг в больнице, глядишь, и отложат мой вылет хоть на несколько коротких дней. И опять сам себя поправил: дни не могут быть ни длинными, ни короткими. Все точно отмерены. Так же как и ночи. Кроме тех, ясное дело, которые бесконечно тянутся. У меня сегодня была одна из таких. И Одинцов небось таращил глаза в потолок, и может быть, в позднем осеннем рассвете выделались и ему в трещинах штукатурки линии наших фронтов со всеми их зигзагами, меняющимися рельефностью в зависимости от угла падения первых солнечных лучей или от «угла» разыгравшегося воображения. Когда долго глядишь вот так в потолок, еще и не такое пригрезится.

Я бесконечно возвращался мыслью к далеким событиям и временам. К сладко-соленой слезе, сбежавшей когда-то по щеке чернявой, к бахче, изрытой снарядами, к Зеленому Гаю, в котором никогда не бывал и про который до сегодняшнего дня знал только несколько слов из печальной украинской песни с мотивом, ускользавшим из памяти. Вновь и вновь возвращался к Николаю Васильевичу с его жизнью, прожитой достойно, никогда не жаловавшемуся на судьбу и только сегодня признавшемуся мне, что в одной анкете якобы написал про семейное свое положение: «В девках остался». И про то, как целые десятилетия после войны пытался сискать свою Гаю. Куда только не писал, не ездил, в какие только инстанции не обращался! Каких только ответов не получал! Целая папка собралась. Узнал в бесконечной переписке этой, что существует в архивах войны среди прочих и список, озаглавленный «Убитые, умершие от ран, пропавшие без вести». Не значилось Гали и в том документе...

От командировки отбиться не удалось. Начальство и до того придерживалось во всем порядка, а тут аккурат пошли всякие строгости. Все мои доводы сработали против меня — мол, скорей вылетай, скорей возвратись. «Да и о чем разговор? Перебьется неледу твой друг».

Я особо спорить не стал, я вообще не умею спорить с теми, кто жмет на сознательность, давит на долг. Неделя, решил, действительно невеликий срок, а до отлета к Одинцову все же забегу. Так и сделал. Только Алла в тот день, к сожалению, не дежурила, а кроме нее, пропустить меня было некому. Карантин, оказалось, уже ввели. Записку, правда, и кое-какие фруктишки взяли, но ответа ждать не позволили. Поздний час, дескать.

Командировка оказалась трудной, работы невпроворот. Но я старался изо всех сил, чтоб в самый малый срок уложиться. Под палящим таджикским солнцем за неделю успел объездить ближние и дальние районы республики, побывал в десятках колхозов, провел сто совещаний, встретился со знаменитыми мастерами — все сделал, как мне было поручено. А в последнюю ночь перед вылетом в Москву даже отчет успел написать, чтобы по прилете времени зря не тратить, как можно скорее попасть к Одинцову. Тревожная мысль запала мне в душу после разговора с сестрой. Запала и поторапливала.

В одном из колхозов неподалеку от Душанбе бригадир, назвавшийся Рахимом, степенно разгладив посеченную сединой бороду, спросил:

— Куда торопишься? Плохо тебе тут, да? Успеешь в Москву, останься, вечером приходи ко мне, мы с женой рады будем.

Пришлось рассказать старику об Одинцове.

— Совсем один человек, да? Плохо. У меня вот сорок семь родственников в районе. Попаду к докторам — очередь в больницу будет длинней каравана. Потому и не болею. Зачем, думаю, столько людей от дела отрывать?

Сказал это Рахим одновременно и весело и грустно. Все понимал прекрасно. И про то, что семья семье рознь, и про другое многое, что усвоил за свои семь десятков.

— Сердце ему надо укреплять, вот что,— вдруг поставил свой диагноз старик.— Я на войне сапером был, не передний край это, сам понимаешь. И столько лет прошло, да? А оно напоминает. Спасаясь знаешь чем? Курагой! Давай адрес — скоро проявлю, пришлю сколько хочешь и самую лучшую. Пусть утром большую пиалу съедает.— Он свел вместе коричневые от времени и работы ладони, показывая, каких размеров пиала требуется.— Послушай, а отчего оно все-таки останавливается?

Я сказал, что был у меня как-то разговор с одним хорошим врачом. Задал вопрос ему именно об этом. Отчего, мол? Врач, весельчак и жизнелюб, помрачнел. «Вам,— говорит,— честно сказать?» «Конечно,— отвечаю,— честно». «Так вот,— говорит,— ежели по чести, по совести: не знаю. Больше того, мы все не знаем даже, отчего оно бьется, черт подери! Вам стыдно за современную науку? Мне тоже. Но вы сами просили, чтоб честно».

Рахим поглядел на меня, развел коричневые ладони в стороны, словно взвешивая на них услышанное. Вид у него был в ту минуту такой, словно знал старик больше всех врачей на свете. А знал он и в самом деле немало.

— У каждого человека свое сердце, у каждого сердца своя причина биться и останавливаться, да? Точно! Подумай и не спорь, я старше.

— Одинцов на сердце не жалуется,— сказал я.— Он вообще никогда не жалуется ни на что. И все у него есть. Он сам любому придет на выручку.

— Богатый человек! — воскликнул Рахим.

— Миллионер,— согласился я полусерьезно-полуиронически.

— Богатый,— уверенно повторил Рахим.— Восточная мудрость что говорит? Истинно богат не тот, кто богат и об этом знает, а тот, кто владеет несметным богатством и о том не догадывается. Понял что-нибудь? Еще немного подумай, да?

Я обещал подумать. Старик, как и все старики, был настойчив:

— Совсем немного. И пожалуйста, за тобой адрес, за мной курага,— решительно подвел Рахим итог нашей дискуссии.

Я, повинувшись его воле, нацарапал на клочке бумаги домашний адрес Одинцова. На этом мы расстались. Я считал, надолго, если не навсегда. Вышло несколько по-иному.

Ранним утром следующего дня на аэродроме за десяток минут до посадки я увидел своего вчерашнего знакомого, пробывавшегося ко мне через толпу. Шагал он почему-то тяжело, грузно. Когда приблизился, я увидел: в каждой руке бригадир держал по авоське, в каждой авоське было по арбузу — и по какому! Таких великанов я еще не встречал.

На аэродроме было шумно, вблизи и вдали ревели десятки турбин и моторов. Нам даже поговорить не удалось толком. Я удивленно таращил глаза на арбузы, старик, навьючивая их на меня, кричал мне в самое ухо:

— Этот для тебя, этот для твоего Одинцова Курагу вышлю посылай. Много кураги!

Разместившись в самолете, разглядев подарки бригадира, я оценил, каким богатством располагаю: арбузы показались мне похожими на те, про которые Одинцов рассказал! А уже в Москве, по дороге из Шереметьева, мне еще поднял настроение таксист:

— С Украины кавунчики? Хороши! Только там такие водятся, я бывал в тех краях.

— Точно? — воскликнул я.— Такие именно?

Шофер не заметил, как переспросил я его, повторил будто само собой разумеющееся:

— Только там. Да еще, может быть, в Средней Азии.

Я попросил прибавить скорость. Дескать, в больницу спешу к одному солдату. Водителя, несмотря на сильнейший дождь, агитировать долго не пришлось — двигатель взревел, в машине стало шумно, как на аэродроме.

Ехали молча. Я часто оборачивался назад, где, глубоко ввалившись в сиденье, разделенные мокрым моим портфелем, поблескивали арбузы. Таксист, заметив это, успокоил:

— Не волнуйтесь, не скатятся, как пассажиры, сидят, плотненько!

Теперь моя дума была об одном: застать бы Аллу. Карантины быстро небось не кончатся, да еще такой глубокой осенью. А без Аллы не прорваться, это уж точно. Да и время опять, как назло, вечернее, стало быть, неурочное. И все же застану. Если она через двое суток на третьи, то как раз выходит ее смена. Я вынимал из бумажника календарик, всматривался в него, и концы с концами сходились. Ну а с Аллой договориться можно будет. Вот этот арбуз Одинцову, скажу, вот этот — вам. Пропустите, пожалуйста.

В расчетах своих я не ошибся — Аллина смена была. Нянечка, сердито оглядев мокрого с ног до головы неурочного посетителя, поворчав для порядка, привела мою знакомую. В тускло освещенном коридорчике я не сразу узнал ее — что-то изменилось в облике Аллы. В голосе была тревога:

— Что же вы так долго? И опять в такой дождь и в такой час!

Я объяснил, что прямо с дороги, из аэропорта, даже домой не заехал. Аллу это в удивление не привело.

— Хорошо сделали. Спрашивает по сто раз в день.

Я сразу воспрянул духом:

— Значит, пропустите? Спасибо большое! Не зря я не только на крыльях летел — на кавунах катился.

Алла бросила недоуменный взгляд на арбузы, полосато громоздившиеся в углу за моей спиной, и удивленно воскликнула:

— Разве такие бывают?! Никогда не видела ничего подобного!

— Кое-где еще встречаются. Один Николаю Васильевичу, другой вам, Аллочка. Ну что, потащили? — Я решительно приподнял авоськи, сделал шаг вперед, чтобы идти вместе с ней к Одинцову.

Алла так же решительно преградила мне путь:

— Карантин уже больше недели.

— Но вы же сами сказали: хорошо, что приехал!

— Да, — подтвердила она, — хорошо. Пишите записку, давайте подарки, ждите ответ. А кавуны ваши прелесть и, главное, ко времени. Он сказал мне, что мечтает вырваться отсюда, поехать на Украину кавунами лечиться. Заводские уж на рынок ездили, да разве в такую пору достанешь!

Я немного повеселел. Примостившись у подоконника, сочинил Одинцову послание, в котором, каюсь, немного слукавил относительно места прописки кавунов. Намек сделал на то, что, дескать, где еще могут расти такие красавцы как не на украинской земле.

Алла ушла, переваливаясь под тяжестью авосек.

Ждать мне пришлось долго. Только минут через сорок возвратилась сестра.

— Еще одно огорченье, вы уж простите меня. Заснул Николай Васильевич, я не стала его будить. Он последние сутки глаз не сомкнул, а тут вдруг вздремнулось ему. Дай, думаю, немного поспит. Так и все, кто есть в палате, мне приказали. Уж больно сладко спится ему. Правильно я поступила?

— Правильно, — ответил я. — Подожду еще, сколько скажете.

— Я думаю, вам лучше уйти,— ответила Алла.— Опять ведь ночь уже. Давайте так сделаем. Я завтра снова дежурю — за подругу. Приходите пораньше.

— Специально отпрошусь с работы где-то сразу после обеда, можно?

— Жду вас, но только обязательно. Письмецо будет. Что-то сказать вам хочет.

— А как все же насчет встречи? Устроили бы, а?

— Я же говорю вам — карантин. Исключений почти не бывает.

Через четверть часа я снова тряся в такси. Еще через четверть был дома. И опять, невзирая на усталость, долго не мог уснуть. Думал об Одинцове, о доброй сестре, которая при всей своей юности успела, видно, в жизни пройти через многое. Совсем не случайным было это «почти». Свидание с Одинцовым не очень твердо, но обещала. Или я не понял ее? Может, записочку только принесет? Что будет в той записочке? И будет ли что? Поговорить бы с Одинцовым, как в ту ночь. Душу отправить. Узнать, что хочет сказать недосказанное. Какую еще исповедь приготовил. И обязательно надо выяснить, сколько будет длиться этот карантин. Прошмыгну как-нибудь. Солдаты мы, в конце концов, или не солдаты? И не такую медицину вокруг пальца обводили! «Через санбаты выходят в солдаты!» — вспомнил любимую поговорку старшины своего. Верная была поговорочка, справедливая.

На следующий день я заявился в больницу даже раньше, чем предполагал. Начальство вошло в положение. Алла, вызванная мной через нянечку, встретила меня хорошо. Подошла, первая протянула руку, воскликнула:

— Кавуны ваши все вверх дном тут перевернули.

— В каком смысле? — не понял я.

— Что вчера было, что было, представить не можете! Часов в десять все началось. Вы только-только уехали, Николай Васильевич проснулся, пить запросил...

— И вы ему сразу арбуз! — догадался я.

— Верно. Кавуны вам, говорю, Николай Васильевич, с Украины.

— Так и сказали? С Украины? Я же забыл вас предупредить, Алла: именно с Украины. Именно!

— С этого-то все и началось, вы только послушайте. Он у нас ведь последнее время все больше пластом. А тут вдруг — ноги в шлепанцы! Выпугали мы с ним арбузы из авосек. Он стучал по одному, по другому. «Вот это, говорит, кавунчики! Режьте их скорей, Аллочка, пировать будем». «Прямо сейчас?» — спрашиваю. «Прямо сейчас, отвечает, немедленно!» Разбудил всю палату. Пока я бегала за тарелками, за ножом, один арбуз уже был кем-то разделан. Николай Васильевич как пьяный, покачиваясь, ходил от койки к койке, угощал всех больных. Скоро уже из соседних палат слышался его голос. От всех хворей, от всех напастей, дескать, первейшее средство.

— И вас, конечно, угостил? — спросил я сестру.

— Меня почему-то в первую очередь, — чуть смутилась она. — Я отказывалась, он настаивал. Второй арбуз вообще уговаривал до мной укатить.

— И я вас о том же просил, Алла. Один ему, другой вам, семье вашей. Даже если очень большая — на всех хватит.

— Вот так! — Алла приложила ребро ладони к горлу. — Отец военный. Они с мамой на Дальнем Востоке. Мы с братишкой в Москве. Я здесь, он на «скорой» — только по праздникам и видимся. Короче, второй арбуз тоже по кругу пошел — нянечкам с врачами устроили пир. Это было утром уже. Зернышки я собрала все до единого. Поеду к своим в отпуск — посажу.

— Значит, и вам арбуз понравился? — спросил я.

— Мне больше всех,— чистосердечно призналась сестра.

— А ему?

— Говорю же — чуть не всю ночь ходил человек. Обошел все отделение, наугощал всех, потом свалился от усталости. И вот спит уже много часов и сквозь сон улыбается! — воскликнула Алла.— Вот скоро проснется — я ему первым делом о вас доложу. Подождете?

Я ответил, что буду ждать сколько потребуется, и похвалил девушку:

— Заботливый вы человек, Алла, добрый.

— Обыкновенный,— сказала она.— Другим, по-моему, тут делать нечего.

Сестра шевельнула рукавом белоснежного халата, и мы одновременно глянули на ножнички часовых стрелок.

— Скоро сменщица придет. Та поостроже будет. Не подумайте, что все у нас тут такие, как вы говорите, добрые.

— А как же я? Не могу ведь уйти, не повидав Одинцова. Может, как раз где-то перед сменщицей и проскочить к нему?

— Я не обещала вам этого, вы что-то путаете. Почтальоном буду работать хоть до ночи.

— Ну тогда хотя бы не торопитесь. Посидите еще со мной, расскажите, как все было. Все по порядку.

— Я все рассказала уже. Радовался, как ребенок, и даже шутил. Учил нас, как есть кавуны надо.

— Ну вот видите, а вы говорите — все рассказали. Не все, выходит. Как же надо их есть?

— Говорит, чтобы полные уши косточек набивалось. И смеется. Что еще? Все, по-моему. Да, вот еще что. Поспорили мы с ним. Он спросил, какого вкуса бывают арбузы. Я удивилась даже: как это, говорю, какого? Сладкого. А вот этот особенно. Он стал меня на слове ловить. Дескать, я сама себе противоречу. Выходит, есть арбузы сладкие, есть «особенно сладкие». Какие, спрашивает, еще?

— Что ж, он прав, наверно,— сказал я.— Разные бывают арбузы.

— Да, конечно, от спелости, от сорта зависит,— согласилась Алла.— Но про вчерашний он что-то не то сказал, засыпая. Будто бы сладко-соленый. Никак его убедить не могла, что ошибается. Сладко-соленый, и все тут! Уже седьмой сон, наверно, видел, а сам все свое: вы не распробовали, говорит, в нем два вкуса. Один сладкий. Другой соленый....

— Больше ничего не сказал? — спросил я девушку.

Она наморщила лоб, задумалась, покачала головой. Потом еще раз глянула на часы и, решив, что Одинцов теперь уж наверняка проснулся, встала со скамейки и уже из коридора, на ходу, полуобернувшись, обронила слова, ею наверняка не разгаданные, а для меня и Одинцова полные особого смысла:

— Раза два или три меня почему-то не Аллой, а Галей назвал. А может, мне так слышалось...

Ждать Аллу мне пришлось не меньше часа. Чего только не передунал я за это время, чего только не почувствовал. Уж не навредил ли чем Одинцову? Ему ведь полный покой нужен. А я большого человека волноваться заставил. Не стало бы хуже. Уж клял себя на все лады за эту затею с арбузами. Только увидев Аллу, весело мчавшуюся ко мне с письмом по гулкому коридору, я успокоился.

Одинцов по старой армейской привычке сложил белый листок в три угла. Я сразу обратил на это внимание и обрадовался. Держится, стало быть, солдат, не сдается.

Всего несколько строк было в послании Николая Васильевича. Перво-наперво благодарил меня друг от всего щирого сердца. Он именно так и писал — «щирого». И это было признаком тоже добрым. Одинцов, когда на душе у него светлело, любил мне уроки «мовы»

давать. Многие украинские слова за давностью лет из памяти его выветрились, но иные запали в душу на всю жизнь. Прощаясь, например, он чаще всего восклицал: «До зустрічи, до побачення!» И от меня того же требовал и всегда рад был, если я отвечал правильно, без запинки.

Дальше в письме повторялось то же, или, вернее, почти то же, что Одинцов ночью Алла сказал. Я сохранил письмо Николая Васильевича, часто теперь достаю похрустывающий треугольник из ящичка стола. Аккуратно разворачиваю, читаю-перечитываю беглые, косые, загибающиеся на концах, но все-таки твердой рукой написанные строки:

«Лекарство могучее ты раздобыл. Кавуны самый первый сорт, первой некуда! Точка в точку как на Украине. Привез ты их, ясное дело, не оттуда, я понял, но придумано здорово. Больше мне ничего не нужно, а сам приходи, буду ждать. Алла обещает почтальоном нашим быть до самого конца карантина. Только до конца я тут, понятно, торчать не буду (это строго между нами). Мне уже полегчало. Охота напоследок еще раз проведать Зелэный Гай. И чем скорее, тем лучше. Вот так, дорогой, такие дела. Ну бывай. До зустрічи, старик, до побачення!

Твой Н. В.».



ИЗ СЛОВАЦКОЙ ПОЭЗИИ



МИЛАН РУФУС

Вечер на Дюмбере ¹

Где над могилой веет вихрь,
как куры, разгребая глину,
охапкой сбив былинки безымянных трав,
а ржавый пулемет, зверея без почину,
на месяц воет, рыло вверх задрав,
до ночи летних рос, до мглы благоуханной
гранит столпа велит из века в век
железной цепи слов железной стать осанной
тому, как был свинцом повержен человек.

Как он упал, уснул в пыли обочин,
дита земное — горстка недр земных.
А цветик синий выпил ему очи,
а кровь его в сосудах травяных.
В корнях подземных жилы его живы,
ручьём в долину голос его стек.
А птиц, испивших из ручья, звенят разливы,
дабы их посвистом он с нами молвить мог.

Поведай, воин, про лицо конца,
про гибель слова и про мысли проблеск,
когда открылось сердце для свинца
и обожглось в весну, которой имя — доблесть.

Я знаю, в вечной славе пребывает,
жизнь павшего — осуществленный сон.
Но пуля та, что сердце пробивает,
в сердцах увязла матерей и жен.
Он падает, он, как звезда, сорвался,
ему не знать, кем зажжена свеча,
кто смертью его жив, с кем свет его остался,
кто смертью его жив,
душой кровотока.

Он спит.
Под головой комочек глины.
Над ним вершины снежная слеза.
А в утре золотом родной краины
от слез ослепли матери глаза.

Она уже не ждет. Тоску размыло время,
металл расплавленный остыл, он — ледяной,
и грудь уже не жжет. Но давит бремя
сединами, и мыслью, и виной.

¹ Дюмбер, Кремничка, Дукла и другие встречающиеся в тексте названия связаны с героическими боями и мученической гибелью словаков во время Словацкого восстания 1944 года.

Взорву остывшие слои былой надежды,
ты оживешь в мечтах, чтоб матери предстать.
Ты за мою ей поцелуй одежды,
за кроткую мою, заждавшуюся мать.
Я — свет ее и солнце с длани божьей,
от плоти плоть, судьбы ее замок.
Любовь ее проста, но нет похожей,
и нет других, кто так любить бы мог.

Ночь бронзу разлила в вершины, как в ладони,
и полнит лето землю до краев.
Все двадцать шесть моих годов,
промчась, как кони,
напьются из его живых ручьев.
Усните, мысли! Что вы, в самом деле?
В долины вплыл уже тумана белый плат,
но глаз я не смыкал, хоть веки тяжелели,
сидел до света на моей постели
он, Ваня Бабкин, киевский солдат.

МИКУЛАШ КАСАРДА

Дукла

Какой необъяснимый трепет дивный
на Дукле в этот час,
где осень тихая хвалой возносит гимны
тем,
кого с нами рядом нет сейчас.

Умолкло все — гора, и дол, и пажить,
озноба оторопь охватывает нас...

И даже птица синеву небес не вспашет.

И вспомнится тотчас,

как злобно рвали их безжалостные мины,
как холодила глина у дорог
и как осенний ветерок с равнины
шептал про близкий отческий порог
и остужал им лица, исцелитель...

и запахами дома врачевал...
И в отчий край ступил освободитель
и — жаждущий — к истоку припадал.

Какой необъяснимый трепет дивный
у памятника здесь испытываем мы,
а осень ясная хвалой возносит гимны,
где бесновались громы и думы.

ВЛАДИМИР РАЙЗЕЛ

Такое случается

Человек и не представляет,
чтобы такое получилось —
уговорить сталь
восстать против самых злобных животных.

Человек и не представляет,
 чтобы такое случилось —
 противопоставить Давида Голиафу
 и прогрохотать
 миру:

Да,
 тут слабые,
 там сильные,
 но тут сила
 правды,
 там
 черная твердыня крови.

Такое случается:
 чудовищный
 исполин повержен,
 а человек величиной с росинку
 говорит
 свое
 слово.

Такое случается.

Драгоценность

Шла война — в канавах трупы,
 пламя, горе, бесов рать.
 И ни разу я не слышал
 слов «любить» и «миловать».

Шла война — сироты, вдовы,
 кровь, погосты, черный снег;
 зеркала заговорили:
 ты ли это, человек?

А потом рассвет забрезжил,
 день спокойный засиял.
 Эту тишь и эту радость
 я б на рай не променял!

АНДРЕЙ ПЛАВКА

Рождество 1944

Пес бешеный сыщи
 ты ясли наши под зимы покровом
 разнюхай след
 пророческой звездой
 проложенный к пастушьим кровам

да сбудутся слова обетований
 о путниках и о дарах
 и о конце времен
 и о спасении в земле страданий

Со свастичной секирой идешь ты Ирод
 и татуирует на ней мороз твою слепую душу

в перинке снеговой в одежке хвойной
 с бессмертных материнских рук

тебя высматривает ястребиным взором
словацкое Дитя

Кровавыми глазищами
общишь тышу яслей
обшаришь тысячу конюшен

пока его найдешь а он тебя повергнет
он в можжевельнике он в ельнике в засеке
он в мирном дыме из пастушьих хижин
струящемся в ветра из века в веки

тебя настигнет он
на горло ступит
вон по высоким елям гнезда затаились
его душа со всех вершин дерев
взирает на дары
у яслей у кровавых
у горестной Кремнички

Тут символ мира рождественская елка
на ней кровавые свои игрушки
развесил дьявол
из человеческих тел

а в небо смех его ракетами летел

Ты выжил мальчик
в скорби явлена свобода
несут дары
и вон звезда видна

идут к тебе с восхода

МАРИАН КОВАЧИК

Мы не исчезли

Висело в воздухе... Что будет... Что оставим...
когда валькирии слетятся из Валгаллы
Иль сами на себе навеки крест поставим
и канем под земли родимые завалы

Пс детскому скелету
найденному близ Кремнички
однажды сделают вывод
о нашей мизерности

На основании находки массового пепелища
там где была Немецка
в тысячелетнем рейхе кто-нибудь —
представим —
к доисторической культуре
нас досыпет

Висело в воздухе что будет что оставим

В Словенской Люпче
перед церковью
на липе

Битая утварь погнутая пика
из пашни пахарю предстанут через годы
Но позабыли — в нас еще тикал
адский взрыватель свободы

Какой это был век

Каменный
Бронзовый
Невинно спросят дети
возлагая
цветы к подножиям
или на обелиски

А яркая звезда
известная как Солнце
беседует с травой по-словацки
где мертвые свою вкушают пищу
из расписной огромной общей миски

Именно так ощущает историю воздух
в котором влага хотя бы на миг но станет дождем
Однако в нем
никогда не находили следов клинописи

И если

дети кладут цветы
а Немецка осталась

какая это была эпоха?

Мы не исчезли

Перевел А. ЯНВАРЕВ.



Н. М. СКОМОРОХОВ,
маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза



АТАКУЮТ ИСТРЁБИТЕЛИ...

Главы из книги

Капитан Богданов построил остатки своей эскадрильи. Четыре летчика и три самолета — все, что осталось от нее после боя. Технический состав потерь не имел.

В эскадрилье любили Богданова за прямоту, заботу, строгость, справедливость и блестящие бойцовские качества и сейчас ждали, что скажет отец-командир. Очень хотелось услышать от него что-то обнадеживающее. Богданов это понимал, но правда, которую он собирался сказать летчикам, была горькой.

— Дела на фронте у нас плохи, но воевать надо еще активнее, еще сильнее бить фашистов, — тихим голосом начал комэска и тут же перешел на приказный тон: — Летчикам готовиться к заданию, инженеру эскадрильи собрать подбитые самолеты и как можно быстрее сделать из них хотя бы один, способный к полетам.

Инженер кисло улыбнулся. Богданов посмотрел ему прямо в глаза.

— Тяжелая задача, но решать ее надо.

— Есть, товарищ капитан, — ответил инженер. — Второе звено уже работает по сборке одного самолета. Осталось переставить мотор. Сделаем все что надо.

— Именно все что надо, — подчеркнул капитан.

Комэска знал: многого сделать не удастся, но если к трем самолетам прибавится еще один, это будет уже здорово.

Отпустив личный состав эскадрильи, Богданов задумался о прервательствах судьбы и снова вернулся к мысли, что не давала ему покоя многие дни. Что мешает им воевать как надо?.. Да, он отлично пилотировал и вел учебные воздушные бои, хорошо учил курсантов. За это его отмечали, награждали. О боевом опыте в Испании, Финляндии, на реке Халхин-Гол имел полное представление, относился к нему критично. У него были собственные взгляды на будущие бои. Война сразу же внесла свои поправки, и летчики — хорошие, отважные — оказались слабо подготовленными к воздушным боям... Много и других мыслей — конкретных, о сегодняшнем дне — роилось в голове.

Богданов осмотрел аэродром, взглянул на стоянку: там вместе с техническим составом, засучив рукава, трудились летчики. Он направился к ним. Подойдя, подал команду:

— Летный состав, ко мне!

Летчики прервали работу, опустили руки в бензин, протерли их ветошью и предстали перед командиром.

— Пойдемте дальше от самолетов, чтобы по неосторожности не поджечь их. Смотрите, сколько бензина вы разлили, да и сами будто искупались в нем,— сделал замечание Богданов.— После нашего разговора отмойте руки получше, иначе могут быть всякие неприятности, ведь кое-кто из вас курит.

— Есть, товарищ командир,— ответили летчики.

— Товарищи, нас осталось немного... Но сегодня от меня упреков не ждите, отнеситесь критично к себе сами, и вы найдете у себя немало недостатков, но об одном попрошу: не увлекайтесь самоистязанием, это не лучший метод в достижении цели. Подумайте лучше о другом. Да, мы ведем воздушные бои не лучшим образом. У каждого из нас немало ошибок, и в то же время все вы самоотверженно деретесь. Будем же обретать и совершенствовать боевые навыки. Например, после каждого боя мы проводим разбор, говорим об ошибках и недостатках. В следующем полете что-то учить будем, но опять совершаем ошибки, подчас новые. Почему? Во-первых, не всегда вскрываем до конца причины ошибок, во-вторых, не все знают, что, когда и как надо делать, чтобы не допускать их. Правильно?

— Так точно, товарищ капитан! — вскочив, произнес Фадеев.

— Садитесь, Фадеев,— кивнул Богданов.

Заместитель Богданова и командир второго звена молча ожидали, что дальше скажет комэска.

— Если так,— продолжил Богданов,— то не лучше ли нам заняться учебой перед вылетом на боевое задание, и разработанное на занятиях проверять в бою, а после полета уточнять свои варианты боя с учетом реального противодействия врага? Он нам загадывает загадки, мы на них должны готовить ему свои сюрпризы.

Анатолию эта мысль очень понравилась, но он постеснялся высказаться первым.

— Как я понял,— задал вопрос командир второго звена,— вы хотите школу организовать?

— Угадали,— ответил Богданов.

— После боя, товарищ командир, бывает совсем не до учебы: голова так забита, что ни одна толковая мысль в нее не идет, руки ходуном ходят, даже сигарку и то не сразу свернешь,— высказал сомнение командир второго звена.

— Оно, конечно, так,— согласился Богданов.— Однако, если головой работать не будем, немцы нас все время будут одолевать. У нас самолеты не экстра-класса и по некоторым показателям уступают немецким, да и у большинства летчиков опыта маловато. Остаются только голова и воля, на них расчет. Думать надо. Ох как крепко думать!.. Народ нас соколами зовет, а мы по результатам боев частенько выглядим мокрыми курицами.

Заместитель командира эскадрильи и командир второго звена недовольно заспели, но не стали перебивать комэска.

— Чтобы стать настоящими соколами,— продолжал Богданов,— надо учиться. Начнем с анализа проведенных воздушных боев, заканчивать будем конкретными предложениями. В общем, займемся тактикой.

После слов Богданова наступила тишина, нарушаемая редкими командами инженера эскадрильи, заканчивавшего подготовку к полетам очередного самолета.

— Кто первый? — спросил Богданов.

— Придется мне, товарищ командир,— подал голос заместитель.

— Попрошу.

— Я буду краток и назову лишь некоторые ошибки,— начал замкомэска.— Первое: плохо видим в бою немцев, замечаем, когда они уже идут в атаку. Это вынуждает нас обороняться. Второе: если увидим первыми, то часто ждем, когда немцы начнут нас атаковать, и опять ведем оборонительный бой. На земле в этом, пожалуй, есть

резон, но в воздухе, где ведет борьбу авиация, надо наступать. Авиация — род войск наступательный!

— Интересная мысль, — поддержал Богданов своего зама.

— Третье, — продолжил замкомэска, — боевые порядки, определенные нашей организационной структурой, устарели. Я посчитал — нас было девять. Сбиты крайние ведомые. То, что Фадеев в нашем звене остался живым, это дело случая. Тех сбили не только потому, что они допустили ошибки, — им просто не было места в боевом порядке. Третий самолет сковывает маневр ведущего. Верно говорят: третий лишний. Если ведущий покруче завернет боевой разворот, то внешний ведомый летит прямо в пасть «мессерам». Короче говоря, применяемые нами боевые порядки не годятся. У нас осталось три самолета на четырех летчиков, и, если удастся достать четвертый самолет, разделите, товарищ командир, нас на пары и вы увидите — это будет совсем другое подразделение.

— Хорошо, подумаем, — ответил Богданов.

В это время подошел инженер и доложил о готовности самолета.

— Рад, молодцы ребята! — обрадовался Богданов. — Здорово ты нас выручил, инженер! Фадеев, ну-ка попробуй самолет на земле и в воздухе.

— Есть! — Фадеев вскочил и опрометью бросился к самолету, на ходу застегивая шлем. Быстро осмотрел самолет, мигом прыгнул в кабину.

Подошел инженер, спросил:

— Ты без парашюта решил лететь?

— О, я и забыл!

— Не спеши. Вылезай из кабины, надень парашют, успокойся и тогда лети на здоровье, — сказал инженер.

— Виноват, я сейчас! — Анатолий быстро вылез из самолета, моторист помог ему надеть парашют. Инженер в это время еще раз осмотрел самолет и дал добро на вылет.

Фадеев спокойно проделал необходимые манипуляции и уже через несколько минут уверенно повел «ишачка» в голубое небо. Самолет немного кренило влево, но Анатолий рад был и такой машине. Опробовал на всех режимах мотор и благополучно произвел посадку.

Через пятнадцать минут он снова был в воздухе, летел ведомым у заместителя командира эскадрильи.

Осматривая воздушное пространство, Анатолий старался строго соблюдать новый боевой порядок. Сейчас он никому не мешает, и ему тоже.

После набора заданной высоты Богданов круто развернулся на юг. В считанные секунды в ходе разворота все заняли свои места. Через пару минут комэска резко бросил самолет на сто восемьдесят градусов, и опять все на местах. Фадеев удивлялся, как легко и свободно стало маневрировать в новом боевом порядке, и главное — все хорошо видно вокруг. Получив большую возможность наблюдать за воздушным пространством, он чаще бросал взгляд на запад. Солнце клонилось к горизонту, его лучи ослепляли глаза и скрывали западный сектор неба. Фашисты могли подойти незамеченными на короткую дистанцию и внезапно атаковать их. Фадееву очень хотелось первым увидеть врага, чтобы хоть частично исправить прошлые ошибки и в какой-то степени реабилитировать себя в глазах однополчан. В полку он остался единственным сержантом-летчиком, которому доверяют вылеты на боевое задание. Ему надо сделать все, чтобы оправдать такое доверие. Главное, увидеть врага первым.

Размечтавшись, Фадеев немного ослабил ручку управления, и самолет повалился на левое крыло с разворотом в сторону ведущего. Анатолий выровнял самолет и впился взглядом в своего ведущего, ожидая от него замечания. Обычно за мелкие погрешности, допу-

скаемые летчиками в полете, командиры четко выражали свое отношение к ним постукиванием кулаком о голову и затем о борт самолета — весьма красноречивый жест. Сейчас ничего подобного не последовало — грех невелик или командир снисходителен? Однако Фадеев, как говорится, зарубил себе на носу и стал более внимательным. В это время Богданов замахал крыльями и через мгновение левым разворотом устремился вниз. Замкомэска тоже развернулся, но снижаться не стал. Анатолий усилил круговой обзор, особенно тщательно следя за задней полусферой. Теперь, когда пара Богданова ушла вниз, он, Фадеев, должен первым обнаружить врага и не допустить внезапной атаки по своему ведущему. Велика ответственность, справится ли?

Покрутив головой, он отошел в сторону от ведущего на расстояние, позволяющее свободу маневра в случае внезапной атаки истребителей врага сзади. Наблюдая за своим ведущим, Анатолий очень хотел бы знать, что делает внизу пара Богданова, но он боялся прозевать появление «мессершмиттов» сверху. Улучив момент, Фадеев разыскал в небе своих товарищей: они добивали немецкий самолет-разведчик, прозванный «рамой». Так вон оно что! Молодец замкомэска, не поддавшись искушению принять участие в сбитии немецкого самолета, не покинул свое место в боевом порядке!

Фадеев проводил взглядом падающую «раму» и снова взял под наблюдение опасный сектор. Беглый осмотр не дал никаких результатов, но как только замкомэска начал разворот влево, Анатолий отчетливо увидел на горизонте несколько черных точек. Фадеев мгновенно закачал крыльями и резко повернул нос своего «ишачка» на врага. Через мгновение ведущий махнул головой в знак подтверждения того, что тоже видит «мессерфов». Наблюдая за приближающимися немецкими самолетами, Фадеев, маневрируя то влево, то вправо, стремился занять выгодное исходное положение, бросая при этом взгляды на набирающую высоту пару командира эскадрильи. Успеют ли?

Расстояние до противника уменьшалось. Замкомэска, плавно переваливая самолет с крыла на крыло, ожидал пару Богданова, но, не дождавшись, резко развернулся вправо и устремился навстречу «мессерам». Фадеев тут же последовал за ним. Когда осталось менее двух километров до врага, замкомэска резко сбросил самолет вниз, Анатолий устремился за ним, успев подумать: «Что он делает?»

В это мгновение замкомэска перевел самолет в набор высоты и точно направил его на ведущего «мессера». Фадеев не знал, что ему делать: то ли стрелять, то ли смотреть за воздухом и ведущим.

Самолеты неслись навстречу друг другу с такой скоростью, что у Анатолия от напряжения по спине пошел холодок. Теперь он уже не думал о стрельбе, больше беспокоился, как бы не столкнуться с «мессерами» или своим ведущим, и вдруг впереди летящий «мессершмитт» задымил. Фадеев оторопел: отчего? В это время замкомэска перед самым носом фашистского истребителя круто направил самолет вверх. Фадеев на сотую долю секунды замер, соображая, что делать: следовать за ведущим или во избежание столкновения с врагом отвернуть в сторону? А может, лучше еще немного пролететь, а потом набрать высоту?

Вспомнив разбор Богданова, он мгновенно устремился ввысь, сжавшись в комок, ожидая столкновения с «мессерами». Секунда, другая, третья... «Пронесло!» — мелькнула мысль. Отыскал замкомэска и, не зная, где земля, где небо, заработал рулями, чтобы удержаться в строю. Анатолий понимал: сейчас спасение в одном — зубами держаться за ведущего. Чтобы не отстать от него, Анатолию пришлось резко взять ручку на себя; перегрузка возматала, веки начали тяжелеть, предательские мушки заметались перед глазами. Сколько раз он ощущал подобное состояние при полетах в зону и на воз-

душный бой! Но тогда можно было чуть-чуть ослабить ручку, сейчас же — нет! Оторвешься от командира, а это смерти подобно. Наблюдая за ведущим, Фадеев увидел приближающийся горизонт с противоположной стороны. Как только нос самолета опустился на горизонт, замкомэска начал медленно выводить свою машину из перевернутого положения. Фадеев последовал его примеру и увидел впереди дымящийся «мессершмитт», а по сторонам тройку истребителей врага. Замкомэска устремился за ними — и через несколько секунд вспыхнул еще один фашистский самолет.

Фадеев кинулся за ведомым «мессером», но в это время замкомэска энергично замахал крыльями и круто бросил свой самолет в сторону Фадеева. Анатолий взглянул в заднюю полусферу и увидел приближающуюся пару истребителей противника. Замкомэска с ходу, почти в лоб атаковал их. Фадеев, вывертываясь из-под атаки «мессеров», нырнул под ведущего и, как только замкомэска промелькнул над его самолетом, Анатолий мгновенно направил свой самолет за ним.

Богданов со своим ведомым пошел навстречу еще одной паре истребителей врага — и началась карусель! «Ишачки» носились внутри круга, шестерка «мессеров», часто оказываясь выше, то и дело поливала их огнем, но как ни пытались фашисты заловить в прицел кого-нибудь из советских истребителей, это им не удавалось — кто-нибудь обязательно приходил на помощь товарищу.

Трудно сказать, сколько времени прошло с начала боя, Анатолию казалось — целая вечность. В азарте боя страх постепенно прошел, и Анатолий отчетливее видел воздушное пространство, где снова фашистские самолеты, и если на мгновение терял их из виду, то затем быстро находил. Это давало ему возможность правильнее маневрировать. Когда один из «мессеров», потеряв скорость, оказался перед носом его самолета, Анатолий от неожиданности вначале растерялся и лишь потом, собравшись внутренне, впился в прицел, немного повернул самолет и до боли в пальцах нажал на гашетку. Проститый меткой очередью в упор, фашист замер в воздухе, потом вспыхнул и, оставляя шлейф дыма, пошел к земле.

О, великая радость победы! У Фадеева все забурлило в груди, улыбка засверкала во весь рот, подобного чувства он никогда не испытывал прежде. Анатолий накренил самолет и стал наблюдать за горящим «мессером». Вот он, первый сбитый им враг!

Как знать, чем бы закончилась радость победы, если б командир эскадрильи не подоспел вовремя. Когда Фадеев увидел зрелищные трассы и промелькнувших рядом «мессеров», отогнанных комэска, у него от страха дух перехватило — смерть-то совсем рядом была! Быстро окинув взором воздушное пространство, Анатолий обнаружил пару «мессеров» в хвосте у замкомэска, который в свою очередь выбивал «мессершмиттов» из-под хвоста Богданова, а тот помогал командиру звена избавиться от наседавшего на него «мессершмитта». Анатолий бросился на помощь ведущему. Образовалась сплошная цепь, где каждому грозила смертельная опасность.

Бой продолжался, но фашисты, очевидно, почувствовали, что эти «ишачки» им не по зубам, и удалились восвояси. Комэска подал сигнал на сбор и повел эскадрилью на восток от места боя. Анатолий, не зная, куда идти, плотно прижался к ведущему, боясь потерять его. Однако минут через пять вдали показался аэродром.

Летчики произвели посадку и побежали к Богданову. Комэска тоже не удержался, улыбаясь, заспешил навстречу своим питомцам.

— Поздравляю вас, славные соколы! А Анатолия особенно. Молодец. Сбил ты его классически! Первая победа!

У Фадеева дыхание перехватило от радости, язык пересох. Он стоял, улыбаясь, мотал головой, не в силах ничего сказать.

Воздушные бои в районе Ростова были тяжелыми. Сил в распоряжении советского командования в излучине Дона было мало, поэтому полк Давыдова бросали с одного направления на другое. После первого счастливого дня, когда в один день летчики полка сбили около десяти самолетов противника, пошла серия неудач. От немцев доставалось изрядно, каждый следующий бой не приносил особых успехов. Причины неудач были разные: отсутствие опыта, неуверенность, слабая подготовленность, тяжелые самолеты с маломощными моторами, неопределенность в боевых порядках и тактических приемах, а порой и неумелое использование авиации командованием — все это приводило к тому, что наши летчики часто терпели поражения в стычках с гитлеровскими асами.

Однако, несмотря на неудачи, моральный дух был высок, летчики рвались в бой и дрались самоотверженно. Но за каждый сбитый немецкий самолет давыдовцы платили дорогой ценой.

Звено Фадеева, единственное в полку состоящее из сержантов, прозванное островами «три С», пока держалось. На его счету было больше всех сбитых фашистских самолетов. Ведомые Анатолия старались познать науку воздушного боя, овладеть тактическими приемами и быстрее встать в строй настоящих боевых летчиков. Правда, у них пока еще многое не получалось.

Анатолий жалел их; вылетая с ними на задание, превращался в клушу, нередко прикрывая их собой. О том, чтобы сбивать самолеты противника, и не помышлял. Забота была одна: как бы лучше выполнить боевое задание и не потерять ведомых. Когда приходилось отражать налеты бомбардировщиков, врезался в строй фашистских самолетов, поливая их свинцом, поглядывал за ведомыми — не грозит ли им опасность. От таких действий результаты, естественно, были скромными.

Продолжая внимательно изучать своих подчиненных, Фадеев открывал в них все новые качества. Овечкин — медлительный в разговоре, имеющий привычку к точным выражениям и действиям, летает смело, но техникой пилотирования не блещет. Гончаров другого склада — весельчак, разговорчив, порой даже болтлив, никогда не унывает и не обижается. Высказанной собственной мысли не всегда придерживается, легко соглашается с другими, хотя их суждений вроде бы и не разделяет. На вопрос, почему так делает, отвечает: «Чтобы не обидеть человека». Летает Гончаров слабее Овечкина, в бою смел, но драться еще не умеет, то и дело допускает ошибки. Анатолий понимал, что в этом не столько вина, сколько беда Гончарова, так же как, между прочим, и многих других летчиков, оказавшихся неподготовленными к ведению воздушного боя. В целях борьбы с летными происшествиями курсантам летных школ перед войной запретили выполнять фигуры высшего пилотажа. За осторожность тех, кто был тогда у руля ВВС, теперь приходилось расплачиваться кровью и жизнью вот таких, как Ваня, безусых мальчишек. Наверное, в жизни часто так бывает: ошибку делают одни, а расплачиваются за нее другие...

Фадеев стремился использовать каждую минуту для того, чтобы научить своих ведомых технике пилотирования и элементарным приемам боя. Он выпросил у командира эскадрильи разрешение после выполнения задания при наличии горючего отрабатывать технику пилотирования над аэродромом. Все шло хорошо, но однажды Овечкин заевался и чуть не был сбит немцами. Благо Анатолий с Ваней находились в это время недалеко и смогли вовремя отбить атаку пары «мессершмиттов», которая пришла на малой высоте и, увидев одиночный самолет, пыталась атаковать его на выводе из пикирования. После этого командир полка запретил, как он выразился, эти фокусы. Но Фадеев продолжал искать и находил возможности

и время совершенствовать летное мастерство ведомых, отрабатывая с ними фигуры высшего пилотажа и тактические приемы.

Он постепенно свыкся со своими подчиненными, и чувство неудовлетворенности, которое испытывал раньше из-за их опрометчивых поступков, постепенно проходило. Иногда ловил себя на мысли: всего три месяца назад ты был таким же, Фадеев, о тебе тоже пеклись другие, теперь твой черед...

В таких раздумьях и застал его как-то техник самолета.

— Товарищ командир, новость есть!

— Какая?

— Ростов вчера освободили!

— Здорово!.. Ты откуда узнал?

— Техник самолета командира эскадрильи сказал...

Весть о взятии Ростова облетела весь полк, люди радовались этому событию.

Дальнейшие действия потребовали прикрытия важных объектов от ударов с воздуха. С этой целью несколько истребительных авиационных полков было направлено на аэродромы вблизи Ростова.

Полк Давыдова ранним утром 1 декабря стартовал и через час произвел посадку всем составом в Батайске.

Анатолий, выскочив из самолета, всматривался в знакомые до боли места, хотя не сразу узнал их. Городок батайской школы изменился, он очень пострадал от вражеских бомбежек и бесхозяйственности — верной спутницы войны. Два месяца отсутствия постоянного хозяина сильно сказались на нем. Да и зима сорок первого года пришла в Ростов раньше обычного: выпал снег, реки сковало льдом...

Всего несколько месяцев прошло с тех пор, как эскадрилья Богданова первой улетела на фронт. Из девяти летчиков вернулись сюда лишь четверо. Трое погибли. Двое пропали без вести. Короткая, но емкая фраза, что за нею кроется, как правило, никто не знает.

Да, прошло совсем немного времени, но какие произошли изменения, в том числе и с ним! Из молодого инструктора превратился в летчика-фронтовика, на плечи которого легла самая важная забота — защита родины. Как и многие другие, он всего-навсего песчинка в людском потоке, и подобно тому как каждая песчинка отличается от другой, так и летчики-фронтовики не похожи друг на друга по характеру, силе воли, боевой подготовке и другим качествам воздушного бойца. Сейчас главное для командиров, в том числе и для него, заключается в том, чтобы цементировать все эти песчинки и превратить их в монолит, о который разбилась бы стальная машина фашизма.

Гитлеровцы напали на нашу родину, стремясь уничтожить ее как государство, поработить советских людей. Над страной нависла смертельная опасность. Настало время доказать всему миру, насколько прочен советский строй, насколько преданы своей отчизне советские люди.

Ночь прошла спокойно, но на рассвете раздался характерный гул. Техники, готовившие самолеты, первыми услышали его и сразу же доложили командиру первой эскадрильи:

— Товарищ командир, немцы!

Кутейников вынул из-за голенища ракетницу и выпустил ракету. Моторы загудели, винты закрутились, идет минута, вторая, гул нарастает, техники указывают пальцами на пролетающий немецкий самолет, но никто из летчиков не взлетает. Кутейников мечется, подбежал к одному летчику, второму.

— Вы что, мать вашу!.. Почему не взлетаете?

— Команды не было, товарищ капитан.

— Как не было? Я же дал ракету!

— Одну! Но вы вчера сказали: взлет по второй ракете.

— Сами соображать должны! За мной, орлы! — Дал вторую ракету и побежал к своему самолету.

Через несколько минут три «ЛаГГ-3» во главе с Кутейниковым взлетели, но противника и след простыл.

Тройка самолетов покружилась над аэродромом и произвела посадку.

Не успели летчики вылезти из кабин, как подъехал майор Давыдов.

— Что же это такое? Пять минут вы тратите на взлет из первой готовности?! — возмущался Давыдов. — Куда это годится?!

— Разгильдяи, трусы, команды моей не выполнили! — ответил комэска.

— Это плохо, что вы не научили подчиненных выполнять ваши приказы. Разведчик пришел неспроста, быть неприятностям. Посадите в готовность номер один всю эскадрилью, растолкуйте очередность взлета... Вы же опытный командир, в финскую воевали, да и в этой уже не один десяток боевых вылетов сделали! У вас в эскадрилье почти все средние командиры, не то что желторотые мальцы у Богданова!..

Фадеева, стоявшего недалеко от эскадрильи Кутейникова, поколебала эта фраза. Анатолий считал, что они уже закаленные воины, но вот оказывается, что в глазах командира полка — желторотики. Значит, тот продолжает их оценивать по петлицам, а не по сбитым самолетам.

— Понял вас, товарищ майор. Разрешите выполнять? — козырнул Кутейников.

— Выполняйте! — Командир полка сел в «эмку», которую летчики прозвали «антилопа гну», и поехал дальше.

— Я вам сколько буду говорить! — метал громы и молнии на своих подчиненных комэска первой. — Вы меня подводите! Разведчика перехватить не могли!..

Много неприятных слов высказал летчикам в этот раз Кутейников. Он, наверно, продолжил бы и дальше разнос, если б над аэродромом не засвистели бомбы. Откуда ни возьмись незаметно, с глушечными моторами вышли три звена бомбардировщиков «Ю-88» и сбросили бомбы на аэродром. Началась паника. Люди метались из стороны в сторону. Дежурная пара первой пошла на взлет, но ведомый уклонился, попав в воронку, перевернулся, и ведущий прекратил взлет.

Командир первой эскадрильи выскочил из кабины, размахивая руками, послал техников на помощь оказавшемуся в беде летчику. В это время на земле начали рваться бомбы замедленного действия.

Командир полка, оценивая сложившуюся обстановку, тревожно поглядывал в небо. Замысел фашистов ему был ясен: с первого захода набросать бомбы замедленного действия по всему аэродрому — заблокировать его, а потом...

Давыдову стало страшно от мысли, что может быть потом... Блокирование полка на земле в лучшем случае — срыв выполнения боевого задания, в худшем — гибель всех самолетов на стоянках. И первый и второй варианты могут обернуться такими последствиями, которые приведут к разрушению моста через Дон. «За это могут и к стенке поставить, и будут правы», — мрачно заключил он и, обливаясь холодным потом, еще раз окинул взглядом летное поле, где нет-нет да и взрывалась очередная бомба. Рядом стояли комиссар с начальником штаба.

— Русанов, поднимай всех в воздух! — приказал Давыдов.

— Командир, весь аэродром в воронках, — предупредил комиссар.

— Понимаю, Лукич, но, может, кто-то сможет взлететь! Иного выхода не вижу, — сказал Давыдов. — Вот-вот появятся «мессеры», потом подойдут бомбардировщики, разбомбят мост и сожгут самолеты.

- Это верно, но и людей жаль, погибнут в горячке.
- Может, мне на машине проскочить по аэродрому, посмотреть, что там творится?
- Зачем? И так видно — весь в воронках.
- Как же прозевал этот говорун?! Дважды его предупреждал, вчера и сегодня, и вот смотри, какой подарок поднес!
- За такие вещи под трибунал надо отдавать,— сказал комиссар.
- Подожди, Лукич, не об этом сейчас забота. Смотри, закрутились винты в эскадрилье Богданова! Русанов, кто взлетает из второй эскадрильи?
- Не видно номера отсюда.
- Я все же поеду...
- Осторожно, бомбы продолжают взрываться,— предупредил командир полка.
- Пронесет...

Звено Фадеева стояло в низине самым крайним, вдали от командного пункта. Анатолий кивнул своим подчиненным:

— По машинам! За мной!

Тройка быстро запустила моторы и ринулась друг за другом на взлет. Набирая скорость, Фадеев весь сжимался от напряжения, когда взрывались бомбы, поднимая столбы земли. Медленно идут секунды, Анатолий ждет того мгновения, когда оторвется самолет от земли. Наконец-то, не в силах противостоять мощи моторов, она отпустила его.

После взлета он осмотрелся — врага не видно, запросил по радио землю — ответа не последовало. Благополучно взлетели и его ведомые. Анатолий решил идти вверх, чтобы встретить противника на высоте. Сейчас главное — побыстрее набрать высоту: горючего меньше будет расходоваться да и атака сверху «мессершмиттами» маловероятна. В спешке Анатолий не надел маску, подумал сейчас, что и его подчиненные тоже могли забыть об этом. Подал команду:

— Набираем высоту, надеть кислородные маски, если поняли — покачайте.

Оба покачали крыльями. Порядок.

По большому кругу на экономичном режиме звено Фадеева набирало высоту. Шли минуты, видимость улучшилась, границы горизонта расширились. Под крылом четко просматривался аэродром, изрытое бомбами летное поле. Осматривая воздушное пространство, Анатолий бросил взгляд в направлении Азовского моря и там в небе заметил несколько еле видимых точек. Фадеев приказал ведомым разомкнуться, и тройка пошла в направлении этих точек.

Да, он не ошибся, через минуту стало ясно: идут две группы бомбардировщиков. Итак, три «ЛаГТ-3» против восемнадцати «бомберов». Силы неравные, но тройка советских истребителей что-то да значит, подбадривал мысленно себя Фадеев. Где же «мессеры»? Внимательно осмотрел горизонт, но их не обнаружил. Анатолий запросил землю, ответа опять не получил. Увеличив обороты, продолжил набор высоты. Вот уже пять с половиной тысяч. Бомбардировщики тысячи на две ниже. Скоро «юнкерсы» подойдут к наивыгоднейшему рубежу для бомбометания. Фадеев еще раз осмотрел воздушное пространство и, убедившись в отсутствии истребителей врага, стремительно бросился на «бомберов». Ведомые за ним.

- Богданов, твои пошли на взлет?
- Да, звено Фадеева.
- Молодцы, только бы в воронку не попали!
- Сам дрожу за них.
- Ничего, проскочили!

Комиссар после взлета звена Фадеева как метеор носился по аэродрому на машине, выбирая полосу для взлета. Подъехав к Давыдову, крикнул: «Выпускай, командир, полоса для взлета есть!» — а сам направился к летчикам первой эскадрильи показать найденную им полосу. Летчики один за другим, лавируя между воронками, выруливали и взлетали. Только оторвались два последних самолета — появилась шестерка истребителей врага и с ходу, на больших скоростях атаковала два последних «ЛаГГ-3», еще не успевших набрать высоту. Один самолет тут же загорелся и упал, летчик второго попытался выпрыгнуть с парашютом, но из-за недостатка высоты парашют не раскрылся...

— Два гроба, — мрачно констатировал Давыдов.

Стоявшие рядом Русанов и Богданов промолчали, продолжая наблюдать воздушный бой взлетевших «ЛаГГ-3» с «мессершмиттами».

Внимание всего полка было приковано к событиям, происходившим над аэродромом, и вдруг кто-то из техников закричал:

— Бомбардировщики идут с запада!

Головы всех повернулись в указанном направлении. К Ростову с юго-запада плотным строем шли две группы бомбардировщиков «Ю-88».

— Приближается расплата за нашу преступную неорганизованность, — жестко произнес Давыдов.

— Надо направить туда Кутейникова, — предложил комиссар.

— Как? Связи нет! Русанов все пороги обил, но без толку — нет радиостанций, — ответил Давыдов и неуверенно предложил: — Давайте выложим белое полотнище стрелкой, может быть, увидят?

Богданов с техником быстро изобразили из белых полотнищ стрелку, острием направленную на запад, но летчики, ведущие бой, не обращали на нее внимания, их волновали «стрелы», выпускаемые «мессерами».

Бомбардировщики приближались. Надвигалась опасность, и люди постепенно переключали свое внимание на запад и группировались поближе к щелям. Некоторые расторопные младшие специалисты спешно углубляли места укрытий.

Давыдов, наблюдая за полетом бомбардировщиков, искал взлетевшую раньше других тройку Фадеева. Не обнаружив ее, спросил Богданова:

— Где Фадеев?

Богданов лишь только сейчас увидел три точки, пикирующие с высоты. Боясь ошибиться, он медлил с ответом.

Русанов, услышав тот же вопрос, взглянул в сторону «Ю-88» и воскликнул:

— Это они атакуют вторую девятку бомбардировщиков!

— Где? — быстро спросил Давыдов.

— Вон! Сверху! — подключился Богданов.

Командир полка приложил к глазам бинокль и радостно подтвердил:

— Это тройка Фадеева! Молодец, сержант!

— С головой парень, — поддакнул Русанов.

Сержанты на максимальных скоростях неслись навстречу врагу. Фадеев смотрел на ведомых и думал: дрожат, наверное, но идут хорошо. Ваня Гончаров ближе держится, будто ищет защиты у своего командира, как птенец, впервые вставший на крыло. Для Вани это будет первый настоящий воздушный бой. Овечкин второй раз в большом деле участвует. Ты, Фадеев, должен показать им, как надо атаковать бомбардировщики, чтобы и задачу выполнить, и результат был.

— Дистанция четыреста метров, приготовьтесь, выбирайте цель самостоятельно! — скомандовал Анатолий боевым друзьям. Взглянул

в прицел — триста метров. — Сбавляйте скорость, не спешите, подождите вплотную, — подал новую команду Фадеев.

Сам, сблизившись на сто пятьдесят метров, отчетливо увидел детали «Ю-88», взглянул на кормовую установку — стрелок бомбардировщика заводил ствол. Анатолий, ожидая, что вот-вот его прошьет очередь, нажал на гашетку — и «Ю-88» вспыхнул, пошел, разламываясь на куски, к земле. Фадеев рванул самолет вверх, но какой-то горящий осколок вмазал в левую плоскость, и «ЛаГГ-3» вместо горки вошел в левый разворот. Самолет резко кренило, было трудно удерживать его на большой скорости. Анатолий сбавил обороты, прибрал газ, осмотрелся: Гончаров следует за ним, Овечкин пристроился к фашисту и бьет. Сбавив скорость, Фадеев с большим трудом повернул вправо и со словами: «Ваня, за мной!» — обрушился на первую девятку, которая уже подходила к Ростову. Проскакивая над второй девяткой, Анатолий почувствовал удары: это по плоскостям застучали, как град, пули. Но Фадеев продолжал сближаться с впереди идущей девяткой. Гончаров следовал за ним.

— Дистанция триста метров, надо открывать огонь, иначе опоздаем. Ваня, отойди в сторону, внимательно целься и бей фашистов, — сказал Фадеев.

Гончаров тут же открыл огонь. Анатолий впился в прицел, нажал на гашетку. Самолет противника задымил. Фадеев снова прильнул к прицелу и вонзил длинную очередь в фашистского стервятника. «Бомбер» начал вздрагивать, вспыхнул правый мотор, пламя охватило гондолу, перекинулось на фюзеляж. Фашист, опустив нос, объятый пламенем, пошел к земле.

Но тут самолет Фадеева, прошитый многими снарядами, вдруг сам задрожал, резко сбавил скорость и повалился на левое крыло. В это мгновение очередь, посланная строго в хвост его машине, громко забила по бронеспинке. В азарте боя Анатолий на какой-то миг снизил бдительность и вот поплатился за это.

Ведомые, малоопытные летчики, помочь ему не смогли. Анатолия всего перекосило от злобы на врага, который, объятый пламенем, несся к земле, и на тех, что еще стреляли по нашим в воздухе, и на себя за...

На выходе из атаки Фадеев почувствовал еще удар, самолет загорелся. Он пытался сбить пламя, но это ему не удавалось. Оно постепенно проникало в кабину, густой едкий дым лишил видимости, по левому сапогу побежали струйки огня. Отлетела правая плоскость, самолет начал разрушаться. «Неужели конец?» — подумал Фадеев...

Наблюдавшие за боем с земли закричали:

— Горят, горят! Два «бомбера» горят!

— Где? — повернулся на голоса Давыдов.

— Смотрите почти строго на запад, высота тысячи три!

Давыдов взглянул в указанном направлении и увидел, как падают два горящих бомбардировщика, разваливаясь в воздухе, и... один истребитель. «Кто? Неужели Фадеев?! — подумал он. — Не должно быть. Это кто-то из его птенцов».

— Смотри, Богданов, — обратился командир полка к комэску второй, — желторотики сбивают, а орелики все кружатся над аэродромом, никак из-под опеки «мессеров» не уйдут.

Богданову приятна была похвала, но он беспокоился за судьбу своих. Один горит и почему-то не покидает самолет...

Давыдов метался в бессилии. Из-за отсутствия радиостанции управлять боем нет никакой возможности, а как надо направить Кутейникова на «бомберов»!

— Взлетай и покажи, где «бомберы», — обратился командир полка к Богданову.

— Рад бы, да грехи не пускают,— ответил тот; недалеко виднелся его самолет с изуродованной правой плоскостью.

— Кто же падает, Богданов?

— Кто конкретно — не могу доложить... Вон еще один бомбардировщик загорелся!

— Вижу. Молодцы сержанты! Смотрите, бомбы падают мимо цели!.. Но почему летчик не покидает самолет?!

— Трудно сказать,— волнуясь, ответил Богданов. Не в силах больше со стороны наблюдать происходящее в воздухе, он решил обратиться к Давыдову: — Товарищ командир, разрешите взять ваш самолет?

— Бери, но смотри, чтобы «мессеры» на взлете не сняли.

— Выкручусь,— ответил Богданов и побежал к самолету командира полка.

Через несколько минут он уже был в смертельном клубке дурящихся и кричал по радио:

— Петро! Кутейников! Отходи на запад, к «бомберам»!

— Худые не дают!

— Отворачивай, прикрою!

— Орелики, за мной, на запад!

Богданов отбил атаку на Кутейникова и тоже повернул к «бомберам», которые, сбросив бомбы, развернулись и мелкими группами со снижением, оставляя полосы дыма, уходили на запад. До них было километров пять.

Богданов понял, что «мессеры» не дадут поживиться. Вот они атакуют, хочешь не хочешь, отворачиваться надо, а это отставание. Эх, жаль, не смог взлететь со своими! Несколько минут боя с «мессершмиттами» прошли безрезультатно для обеих сторон. Богданов вместе со всеми вернулся на аэродром.

Последними сели Овечкин и Гончаров. Богданов подошел к сержантам, они плакали, как малые дети, рассказывая, как все было, ругая себя, что не сберегли командира.

— Гончаров, кто сбил Фадеева?

Ваня толком не видел, но твердо ответил, что «мессершмиттов» не было.

— Овечкин, что ты скажешь? — добивался чего-то конкретного Богданов.

— Я получил команду атаковать левого ведомого и я его поджег, потом атаковал следующего... — отвечал Овечкин.

— Поздравляю, Овечкин! Сбитые вами с Фадеевым три бомбардировщика мы видели с земли. Но что случилось с Фадеевым? Успел он выпрыгнуть?

— Я видел, как горит его самолет, но парашютиста не видел.

— Фадеев что-нибудь сказал вам?

— Нет...

Тогда Богданов понял, что Фадеев попал под огонь бомбардировщиков. Значит, погиб Анатолий. Комэска отошел в сторону, закурил, задумался над судьбами людскими. Потеряли три экипажа — многовато для полка истребителей в одном бою. Жаль одинаково всех, но Фадеева особенно. Хороший был боец, мог бы стать отличным командиром. А ты, Богданов, не сумел его уберечь от беды...

В ночь на поиски Анатолия выехала небольшая группа во главе с воентехником второго ранга, техником звена Фадеева. Утром была послана еще одна группа в другой район. К вечеру нашли место падения бомбардировщиков. Местные жители передали поисковикам задержанных немецких летчиков, выбросившихся на парашютах.

Но самолет Фадеева как в воду канул. Богданов, принимая доклады подчиненных о безрезультатных поисках, подумал: может быть, действительно он упал в Дон или в плавни? Попробуй теперь найди!

Три дня поисков ничего не дали, и командир полка приказал их прекратить. Вскоре последовала команда: полку Давыдова перебазироваться на другой аэродром — северо-западнее Ростова.

С тяжелым чувством Ваня и Вася покидали Батайский аэродром. К этой боли добавилась и обида: уезжали они на видавшей виды полutorке. Самолеты у них отобрали Богданов и комиссар полка. Осиротели сержанты — не стало командира, некому позаботиться о них.

Техник звена добился у комэска разрешения оставить одного моториста в Батайске для дальнейших поисков. Богданов понимал: искать Фадеева бесполезно, все было за то, что он погиб, — но отказать технику в просьбе не смог.

..Самолет круто неся к земле, вращаясь вокруг продольной оси. Штопор был стремителен и неустойчив, все попытки прекратить вращение самолета цели не достигли. В это время раздался сильный треск, Анатолия стукнуло о бронеспинку, потом о борт кабины, в которую тут же ворвался сильный вихрь воздуха. С трудом повернув голову назад, Фадеев на мгновение оцепенел: ни кия, ни стабилизатора не было. Взглянул в сторону — глазам своим не поверил: слева выше фюзеляжа плавало крыло, а чуть дальше хвостовая часть. Самолет разваливался... Траектория штопора была почти отвесной. Анатолий хорошо видел мелькающую перед глазами землю — такую прекрасную, нежную раньше. Но теперь соприкосновение с ней — смерть... В бессилии изменить ход событий, он заскрежетал зубами. Тревога и беспомощность вызвали озноб страха. Анатолию стало жалко себя, и тут же мгновенная ярость охватила его. «Ты еще ничего не сделал толком в борьбе за жизнь, а уже распускаешь нюни!» — жестко сказал он себе и попытался открыть фонарь. Дернул раз, другой — бесполезно. С третьей попытки фонарь сорвало. Фадеев расстегнул ремни и попытался покинуть самолет, но сил не хватило. Поток воздуха его прижало к сиденью. Анатолий поджал ноги, резко, до боли в мышцах выпрямился — и снова неудача! Как же оторваться? Методом срыва? Нет, этот метод хорош, когда машина управляема и летит горизонтально. На штопоре парашют окутает самолет, и вместе с ним будет похоронен летчик. А земля все ближе, ближе, он уже различает отдельные предметы на ней, ему страшно смотреть на высоту мер... Собрав последние силы, Анатолий рванулся и перевалился через борт. Оказавшись за бортом, он еще какое-то время продолжал вращение вместе с самолетом. Улучив момент, ногами оттолкнулся от него, мгновенно выдернул вытяжное кольцо парашюта и замер в ожидании. Сейчас он был полностью во власти стихии и — укладчика парашютов. Если мастер ошибся — парашют раскроется на десятые доли секунды позже, и тогда... Вдруг что-то зашелестело, коснулось лица, обожгло кожу. Он инстинктивно закрыл глаза. «Так и погибнешь, Фадеев, взгляни хоть на свет божий в последний раз», — мелькнула мысль. Взглянул и не поверил своим глазам — кругом серо-зеленая муть. Что это такое? Где он? Не успел сообразить, как почувствовал касание, услышал хруст льда, всплеск воды и мягкий толчок... На радостях он раскрыл рот, чтобы крикнуть «ура», но тут же захлебнулся, грудь сжало и что-то тягучее обволокло ноги, потянуло вниз. «Болото», — мелькнула мысль. Фадеев попробовал рвануться вверх — тщетно, еще раз — не получается. Безысходность бесила. Он задыхался. Инстинкт требовал открыть рот, вдохнуть полной грудью, но разум удерживал. В висках стучало... Нет, нет! С огромным трудом, работая руками и ногами, он выбрался на поверхность, судорожно глотнул воздуху, не удержался, снова погрузился в воду, тут же вынырнул, схватился руками за какие-то водоросли... Несколькими секундами потребовалось, чтобы Анатолий повернулся на спину, откашлялся и начал осматриваться

вокруг. Почти перед глазами качались стройные стебли камыша, скрепленные тонким льдом. Значит, это, должно быть, излучина Дона где-то юго-западнее Ростова...

Он прислушался — невдалеке рвались бомбы, натужно гудели моторы самолетов... Вспомнил о парашюте, отстегнул ремни.

Продолжая осматриваться по сторонам, Фадеев размышлял: куда теперь податься? Перевернулся на живот, выискивая прогалины. С трудом — где вплавь, где отталкиваясь ногами от дна — выбрался из тины. Напряжение постепенно спадало — пришла какая-то отупляющая усталость. Перчатки порвались, проклятущие заросли и тонкие льдинки быстро привели их в негодность. Анатолий с ужасом подумал: скоро придется голыми руками разгрести камыш и лед. И понял: основные мучения еще впереди. И вообще трудно предположить, что ждет его дальше.

Наступила ночь — темная, холодная. Руки окоченели. Потом взошла луна, стало светлее, можно было попытаться определить точнее свое местонахождение.

Отыскав Полярную звезду, Фадеев обрадовался и решил двигаться на север, но силы покидали его, усталость все больше и больше давала знать о себе, Анатолий стал чаще отдыхать. Набрав в легкие воздух, он ложился на покрытую льдинками воду и отдыхал несколько секунд, затем снова, взмахивая руками или подтягиваясь, продолжал двигаться, стремясь держать луну правее себя, потому что Полярную звезду не всегда было видно.

Луна медленно продвигалась по небу. Анатолий полз, и только одна мысль сверлила мозг: спать, спать, спать...

Трудно сказать, сколько прошло времени. Вдруг Анатолий уперся во что-то твердое. Он попытался подняться на ноги, но они не слушались. Тогда он встал на колени и пополз на четвереньках. Быстро устал, прилег, чтобы передохнуть, и мгновенно заснул. Но какой-то внутренний сторож все же сработал, дал сигнал бедствия: замерзнешь! Анатолий приподнялся и медленно пошел вперед, оступился, плюхнулся на лед, провалился в воду и почувствовал — твердой опоры под ногами нет!..

И снова барахтанье в воде, покрытой мелкими льдинками, снова ноги уперлись во что-то твердое. Так продолжалось несколько раз. Силы окончательно покинули Анатолия. Пальцы уже не гнулись, от перчаток остались лишь лохмотья, которые нельзя было сбросить с опухших, кровоточащих рук. Двигаться становилось все труднее. Но вот наконец Анатолий почувствовал под ногами твердое дно, выпрямился — воды почти по пояс, — пошел, упал, поднялся, снова пошел...

Однообразное движение убаюкивало его, веки склеивал сон, и Фадеев сам не заметил, как снова оказался в воде. Поднялся, посмотрел направо — там виднелся просвет. Фадеев понял, что идет правильно — на восток. Спотыкаясь и падая, продолжая идти, вспомнил о своих ведомых. Где они? Что с ними? Живы ли? Тревожные мысли о боевых друзьях на время оттеснили на второй план свои невзгоды...

Восток засветлел, начинался рассвет. Лед стал более прочным, и Фадеев, опустившись на него, пополз.

Здесь силы отказали Анатолию, и он провалился в темноту...

Фадеев шел по тропинке и думал: «Как воюет полк? Кто остался в живых?..»

Более месяца он не видел своих — три недели лежал в горячке у рыбаков, подобранных его, выходивших. Потом добирался до Ростова, узнавал, где стоит его часть...

Подходя к аэродрому, Анатолий ускорил шаг, потом не выдержал и побежал... На летном поле он появился как раз в тот момент,

когда летчики и техники выходили из укрытий. Отчаянно жестикулируя, они что-то так увлеченно обсуждали, что не сразу заметили Фадеева, а заметив, удивились: с того света явился! Придя в себя, с криками бросились к нему.

Ваня Гончаров опередил всех, со слезами на глазах кинулся на шею своему командиру.

«Фадеев вернулся!» — сразу разнеслось по стоянкам полка. Взглянуть на Анатолия сбежалась целая толпа. Еле высвободившись из дружеских объятий, Анатолий, как полагается, подошел к командиру эскадрильи:

— Товарищ капитан, сержант Фадеев возвратился...

Богданов не дал ему договорить, крепко обнял и долго держал в горячих, сильных руках.

Когда в штабной землянке собралось человек восемь, Давыдов встал, поправил гимнастерку — эта привычка у него выработалась давно, он всегда следил за своим внешним видом, был опрятен, подтянут.

— Обстановка критическая, к Сталинграду фашисты стягивают огромные силы, днем и ночью наносят удары по городу с воздуха, — начал командир полка. — Нужных резервов у нас под руками нет, самолетов на фронте мало, и те мы теряем безрассудно. Вылет группы Кутейникова тому горький пример. Как слепых котят, побили нас «мессеры». Такого позора полк еще не видел.

Кутейников ерзал на скамейке, хотел что-то сказать, но твердый голос Давыдова не сулил ничего доброго, поэтому комэска первой счел целесообразным промолчать.

— Причины ошибок — неумение и нежелание учиться воевать, — продолжал командир, — фатальное равнодушие к себе, к своему долгу перед родиной. Человека бьют, но он ничего не предпринимает, чтобы выяснить, узнать, почему такое происходит. Многие летчики действуют по шаблону, свои действия не анализируют, причин ошибок не вскрывают и не ищут пути их исправления. Вместо этого лишь бездельничают да бахвалятся перед девчонками. Хоть бы совесть имели! Их товарищи гибнут в бою, они сами нередко труса празднуют, поджигая хвост при встрече с «мессершмиттами», но им все ни почем!.. Этот позор надо смыть кровью, но не своей, а вражеской. Сейчас обстановка такова: любая ошибка в бою будет расцениваться как предательство. Завтра мы получаем из соседнего полка шесть самолетов «ЛаГГ-3» и два «ЯКа». Приказываю: инженеру полка за счет ремонта подобранных в поле самолетов поддерживать самолетный парк на уровне десяти самолетов. Десять экипажей должны ежедневно вести боевые действия. Это приказ для всех. Завтра в девять утра вылетаем шестеркой. Я с комиссаром и сержантское звено во главе с Богдановым.

Давыдов замолк, обводя присутствующих строгим взглядом. Стояла глубокая тишина, никто не смел и кашлянуть: слишком суров был командир полка в эти минуты.

— О деталях боевого вылета поговорим утром, для ориентировки скажу: идем на Сталинград прикрывать войска. Ударную группу возглавляю я. Группу прикрытия — Богданов или Фадеев парой. Вопросы есть? Нет? Все свободны.

Не проронив ни слова, участники совещания покинули землянку. Богданов с Фадеевым вышли последними.

— Чувствуешь, Анатолий, как развиваются события?

— Да, тяжело нам будет, товарищ капитан.

— Нелегко, — согласился Богданов и предложил: — Пойдем обмозгуем с ребятами, как лучше завтра выполнить задание. От него многое будет зависеть...

Вошли в сержантскую землянку. Овечкин и Гончаров были на

месте. Комэска и командир звена вместе с летчиками расположились у стола. Более часа при свете копилки шли баталии на бумаге. Наконец Богданов определил два наиболее вероятных варианта боя, которые все вместе отшлифовали до деталей, внося новинку в каждый тактический прием.

— Завтра наша задача — убедить командира с комиссаром следовать этим вариантам, — сказал Богданов. — Мне кажется, что командиром группы прикрытия надо назначить тебя, Фадеев.

— Почему?

— Так будет лучше: ты хорошо видишь даль, стреляешь не хуже меня, с Овечкиным вас водой не разлить, — улыбаясь, закончил комэска.

У Анатолия от радости дух занялся в груди, и он некоторое время не мог ничего сказать, потом произнес:

— Есть, спасибо...

— А сейчас спать. На завтра, кроме продуманных вариантов, нужны светлая голова и крепкое тело, а это может обеспечить только хороший сон. Итак, до завтра.

— Спокойной ночи, товарищ капитан! — Фадеев вышел вслед за комэска, и у него чуть голова не закружилась от свежего воздуха.

Легкий ветерок дул с Волги и нес речную прохладу на расклевывшуюся за день степь.

Поднялись наверх и Овечкин с Гончаровым.

— Как хорошо-то здесь! А мы сидим в землянке и керосином дышим, — сказал Гончаров. — Товарищ командир, давайте здесь спать.

— Нельзя, — ответил Фадеев. — Лучше проветрим нашу обитель.

Овечкин и Гончаров взяли одеяло и стали махать им у входа. Проветрив землянку, они снова обговорили некоторые детали предстоящего задания, надышались свежим воздухом, постояли еще немного и юркнули в землянку.

С рассветом техники и летчики пошли принимать самолеты. К восьми часам перерулили и доложили командиру полка о готовности к боевому вылету, а также возможные варианты воздушного боя. Давыдов, быстро разобравшись в предложенных вариантах боевого вылета, согласился, предупредив Фадеева: без нужды с «мессерами» не ввязываться в затяжной бой. Лучше так: ударил внезапно — и вверх.

— Понял, товарищ майор, — ответил Фадеев.

— Тогда по коням! В девять часов — готовность номер один, вылет в ближайшие тридцать минут. так как мы можем потребоваться для усиления барражирующих в том районе истребителей из соседних полков. Включите радио и будьте на приеме, — приказал Давыдов.

— Есть! — четко произнесли летчики и направились к своим самолетам.

Фадеев, находясь в напряженно-приподнятом состоянии, снова внимательно осмотрел самолет, надел парашют, сел в кабину, затянул привязные ремни, окинул взглядом приборы, включил радио и тут же услышал знакомую переключку многих голосов, которая всегда сопутствует воздушному бою.

Одной минуты было достаточно Анатолию, чтобы понять воздушную обстановку над Сталинградом: враг бомбит наши войска, «ЯКи» пытаются атаковать немецких бомбардировщиков, им мешают «мессеры», падают бомбы, горят самолеты...

Накал боя нарастал, и Фадеев весь ушел в перипетии смертельной схватки, разыгравшейся над городом. Он с нетерпением ждал ракеты, но она не появлялась. Хотелось подсказать Давыдову: пора, мол, — но побоялся. Командир полка вылетает во главе группы, он знает, что делать. И вдруг в наушниках раздался твердый голос Давыдова: «Запуск! Взлет по плану».

Через три минуты шестерка была в воздухе.

Фадеев и Овечкин на максимальных оборотах пошли вверх. Высота постепенно росла: тысяча, две, три...

На высоте трех с половиной тысяч Давыдов медленно повернул самолет и повел группу курсом на запад. Впереди как на ладони виднелась Волга, за ней просматривался растянувшийся далеко по берегу город с дымами пожаров... Фадеев посмотрел на температуру мотора — велика, а расстояние до Сталинграда небольшое. Не успеют они с Овечкиным набрать желаемые шесть тысяч метров, но, чтобы не перегреть мотор, Фадеев решил прибрать обороты, медленно потянул рычаги на себя — темп набора высоты уменьшился.

Гомон голосов в эфире постепенно стихал. Осматривая горизонт, Фадеев видел лишь Овечкина и четверку Давыдова, идущую впереди на высоте около четырех тысяч метров. Получалось, что его пара имела превышение всего метров шестьсот — этого было явно недостаточно. Заметив четверку, немцы сразу же обнаружат и его, тогда прощай так тщательно разработанный замысел! Ни о какой внезапности не может быть и речи...

Фадеев взглянул на прибор: температура мотора подошла к норме. Он медленно двинул рычаги вперед — и самолет послушно пошел вверх.

Кругом было тихо, в наушниках не слышалось обычных голосов летчиков, и Фадеев, находясь под обманчивым впечатлением тишины, немного расслабился, но тут же встряхнулся: «Что я делаю?!» Он быстро крутил головой, стремясь первым обнаружить врага. Под крылом самолета узкой лентой текла Волга, в воздухе только свои. Это радовало и настораживало. Если нет рядом врага, надо продолжать набор высоты. Вот уже пять с половиной тысяч, скоро заветные шесть.

Фадеев увидел, как четверка Давыдова пересекла линию фронта и резко развернулась на север, прошла так минут пять, повернула влево и взяла курс на юг. Находясь сзади и выше группы Давыдова, наблюдая ее маневры, Анатолий подумал: пора углубиться на территорию, занятую фашистами.

— «Ноль один», я «Стриж-двенадцать», разрешите действовать по плану? — запросил он Давыдова.

— Действуй, но я тебя не вижу, — ответил командир полка.

— Я «Стриж-двенадцать», на своем месте, делаю разворот вправо, — доложил Фадеев.

— Понял, — услышал Фадеев голос Давыдова и повел самолет в тыл врага.

Пролетев несколько минут, он ниже себя тысячи на две с половиной метров увидел две пары «мессершмиттов», летящих на Сталинград, подумал: «Вот они, сволочи, идут, чтобы связать боем нас, потом вызвать «бомберов»...» Испытанный прием. На него не раз клевали советские летчики-истребители и он сам в их числе, пока не научился делать правильные выводы. Как же быть сейчас? Атаковать — выдашь себя и сорвешь тщательно разработанный замысел, не трогать «мессеров» — могут внезапно атаковать четверку Давыдова. Анатолий решил пропустить их, но, чтобы обезопасить ударную группу, развернулся и встал им строго в хвост. Если возникнет угроза группе Давыдова, он сможет своевременно предотвратить ее.

Фадеев смотрел на грозных «мессеров» и думал: сейчас они с Васей хозяева положения. «ЛаГГ-3» на этой высоте превосходил «мессершмитта» в скорости и маневренности.

Анатолий то и дело менял курс, искал Давыдова и осматривал юго-западную полусферу, откуда ожидал появления бомбардировщиков врага. Не найдя Давыдова, сообщил по радио:

— «Ноль один», идет четверка худых — курс, квадрат, высота.

— Понял, сейчас повернусь на север, — ответил Давыдов.

— Я иду за ними,— добавил Фадеев.

— Хорошо, но не прозевай «бомберов»,— напомнил командир полка.

— Понял.

Сделав доворот, Анатолий увидел четверку Давыдова.

Ох, зачем так близко прильнул к ведущему группы Богданов! Будто уловив тревогу Фадеева, комэска стал отворачивать с набором высоты, увеличивая дистанцию. Немцы, однако, поняли: что-то здесь не то,— и потянули наверх. Фадеев еще раз осмотрел запад и юго-запад — чисто. Заняв исходное положение, ринулся парой в атаку на «мессеров». Удар был точен: ведомый второй пары загорелся и, оставляя длинный шлейф дыма, устремился к земле, а ведущий, сделав переворот, последовал на запад. Анатолий повернулся на первую пару, но фашисты, почувяв угрозу сверху, бросились наутек. В азарте боя Фадеев ринулся за ними, но был остановлен Давыдовым:

— «Стриж-двенадцать», не увлекайся, займи прежнее место!

— Понял,— с сожалением ответил Анатолий и пошел в набор высоты.

Прошло еще несколько минут напряженного ожидания, и Фадеев увидел врага: девятка за девяткой шла большая колонна бомбардировщиков, сзади снизу их догоняли «мессершмитты».

Анатолий прикинул в уме время их появления над Сталинградом и доложил Давыдову. Ответ был краткий: понял. Фадеев, находясь вдвое выше «юнкерсов», осматривая пространство вокруг них, размышлял: вот бы сюда сейчас всех оставшихся на аэродроме или подкрепление из других полков! Ему очень хотелось высказать эту мысль Давыдову, но он постеснялся, упрекнул себя: куда тебе, сержанту, лезть в полководцы, лучше подумай, как поломать строй «бомберов»! Сделать это можно, лишь отделив туловище от головы, то есть сбив ведущего группы. Но как его сбить? Справа и слева, обгоняя «бомберов», на больших скоростях шли «мессеры», очевидно, с целью расчистки воздушного пространства. Фадеев предупредил Давыдова о появлении «мессершмиттов».

— Понял. Действуй по плану,— был ответ.

«Ну и хитер командир, никакой конкретной команды»,— подумал Фадеев.

«Юнкерсы» уже приближаются к линии фронта. Что же делать? Время не ждет!

— Пора, Вася, за мной!

Подав команду, Фадеев бросил машину в пике, осматривая воздушное пространство перед собой и по сторонам — за хвост он был спокоен. «ЛаГГ-3» несся на «бомберов» с огромной скоростью. Сейчас его уже никто не догонит. Дистанция быстро сокращалась. «Мессеры», обогнав «юнкерсов», продолжали полет к Сталинграду, еще не подозревая, что их уже атакует пара «ЛаГГ-3». Фадеев прильнул к прицелу — расстояние пятьсот, четыреста, триста, двести метров, пора, иначе можно проскочить. Прибрав обороты, нажал на гашетку и почти мгновенно увидел дым на ведущем «юнкерсе», потом появился огонь, фашист заметался, но Анатолий не отпуская гашетку до тех пор, пока «бомбер», объятый пламенем, не пошел к земле. Фадеев резко взял ручку на себя. Набирая высоту, услышал голос Богданова:

— Еще один «юнкерс» горит!

Взглянув вправо назад, Фадеев увидел Овечкина и дымящийся второй бомбардировщик. Эх, чуть-чуть не хватило огонька, надо добить, но «мессершмитты», ошеломленные внезапной атакой, заметались, не зная, что делать, потом, придя в себя, разделившись на две группы, вступили в бой. Одна четверка пыталась преградить путь группе Давыдова, другая стала набирать высоту, стремясь добиться превышения над Фадеевым. Как ни лаком был кусочек — подбитый

Овечкиным «юнкерс»,— Анатолий воздержался от его уничтожения и стремительно пошел в атаку на находящийся в наборе четырех «мессеров». Свалив самолет на левое крыло, он резким маневром зашел в хвост ведомому второй пары и дал очередь. Пара мгновенно понеслась к земле. Фадеев перевел свой самолет в левый боевой разворот и навскидку, как сибирский охотник, дал очередь по ведущему первой пары — она тут же последовала вниз. Анатолий с Васей бросились в преследование. Скорость более шестисот километров, самолет гудит и трясется. «Как бы не развалиться в воздухе»,— подумал Фадеев и перевел самолет в набор высоты, зашел в хвост паре «мессеров», которая пыталась в этот момент атаковать Богданова, дал длинную очередь по ведомому «МЕ-109». Пара «мессеров», сделав переворот через крыло, метнулась вниз.

Фадеев, видя, что комэска ничего не грозит, направился на помощь Давыдову, который вместе с комиссаром атаковал бомбардировщиков.

Отгнав последнюю пару истребителей противника, Богданов с Гончаровым набросились на «юнкерсов». Под меткими очередями шестерки советских истребителей «юнкерсы» закрутились и, не доходя до цели, начали освобождаться от груза и возвращаться на запад. Но не всем было суждено вернуться. Один за другим вспыхивали бомбардировщики и, объятые пламенем, падали на землю.

В горячке боя никто не обращал внимания на запасы горючего, и только после того как комиссар крикнул: «У меня горючего ноль!» — Фадеев взглянул на свой бензиномер и увидел, что у него тоже лишь около пятидесяти литров. И тут послышалась команда Давыдова:

— Прекратить преследование, следовать на аэродром!

Фадеев прикинул расстояние, занял свое место с превышением над общей группой, зная, что у других горючего еще меньше.

Буквально на последних каплях бензина летчики произвели посадку. Радостные и возбужденные повыскакивали они из кабин, забыв дать указания техникам самолетов о работе материальной части, бросились друг к другу. Комиссар и командир обнялись, расцеловались и поздравили других участников этого вылета. Победа была убедительной: сбили семь самолетов и разогнали три десятка бомбардировщиков врага! Кроме того, и это было главное, командир и комиссар личным примером доказали, что при высоком мастерстве и умелом управлении боем можно и малыми силами бить «мессеров» и «юнкерсов»...



Трикамье — новые встречи

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

С конвейеров Камского объединения по производству большегрузных автомобилей уже сошло свыше полумиллиона грузовиков. Сегодня машины с маркой «КамАЗ» можно встретить на всех дорогах страны.

Славно работает коллектив тружеников предприятия. На месяц раньше по основным технико-экономическим показателям выполнены плановые задания четырех лет одиннадцатой пятилетки, ударно трудятся автомобилестроители и сегодня. За успехи в труде Указом Президиума Верховного Совета СССР объединение награждено недавно орденом Ленина.

* * *

Редколлегия, парторганизация, весь коллектив «Нового мира» горячо поздравляют автомобилестроителей с высокой правительственной наградой. Желаем вам дорогие товарищи, новых трудовых свершений во славу любимой родины.

Редакционная коллегия журнала «Новый мир».

МОЯ СУДЬБА, КАМАЗ, В ТВОЕЙ СУДЬБЕ



В январском номере 1976 года «Новый мир» впервые опубликовал подборку стихов рабочих-поэтов КамАЗа. С тех пор журнал неоднократно знакомил читателей с творчеством строителей автогиганта на Каме, членов литобъединения «Орфей» и «Лэйсан». Стихи юношей и девушек, своими руками возводивших великую стройку века, не во всем были совершенными, но привлекали свежестью чувства, окрыленностью души, неумной жадной творить, в них отчетливо бился пульс эпохи. Между новомирцами и камазовцами сразу же сложились отношения настоящего творческого содружества, которые несомненно способствовали росту поэтического мастерства молодых авторов. Результатом этого содружества стал и выпуск в 1981 году в издательстве «Известия» коллективного сборника русских и татарских поэтов города на Каме — «Лебеди над Челнами». Сегодня журнал публикует новые стихи молодых поэтов из города Брежнев.

НИКОЛАЙ АЛЕШКОВ

Самый главный город

Словно книгу, я судьбу перелистаю.
Без труда найду в судьбе заветный след.
Это город, где березки подрастают,
самым старшим скоро будет десять лет.

Только десять. А тебе уже под сорок.
Ну так что же? Стариком не назовет
самый главный, самый нужный в жизни город,
тот, в котором наша молодость живет.

А на Каме половодье забродило.
А над Камой проплывают облака.
Все, что с нами десять лет происходило,
в этот город воплотилось на века!

МАНСУР САФИН

В твоей судьбе

Моя судьба, КамАЗ, в твоей судьбе
Растворена, как время в ритме буден,
И оттого так остро на себе
Я чувствую, как сложен ты и труден.

Мои надежда, вера и любовь
Так воедино слиты в новом слове,
Что, если скажут: «Хлопцы, надо вновь
Оттroxать это все», я выйду снова

На стройку века, как любой из нас,
Чтобы поставить здесь заводов соты,
Чтобы создать еще один КамАЗ,
Мир поразив невиданной работой.

ЯМАШ ИГЭНЭЙ

Я иду...

Я иду... Мне это надо, надо —
пыль, жару и стужу побороть.
Если скалы на пути преградой,
значит, скалы надо расколоть!

Я иду... Мне это надо, надо!
За спиною свой оставить след.
Новый город, стройный, как баллада,
пусть из камня явится на свет.

Я иду... Мне это надо, надо!
Лишь в дороге я найду друзей.
Молнию, огонь ее разряда
мы возьмем эмблемою своей.

Я иду... Мне это надо, надо —
знать, что солнцу над землей блистать!
В солнце окунуть перо мне надо,
чтобы песню для людей создать.

* * *

Детство. Ночь. Война. На стеклах
разрисованных, морозных
вижу хлеб в колосьях блеклых,
тень отца среди колосьев.

Мир настал. Обильны нивы.
Нет отца. Душа тоскует.
И на стеклах — взрывы, взрывы
по ночам мороз рисует...

Перевел НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ.

ИННА ЛИМОНОВА

Стихи о моем отце

Он всю войну писал в военкомат.
Но бронь с него, рабочего, не сняли.
И ты, отец мой, в том не виноват,
и нет теперь причины для печали...

Но как глядит он горько на меня,
едва мы речь о днях былых заводим:
не сняли бронь, чтоб крепче шла броня
на тракторном, на танковом заводе.

Твой путь в войне не менее тяжел —
не минули тебя ни боль, ни беды.
Как в сорок первом ты в завод вошел,
так в сорок пятом вышел в День Победы.

Ты в сорок первом коммунистом стал,
и непричастность пусть тебя не ранит.
Здесь, на Урале, закалялась сталь,
чтобы крушить врага на поле брани.

...Но каждый год в победный майский день,
в круговороте праздника людского
скользит вины непрошенная тень
по доброму лицу отца седого...

НАЗИП МАДЬЯРОВ

* * *

Ветер стих. Над полочным аулом
Только звездное небо дрожит.
Светлый месяц немым караулом
Нашу землю во тьме сторожит.

Ночь июньская теплые лапы
На полоску заката кладет,
И подсолнухов желтые шляпы
Переводят свой взор на восход...

У памятника

Безмолвный я стою у обелиска
В ночи декабрьской, стылой, хмурой, мглистой,
И кажется, что слышу я слова:
«Умрем, но не сдадимся. Там — Москва».

...На снег упав, боец их произнес,
И захлебнулся он свинцом и снегом.
Пришел ко мне сегодня дальним эхом
Тот голос, отразившийся от звезд.

Перевели ПЕТР ПРИХОЖАН, ЛАРИСА ВАСИЛЕНКО.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИЭТТА ШАГИНЯН



УРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

(Июль 1941 — июль 1943)

Всю свою жизнь Мариэтта Сергеевна Шагинян вела рабочие дневники. Вот как она сама объясняла их назначение: «Полезно записывать первые впечатления от фактов, какими бы наивными и незрелыми ни показались они впоследствии. Такая запись сохранит всю историю изучения темы...» Публикуемый «Уральский дневник» послужил М. С. Шагинян основой для написания большого количества статей и очерков в годы Великой Отечественной войны. Эти записи не предназначались ею для публикации. Они писались только для себя. М. С. Шагинян понимала, что «разговор с самим собой и разговор с читателем... разные вещи и по языку, и по композиции, и по объему материала». Однако, как и всякие дневники они интересны не только как рабочая лаборатория писателя, но и как живой документ эпохи

Публикуем дневники с некоторыми сокращениями.

С 3/VII 1941.
10 апреля и по 2 июля (почти три месяца!) ничего не записывала <...>

22 июня немецкий фашизм ночью, вероломно, без предупреждения напал на нас. Десять дней Красная Армия стойко сопротивляется врагу.

24 июня я подала в партию.

Снова засела за книгу о Низами и сейчас боюсь, как совместить общественные обязанности со своею работой. Война сразу переместила все центры тяжести, требует от нас новой работы, быстроты исполнения, политической чуткости.

24/VII.

[В ночь] с 21 на 22 немцы начали бомбить Москву. За время войны работаю: 1) для Балтфлота — стихи и статья; 2) для радиовещания — 3 статьи; 3) для Информбюро — 2 статьи; 4) для «Красной звезды» — 1 статья; 5) для «Учительской газеты» — 1 статья; 6) для «Нового мира» — 1 статья. Но вся эта работа плохо организована и плохо получается сейчас только рожденные быть агитаторами, такие, как Ванда Василевская. Пишут хорошо, да и то слова как-то отскакивают от мозга, как резиновые мячи, настолько действительность сильнее всяких слов.

Те, кто будет жить после нас, будут, наверное, удивляться тому, как сейчас спокойны люди: после трехдневной бомбежки Москвы и угрозы газовой войны люди утром и днем как ни в чем не бывало оживают. Выходят, покупают в магазинах. Но опыт очень больших страшных вещей учит, что есть предел, за которым уже перестаешь чувствовать страх.

Москвичи ведут себя прекрасно, только отдыхать не дают немцы (трое суток без сна, ночью — в бомбоубежище, где у нас повернуться негде). Утром — авральная работа по уборке дома, днем — писание статей, хозяйство. Мы с Линой¹ видели, как упала зажигательная бомба в нашем дворе — овальная, розовая, покатила, как слеза. Тут же и затушили ее во дворе, но от десятка других загорелся деревянный соседний дом и сгорел.

Сегодня... страшно и мрачно кончается день, в ожидании тревоги сидим в каком-то одревенелом безделье, так как для работы уже сумеречно. Немцы изматывают население Москвы частыми налетами.

31/VII.

Утром писала статью для Краснова (Радиовещание) о самодисциплине в тылу... День сумрачный, вечером грозово, тучи клубками.

Маленькая жена Папанина усиленно во время ночных отсидок в бомбоубежище учит английский язык, я вижу ее учебник, откуда она списывает в тетрадку упражнения. Мы уже привыкли к тревогам. Кончаются они теперь не на заре, а когда еще темно — стали ночи длиннее, время повернуло к осени. Организация жизни — сутки, не больше. Все работают насыщенной. Сегодня в 5 часов была на бюро райкома, меня утвердили кандидатом.

В 1 час 35 мин. была также в клубе ССП на гражданской панихиде по Феликсу Кону. Лежал в гробу не очень старый на вид, лицо темное, орлиное... Цветов и народу не особенно много, по-военному. Фадеев говорил о Феликсе Коне как о писателе. Очень хорошо выступила Усиевич, дочь Феликса Кона. Хотя смерть отца была для нее огромным горем, держала себя в руках, ни одной слезинки.

2—5/VIII.

Частично — в Москве, частично — на даче, где тоже — ночные тревоги (хотя я сплю и в ус не дую — все равно убежища нет). Встреча с И. Н. Розановым². За эти дни написала маленькую статью «Роза на книге» в Персидский сборник. Лихорадочно работает, но как-то неглубоко... никогда ни по какому поводу нельзя давать нечто меньше тебя, нечто такое, что самой тебе прочесть бесполезно и неинтересно. Но так дергают заказы, что ничего не успевается, плохо выходит.

6/VIII—8/IX.

Фадеев прислал материалы, для него написана «Политика мирового двурушничества». За это время — свыше двух с половиной месяцев войны — мы жили то в городе, то на даче. Работала я непрерывно и не успевала ничего записывать. По двум заданиям: «Пионерской правды» и «Московского комсомольца» — столкнулась с интересными московскими явлениями: как спасали толстовскую усадьбу от зажигательных бомб и воскресник на заводе.

Вступает в жизнь искусство — все для обороны. Выделяются: Маршак, Кукрыниксы, Эренбург; роль А. Толстого; кинопьеса Петрова: новые картины; журналы. В Союзе писателей — ночные дежурства.

Москва меняет внешний облик, маскировка: Большой театр — зеленые холсты, синие, красные, серые, черные полосы.

Ничего не могла записывать до 6 ноября 1941 года, когда мы эвакуировались в Свердловск. За это время много написано и сдела-

¹ Шагинян Магдалина Сергеевна (1890—1961) — сестра писательницы, художник, скульптор, композитор.

² Розанов Иван Никанорович (1884—1959) — филолог, профессор Московского государственного университета. Преподавал литературу в гимназии, где училась М. Шагинян.

но, ряд выступлений, не проходило дня без работы на оборону, а положение становилось все напряженной и напряженной. Комитет по делам искусств высшей школы допустил меня к защите докторской диссертации по «Шевченко»³. Она была назначена на 22 октября. Но 15-го в Москве началась паника. Пережитое за три дня — 15, 16, 17 — незабываемо... Писателей спешно эвакуировали (часть), остальные остались без призора... Нас подобрал военный завод. Мы ехали 18 суток в ужасных условиях голода, холода и сна «по очереди» (мы с Линой делили одну койку, ели черный хлеб с луком всю дорогу). Приехали в Свердловск 4-го, устроились с большим трудом в гостинице... Получила 2 задания от радио и от «Уральского рабочего», где хотела бы работать постоянно и планомерно. Взяла в библиотеке материал по Уралу. Буду «вгрызаться» в него. Сейчас самое важное — снабжение фронта техникой и пищей, значит — заводы и колхозы.

7—10/XI, Свердловск, «Большой Урал».

Я пишу маленькую серию «Оборона Москвы» для радио и для альманаха, уже сделала две главы, остается еще две. Из гостиницы нас выселяют, денег нет, не прописывают в милиции — значит, и картошек нет. Были мы у О. Д. Форш и она — у нас. Хорошо, по душам поговорили.

Работаю над литературой по Уралмашу по заданию «Уральского рабочего». Сюда перебралась газета «Труд» и тоже ищет работников... Ужасное известие о гибели Афиногенова. Фадеев летает между Куйбышевом, Казанью, Москвой и Свердловском, был у Форш, сказал, что в Свердловске писателям лучше всего. Хаос и неорганизованность тут, во всяком случае, не меньше, а может быть, и больше. Так нельзя дальше работать. Если не перестроимся — гибель.

11—14/XI.

Редактор «Труда» Омельченко предложил работать в штате газеты, на хороших условиях. Я согласилась.

В промышленном отделе зав. Луцкий, Леонид Борисович, и помзава — Семен Леонидович Кофф. С ним вчера — очень интересный разговор о том, как писать сейчас о промышленности, чтоб помочь обороне. Найти людей... уже научившихся по-новому работать, и дать их образы... — это он советует. Я же считаю, что не надо бояться говорить об отрицательном и тоже вскрывать его причины. В общем, у нас в «Труде» довольно приятная рабочая атмосфера (сам Омельченко очень хорош), кроме отдела культуры, где до сих пор связи не установилось. В отделе вырезок много прочитано и законспектировано про Уралмаш.

Ужасное положение писателей и сумбур в Союзе. Мы так еще и не прописаны, сидим без хлеба.

15—19/XI.

Примерно с субботы, потеряв место в «Труде», от которого отказалась совершенно правильно и принципиально, закисла и захандрила. Пошла в Библиотеку имени Белинского, записалась, там очень много хорошей иностранной литературы, правда старья, но, в общем, есть что читать и, главное, много научных книг. Еще не просмотрела русских каталогов. С горя я себе взяла детективы и на три дня погрузилась в свою пьянку, решив никуда не ходить. Но вдруг — как в романах — звонит Профиздат и предлагает написать книжечку в серию «Бойцы трудового фронта». Я опять почувствовала счастье — работа, да еще такая подходящая. Быстро подписала договор.

³ В феврале 1944 года монография «Тарас Шевченко» была защищена как докторская диссертация.

20/XI, Уралмаш.

Сегодня началась моя новая рабочая страда. Утром заканчивала с Профиздатом, в 11 часов села на [трамвай] № 5 и поехала на Уралмаш. Ехать минут 35, город скоро кончается, идут дивные сосновые рощи, солнце, все эти дни стоит мороз 15—20°, но он удивительно легко переносится, потому что воздух сухой и дышишь без тяжести... Потом сразу в соснах — огромные здания, нарядный, отлично расплавленный (звездой) городок — Уралмаш <...>

24—26/XI.

Два дня ушло на переписку законспектированного на Уралмаше в дневник. В Москве сейчас тревожное и острое положение. Джим⁴ упорно не выезжает, несмотря на все мои телеграммы. Мы с Линухой изнервничались, боеем. До сдачи книги мне осталось 5 дней, писать 1,5 печатных листа... Хотелось бы почитать по механике и по литейному делу, но вряд ли успею. Задание — оборонное, надо помнить, что — для победы, и так написать, чтоб зажгло. Перенесу прямо в дневник ударное расписание и буду работать даже не по дням, а прямо по часам. Схожу в библиотеку «Уральского рабочего», посмотрю в энциклопедии про литье и механику, возьму Бажова — сказы.

9—10/XII.

Сделано вовремя, сдано; проведена большая, напряженная работа. Потом началась бессмысленная редакционная канитель, придирчивая правка (на 50 процентов — ненужная, на 10 процентов — ухудшающая текст, на 10 процентов — возникшая от недоразумений и лишь на 30 процентов — правильная, причем эти 30 процентов я сама и сделала после машинки).

Так убивается у нас всякая производительность труда, всякое напряжение в работе и счастье работы. Если это будет продолжаться, мы все погибнем. Литература существовать перестанет. Лишь очень яркое, сильное, личное, эмоциональное, прямое, направленное на войну, на вопросы войны, пробивает сейчас себе дорогу в печать, например книжечки «Москве угрожает враг» с двумя статьями А. Толстого и В. Иванова (очень хороши), должно быть, из «Правды» или из «Известий». Но ведь это — мгновения, они редки не только для каждого, но и для коллектива. А где постоянное дело литературы? У нас нет организации того бесперебойного ритма, без которого общей культуры не получается. Ну, довольно брюзжать.

5—10/XII.

Время идет страшно быстро, а делается мало. За эти дни — выступление Японии против США, наши дела на фронте лучше, забрали назад Ростов у генерала Клейста. Настроение приподнялось. Хочется назад в Москву, потому что здесь как-то не получается органической жизни. Мне не везет с работой, все оказывается неподходящим. Заказала в библиотеке и читаю «Nordisches Archiv» (рижское издание XIX века)...

11—12/XII.

Япония топит и бомбит важнейшие англо-американские базы. Написала статью (пробную) для «Труда» — «Гитлер и германский народ». Страшная жизнь в отрыве от своего обычного места, и нехорошо, что не получается органической работы, а к письму постоянно тянет, по-стариковски — писать-рассказывать помаленьку, но с толком, с моралью. Холода — до 40°. От Джима опять нет вестей. Мы получили карточку на декабрь в столовую «Ривьера». Денег снова нет...

⁴ Х а ч а т р я н ц Яков Самсонович (1884—1960) — муж М. С. Шапгян, переводчик, литературовед.

15—18/XII.

Продолжается наше контрнаступление под Москвой... Приехал из Москвы скульптор Терзибашян, рассказывает про моего родного Самсоныча, который упорно остается в Москве, — какой он хороший, благородный и т. д. Они там живут голодно, кроме хлеба, ничего нет. Союз писателей функционирует и столовка тоже. Рассказал, что положение очень напряженное, хотя бомбежки сейчас нет.

Получила верстку «Двух мастеров»⁵. Статья моя под заголовком «Уроки немецкой истории» прошла в «Труде». И вчера вечером в малом зале Дома Красной Армии с исключительным успехом выступила на митинге (общегородском) работников печати, устроенном Уриным⁶.

19—20/XII.

Сегодня утром получила заказ от «Правды» на статью к воскресенью вечером; обещала. Но нервы расслабили после вчерашнего напряжения, и ничего не наработала. Вечером приходила Ольга Дмитриевна Форш и рассказала о задуманной ею первой главе о России — «Костры». Хорошо она рассказывает — как России ходит по Питеру перед Михайловским замком и думает о прошлом и т. д. Приплетается сумасшедший Павел. Потом — молодой Пушкин. В общем, если сумеет написать, то в ее стиле значительная вещь. Принесла маленькой серебряную ложку чайную, говорит, что маленьким детям надо дарить серебряную ложку...

21—23/XII.

За это время написала и сдала статью в «Правду» — «Опыт Отечественной войны».

24—26/XII.

Написала статью в «Труд» «О славе древних русов». Статья в «Правде» прошла. За последние дни — новость: вызов в горвоенкомат. Оттуда на медицинскую комиссию, там встреча с Гладковым. Обоих нас осматривали по всем статьям, меня признали негодной из-за отосклероза. Гладкова — годным, но не на все сто. В остальном меня похвалили — «молодцом не по возрасту». В военкомате я узнала, что вызывает нас Москва, и обжаловала постановление комиссии: хочу ехать!

Дела наши на фронте хороши, отгоняем и бьем немцев.

Еще за эти два дня — тщетные попытки начать писать «Оборону Москвы»⁷, слишком часто я за нее бралась и бросала на половине.

27—29/XII.

За эти дни — выступление в зале филармонии (вечер писателей в пользу автоколонны «Свердловец»). Читала из Низами⁸ и никакого успеха не имела, едва похлопали. Потом... выступление в госпитале, сошло очень хорошо.

Опять договорилась с «Трудом» и вошла в штат... Написала статью «Война и труд». Написала коротко для радио. Читаю уральских писателей, очень хорошо и серьезно. Остается за эти два дня: написать в «Красного бойца» статью и дописать «Оборону Москвы».

⁵ Имеется в виду книга М. Шагинян «Два мастера», изданная Профиздатом в Свердловске в 1941 году.

⁶ Некоторые лица, упоминаемые в «Уральском дневнике», остались неустановленными

⁷ Впервые под названием «Дневник москвича» (Профиздат. М. 1942).

⁸ В 1941 году к 800-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви М. Шагинян сделала перевод его поэмы «Сокровищница тайн».

31/ХІІ.

Последний день 41-го — чреватого огромными событиями, движением истории, чертами людского героизма, зверства, всем, чем богат и страшен человек, — поворотного и страшного года. Начало войны с Германией. Первая речь Сталина — призыв к народу защищать свою власть и страну, начало партизанского движения. Мы крепнем... начинаем контратаковать. Разгром немцев под Ростовом. Мы отбрасываем немцев от Москвы. Чудная, ранняя московская зима — помощница.

Встречаем 42-й с крепкой надеждой на победу. Творческая энергия сейчас пробудилась как никогда раньше. Многое осозналось до глубины. Люди воспитываются и перевоспитываются войной. Я опять вижу движение истории вперед и опять ярко чувствую жизнь, реагирую всем сознанием, это хорошо.

В семье Линуша, родная и любимая, поправляется... Мирэличка⁹ вышла замуж и родила нам внучку Леночку. Мы ее очень полюбили.

Наконец самое главное — я принята кандидатом партии в июле.

За весь год, кроме Урала и короткого отдыха в Барвихе и Голицыне до начала войны, нигде не была. Еще не записала: допущена к защите диссертации на доктора, минуя кандидата, по «Шевченко». Получила 3 очень хороших отзыва. Но сама защита была отложена из-за эвакуации ряда учреждений. Думаю защитить в наступающем году, если удастся.

Нынче написала третью главу в «Оборону Москвы»... Встречали Новый год вчетвером, очень тихо и хорошо, были у нас торт, и портвейн, и бифштексы, и полная сытость [впервые] за все это время.

1/І 1942.

Тихий и спокойный день. Отдыхаю, все мы дома. Все время читаю...

2/І.

Утром сегодня dokonчила «Оборону Москвы», будет называться «Дневник москвича», и отнесла в Профиздат. День утомительный, без обеда. Линуша все еще прихварывает.

4/І, воскресенье.

Отдых от писания.

Весь день — раздумья, отдых, чтение.

5/І.

Тяжелый день, мотанье, опять задержка со статьей в «Труде», ссора дома — нехорошо.

6—8/І.

Начало новой страдной полосы — по черной металлургии. За эти дни прочитала ясную и отчетливую статью Татевосяна в газете «Черная металлургия» от 11/Х-1940 года, законспектировала ее. В ней он говорит о том, что главная беда нашей металлургии была: 1) от отсутствия единого технологического документа, который в 1933 году был разработан только для Юга, а на Востоке (Урал) его еще не было, от этого потери; 2) больше всего потерь в доменной печи на качестве чугуна — из-за неровной работы печи и непостоянства шихты.

7/І пошла в Наркомчермет, где познакомилась с Давидом Яковлевичем Райзером, очень умным и дельным замом наркома. Он указал мне самые главные, острые вопросы нашей металлургии. Первое — острое снижение запасов. Металлургии могут хорошо работать

⁹ Шагиная Мирэль Яковлевна — дочь писательницы, художник.

тогда, когда есть готовые запасы на определенное количество дней, и они перманентно, без перебоев, возобновляются. А тут очень плохо работает транспорт... Metallургия Востока имеет и свои большие достижения. На протяжении войны она резко изменилась. До войны Магнитка и Кузнецк производили так называемые торговые марки металла — рядовой металл на гражданские изделия. И на том же оборудовании за эти месяцы они стали производить технические марки, какие нужны для военной промышленности. (Сообщил, что в Тагиле, куда я собираюсь ехать, 2 завода: старый Нижне-Тагильский и Ново-Тагильский, в котором еще не все достроено.)

Посоветовал ехать на Магнитку.

После этих сообщений он вызвал Семена Борисовича Розенберга, исключительно умного и милого, лобастого человека, бывшего секретаря газеты «За индустриализацию». Мы с ним договорились встретиться в «Труде».

Вечером 7-го было общее собрание писателей... Я тоже выступила — насчет уральских писателей и о том, чтобы их выдвигать в центральные газеты и журналы.

Утром 8-го прочитала и сдала с рецензией рукопись Мусатова «Москвичка» в Профиздат; прочитала английскую пьесу Вейланда Родда и поговорила с ним о ней по телефону («Тень» — интересная, о неграх и молодежи мулатской в Америке. Очень всего в ней много).

В 4 часа — в «Труде», где с Розенбергом имели длительную беседу. Вот что он мне сказал:

«Потеря Юга для нашей металлургии — удар огромный. Лжет тот, кто думает, что это «ничего» для нас. Мы потеряли больше половины. Все, что раньше ложилось на целую страну, сейчас легло на один В о с т о к. С Востока пришлось выкачивать максимум.

Задача военного времени выразилась вот в чем: необходимо восполнить потерянные массы металла и наряду с этим получить качественный металл, который раньше на Урале не вырабатывался (кроме Златоустовского и Серовско-Надеждинского заводов). Следовательно, надо было мелкие заводы Уралмета повернуть так, чтоб заставить их заниматься новым для них делом. В чем разница? Положим, завод делал кровельное железо; колебание в составе этого железа допустимо до 1 процента, от этого кровля особенно не пострадает, технологически процесс прост и несложен. Но когда делают военную сталь, калиберное железо — имеет значение колебание и в 1/1000 процента. Весь технологический процесс становится строже, сложнее, требуется точность. Навыков у людей для такой работы не было. И вот удивительное дело. Эти мелкие заводы, как это ни парадоксально, оказалось легче повернуть, чем Магнитку, и на этом определилось огромное значение человека на производстве. На этих мелких заводах сидят те же советские инженеры, они горят потребностью выдвинуться, сделать что-нибудь значительное, показать себя, решить трудную задачу. Да и рабочие кадры на таких заводах — это старое, демидовское племя. Вот почему освоение новой технологии произошло там легче и быстрее, чем на Магнитке. А инженеры на Магнитке избалованы, они привыкли к тому, что завод их лучший в СССР, последнее слово техники видали всякие виды, полны технической эрудиции и обросли коркой, которую прошибить оказалось труднее. Тем не менее и Магнитка сделала огромные дела».

Намечаю для себя по этой беседе 3 газетные темы: 1) старая уральская металлургическая культура еще не учтена достаточно при въезде сюда новой... По существу, старое работает и идет вперед, лучше усваивает новое, быстрее, чем крупные новые заводы. Эти заводы недостаточно «уважили», поняли и оценили прошлое... 2) общая проблематика, что усвоено, где слабо, как надо предусматривать буду-

щее, чтоб хорошо работать в настоящем; 3) люди войны и люди труда — из одного корня, о командирах производства, о типах, решающих судьбу обороны на заводе и в бою.

10/I.

Дни идут, а буквально ничего не делается стоящего! И для чтения обстановка неподходящая. Записываю для себя поездки: от Свердловска до Челябинска — 253 километра, от Челябинска до Златоуста — 161 километр, от Свердловска до Златоуста — 414 километров. В Красноуфимске — значительное месторождение огнеупорных глин и кварцевого песка, музей местного краеведения, красивая местность. Строгановские заводы — Нижне-Артинский и Верхне-Артинский (сталь, железо)... Ревда — интересные рабочие, революционные потомки демидовского племени....

Весь вечер правила для «Правды» свою статью «Доблесть древних русов». Отнимали ежеминутно свет. Утомление чудовищное. Еле еле дотащилась домой.

11/I.

Хочу начать писать статью «Писатели Урала», материал для нее уже более или менее освоен.

12—15/I.

За эти дни написала статью «Фронт чугуна и стали» и сдала ее Хандросу¹⁰ для «Правды»: Розенберг проверил и сделал несколько критических замечаний. Статью считаю слабой, но они ее взяли.

Вышла сигналка «Двух мастеров».

Взяла в Библиотеке имени Белинского свой 1 том собрания, чтоб переписать для выступлений «Качество продукции». Сделала статейку «Кража социалистической собственности», но «Труд», кажется, не берет.

16—25/I.

Морозы — 40° и выше, крещенские. За эти дни написала в ленинский [номер] «Труда» статью «Народная клятва». Потом статью «Под кнутом немецких баронов» (у меня было просто: «Немцы в Прибалтике»). На этом, надеюсь, покончила со статьями на январь. Сводки хорошие, многие поехали в Москву. Нас тоже крепко тянет туда.

Сейчас приступаю ко второй книге для серии «Бойцы трудового фронта». Нынче вечером собираюсь ехать в Нижний Тагил. Выпишу все сюда, что имеется о Нижнем Тагиле в путеводителе Афиногенова.

<...>

Город Тагил. Основан тульским кузнецом Никитой Демидовым в 1725 году. Сперва как Нижне-Тагильский завод.

<...>

Черепанов. Статья Бармина в «Уральском современнике» № 1 за 1938 год.

<...>

Бармин в 1936 году нашел в архиве Демидовых материалы, освещающие судьбу Черепановых. 15 января 1825 года Никита Демидов писал из Флоренции своей Нижне-Тагильской конторе о том, что в Англии изобретение паровоза подняло цену на железо, так как его больше надо для постройки железной дороги. В это время все приводилось в движение на Уральских заводах силою воды: мехи для дутья у доменных печей, кузнечные молоты, сверлильные и катальные станки. Поэтому каждый завод — у плотины; производительность труда —

¹⁰ Хандрос Владимир Аронович — корреспондент газеты «Правда» в Свердловске.

от напора и количества воды. Плотинный мастер — гидравлик и архитектор, универсальный механик. По глазомеру — плотинное место, по памяти — расход воды и запас энергии на год.

Вешних вод надо было выпустить столько, чтобы не разнесло плотину и хватило до следующего половодья. Плотинным был Ефим Черепанов, крепостной, «домашний природный механик». Его ценил Демидов: «Другого человека в заводах ему подобного не имеется.

<...>

Ночью выехала в Нижний Тагил поездом из Богословска. Дорога дивная, видела лишь на рассвете, но забыть нельзя — заснеженные мягкие горы в густом сосновом бору. Но, подъезжая к Тагилу, лесу уже не видишь — все голо, все съедено заводами. От станции к центру города по Привокзальной улице пошла пешком. Домики из толстых, основательных темно-серых срубов, с красивыми ставнями или наличниками, крашенными обязательно светлой краской (светлей сруба). Карнизы и наличники — в тонкой, очень красивой резьбе. Впечатление большого, старого, хорошего вкуса. Северное. Основательное. И в то же время изящное. Зашла на колхозный рынок. Полная пустота. Продают какие-то кусочки хлебных буханок. Центр Тагила — вокруг городского сквера, и все тут рядом.

Сегодня решила посвятить день культурным учреждениям Тагила, осмотреть музей и библиотеку. Музей близко от гостиницы, рукой подать, помещается в старом доме заводоуправления (демидовском). Вид отсюда на Лысую гору, сейчас всю в снегу, замечательный, на холмистые дали и на огненный дым из заводских труб в совершенно ясном морозном небе. Сейчас, как здешние жители говорят, тут тепло, всего — 20 с лишним градусов мороза, а вот в прошлом году в это время было 55°!

Музей краеведения. Три отдела: общий, вводный, здесь природа Урала, ископаемые, исторический и художественный. Библиотека при музее состоит из демидовских книг, почти половину их забрал Свердловск и областной Свердловский архив.

Вечером в гостинице надо было записать впечатления дня. Холодно. Горячая вода — желтая, с плавающими наверху масляными пятнами. Уборщица сказала: «Мы все пьем такую воду, это от железа, в Тагиле вообще такая вода...» Нынче в 3 часа дня дала срочную телеграмму нашим. Завтра едем с Морозовым на рудник и завод. Сегодня была в горкоме у товарища Захарова, секретаря по металлургии, обещал 30-го принять меня для разговора о том, в каком положении черная металлургия на Тагильских заводах.

27/1, Н. Тагил, гостиница «Северный Урал».

На ночь зачиталась Геннином¹¹ и проспала. Осталась без завтрака, но не унываю, поела хлеба и отправилась в горком. Там пришлось в ожидании транспорта сидеть до 12 часов. Подали машину, и мы с Морозовым поехали на рудники. Опять мимо домны и музея. Домна на старом заводе имени Куйбышева, в непосредственном соседстве с гостиницей, где я живу и [откуда] постоянно вижу красивое красное пламя, выходящее из ее высокой трубы. Забыла записать, что в ожидании транспорта сходила с Яковлевым (милый и быстрый человек, все очень скоро и логично делает, не любит терять времени, не болтает, прекрасная память) на телефонную станцию посмотреть, как работают телефонистки...

Возвращаюсь к нашему путешествию на Высокогорский рудник.

Едем по типичной горнозаводской улице, начинающейся тотчас за заводом. Две горы доминируют над городом: Лысая с пожарной

¹¹ Де Геннин Георг Вильгельм (1676—1750) — специалист и организатор горного и металлургического дела в России. Автор книги «Описание уральских и сибирских заводов» (М. 1937).

каланчой над ней и Высокая. Подъезжаем к рудоуправлению. Дорога заснежена очень сильно, машина то и дело застревает в снегу. Домики — из чудных, темно-серых от времени сосновых срубов, все в резьбе. У рабочих свои хозяйства. Живут в крестьянских избушках с огородами, с коровой. Подъехали к рудоуправлению, пошли к главному инженеру.

У него, между прочим, на стене — великолепная карта ископаемых Урала.

28/I, Н. Тагил.

Утром отправилась на Н-Тагильский завод имени Куйбышева. Прямо к домнам (с руководителем листопрокатного цеха Иваном Петровичем Колосовым).

29/I.

С утра засела за выступление. Вечером выступила.

30/I.

С утра — в горсовете. В плановом отделе говорю с Сергеем Николаевичем Панкратовым. Он явно не сочувствует моим мыслям (а я тут же зажглась перевести все заводы Урала на маленькие гидроустановки, для которых использовать все прошлые гидросооружения). Он мне категорически заявил, что воды в Тагиле мало, главная задача — найти воду для целей промышленности.

Работаю в библиотеке. «Исторический очерк Уральских горных заводов» Белова. Добрались до геологоизыскательной конторы — большой дом, на стенах карты, витрины с образцами. Начальник конторы — Василий Михайлович Логиновский (не забыть: обещала послать ему детские книги — две дочери, Елена и Ирина, и сын Юрий). Встретил он нас пасмурно, разговаривал неохотно. Высокогорский рудник — второй по количеству железа, после Магнитки.

Ночью мы пошли на рудник. Экскаватор стоял, понурился ковш. Пришел скоро Пестов, показал нам устройство, а потом сел и стал работать. Закричала верблюжиным голосом машина, ковш стал вгрызаться. Ковш у него прямо танцевал, со стоном разжимая челюсть и выпуская тучи руды и каменные глыбы...

С Осиповым — на санях в город. По дороге сани накренило, и мы с ним оба вывалились в снег.

Дома — неожиданное посещение работника из «Труда» и инженера-гидравлика Сергея Сергеевича Гинко¹², того самого, которого мы тщетно разыскивали в горсовете, и он мне блестяще подтвердил правильность моей мысли о восстановлении старых гидросооружений. Он сказал, что Америка, Швеция, Финляндия работают на маленьких гидроустановках, но работают при помощи автоматических регуляторов параллельно с крупными, и что это самая экономичная, рентабельная, легкая, разумная форма получения энергии и для Урала.

На том кончились мои тагильские очень содержательные впечатления.

31/I.

Утром выехала в Свердловск. Погода очень теплая, мягкая, жалко было уезжать из Тагила. Дома все в порядке, но наши хворают, девочка без мытья и воздуха. Телеграммы из Азербайджана и от Зоценко.

Из Москвы — опять ничего, за весь январь!

¹² Гинко С. С. — инженер, начальник Комиссии ленинградского Гидропроекта.

1/II.

Вот и прошел первый месяц нового года, а сделано, по существу, еще очень и очень мало. Весь день — попусту, была в библиотеке, взяла романы. Дома — Линуша в гриппе...

2—3/II.

Лежу с горловой болью. Ленка тоже кашляет.

Сегодня, 3-го, приступаю к новой книжечке: «Фронт чугуна и стали».

Написать 3,5 листа, отразить Урал, уральскую психологию и т. д. Февраль — все это время только писать и больше ничего.

4/II, Свердловск.

Вчера проваладалась в городе. Неудачи в «Труде» — погибают зря мои хорошие статьи. Газета сделала ставку на серятину и боится всего мало-мальски острого. Я уйду от них, ну их! В Профиздате поговорила с Севастьяновым. У товарища Урина. Ему я сказала о своем впечатлении, что профорганизации сейчас работают пассивно. Если б за бездейственность наказывали больше, чем за неудачное дело, у нас народ шевелился бы.

5—15/II, воскресенье.

Все эти дни проваладалась и проболела (и сейчас больна). Только два дня из этого зря пропущенного времени пошли на дело. По просьбе редактора «Красной звезды» Ортенберга съездила на завод, где директором товарищ Софронов, а начальник III цеха — Zubov, с которыми обошла весь завод сверху донизу. Ничего сюда не записываю, впечатление очень большое. Разрешена проблема смены. Отзыв об уральских девушках: на лету хватают объяснение, умные, толковые, выносливые, терпеливые, сообразительные. Видела их в работе, очень понравились. Статью написала и послала в «Красную звезду». Была на докладе Ферсмана. Это бонвиван, превосходный, жизнерадостный толстяк с лукавым лицом... но в докладе ничего нового не дал. Народу было много. Барто сделала интересный доклад о прошедшем в Москве писательском пленуме. Получила телеграммы от Зоценко, Лидочки, Джима и письмо от Шостаковича. Получила рукопись «Анаит»¹³ от Гольдберг...

Приходил Ф. В. Гладков (говорили насчет антифашистской писательской конференции). Сейчас начинаю готовиться к работе. Я предложила Профиздату новую серию. Дам для нее книжку «Уральский город» (1,5 печатных листа), а остальной материал — «Фронт чугуна и стали» (2,5 печатных листа).

16—23/II.

Лежу больная. Две статьи: «Человек с ружьем» — для «Труда» и «Завещание павших» — в «Красный боец». Начала наконец кропать «Уральский город» — плохо, тягуче, густо, сделала с грехом пополам две главы.

24/II—19/III.

За это время — почти месяц — мало сделано, побывала в Уралэнерго...

Антифашистская конференция со всякими скандалами по поводу докладов и докладчиков. В конце концов я сделала доклад «Гитлер и немецкая книга» (с успехом). Нервы расхлябаны — хожу и скандалю.

Дружба с С. С. Гинко (заходит иногда по поводу малой энергетики — мы хотим с ним вместе поднять вопрос о восстановлении мелких гидротехнических сооружений Урала).

¹³ Пьеса М. Шагинян, написанная по мотивам сказки Хазароса Агаянца.

27/III.

...Дни просто мчатся. У нас: привили оспу Леночке. Телеграмма о выезде в Москву.

Написала статью «Вдохновение» о Босом¹⁴. Отделала свой доклад (кусочек его исковеркали!) для «Труда». Дала приветствие в шахматный бюллетень.

Денег ниоткуда нет. Пишу «Уральский город».

13/IV.

9-го ночью мы с Линой выехали в командировку в Москву.

До этого — пленум обкома союза печатников, я выступила с довольно критической речью, но поставила в ней важные вопросы... 3-го прошел мой вечер¹⁵ (было всего несколько человек), я читала Низами и сама наслаждалась, всем очень понравилось, особенно хорошо вышло «о преимуществе речи стихотворной перед прозаической».

Хлопоты с пропуском.

Докончила хорошо «Уральский город».

Сейчас едем уже пятые сутки, а до Москвы еще 400 километров... Планы у меня: закончить о нижнетагильских людях... Потом — поездка по Уралу, «Уральский дневник». В Москве: статья в «Известия» — «Всегда современник»; [статья] в «Правду» — «Трудовые резервы»; [статья] в «Литературу и искусство» — «Опыт работы писателей в тылу». Доклад на президиуме о том, как мы работаем в Свердловске. Выступление на книжной выставке. Правка «Уральского города». Женский митинг.

Знакомство с Подвойским¹⁶.

17/V, Свердловск, воскресенье, Милочкин день рождения.

Вчера приехали, погода была пасмурная. Нынче прекрасный день. Сегодня с утра прибрались, распаковались, я приготовила свое рабочее место и села сейчас поработать. Уже с головой в новой работе: Подвойский заказал мне книжку для пехотинцев о танке. Пока читаю и обдумываю (самое трудное — выбрать форму!). Вечером — Милочино рождение, у нас Пермьяки, Хандросы, Тагильцев, Нечепуренко, Форши (Дима¹⁷ очень хороший). О. Д. Форш принесла свою новую пьесу «Пушки Монмартра» (о Парижской коммуне). Действительно интересно. Ольга Дмитриевна уезжает в Алма-Ату.

20/V.

Был вчера Виктор Васильевич Данилевский¹⁸, очень хорошо поговорили, у нас с ним идейное направление мыслей одинаково [относительно] концепции истории человечества: вместо Эллада — Рим — Европа Китай — Аравия — Персия — Азербайджан — Кавказ — Россия (в центре мировой истории). Обдумать! Это мне еще много, много, много посидеть над этими темами. Закончив «Оборону Родины», сразу возьмусь за Низами и через него — за тему Азии.

21/V.

...Вечером в 5 часов у нас было собрание в доме партпросвещения, выступал с докладом Иван Сергеевич Севастьянов. Мне конспектировали: книга должна быть трибуной передачи опыта. Во главе угла — темы героики труда. Писать с подъемом, образно. Часть книг будет печататься здесь, остальные в Москве. Избежать встречных перевозок. По матрицам печатать здесь. Надежда, что писатели Свердловска помогут.

¹⁴ Бó с ы й Дмитрий — фрезеровщик, поднявший на Урале в годы войны движение тысячников.

¹⁵ 2 апреля 1942 года М. Шагинян исполнилось пятьдесят четыре года.

¹⁶ Подвойский Николай Ильич (1880—1948) — советский партийный и военный деятель.

¹⁷ Сын О. Д. Форш.

¹⁸ Данилевский Виктор Васильевич, автор книг «Ползунов» (М.—Л. 1940), «Русская техника» (Л. 1949).

Я выступила дважды: один раз — после Севастьянова с содокладом, рассказала о Москве; второй раз — на заявление Gladkova, что переиздавать нельзя, надо сейчас писать новые книги. В общем, собрание прошло хорошо и принесло свои результаты.

Сегодня в час дня мы с Данилевским — в штабе Уральского округа, у полковника Александра Сергеевича Евдокимова. Чудесный человек, обещал помочь, свести в танковую часть, на танкодром.

24/V.

В 12 часов в штабе, оттуда — на машине с Евдокимовым и Данилевским. Хорошие улицы старого Екатеринбургa с деревянными домиками, с садами, все уже зелено. Тут недалеко живет Бажов. На танкодроме познакомилась с командиром бригады, с сестрой-дружинницей и с комиссаром Иваном Матвеевичем Дагилсом. Потом с капитаном, помощником заведующего технической частью бригады. Часть боевая, перед отправкой на фронт. Мы договорились так: мне прийти во вторник в 17 часов — они подберут людей. А сегодня знакомство с танком. Выходим во двор, я — надев синий комбинезон и опоясавшись ремешком.

Лезу в танк. Внутри место для двоих, командир — он же стрелок. В танке очень тесно, и приходится здорово побиться туловищем о стенки и острые углы. Жесткая качка. Виктор Васильевич сказал: «Как в торпедном катере»; мой водитель ответил: «Пожестче». Мы проехали на танке, и это было страшно. Виктор Васильевич сел спереди, упираясь в люк вождения. Я — сбоку. Обожгла руку о глушитель. Рядом со мной поместился капитан, помощник начальника по технической части. Толчки, скорость — страшно, кажется, вот-вот слетишь и вдребезги разобьешься. Но, в общем, наглотавшись пыли, благополучно вернулись, хорошо простились.

День огромной, приятной нагрузки. Если найду нужных людей — в госпиталях, в бригаде, — то книжка будет сделана.

Вечером записываю. Завтра чествование Данилевского, надо будет выступить, завтра сяду за статью о нем — «Новый тип ученого».

Попробую эту статью потом поместить в «Уральском рабочем».

25/V.

Нынче утром прочитала хорошую статью Данилевского «История техники как один из факторов технического прогресса». Удивительно, насколько интуитивно я его поняла и определила в своей статье «Всегда современник». Потом написала неважный доклад «Новый тип ученого» — это не стоит печатать.

Пришло письмо из Военной комиссии с книжкой Каткова о танках.

Вместе с Хандросами — на вечер. Народу собралось немного. Первое слово предоставили мне. Я говорила минут 30—40, сама осталась не очень довольна, хотя потом люди говорили, что было интересно...

После меня говорили профессор Введенский — историк, Каменецкий — электрик, местный краевед — старик, Хандрос (о Ползунове — как всегда, дельно), военные и сам В. В. [Данилевский], выступивший отлично, со вкусом и чувством меры. У него чудесная молоденькая жена и очаровательная дочка. Жалко, что не было Бажова.

26/V, Свердловск, танковая бригада.

Я заблудилась и спрашивала в дороге у малышей, где танки стоят, но ни один мне не ответил — такие умные ребята. Хорошо, что встретила танкиста из части, и он отвел меня на прежнее место, до которого ни за что бы в одиночку не добралась. Там политрук Иван Матвеевич Дагилс привел замечательных людей.

Первым начал рассказывать Лошманов. Это молодой, плотный, круглолицый парень с круглой головой и чубом над лбом, растущим

вверх из-под танковой шапочки, глаза отчаянные, тоже вскинутые вверх, перед начальством навтыяжку, «ест глазами», храбр, немного хвастлив, молод — ему 25 лет. Рассказать ничего не сумел, кроме общих фраз. Был до призыва в армию машинистом, работал в депо станции Котельниково Сталинградской железной дороги. После мобилизации в 1938 году послали в Харьковское танковое училище, которое кончил в октябре 1940 года. После этого служил в Пятигорске, а как война грянула — сразу в бой, за городом Смоленском командиром танковой роты. Было это 27 июня 41 года. Главным в своем деле он считает взаимодействие с пехотой и «сколачивание людей» в общий коллектив. Мы подняли вопрос о психологии, о том, бывает ли страх. Лошманов категорически стал отрицать всякий страх: «Мне подавай сто немцев — всех уложу». Поликарпов вдумчивее, это смуглый, краснолицый (с синеватым оттенком), худощавый человек, нос горбинкой, говорит очень тихо: «Перед каждой атакой происходит агитация комиссара — построить он ее доложен на действительных фактах. У меня было так: раньше, в первые дни войны, какая-то незнательность, наивность, страха не было, точно и не война, потом, когда огляделся, дошло до сознания, появился страх. Вот тут-то и сказывается роль комиссаров».

Вмешивается Лошманов: «Я тоже раньше с открытым люком на врага ездил, а как бабахнуло осколками, так стал осторожнее».

Поликарпов: «Действует, когда видишь своими глазами, что сотворяет враг. Когда в Тихвин вступили, много было жертв на улицах». Лошманов: «Когда Медынь освободили, 27 сожженных наших нашли!»

Начинает рассказывать Иван Васильевич Васильев, молодой высокий парень, блондин, с приподнятым носом, узкой вдавленной переносицей, кареглазый, прямобровый — типично русский. Рассказывает он очень хорошо. Другие с интересом слушают. «Первый период моей боевой жизни — это марш 450 километров на колесах с 26 июня по 6 июля 1941 года, когда наша часть планомерно отступала в Белоруссии. Танки шли своим ходом, и по трое суток экипажи не спали, стойкость, твердость была проявлена удивительная. Наши танкисты сумеют в любых условиях выдержать все трудности. В этот мой первый боевой марш, когда, грубо выражаясь, мы драпанули от неприятеля, выяснилась выносливость русских людей, в частности танкистов. По уставу танк на колесах не должен пройти больше 100—200 километров маршем, а остальное — по железной дороге. А мы прошли все 450 километров на колесах. Второе — выяснилась выносливость материальной части. Машины замечательные, это заслуга наших рабочих. Танк — великая машина. Танкисты в атаку в пешем бою не ходят. Но танкист болеет за то, что он остается вне массы людей. Я говорю о том, что танкистов, как и летчиков, запрещено использовать в атаке, в пешем бою. Так вот, они глядят, как пехота идет в бою, и так и тянет за ними, боль испытываешь. Летчики нам, танкистам, помогают хорошо. Когда мы подготавливаемся в атаку, они бомбят противотанковые пушки и артиллерию, чтоб дать нам возможность пройти передний край.

Так вот, промаршировали мы на танках 450 километров, приехали на место в 12 часов дня, а уже в 6 часов вечера пошли в атаку под местечком Сенная, даже ремонт не понадобился — до того материальная часть замечательная. Вступили в бой, машины работали отлично. Сна ни в одном глазу, сон перешиблен, танкист злой, как увидит кровь — ищет-рыщет отомстить.

Много значит в бою военная хитрость, вот я вам расскажу о двух случаях сообразительности. На Западном направлении, когда танковая атака противника была направлена против нашего переднего края, перед этим краем у нас был большой ров, мы его наполнили соломой, и когда танки подошли, подожгли солому. Тогда танки повернули от рва и обратили к нам свои бока (повернули борта), а это

счастливым случаем для артиллерии, мы начали бить их, и баки у них загорелись. Вот еще случай. За Смоленском есть болото торфяное шириной километров в пять. Наши поставили в нем фальшивые зенитные орудия, якобы настоящие. Немцы их обнаружили и двое суток бомбили это болото, массу снарядов и бомб потратили.

О себе что же сказать? В армии с 1928 года, родился в 1906 году. Папаша с мамашей занимались крестьянством в Ленинградской области. Они в Пскове остались, мамаше-старушке уже 73 года, живой ей не быть. Нам надо немедленно освобождать Псков. Эта война размаскировывает людей, всех мы видим — кто друг, кто враг, в каждом местечке люди проявили себя до сердца».

Следующим говорит Павел Карлович Радецкий, политрук роты, совсем молодой, ровесник революции, 1917 года рождения. Внешность его — ладный, небольшой, лицо круглое, смуглое, глаза черные, выражение немного детское, но с глубиной, с напором. Он родился в Каховке, был в колхозе рядовым колхозником, призвали в армию и сразу сделали заместителем политрука, а после политруком. Учился в Курске в политучилище, оттуда сразу — на переподготовку и прямо на фронт, Западный и Юго-Западный. Было это 3 июля 41 года.

В Красной Армии вступил в партию. «Вся моя сознательная жизнь прошла в армии, — говорит Радецкий. — Больше всего я люблю разведку... Первое мое боевое крещение — Бобруйск. В боях под Бобруйском особенно отличились артиллеристы, в одном только бою два наших противотанковых орудия подбили 11 немецких танков, мы ими прямо восхищались, они здорово нам помогали. Основное у меня — это разведка.

Первая наша разведка шла по тылам. Идем небольшой группой, тьма полная, узнаем друг друга по звуку, своих по паролю, звук от своего и вражеского танка разный. Проедешь немного, остановишься и слушаешь. Встретил немецкую разведку. Их было два броневика, шесть танков и два мотоциклиста-связиста — гораздо больше нас. Но все же я решил принять бой. Первый удачно проведенный фланговый удар вывел из строя головную немецкую машину, танки пошли с флангов в обход, чтобы ударить немцу в борта, — это лучший ход танка, так как борта наиболее уязвимы, в лоб не пробьешь — труднее. Сразу у них произошло замешательство, танки их стали сворачивать; пользуясь этим, мы сбили еще две машины. Я вел разведку на протяжении четырех месяцев. Разведка наблюдением — это редко сейчас в этой войне, чаще разведка боем.

О воспитании бойца. Для того чтобы воспитать бойца, надо прежде всего, чтобы он полюбил меня — это основное. К каждому бойцу в отдельности подход нужен. Характер не у всех одинаковый. Как основной метод — индивидуальная работа».

Здесь мы сделали остановку, так как пришло время им спать, а мне — ехать домой.

В этот же день я познакомилась со старшим политруком, представителем ПУРа, который обещал подвезти меня в другую часть, где мне покажут стрельбу и манипуляции с танками и покажут Героя Советского Союза — танкиста. Фамилия этого политрука Губайдулин.

Интересные выводы этого дня: наши новые резервы, вступающие в бой летом 42 года, обучаются командирами и бойцами (и комплектуются), вынесшими наше летнее отступление 41 года. Поэтому они обучаются уже опытом летних боев, и настроение у них оптимистичное, потому что и в отступлении было много побед... Обучающиеся, как правило, получили в этих боях ранения, были в госпиталях по 2—3 месяца, а потом в учебных частях. Сейчас — летом 42 года — в госпиталях лежат уже раненные в зимнюю кампанию, имеющие зимний опыт, и они будут обучать те части, которым придется вступать в бой зимою, если к зиме война еще не кончится. А у немцев наобо-

рот. У них резервы обучаются на летнем опыте наступавших — опыте, по существу, безопытном, так как основан он на внезапности нападения, то есть на факторе, которого сейчас нет. А результат этого сорвавшегося наступления для немцев оказался плачевный, и поэтому новые солдаты от своих учителей вряд ли получают хорошую зарядку.

31/V—2/VI.

Пять дней дома больна... 3 дня была очень высокая температура. За эти дни, что я лежала (был Смуглый, говорил о «Красной звезде», о том, чтоб писала «Танкистов»), читала летопись Нестора, «Севастопольские рассказы» Толстого, 2 тома записок Восточного отдела Эрмитажа.

4—7/VI.

Поехала работать в Шарташ, но там ничего не сделала, кусали комары и вообще плохо — мигрень, глаза болят, раскисла. Лето уральское переносится очень плохо, несравненно хуже, чем зима. Сегодня вернулась домой. Работа не делается, я в отчаянии.

8—10/VI.

Продолжаются тщетные попытки наладить работу. Пока — ничего... Лина 9-го свезла на Уралмаш моих «Двух мастеров». С большой любовью читала книжечку Профиздата и радуюсь — такая хорошая, нужная получилась серия «Бойцы трудового фронта» и в ней все хорошо.

Сегодня в ОДКА¹⁹ — на докладе Волгина²⁰ об истории Отечественной войны на Урале. Невероятно сумбурно, сами не знают, чего хотят и во что это выльется...

В общем, у меня было от сегодняшнего заседания чувство большой потери времени и неудовлетворения. Сама я говорила о том, что нельзя дублировать работу в такое время, когда каждая минута дорога; надо начать с учета, с опроса всех организаций, где, что делается, что можно было бы использовать как материал для истории Отечественной войны на Урале, сослалась на большую работу Профиздата и его серии «Бойцы трудового фронта» — о промышленности — и «Слава русского оружия» — о военных частях. Потом посоветовала договориться с обкомом, чтоб он снабжал всеми получаемыми с периферии газетами «Уральского рабочего» и чтоб там по заранее составленным в комиссии разделам классифицировали весь материал. Потом сказала, что надо не только собирать, но и делать работу обобщения в самом процессе собирания, тогда эта работа будет иметь значение и для сегодняшнего дня. И предложила два основных принципа, по которым надо строить работу: 1) что Урал дает обороне; 2) что война дает Уралу (рост населения, активизация производительности труда, множество новых рационализаторских открытий в промышленности, поднятие таких вопросов, например об энергетике, о транспорте, которые в мирное время Уралу не так легко и скоро удалось бы поставить, и т. д.). В общем, по этим двум руслам и потек бы в комиссию материал, уже содержащий в себе наметки для обобщения.

Вечером — тщетные усилия работать. Читаю Тянь-Шанского об Урале...

11—13/VI.

Три дня тщетных попыток писать танкистов. Сперва написала повесть — вышло плохо. Были Богораз и Стеркин из «Красного бой-

¹⁹ Окружной Дом Красной Армии.

²⁰ Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — советский историк, академик.

ца», потом был комиссар штаба бригады Бармин (уралец), дала им прочесть все, что написала,— раскритиковали. Вижу, что задача не по моим силам. Я и не знаю, что мне делать с танкистами! Страшно, что ничего не выходит.

14/VI.

Сегодня утром за мной заехали на мотоцикле из моей бригады. В мотоциклетке ехать — привычка нужна. Очень большая скорость, сердце захватывает, потом чувство близости к земле и невероятные толчки, растрясло основательно.

16/VI.

Сегодня весь день ушел на хлопоты по получению пропуска в Челябинск для Ивана Матвеевича Дагилиса. Когда все бумаги были уже готовы, выяснилось, что легковая машина нашей части испортилась и стоит на ремонте. Пришлось поздно вечером созваниваться с «Красным бойцом» и просить у них машину. Машину завтра утром дадут, но не пустую, а с сотрудником газеты, бывшим правдистом Богоразом. Это нам перепутало все наши планы — сперва должны были ехать 3 человека от танковой бригады, потом осталось 2, а сейчас уже и второй отпал — только один Дагилис.

17/VI.

Рано утром мы начали собираться, но, как всегда бывает, тронулись только в половине 10-го. С нами ехал шофер Мансуров от «Красного бойца». Поездка началась в чудесный, редчайший день (первый за все это время на Урале): чистое, без облачка, небо, свежо и нежарко, без ветра, в тихом воздухе множество запахов — липы, земли, сосен, как после грозы.

По выезде из Свердловска слева — большой пруд и Нижне-Исетский завод на красивом холме. Дальше, в 16 километрах от города, — удивительной красоты местность и вдоль дороги выходы кварцитов. Станция Арамиль. Забавная картинка: дворник подметает метлой шоссе. Каланчи (характерны для всего Урала), пожарные башни, каменные и деревянные, наверху флаг и сторожевая площадка. Сысерть — леса, степь, лес. Множество комаров и мошек, входить в лес просто опасно — они кидаются и сосут человека. Хлеб не всюду хорош, есть поля — как сухие трещины, из которых на расстоянии 25 сантиметров друг от друга — реденькие колоски. Много прекрасных, но загрязненных, запущенных озер. На озеро Щелкун обратил наше внимание Бажов еще до поездки: оно гибнет. К 6 часам вечера приехали в Челябинск, миновав много татарских деревень (Тюбук и т. д.). Свердловская и Челябинская области резко различаются по пейзажу: Свердловская — сосновые леса, кое-где на горизонте холмистые горные линии (невысокие); Челябинская — лиственные леса и равнины, больше влаги, тепла, мягче воздух. Появляется в дыму заводов Челябинск, но еще до него слева — светлая узкая лента красивой речки Миасс. В силуэте города самое яркое виденье — черного многотрубного Чергэса, слева, не доезжая до города, — большая мельница со своим городком и сосновым парком, справа — цинковый завод. Челябинск резко делится на старую и новую части. Старая — провинциальные крепкие деревянные домики с садами, новая — огромные постройки... Масса зелени, улицы широки, асфальтированы, таких улиц в Свердловске нет. По въезде в город сейчас же поехали в танковый полк, познакомились с комиссаром Кравченко, от него — в гостиницу, где получили два номера... Помылись, потом в военной столовке поужинали и — на ночное учение. Когда мы, как условились, подъехали к части, нас уже поджидали двое мотоциклистов, которые поехали вперед, указывая нам дорогу. Вечер был, но еще светло, на горизонте туман от городских испарений и клубы дыма

из заводских труб. Мы выехали за город, стало быстро темнеть. Земля под нами вся вспахана крепкими бороздами от танков. Сыро и холодно было стоять и ждать. В темноте мы ждали наши танки, но их не было. Вокруг стояли, укрытые брезентами, огромные машины. Вдруг из клубов дыма и облаков показались очертания наступающих гигантов-машин, они шли с ревом. Они вынырнули на горизонте совершенно так, как описывают учебники первое появление танков: в предрассветное утро из тумана в исторической битве при Камбре 20 ноября 1917 года, где англичане смяли немецкий 12-километровый фронт, захватили 100 орудий и 8 тысяч пленных, или под Амьеном, где участвовало 580 танков, уничтоживших 22 тысячи немцев и взявших 400 орудий. (Битва под Амьеном 8 августа 1918 года названа немцами черным днем германской армии.) Машины возникали одна за другой, огромные, страшные, и, как скрежещущие привидения, проплывали мимо нас. Это были машины не нашего учебного батальона... Впечатление от них незабываемо. Хотя ночью трудно разглядеть, в их «лицах» — выпуклостях на башнях, из которых торчат дула пушек, — есть что-то ехидно-насмешливое. Таково было последнее впечатление дня.

18/VI, Челябинск. Тракторный завод.

Созвонились — оказывается, Хандрос, как обещал, уже позвонил второму секретарю завода Ивану Степановичу Савельеву. Когда мы пришли в партком, он нас усадил и принялся рассказывать (худенький, среднего роста, круглолицый):

«Завод наш огромный, состоит из трех коллективов. Во-первых, старый местный ЧТЗ, Челябинский тракторный; во-вторых, Ленинградский завод имени Кирова; в-третьих, Харьковский моторный завод. Полностью вывезли оборудование, командный состав завода. Стали набирать кадры. Основные — это из окончивших десятилетки, фабзавучников, домашних хозяек. Мы их прикрепили к лучшим стахановцам. Учатся от двух недель до двух месяцев, а там выходят на разряд. Раньше они дольше учились. Бронетанковое училище помогло. Мы шефствуем над Челябинским бронетанковым училищем и держим с ним хорошую связь. Училище выделило группу воентехников — 75 человек, и эти грамотные люди были брошены на самое узкое место. И помогли. Работа у нас шла не гладко. По танкам выполняли график. По моторам дело было плохо.

Двадцать третьего числа стали входить в график и перевыполнять, работали по-фронтному, дней 5—10 люди буквально не выходили из цеха, но задание было выполнено. Соревнуемся с заводом в Нижнем Тагиле. Если требуется, помогаем друг другу заготовками, материалами. Когда было очень трудно на [этом] заводе, то мы туда посылали Зальцмана²¹ вытянуть это производство, а у нас за это время обязанности директора выполнял главный инженер Махонин».

...Прежде чем идти на завод, мы отправились побеседовать с товарищем Махониным. Это крупный, смуглый, круглолицый, простой человек (плотный), вообще впечатление округлости от него, страшно молчаливый. Но со мной он помаленьку разговорился, верней, разгорелся — на вопросах техники.

Он подвел нас к окну и показал на большие новые корпуса: «Там в прошлом году, шесть месяцев назад, трава была». Приехал он на завод 9 июля 41 года. С тех пор построены заново танковый завод и еще часть моторного. «Главная беда — людей мало. В прошлом году было очень тяжело. Сейчас лучше, выправились. Кормим 180 тысяч человек рабочих с семьями. В апреле и мае организовали свою охот-

²¹ Зальцман Исаак Моисеевич — директор Челябинского (Кировского) танкового завода, Герой Социалистического Труда.

ничью бригаду, имеем 4 своих озера, 6 неводов, подсобное хозяйство в 6 тысяч га, но этого мало, хотя оно и замечательное. Правительство выделило нам еще 8 тысяч га, только облизполком не желает давать... Челябинская область очень богатая. До войны она давала 10 процентов урожая всего Союза (эта цифра на совести Махонина, конечно, она невероятна!), здесь всего много. Мы сейчас делаем у себя в цехе лопаты, грабли, замки, горшки, зажигалки — 70 наименований, на 60 тысяч рублей по твердым ценам на сегодня. В начале апреля засели за это, а сейчас разворачиваем договора с районами в обмен на картошку. Освоили мы кокильное литье... затраты по труду уменьшаются раз в 15—20, производственная площадь уменьшается раз в 10. Качество [улучшается] раза в три.

А вот еще одно мероприятие, сэкономившее нам 100 тысяч рублей до конца года. Взгляните на эту деталь. — Он показал нам кольцо, плоское, с отверстиями в нем. — Эту деталь надо делать сперва на 1) токарном станке, потом на 2) сверлильном, 3) автомате для шрифта, 4) шлифовальном. А вот посмотрите на другую деталь. — Он показал кольцо с выпуклыми бугорками, с той стороны вогнутыми. — Она совершенно заменяет первую. А для нее никаких станков не нужно. Все в ней делает один штамповальный пресс».

Махонин повел нас в [цех] ширпотреба, где мы видели (правда, грубые, непрочные и дешевые — липовый товар!) огородные лопатки, гребенки, чашки, горшки огнеупорные, чайник белой жести, грабли, ведра, весы, таган, умывальник, стамески, отвертки, шило, молотки и т. д. и т. д. Познакомили нас с главным конструктором КБ — [Ж. Я.] Котинным.

Только теперь мы смогли двинуться по заводу, в котором предстояло увидеть очень многое за очень короткое время.

Цех 200 — мелкие стальные детали, здесь мастер Гаркавенко. Идем мимо, останавливаемся возле людей, смотрим «пейзаж» — хорошие светлые корпуса, работа чистая, машинная. Титова, челябинская девушка, дает 200 процентов. Она из инструментального цеха, где работала на техническом контроле, сама пошла к станку. Работает второй день, нравится. Ямова — обучается на шлифовальном станке, около нее контролер. На токарном станке работает Желтоновский из ремесленного училища, сам — Орловской области... Токарь III разряда Сафронов Андрей, Смоленской области, Шумятинского района, из ремесленного училища.

Цех 150. Обработка коленчатого вала, шатуна, распределительного вала и гильзы, т. е. основных крупнейших деталей мотора. Здесь со мною много говорил заместитель начальника цеха Лев Аронович Маргулис, картавит, нервный, подергивается, очень хорошо говорил, умный:

«Не все текло гладко, у нас были срывы, был брак. Народ работал дружно. В момент нашего прорыва не оказалось достаточно рабочих. Нам перебросили 70 женщин из торговых организаций, и все работы делались при их участии. Они уже остались у нас, и мы их через 10 дней не отличали от кадровиков. На третий день они работали самостоятельно, притом на таких работах, на которых были лишь мужчины, — фрезеровка по тавру, шлифовка отверстия в шатуне на станке Браянд и т. д.».

Проходя по цеху, я кое с кем из них познакомилась. Из заводской столовой Зинаида Дмитриевна Мясникова, работает второй месяц; из Трактороторга — продавец Щербинина, 15 мая начала работать и в мае уже шлифовала; учительница из школы № 26 цинкового завода Мещерина, с 19 мая работает самостоятельно, по наряду, сдельно...

Маргулис еще сказал: «Домашние хозяйки особенно хорошо работают, они внесли даже новое. По-домашнему ходят за станком, наиболее дисциплинированы, любят все делать экономно, аккуратно».

У них наибольшее чувство бережливости. И не уйдут из цеха, пока им не скажешь, пока не кончат задания».

Цех 1000. Цветное литье. Грязный, узкий, невыносимо заставленный цех, где невозможно работать и нечем дышать (плохая вентиляция). Бледный, невеселый народ. Бригадир мастер Александра Андреевна Ефимова подходит к нам и начинает показывать свой цех. Она сама челябинская. Подводит нас к «молнии», где говорится о ее бригаде: «Тов. стерженщики! Следуйте примеру женской фронтовой бригады — Пунтиковой, Захаровой, Экстромских, Шляховой. Они заформовали в ночной смене 102 ленты, выполнив задание на 300 процентов».

Цех боеприпасов. Это в том же отделении. Делают стержни для мин. Люльки конвейера носят горячие снаряды. Здесь стоит очень молодая, молчаливая, с сосредоточенным лицом блондинка, исполненная необыкновенной грации. Пана Карпова. Она точными, изящными движениями делает стержни для мин и ставит их на скользящий мимо конвейер. Все делается быстро. На работу ее я загляделась. Начальник цеха повел меня дальше и показал на девушку, которая берет с подставки, находящейся за ее спиной, заготовку и переносит к себе на станок. В день она делает этот оборот 5 тысяч раз и за смену, стоя на одном месте, проходит 20—30 километров. Здешние люди — кировцы, ленинградцы. В работу они вкладывают душу. Глядела я на них и почувствовала, как стиснуло сердце и потекли слезы — от такой жертвенной, прекрасной, чистой работы, от такого сжиганья своих молодых жизней.

Прошли сборные цехи, где увидели уралмашские каркасы уже заполняемыми. Тут стояли в ряд наши «КВ-1С» и на них по 5 человек будущего экипажа. Танкисты так и обживают их в цехе, выводят, проверяют, тут же дают знать о неполадках, основная трудность — освоить мотор. Машины стоят нумерованные и мелом — фамилии командиров. Я пошла к Махонину и серьезно поговорила с ним насчет вентиляции в цехе цветного литья. Цех этот сейчас задерживает весь завод, он его слабое место, и в нем главная трудность. Но трудность эта — отсутствие людей квалифицированных — объясняется, мне кажется, тем, что условия труда в этом цехе невыносимы... Поэтому я ему сказала, что если он там не наладит вентиляцию, то я как-нибудь доведу этот вопрос до центра. Он — большой, мохнатый, круглый и приятный человек — призадумался и ответил: «Я скорее переведу все операции на кокиль, вот это да, вот это будет выход». И мне ответ его очень понравился, хотя я и сказала ему: «А до этого сколько людей покалечите и программ недовыполните?»

19/VI, Челябинск.

Утром я зашла в книжный магазин, и мне там обещали книгу «Ильменский заповедник». Позавтракали в полковой столовой, потом, с мотоциклеткой впереди нас, поехали на поле, но уже не на позавчерашнее место. «КВ-1С» вблизи. Наш комиссар Иван Матвеевич подбежал к маленькой машине (она больше не производится — «Б17», быстроходная!). Это легкий танк в 13 тонн, он проходит до 120 километров в час на колесах, до 70 километров в час на гусеницах... В нем четыре больших колеса. Комиссар назвал его «маленькая Бетти».

20/VI, Челябинск — Свердловск.

Утром выехали. Дорога — лес, шиповник, ковыль. Хорошо было.

21/VI—8/VII.

За это время — тщетные попытки работать, написала 2 статьи. Перевод из кандидатов в члены партии (на бюро — 15 июля, а низовое общее собрание — в июне). 8 июля — 25 лет нашему браку с

Джимом. За эти дни — «Урал готовит резервы» 4 статьи и о Челябинске — «Новое техническое сознание». В «Труд» — «Проклятие Гёте». Все нехорошо, но довольна.

9—11/VII, Свердловск — Ревда.

Подготовка к выступлению. Забыла записать, что мы с Пермьком выступали в воскресенье, кажется, в парке культуры и отдыха — неважно, шел дождь. Сам парк очень приятен, лес, много воды. 11-го мы выехали выступить в Ревду автобусом — Гладков, Бажов, Ромашов, Садофьев, Гудзий, жены Гудзия, Ромашова и Гладкова. Германов — устроитель. Что касается меня, я решила не только выступить, но и остаться дня на 3 в Ревде.

Поездка в Ревду.

Шоссе на Ревду — та самая Владимирка, дорога на Москву и Владимир, по которой, звеня кандалами, шли наши каторжники в царское времена, шел Достоевский. Справа от шоссе памятью об этом прошлом — небольшие горы, Варначьи, сюда бежали каторжники. По шоссе до деревни Ростать мы ехали в автобусе. Не доезжая, справа большой мраморный обелиск: с одной стороны (свердловской) — надпись «Азия», с другой, ревдинской, — ...«Европа». От деревни мы покидаем тракт (он идет на Первоуральск) и заворачиваем налево, переезжаем тихую и небольшую здесь Чусовую и по ужасным ухабинам еще километров 12 — в Ревду. Пруд — узкий, но длинный, на 25 километров, для сплава. На горизонте — Волчиха. Мы поздно приехали, к 10 часам, и нас уже ждали, перед клубом вся площадь была переполнена. Встретили — писатель Дмитриев, москвич, секретарь горкома Лукич — высокий, с орденом, донбассовец, и другие, которых сразу не разобрала. Наше выступление очень удачно было, хотя и затянулось до часу ночи. Сперва говорил профессор Николай Калинин Гудзий — «Война и народ в изображении Толстого». Около часу. Потом я, с полчаса, — «Слово мое будет о вас» и говорила о синтезе уральского мастерства с южным дерзанием, о причинах, решающих победу, о новой технике. Вышло очень хорошо как будто. Потом — антракт, и после антракта Гладков прочел свой рассказ «Опаленная душа», Садофьев читал уральские стихи, П. П. Бажов, потом Ромашов прочел целую пьесу. Он очень хорошо читает. Ночью они все поехали обратно, а я осталась, чтобы побывать на заводе. Меня забрал ночью к себе директор завода С. М. Петров — высокий, во френче, очень крепкий и энергичный мужчина; он вызвал свою жену, которая и повезла меня к себе. У них я провела потом три ночи и очень с ними подружилась. Уснула крепко в отдельной комнате директорской квартиры, мебелированной по-казенному.

12/VII, воскресенье. Ревда.

Утром Александра Александровна Петрова тихо и вкусно собрала завтрак — огурцы, галушки, хлеб, чай и т. д. К 10 часам вышел директор, Семен Михайлович, — веселый и улыбающийся, чем-то в улыбке похожий на карабахца. За чаем мы с ним успели хорошо поговорить. Записываю его рассказ. Сейчас он директор завода, составившегося главным образом из одной части Кольчугинского. Делают они (протягивают) медные трубки для легких танков и самолетов — от небольших до самых крохотных, капиллярных.

«Я был начальником отдела наркомата (Наркомцветмет). С момента войны все военные дела — на мне. Москвич, родился в Московской области. После окончания вуза работал в авиационной промышленности (Авиахим) 10 лет. На заводе — от помощника мастера до начальника цеха, начальника производства, директором двух заводов и даже полгода — начальником треста. Люблю людей, умею с ними обращаться и работать люблю. Начальником отдела был, когда эвакуировали сюда 800 кольчугинцев. Знаете, что

такое Кольчугинский завод? Находится он в Кольчугине Ивановской области, за городом Александровом. Старинный завод, существует 75 лет. Единственный в СССР по обработке цветных металлов... Размеры его таковы, что секретарь обкома в течение 6 часов обходил только половину завода. Это был университет для техников. Кадры его из поколения в поколение росли, от деда к отцу, сыну, внуку и т. д., замечательные мастера среди них. Выпускал он до 100 разных сплавов, а литье особое у него — целотянутое, завод не отливает, а тянет, вы сами это увидите. Так вот, этот Кольчугинский завод выехал на Урал и поделился на 6 частей, 4 — крупных, наш завод представляет только один его цех, а еще есть в Салде, в Орске и т. д. Я давно его знал. До войны 7 месяцев был на Кольчугинском заводе. Было [решение] об улучшении качества. Завод не справился, стали много браковать, давали от 40 до 50 процентов брака. С этим не могли согласиться. Я был в то время главным инженером главка, и меня послали выправить дело. С задачей мы полностью справились. С первого месяца стали выполнять план и все время его выполняли, получили красное знамя. После этого из Кольчугина я ушел опять на старую работу. Была у меня серьезная операция, швы не заживали, я взял отпуск для лечения, но тут началась война, так и не лечился. А тут как будто и не болел.

Вы у нас на заводе видимого глазом конвейера не найдете. Но тем не менее у нас жесткий конвейер, так называемый принудительный поток. Это означает, что операции так тесно друг с другом связаны, что если одна какая-нибудь наврет, весь завод остановится...

На заводе у нас почасовой учет. Каждый час мы видим, что у нас делается... 15 июня 1942 года завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ну, едем на завод!»

Мы сели в машину, по дороге к нам присоединился главный инженер, и поехали на завод. Ревда мне напомнила армянские нагорья. Очень хорошо — простор, вольный воздух, широчайшее плато, как круглое блюдце вокруг горы с острой вершиной Волчицы, с которой, говорят, в ясный день видны Свердловск и чуть ли не вся Чусовая. Дышать чудесно, воздух горный, разреженный, не душно.

Полина Яковлевна Павлова, начальник цеха № 4, орденоска, награждена медалью «За трудовую доблесть».

«Цех мой несколько месяцев держал в Кольчугине переходящее знамя завода. Я кончила Урало-Казахстанскую академию. Росла сиротой, уроженка Кольчугина. Вышла замуж, рано осталась вдовой, в 27 году вступила в партию и решила, что все мое утешение — быть в партии полезным членом. Двое малолетних детей на руках. Была я работницей Кольчугинского завода. Решила, что надо учиться. Поехала в ЦК партии и добилась — после окончания академии стала мастером в Кольчугине. Я училась еще год без отрыва от производства. Так и выросла до старшего мастера, а потом до начальника цеха».

Я спросила у Павловой, что она думает о Егорове (молодой приятный парень с начесом волос на лоб, с орденом Ленина на груди).

«Егоров потому получил орден, что в труднейших условиях, когда эмульсия замерзала и руки мерзли, организовал людей и стал выдавать продукцию. Он очень умен. Он приходит раньше всех в цех, видит, что не хватает у такого-то мастера заготовки, и заранее достает. В трескучие морозы, когда рабочие идут на обед, он, глядишь, в 20 минут все за них, что нужно, сделает. Остается после работы, сам других учит».

Григорий Михайлович Егоров стал рассказывать:

«Родился в 1911 году в Кольчугинском районе Ивановской области. Из деревенских. Работать пошел с 1929 года. В 1933 году взяли в армию. Кончил Всесоюзную автобронетанковую школу. Имел благодарность и премию. Получил диплом. Когда приехал из армии, по-

ступил в трубочный цех в Кольчугино в 35 году подносчиком — таскал груз. Полюбил это производство, пошел в цеховой комитет просить, чтобы направили на трубоволоочильное производство. Проработал 6 месяцев подносчиком, поставили меня на волоочильный станок. Проработал я всего месяца два. Открылись курсы... В первый набор попросился, чтоб меня послали туда. В 1938 году окончил эти курсы, диплом защитил прилично. Сразу мастером смены сделали. Очень часто моя смена как одна из лучших была в печати. В 39 году меня приняли в партию. А в день выборов в местные Советы депутатов трудящихся был избран в депутаты Кольчугинского районного Совета. В 1941 году наш завод стал эвакуироваться. Как только сюда приехали, нас разгрузили в клуб, и вот переночевали мы там ночь, не успели еще расселиться по квартирам, поехали мы сюда двое — Ефимов, старший мастер, и я — просто посмотреть, где завод. Когда мы приехали, тут ничего не было, только несколько станков в одном цеху, и шло строительство большого здания III цеха, ни крыши еще не было, а месяц ноябрь, снег. Когда мы пришли сюда, попали [на глаза] директору завода Миленчуку (он и сейчас в заводууправлении). Он нас увидел, не дал съездить назад в клуб и тут же командировал в Салду, чтоб показать им, как работать на прессе: у них был установлен пресс, а работать они не умели. Они работали на другом сплаве, а мы должны были показать, как нужно прессовать медь...

Когда мы приехали, несколько станков уже начали работать. Стали укомплектовывать смены. Ну, известно, каждый мастер старался забрать к себе кадры, мне никого не осталось. Пришлось иметь дело с новыми кадрами. И вот первое время моя смена шла отстающей. Зная меня, Ломако шибко упрекал: «Как тебе не стыдно, ты в Кольчугине хорошо работал, а здесь ты отстающий». Я ему: «Обожди». А он: «Фронт не ждет». В это время назначили мой отчет на бюро. Я объяснил бюро, но все же заверил, что в ближайшие десять ден моя смена [план] будет перевыполнять. Я решил не выходить из цеха. Начал серьезно обучать смену. 12 часов мастером работаю, а часов 8 на станках — руки [новичка] берешь и с ним вместе работаешь. — Егоров нервными руками взял мою руку и показал, как он показывает руками, работает вместе с новичком. — Кто лучше работать начал, ему даешь три человека, себе берешь пять. Новые рабочие состояли из ревдинской молодежи лет 16—17. Первое-то время не смотрели на то, что он малолеток, работал тоже 12 часов. Но работали мы в таких условиях: на тебе все гремит. Варезка — она гремела, эмульсия замерзала, вода замерзала, цеха стояли неотопленные. В фуфайках нельзя было работать. Все выдержали. Моя квартира в десяти минутах ходьбы, а восемь ден не был дома ни одной минуты. Семья у меня: жена и четверо детей. Она у меня домохозяйка, из семьи крестьянина, Анна Федоровна, детишки от семи лет и до года, три сына и одна дочь... Все мои, все хорошие, но маленький всех забавней, Анатолий. Другие — Валентин и Виктор. А дочь живет в деревне в Кольчугине у бабушки. Была очень нужна наша продукция фронту. Телефон Сталина: во что бы то ни стало энное количество дать. Все явились — и секретарь обкома, и ряд работников... И вот очень скоро моя смена завоевала знамя. В моей смене 4-х человек наградили, а я Ленина получил. Вот как оценили мою работу. Мы Петрова давно знали — он, главное, исключительно чуток ко всем запросам. К нему когда хочешь иди. Он очень чуткий и веселый. Вообще он любит людей. Каждому объяснит, как сделать и что сделать. Рабочие любят директора. Чем я беру? Когда человеку внушишь, куда эта трубка, да спросишь, кто у тебя на фронте, в какой обстановке сейчас находишься, у него и поход другой. А кричать: «Давай, сукин сын!» — этим не возьмешь. У меня зарботки хорошие, так рабочие сами ко мне просятя. Наше дело как будто про-

стое, а попробуйте без учебы, без практики — ни одной трубки не протянете, оборвется. Буслаева — моя ученица, стахановка. Сейчас я старшим диспетчером. Мой цех № 2 — главная основа, мы прессуем. Какая смена отстает, там начальник цеха приставляет меня: «Егоров, отвечаешь за такой-то участок, чтоб его выправить». И выправляем. Я обожаю производство... И сейчас я работаю с 9 утра и до 12 часов ночи...»

После него подошла милая уральская девушка с толковым, острым (верней, тонким) лицом, Анна Григорьевна Буслаева, из Нижних Серег, 1916 года рождения. Отец ее был плотником, в германскую войну ранен. Любит Урал. Сюда приехала, устроилась на Первоуральском новотрубном. «Там трубы тяжелые. Оттуда лучших рабочих откомандировали сюда — обучить работе. 19 декабря приехали сюда. До сего времени и работают здесь. Когда приехали — инструменту мало, заготовки мало. Егоров хорошо помогал, таких больше мастеров не знаю, когда он уходил в диспетчеры, я даже плакала. Дело сразу усвоила. Обучала Булатову, волочильщицу, на поселке живет. Кроме того что сама работаю, еще обучаю. Одна дочь у меня, 5 лет. Отец на фронте, уже три месяца не получала писем. Он сам ленинградский, когда я жила в Первоуральске, мы и познакомились и поженились. Он Карпов, я Буслаева. Сейчас очень большие нормы. Тут хорошо, квартира хорошая, я награждена значком наркомата. Петь люблю, пою от скуки по мужу. Пою современные песенки».

13/VII.

День пасмурный. Утром получила от С. М. Петрова замечательный документ на память — «Экспромт вслух», о философии директора завода. Я его целиком вставляю в книгу.

«Ревда. Июль 1942 года.

М. С. Шагинян — только лично.

1. Инженер-производственник —
тоже поэт,
музыкант —
он тоже имеет душу.
2. Производство — оркестр;
инструменты — станки,
оркестранты — рабочие,
есть и солисты.
3. Симфония — использование мощностей, выполнение задания.
4. Лучший оркестр — Персимфанс
(могущий играть без дирижера);
можно и должно создать таким и завод, не
уходя от него, но давая ему заданный ритм.
5. Контакт — между оркестрантами и дирижером —
залог гармонии, а он (оркестр) меньше коллектива
(тысячного и многотысячного) предприятия, как же не быть
этому на заводе.
6. Пробудить душу, контакт создать, вызвать стремление к гармонии — к ритму производства.
7. Директор — дирижер,
исполнители должны чувствовать душу, ритм, команду его от
движения руки.
- 7а. Секрет:
а) вера в людей,
любовь к ним,
любовь к делу,
вера в успех, в дело,
в его значимость и победу;

- б) каждый человек на что-нибудь да способен (об этом хорошо у Горького);
- в) каждому свой инструмент и свое место;
- г) требовательность жесткая — забота чуткая, отношение строгое и справедливое.

8. Нужны:

знания;
 мужество;
 ориентировка;
 способность —

заставить,
 повести за собой хоть в пропасть,
 тем более на победу, героизм.

9. Не забывать:

совет с людьми;
 о душе каждого;
 о необходимости общей идеи у исполнителей...

10. Прямая, смелая, правдивая, активная, оптимистическая (без прикрас) линия — мужественная встреча с трудностями, недостатками, трезвое, активное и ироническое отношение к любой опасности.

11. Держать всегда в напряжении; ставить все новые и новые рубежи, давая иногда ощущения, чаще удовлетворение от реальных результатов (не допускать провалов).

12. Вот это все, что составляет философию директора как всякого руководителя — инженера с душой творца, энтузиаста, любящего свое дело и своих творцов-помощников.

П о б е д и л — помни об исполнителях;

п р о в а л и л с я — посмотри на себя.

С искренним приветом С. Петров».

15—26/VII, воскресенье, Шарташ.

За эти дни конспектировала ревдинскую поездку и остаток Челябинска, 15-го принята на бюро в партию. У нас полное безденежье, а главное — кроме дневника, я ничего не успеваю писать.

Сводки тяжелые, немцы под Ростовом! Они нас перехитрили под Воронежем и на Южном фронте, идут на Сталинград, рвутся к Волге. Только сейчас остро начинаем чувствовать, какая тяжкая лапа войны, как много потеряли мы в этой войне ценностей — земли, людей. И если еще потерять — это страшно. Но тем страстнее надо нам, уральцам, работать, готовить и давать обороне все, что можно отсюда готовить и давать. Мы на юге очень много потеряли железнодорожного парка, ужасно, если им удастся перерезать Волгу и лишить нас нефти.

27/VII.

Нынче неожиданно пришла телеграмма от Омельченко: «Благодарю Шагинян прекрасные статьи желаю творческих успехов». Бородин сияет (обе статьи напечатаны) и обещал завтра выдать деньги. Получила сегодня замечательное письмо от ленинградского предзавкома завода Киселева-Гусева — огромный материал об организации движения тысячников и обмена опытом на одном из ленинградских заводов. Вечером поехали втроем — Караваева, Иваненко и я — на завод и там выступили... Я в основном придерживалась ревдинского выступления, но дала кое-что новое. Хочу развить это выступление в большую, полуторачасовую лекцию, проверив ее у специалистов, и с нею выступать. Потом сделаю еще лекцию «Что такое фашистский «новый порядок» в Европе»... Потом до двух с половиной часов ночи ждали автобус, страшно устали. Дома нет свету, нет печки...

29—31/VII.

За эти три дня — мотание взад и вперед, тяжелое настроение: Ростов сдали, немцы под Батайском. Страшно тяжело, еще особенно тяжело, что войну в наших местах никто не воспринимает, все размагничены, а это тяжело, хуже равнодушия нет ничего...

1—3/VIII.

В воскресенье приехала Линуша, больная. У меня тоже боли и температура. Написала плохой рассказ «Храбрость». Чувствую, что погибаю как писатель, делаю омерзительную муру, не хочу больше, тошно! Была на [фильме] «Ленинград в борьбе» — это очень хорошо, страшно, переживаешь, как свою жизнь, огромное уважение к городу и к людям его. В «Красном бойце» печатаются мои «Танкисты Урала». Получила задание от «Труда» написать статью «Командиры и организаторы производства». От Ваганова — из какой-то дивизии (адрес 866 полевая почта, редакция газеты «В атаку») просьба дать им статью, что я непременно сделаю. Устаю, больна, продуцирование впусую без отдыха, мотание взад и вперед....

5—7/VIII.

Тяжелые дни заболевания девочки и Лины. Невозможность работать. Телеграмма Форш. Ближайшие задачи: статья для «Правды» о Челябинском имени Кирова, статья для Ваганова в дивизионную газету, статья для «Труда» «Командиры производства», статья для «Красной звезды». Это все перед Алтаем. Возможно, придется отложить Алтай, так как времени на все не хватит. Убита, убита — утерей лета, бестворчественностью, слабостью сил и тем, что, ничего не сделав, не отдохнула и никто из семьи не отдохнул и не набрался сил на зиму. Страшная предстоит зима.

8/VIII.

Написала для Ваганова «Тыл с тобой, фронтовик» и уже отправила, вьшло как будто хорошо. Начинаю читать по Челябинску и по технике для выступления. Буду сейчас готовить это выступление. В 7 часов вечера партсобрание, посвященное «бытовым вопросам».

(Окончание следует)



УИЛЬЯМ СТАЙРОН

★

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ*

Роман

Часть вторая

Страх душу утвердит. Понять бы
мне —
Ушедшее ушло, но близко так...
Проснулся я и думал в тишине.
Учусь в пути, и цель понятна мне.

Теодор Ретке (перевод Р. Сефа).

v

На берегу реки в Южной Каролине Касс однажды сказал мне:
— Вы знали, что я убил его, — я это тогда еще понял. Но почему-то меня это не очень беспокоило. Я помню, что распустил язык в ту ночь и наболтал лишнего, а много ли наболтал — так и не мог вспомнить. Но все-таки думал, что выдал себя. Странно, меня это, в общем, не тревожило. Может быть, потому, что итальянцы закрыли дело: самоубийство, и все. Трудно их упрекать. Двоих нашли мертвыми... понимаете, почти одновременно, — какой же смысл искать виновника, тем более вешать это на отца Кинсолвинга, который был сама нравственность. — Он помолчал. — В общем, я совсем не опасался, что вы меня выдадите. Точно вам говорю. Попросту суть, наверное, в том, что все было кончено и ничто уже не имело значения. Я ступил за черту — какая разница, кто что сделает или скажет. Видите седую голову? — Он провел рукой по виску, и в этом жесте не было ни гордости, ни жалости к себе. — С моей стороны не очень красиво, что я тут так долго ломал перед вами комедию. Я почему-то знал, что вы знаете. Но самому сказать — тяжелое дело. Сознаться. Тогда ты должен объяснять всю эту несчастную историю, а объяснять больно. Понимаете?

— Конечно, понимаю, — сказал я. — Только одно уточнение. Не знал я. Подозревал — да. Кое-что в ваших словах показалось мне странным. У меня возникли подозрения. И в те несколько дней, когда вы не возвращались, а я оставался там... ну, помогал Поппи с ребятами, — я не мог отделаться от тяжелых мыслей. Вы страдали, и... об этом неловко говорить, но я за вас волновался. Вы со мной что-то сделали, на многое открыли глаза, и мне не хотелось, чтобы вы вот так исчезли с горизонта. И потом, когда я все-таки оставил Поппи и детей и вернулся в Нью-Йорк, так и не увидев вас, так и не узнав, в чем было дело... живы ли вы, не в тюрьме ли... я все равно о вас думал — как у вас там обошлось. И в чем же все-таки было дело. А знаете, странно устроены у человека мозги. Когда я написал вам, когда напросился сюда в гости, я, честно говоря, думал, будто движет мной только патологическое любопытство — в отношении Мейсона, и того, что он натворил, и почему так... безобразно кончил; я рассчитывал узнать это от вас. И говорил себе — все-таки там было само-

убийство. А теперь понимаю: отчасти мной двигало... ну... — Я не решился закончить.

— Подозрение, что я его убил, — угрюмо договорил Касс. — Не смущайтесь, мой друг. Скажите. Мне это труднее сказать, чем вам.

— Да, что вы его убили. Понимаете, — стал объяснять я, — я не собирался разнюхивать. Изображать ищейку. После того, что он сделал, казните вы хоть пятьсот мейсонов, морально я это...

— Ради бога, можете мне этого не говорить. Я и не думал, что вы сгляда-тай. — Он помолчал. — С другой стороны, вы, может быть, поймете, почему я не ответил на ваше второе письмо. Есть вещи, о которых хочется забыть.

— Не надо мне было совать мой длинный...

— Да не грызите вы себя, — перебил он. — Зря я об этом заговорил. Но вы мне кое-что рассказали. И я очень рад, что мы все-таки объяснились. Вы пролили свет на некоторые темные места.

— Например?

— Ну хотя бы насчет Мейсона — какой это был человек и так далее. То есть до Самбуко. Ну и — я уже вам говорил — насчет той ночи. Что происходило в этой моей черной, глухой, душной темноте. Вы заставили меня увидеть то, чего я не знал. Дикие вещи. — Он замолчал на секунду. — Ужасные, в сущности, вещи, — добавил он угрюмо. — И они, знаете, как-то сдвинули все. Я о них догадывался, подозревал, но по-настоящему не знал... из-за вышеупомянутой темноты. Ух! — Он поежился и протер глаза. — Ничего это, понятно, не меняет, — продолжал он, — поскольку все давно кончено. Но, я бы сказал, известия увлекательные.

— Какие, например?

— Ну, скажем, как я упал на рояль, а вы с Крипсом меня поднимали. Теперь-то я это вижу. Вижу, когда вы рассказали. Помните, лекарство, это новое волшебное лекарство, черт бы его взял? Ведь я за ним тогда пришел; не затем же, чтобы почитать вам Софокла. Я о нем думал.

— И что же?

— А то, что если бы я спер его тогда же, весь сумасшедший вечер сложился бы по-другому. Я сходил бы в долину, вернулся бы... — Он оборвал фразу и махнул рукой. — Ну его к бесу, судьбой не повертишь.

— Господи, если бы я знал...

— Бросьте. Откуда вам было знать? — Он посмотрел на меня с грустной снисходительностью. — Можно подумать, вы имели к этому какое-то отношение. Знаете, моей вины хватит на целый полк грешников, а вы еще суетесь со своей. Да что это вы, в самом деле?

— Ничего, — ответил я. — Ничего особенного. Какие-то мелочи, догадки. Я видел, например, что между вами и Мейсоном происходит что-то скверное и безобразное. Взять хотя бы вашу записку. Это тоже сверлило мне мозги не один месяц. Ну и... не знаю... некоторые ваши высказывания. Мне надо было вместе с Крипсом или еще с кем-нибудь... Словом, надо было мне все-таки проснуться, взять себя в руки и пристроить вас где-то таким образом, чтобы вы никому не могли причинить вреда. — Я запнулся. — Исходя, конечно, из того, что вы сами жалеете о случившемся, несмотря на вину Мейсона. Правильно?

— Вы правы, — сказал он, и лицо его выражало такую безысходную печаль, что я отвел глаза. — И как правы.

После долгого молчания я спросил его:

— Скажите мне, Касс. Что было между вами и Мейсоном? — Я помялся. — Понимаю, это звучит глупо. Ну ладно, была девушка, Франческа, и... вы... ну, вы меня понимаете. Он изнасиловал ее, убил ее. И за это вы с ним расправились. Все это ясно и понятно. Но прочие дела откуда? Почему он заставил вас дать это гнусное представление, и...

Касс вздохнул.

— Как это узнаешь? Как разберешься? Как узнаешь, на ком вина? Сколько тут было от Мейсона, и сколько от меня, и сколько от бога. У меня бывают кошмары — то есть бывали, пока я не взял себя в руки, — и в этих кошмарах кто-то или что-то говорило мне, что не Мейсон был виновником... не Мейсон был злодеем... а ваш покорнейший, вот этот вот проповедник — и худшего злодея

свет не выдывал. Как-нибудь я вам дам мой дневник, дам прочесть эту историю, как она была записана. А началась она, если хотите знать правду, не в Самбуко. Началась она... по крайней мере многое из нее... — во мне, в день, когда я родился. Началась... — Он замолчал, потом приподнялся на локте и посмотрел мне в глаза. — Я задам вам страшный вопрос. Верите вы... ну, в то, что называют сверхъестественным? Я знаю, это чудное слово.

— Вы шутите?

— Отнюдь,— ответил он,— и не думал даже. Сказать вам одну вещь? Когда я оглядываюсь на все это, прослеживаю ну хотя бы от Парижа — вы ведь знаете, мы с Поппи и ребятами приехали в Италию оттуда,— так вот, когда я оглядываюсь и пытаюсь увидеть это в перспективе, я невольно начинаю думать, что меня что-то заставило приехать в Самбуко. Скажем, кошмары. Я их тоже записал в дневнике. Странные. Наполовину от дьявола, наполовину из рая. Они погнали, заманили меня туда... понимаете? Как будто я должен был туда приехать... и то, что там случилось, представьте себе, было логическим результатом, предусмотренным в этих снах. Елки-палки! Тут непросто разобраться. Но вы улавливаете?

— Не знаю, улавливаю или нет,— ответил я.— От разговоров о потустороннем у меня мороз по коже. Скажите мне вот что. Мейсон вам понравился сначала? Когда вы познакомились в Самбуко, он...

— Говорю вам, началось это не с Мейсона,— серьезно, с нажимом ответил он.— Это началось во мне, раньше, давно. Я вам сказал, началось, наверное, в тот день, когда я родился. А по-настоящему началось за год, в Париже, когда я был болен и меня стали посещать кошмары. Вот когда началось, и без этого не поймешь, как и почему все кончилось Мейсоном. Я понятно говорю?

— Не знаю...— начал я. Я чувствовал, что готовится какая-то неожиданность.

— Уясните.— сказал он. Он встал, заметно волнуясь, и заговорил еще настойчивее, с еще большим нажимом.— Это необходимо уяснить, потому что, мне кажется, Питер, вы не совсем понимаете Мейсона. Скотина, сволочь, жулик и наркоман. Но виноват не он! Я допытывался, допытывался, допытывался у вас, искал у вас подтверждения того, что он был злом. Но нет. Он просто мразь. Вам непонятно? Да нет же! Вина не его!

— Нет, мне непонятно,— решительно ответил я.

Наступило долгое молчание. Потом он сказал, уже мягче:

— В самом деле, почему вы должны понимать? В самом деле, с какой стати? — И после паузы добавил: — Не убивал он Франческу, вот о чем я вам толкую.

Это было как гром среди ясного неба.

— Ну да, черт возьми,— сказал он,— и не смотрите на меня так. Мужайтесь, старик. Ну что, хотите теперь узнать факты? Или правду?

— Правду,— выдал я, мужаясь.

— Ладно, тогда, будьте добры, представьте себе Кинсолвингов в Париже. (Опять в рыбацком домике, на другой вечер, когда мой ум немного освоился с новостями.) Мы пробыли там около года. Видит бог, мы и на вилле жили скученно, но в парижскую нашу квартиру не влез бы выводок гномов. Две не слишком просторные комнаты на шестерых — Ники только что родился,— с сортиром полметра на метр и с огромным окном во всю стену. Иногда мне кажется, если бы не это дурацкое окно, я и впрямь свихнулся бы. Там, значит, рос дикий виноград и закрывал все окно, и вот весной, летом и осенью свет цедился в комнату через эти громадные, зеленые, прозрачные листья, и вся комната заполнялась таким нефритовым мерцанием. Казалось бы, это могло раздражать, но на самом деле — нет: это было даже замечательно и порой помогало забыть о... ну, о блохах жизни, которые донимали меня. Понимаете, что я имею в виду: Поппи, храни ее бог,— всегда безупречную Поппи.— Ники с большим животиком, и то, что я не могу писать, и безденежье, и так далее и тому подобное. И мою дурацкую язву, хотя тогда она немного притихла. Теперь я, бывает, задумываюсь, какая блоха была злее... наверно — безденежье. Конечно, Поппи получала деньги из Делавэра, доходы от недвижимости, которая осталась после отца, но для нашего

хозяйства это было не бог весть что. И моя инвалидная пенсия — тоже немного, но кое-как мы перебивались. Нет, пожалуй, это была не самая злая блоха. Пожалуй, самый страшный зверь был —...мое состояние, если можно так выразиться.

Вы знаете, без веры работать нельзя, а веры у меня было, как у бездомной кошки. Господи, каких только оправданий я не придумывал, какого только вранья! Понимаете, я говорил себе, что у меня нет таланта,— это была первая отговорка. А я ведь знал, черт возьми, что талант у меня есть, знал в глубине души, знал не хуже, чем знаю свое имя. Был он у меня, и от этого никуда не денешься, и оттого, что я знал о нем и не мог употребить его, или боялся употребить, или не желал употребить, я был вдвойне несчастен. Черт, я знал, что могу заткнуть за пояс любого художника — по крайней мере моих лет и моего опыта. Любого! Но перед холстом или блокнотом, я превращался в человека, которому оттяпали обе кисти. Я был полностью парализован. Я шатался по галереям или по современной выставке в «Оранжеее»¹, и кривился, и хихикал, и фыркал на эту любительскую мазню, как жалкий какой-нибудь педерастик или дилетант,— а сам мучился, как же я мучился! Они хоть что-то произвели. А что такое я? Маленькая гнусная выгребная яма безнадежных, закупоренных, прогорклых желаний. Но оправдание-то надо иметь. И вот, покопавшись в себе и выяснив, что на бездарность не свалишь, я стал придумывать другие отговорки: распалась связь времен, общество против меня, фотография все равно вытеснила живопись и прочее. Кинсолвинг против Кинсолвинга, до чего унылая битва! Короче, работать я не мог. Заклинило, заколодило, я сидел как будто внутри здорового рыбьего пузыря и сатанел от этой муки. Но чтобы отволочь меня к психиатру — а это, наверно, и требовалось,— надо было кликнуть на помощь всю парижскую полицию.

— Мы, христиане, должны помогать друг другу,— пошутил я.

— Дело тут не в христианстве, а в здравом смысле. Пока ты не пошел вразнос, ты должен разбираться с этими делами сам, вот и все. Это вопрос самолюбия. Кроме того, я знал одного мозгоправа — не Слоткина, а настоящего шарлатана — в психиатрическом отделении морского госпиталя — после войны, я вам рассказывал. Этот хмырь, ей-богу, не вру, едва мог сосчитать до десяти. У него был лобик в полсантиметра высотой, красный нос, а из ушей торчала шерсть, и я только одно про него помню: он в жизни не слышал о Домье. Читал фамилию: Дау-Майер, ну прямо как в их дурацких психологических текстах. О чем может договориться такой малый с пациентом вроде меня, в особенности таким, каким я был в Париже? В общем, возвращаясь к тому, с чего это началось: все, значит, копится во мне и не находит выхода. Вокруг меня самый прекрасный — нет, Флоренция все же на первом месте — город на земле, и во мне все горит и дрожит: поймать его черты, сохранить, сберечь, запечатлеть или что там — и я так же способен на это, как слепой, водяночный девяностолетний евнух. Какой расклад, какая прямая дорожка к запою! Ну и я бросился в него очертя голову. И поехало... а к чему приехало, вам известно. Не знаю даже, как это начиналось — наверно, постепенно, только не успел я оглянуться, как уже сидел в этом по уши. Эх, видели бы вы меня... хотя чего там, вы же видели. Я и в Самбуко был хорош, но в Париже еще лучше — покрепче был и принять мог побольше. Как верблюд, который вышел из Гоби, и сморщенный этот горб надо снова наполнить до отказа. Господи, как я хлестал! Если есть на свете нимфоманы от алкоголизма, я таким и был — постоянный свербящий позыв, полубезумный, наверно... Жирный испорченный мальчишка, которого запустили в бассейн с лимонадом. Фу, даже вспоминать противно.

С минуту мы сидели молча, но ему явно хотелось рассказывать дальше.

— Меня тащило — вот какое было чувство. Такое, что меня притягивало в Самбуко. И до сих пор не знаю, может, я все это нафантазировал, а была просто цепь совпадений, которая привела к известному результату. В общем, попробуйте еще раз представить себе Кинсолвингов в Париже. Воображение не отказывает? Так вот представьте: мастерская на верхнем этаже в печальном пыльном переулке у вокзала Монпарнас, большая комната, и в ней дрожат нефритовые тени виноградных листьев. Конец весны, конец дня, воскресенье. Пахнет хлебом

¹ «Оранжеее» — музей и выставочный зал в Тюильри.

и пахнет грустью — Париж всегда пахнет грустью, даже в самый солнечный, погожий день. Это истинная правда. В переулке лает собака. Наверху звуки хаоса и разгрома. Entrons². Перед вами обитатели этого шумного логова. Первая — Поппи Кинсолвинг, урожденная Полина Шеннон, хозяйка этого замка, отпрыск большой делавэрской семьи — к сожалению, не Дюпонов, — неповторимое создание, в котором соединились детская мудрость и очарование (черт, ненавижу это слово!) феи, — мужнина гордость, радость и отчаяние, ласковая, щедрая, любящая жена и самая кошмарная домашняя хозяйка на свете. На ней только розовая комбинация. Голова украшена алюминиевыми бигуди. Рукой она протягивает младенцу в колыбельку бутылочку (Ники только что появился на свет при помощи кесарева сечения), а голосом вопит на троих детей, которые носятся по жаркой комнате как оглашенные. Им, значит, восемь лет, пять... Нет, Пегги, наверно, только шесть исполнилось. Ладно, черт с ним. Дети хорошенькие и шумные и так похожи на мать, что ее часто принимают за их сестру. Поппи вопит не своим голосом. «Дети! — орет она. — Дети! Дети! Тихо! Маленького напугаете!» Слова ее остаются втуне: «совладать со своим потомством она может так же, как со стаей волков. Она в отчаянии закатывает глаза, поворачивается, роняет недоодеанный рожок с мороженым и кричит мужу. «Касс! — кричит она. — Утихомирь их!»

Он помолчал, пстом сказал с кривой усмешкой:

— Да, хлебнула она со мной — и хоть бы когда пожаловалась. Она католичка, как вам известно, а я... не знаю, что я такое, но уж точно не католик, и всю свою злость я стал вымещать на ее вере. Вообще-то я тоже из религиозной семьи, но с религией порвал напрочь (и до сих пор не в ладах) — а тогда, надо думать, угрызался, и на душе это лежало здоровенным камнем. Отец был священником. Ну вот, а когда они с матерью попали под поезд в Северной Каролине — мне тогда было десять, — меня взял на воспитание дядя. И он и тетка были методисты, набожные ужасно, и он всегда хотел сделать из меня священника потому, что брат его дорогой жены был священником, и потому, что традиция, и так далее. А я хотел быть художником. Я не хотел быть толстоморденым молодым пастырем, и корешиться с серафимами, и по воскресеньям в поте руки здороваться с банкирами и ростовщиками, и до размягчения мозгов объяснять торговцам подержанными автомобилями, какие они праведники. И не стал. А после войны, когда ходил в художественное училище в Нью-Йорке, познакомился с Поппи. Любовь с первого взгляда. Семья у нее была денежная, что всегда кстати. В общем, раззадорила она меня до невозможности. Ее как раз собирались вышибить с первого курса колледжа, не потому, что она тупица, а... как бы вам сказать, — слишком воздушная для этого дела; короче, католичка, не католичка — втрескался как полоумный. Я не знал тогда, что уже припасена для нее дубина темных протестантских предрассудков и я стану глушить ее этой дубиной в оправдание собственной неполноценности. Думаю, ей бывало невмоготу. Меня бы вывести во двор за это да расстрелять.

Однако вернемся в Париж... к отцу семейства — этому овощу, этому недоумазунию в штанах, этой развалине, этому художнику без портфеля. Он возлежит на истертой кушетке, сигарета прилеплена к губе à l'Arache³, в руке бутылка самого низкосортного коньяка. Он читает очередной номер... ну, скажем, «Конфиденшл». Или «Фронт пейдж детектив», или «Уинк», или еще какой-нибудь из полусотни милых американских журнальчиков, которыми торгуют на рю дю Бак. Вот до чего я докатился. Итак, взглянем на него еще раз, на этого долбака, на этого оглода. Поппи опять кричит: «Касс! У ребенка болит животик, а ты валяешься! Касс, сделай что-нибудь!» Он, очевидно, слышит ее, потому что кряхтит и ворочается, и тень раздражения, если не сказать — досады, пробегает по его помятой личности. Не говоря ни слова, он продолжает листать свой каталог белых ляжек, белых титок и круглых попок. Жена опять кричит, собака воеет на улице, дети пляшут и вопят. Все это погружено в вонь варящейся брюквы. Наконец, когда голос этой... этой хрупкой девы взвывается до невыносимой высоты и пронзительности, с плиты падает кастрюля: грохот, плеск, клубы пара.

² Входим (фр.).

³ По-хулигански (фр.).

Оглоед вскакивает на ноги и ревет. «Убирайтесь к чертовой матери, гнусные насекомые! — ревет он. — Немедленно! Все до одного! — кричит он, глядя мутными глазами на красивых деток, плоды его чресл. — Вон отсюда, чтоб вам пусто было! Утопитесь в речке! Сдохните! Под колеса попадите! Вон! Чтобы духу вашего не было! Чтобы духу вашего не было! Вон, пока я газ не включил!» И добивается своего. С истерическими рыданиями и бляением, в испуге, в панике весь выводок убегает на улицу. Поппи так напугана, что надевает юбку задом наперед, и так дрожит, что едва протискивается в дверь с несчастным младенцем, у которого болит животик... — Он замолчал.

— А потом?..

— Ну что, — сказал он, уже спокойнее. — Ужасно. Когда ты сам себе отвратителен, главная беда не в том, что ты себя начинаешь уродовать — тоже, кстати, удовольствия мало, — а то, что очень просто можешь испортить жизнь другим. Конечно, у нас с Поппи случались размолвки — в какой семье их не бывает! Но такой номер я выкинул впервые. Гнусность; но по сути дела — это совершенно ясно — отвращение, которое я испытывал к себе, я просто выместил на Поппи и детях. Боже, как мне было паршиво! Помню, в Самбуко в один из сравнительно светлых — то есть трезвых — периодов мне приснился сон. Я помню его не весь, а только то, что там было письменное послание ко мне. Это был один из самых странных снов: словно какой-то полоумный старый моралист вылез из подсознания и мелом написал этот афоризм прямо у меня в голове. И прямо в точку, сперва я даже подумал, что в меня вселилась душа какого-то великого философа. «Восторжествовать над собой — это значит восторжествовать над Смертью. Это значит восторжествовать над зверем, которого ты поселил между своей душой и своим богом». Понимаете, чистая правда. Но в Париже таких идей и откровений у меня не было. Над собой. Над собой! Когда от тебя осталась лужица. Понимаете, я прямо слышал... чуть ли не видел... каждое сокращение моего дырявого желудка, видел, как натужно работают почки, выщепившая жидкий шлак, смотрел, как мои скользкие, серые, влажные кишки борются с отравой, которую я в себя лью, и бронхи, прокопченные французскими сигаретами, и м о з г! Мой несчастный, больной, замученный мозг! Господи, м е н я не было. Была каша. И она не воспринимала ничего, кроме жалкой толчеи собственных корпускул.

Ну, и впал я в такой мрак, что дальше некуда. После этой сцены. Помню, когда они выскочили, я подошел к окну и увидел, как они бегут по улице. До сих пор стоит мне об этом подумать — и во мне все разрывается, но тогда, говорю, я был в пьяном тумане, и картина эта меня несколько не тронула: Поппи, чуть больше мышки ростом, с ребенком на руках, семенит по улице в пыльном весеннем свете... а улочка прямо из Утрилло... дети кто тащится, кто вприпрыжку, и куда они идут — бог знает. Скрылись за углом. Они скрылись, а я один в доме и вроде как оседаю под собственной гадостной тяжестью. У меня тогда был старый, заезженный проигрыватель — вы видели его в Самбуко. Человек не может как следует жить без музыки. Хотя и музыка, если ей злоупотреблять, становится формой растреления. Я помню, у Платона в «Государстве» где-то написано, что в идеальном государстве музыка должна быть обуздана и ограничена законом — так сильно ее воздействие, так легко она размягчает дух. В этом есть правда, мне ли не знать: в то время я не одним вином себя глушил, и музыка была... ну, дополнительным наркотиком, от нее я еще сильнее балдел и распулся. Как всем хорошим, музыкой надо пользоваться разумно. Короче говоря, был у меня этот проигрыватель, я купил его за несколько тысяч франков на толкучке, починил и смазал. Иерихонская труба, а не проигрыватель. Скрипучее, хриплое страшнелище... и было у меня несколько пластинок, «Волшебная флейта» и «Дон Жуан», кое-что из раннего Гайдна, Христиан Бах, «Страсти по Матфею», месса Палестрины и... ага, старый-престарый альбом Ледбелли⁴ с треснутыми пластинками, они и держались только на клейкой ленте. Старик Ледбелли. Поставлю, бывало, «Миднайт спешл» — и как будто опять в Каролине. Ну вот... Ушли они — может, и навсегда ушли, и черт с ними, — а я открыл еще одну

⁴ Хадди Ледбетер, по прозвищу Ледбелли, — исполнитель американских народных песен.

бутылку клопомора, поставил «Волшебную флейту» и брожу по комнате, Поппи ненавижу, себя ненавижу, и железы, и, как ее там, жизненную силу, которая произвела на свет это бесполезное, сопливое, поносное отродье, и спотыкаюсь о разные вещи — то о галошу Поппи, то об игрушку,— хочу поддать ногой, промахиваюсь, засаживаю ногой по стене, чуть не вышибаю палец, бегаю от боли, и чертыхаюсь, и ненавижу себя пуще прежнего — словно верчусь в заколдованном круге злости и отвращения к себе. Но все-таки постепенно остываю — наверно, музыка проняла,— еще раз крепко глотаю из бутылки, а потом — помню это ясно и отчетливо — подхожу к окну. С тех пор как я... ну, исправился, что ли, я пытаюсь понять, что творилось тогда со мной, внутри меня. Я думал об этом, читал об этом и только одно могу утверждать — что эти... ну, видения мои не были душевной болезнью, не были мистическими и сверхъестественными, а просто в расквашенном мозгу алкоголика могли возникать, и должны были возникать, всякие галлюцинации. И это не белая горячка. А просто если ты принимаешь встрелять себя и не ешь, а вместо этого выхлебываешь каждый день полтора литра пойла, в котором нет ни витаминов, ни минералов, ни калорий, ни соков, ни клеток, ни серого вещества, никакой материи, нужной для физического и душевного здоровья, когда терзаешь легкие «галуазом» и дешевыми сигарами, и бродишь по парижским улицам, и дышишь бензиновой гарью, когда ты истощен, изнурен, подавлен до такой степени, что самые дикие порнографические фантазии, клянусь, не могут тебя возбудить,— так вот, говорю, когда ты в такой форме, галлюцинации, сдвиг в сознании не то что могут, а должны возникнуть.

Так вот, говорю, я помню, как подошел к окну. День был весенний, теплый, в воздухе носилась пыльца; казалось, если тронешь воздух, он превратится на ладони в желтую пыль. И эти громадные виноградные листья, зеленые, тропические. И блестящие безобидные божьи коровки — у французов, кстати, похожее название, *bêtes à Bon Dieu*,— они кишели на листьях, и когда я нагнулся рассмотреть получше эти ржаво-красные в черную крапинку спины на громадных зеленых листьях, они стали похожи на странных сюрреалистических броненосцев, ползущих по джунглям. В развилке лозы большой золотой паук сплел паутину, и я удивился, почему он не поймал ни одной божьей коровки, а потом вспомнил, что они испускают то ли запах, то ли еще что-то неприятное для пауков. Ну, я долго стоял там, смотрел на листья и божьих коровок, с улицы пахло хлебом, в комнате играла музыка. Вся моя злоба и ненависть улегучились или затихли, и в какой-то полудреме я поднял глаза. Поднял и, клянусь, увидел как будто царствие небесное. Не знаю, как его вернее описать — этот костоломный миг красоты. И такое охватило меня томление, что внутри все занялось. А была это все та же парижская улочка, печальная и невзрачная парижская улочка с ее покатыми крышами, тусклыми дверными ручками, облупленными узорчатыми фонарными столбиками и двумя-тремя чахлыми платанами,— а вон старуха появилась в дверях, потирая руки, вон собака убегает в проулок. На улицу выходила стена кладбища Монпарнас, небо над ним было голубое-голубое, и там в косых лучах солнца кружила большая стая голубей. И все проникнуто духом весеннего дня, воскресенья, покоя, отдыха. А за спиной, в комнате плещет Моцарт — безумный, ясный и... какой?.. добрый! Присланный сюда прямо нашим создателем! Господи, как это описать! Тут не в самом пейзаже дело, понимаете... а в его духе, в сути. Как будто на миг мне дали способность понимать не просто саму красоту по ее внешним признакам... а другое в красоте, ее непрерывность в строении всей жизни, ее торжество, когда она вбирает в себя и уродство, и грязь, и убожество — и длится, длится, а мне открылся только миг ее, божественно кристаллизованный. Господи, волшебство этого мига! Что это было на самом деле? Не знаю. . слабость, дурнота, пьяное головокружение. Но было — и в первый раз... в первый раз мне открылась действительность. И самое странное — что это произошло как будто в неподходящее время: когда я погряз в себе, в свинстве, у меня возникло предчувствие самоотверженности. то есть эта грязная улочка на миг как бы превратилась в великолепный, светлый бульвар моего духа, и я шел по нему не один — множество поколений любовников, старух, собак и детей прошло по нему, и придут новые поколения любовников, старух, собак и детей, еще не родившихся. Улица была уже не та, которую я ви-

дел, улица вошла в меня, понимаете, в эту секунду я освободился от самого себя и, наоборот, обнял все, что было на улице, породнился со всем, что происходило на ней в прошлые времена, происходит сейчас и произойдет потом. И меня охватила какая-то безумная радость...

Он надолго замолчал, как будто пытаюсь снова вызвать ощущения того дня.

— Не получается,— сказал он наконец.— Чувствую, что передал только крохи. Не получается. В том-то и трудность, когда пытаешься описать... такое состояние. Превращаешься в какого-то косматого отшельника из десятого века, завываешь и орешь, что тебя поймел взвод ангелов. Это как с критикой живописи: она просто невозможна, ты должен видеть все сам. В общем, вы, наверно, поймете, что если эти приступы приносили такую усладу, зачем мне было отказываться от их возбудителя, будь он хоть трижды пагубный,— вино, голодуха, нервное истощение. Самоубийство, одним словом. Нет, я не скажу, что не хотел завязать. Как всякий раб дурной привычки, я отпихивался от гадины, отдал бы все на свете, чтобы освободиться, очиститься. Кроме того, припадки вроде этого случались не слишком часто, даже когда я пил по-черному. Но по правде говоря, надежда на то, что он произойдет, несколько облегчала... этот кошмар. Даже если худшее... — Он не закончил фразу, и я спросил:

— Что худшее?

— Давайте я вернусь к тому, на чем остановился. Не могу сказать, сколько длился этот экстаз — как еще его назвать? — не знаю, сколько он длился, может быть, полминуты, думаю, что даже меньше. Потом произошло что-то странное. И тоже — первый раз в жизни. Я потерял сознание. Только что я стоял, слышал, как колотится сердце, смотрел на улицу, на платаны, на собаку, убегающую в проулок, на голубей в небе, и вдруг вся картина растеклась у меня на глазах ручейками, слиняла, как тряпичная кукла под дождем, все краски и контуры расплылись, и тут же их сменила чернота, как будто меня мягко, но бесповоротно приняло лоно смерти — я успел подумать об этом, пока расплавлялся, и перестал ощущать что бы то ни было, кроме необъятного черного покоя. И ведь знаете что? При всем этом... пока наваливалось на меня ощущение вечности, пока я вплывал в область бесконечного времени — я не сдвинулся с места ни на миллиметр. Только голова упала — тихо стукнулась лбом о подоконник, и я тут же встрепенулся и увидел не ночь, не прореху во времени, как ожидал, а все ту же старуху — ей-богу, она все так же потирала руки, все так же колыхались листья платанов и отбрасывали все ту же тень, и все так же кружили над кладбищем голуби. Только собака наконец исчезла, но я еще видел ее тень на дальней стене проулка — из-под задранной ноги она поливала дерево. Женщина пела все ту же арию Моцарта — на том же такте. Я даже не выронил поганый коньяк. Я стоял в зеленом свете, перед виноградными листьями, тер шишку на лбу, пыхтел как сумасшедший и чуть не плакал — в одну минуту у меня втиснулось столько эмоций, сколько человеку положено на два года.

Воспоминание явно расстроило его, вывело из равновесия, и я потихоньку перевел разговор на другую тему. Однако позже по неловкости коснулся этого случая еще раз — и глазом не успел моргнуть, как он опять погрузился в прошлое. Но перед этим было лирическое отступление.

— Вы мне напомнили,— сказал он.— Когда я был парнишкой лет шестнадцати-семнадцати и жил на реке — я вам рассказывал — под Уилмингтоном, как-то раз, помню, в субботу, поехал в город. Слушайте! Это очень даже относится к делу... Нарядился, надел лакированные туфли, темный, в полоску костюм из универмага и поехал в Уилмингтон. Вид у меня был, наверно, тот еще: деревенский малый с неуклюжими лапами, очки из магазина, расписной галстук и морда простофили. Не знаю, может, у меня уже усы пробивались: одно время я отпущал; район наш тогда был нищенский. Только что началась война: на улицах солдаты, морские пехотинцы, плюнуть негде, жарница, а на уме у меня только одно — найти бабу. Женщины у меня никогда не было... чего там, к женщине я не прикоснулся ни разу в жизни! — я подумал, вот загребут меня в армию того и гляди, отправят на пароходе куда-нибудь, где одни цветные, ну и решил: теперь или никогда. И вот с середины дня до вечера я рыскал по улицам Уилмингтона — глазами шныряю, в пивные толкаюсь, а меня гонят, годами не вышел, а сам распаяюсь все больше и больше, словно молодой козел, и в конце

концов прихожу к страшному открытию: для меня тут девушек нет, а какие были, тех разобрали солдаты. В общем, я порядком приуныл. Знаете, самое жалостное на свете — семнадцатилетний мальчишка с его корявой маетой, а уже вечерет, время уходит, и все выустую. Помню, какой-то солдат сказал мне, что в одной гостинице за пять долларов можно сговориться, только если бы у меня в те дни было пять долларов, я бы считал себя миллионером.

Ну, потащился я обратно на автобусную станцию: все, думаю, фокус не удался. И только я свернул за угол — передо мной в роскошном свете витрины является она: черноглазая, замечательная, невероятная девушка моей мечты. Господи, я даже помню, как ее звали! Вернелл Сатерфилд. И знаете, что она делала? Она стояла — эта девушка-персик, эта сладостная нимфа в носочках, это маленькое спелое чудо,— стояла у витрины аптеки и торговала «Уочтауэром», журналом свидетелей Иеговы, по пять центов номер. Я чуть не ослеп, такой она показалась красивой. И не только показалась: каштановые волосы, грудь круглая, все круглое и кожа золотисто-розовая, из Боттичелли. Ну, в те годы я, наверное, не был эталоном... учтивости, но как-то все-таки подъехал; может быть, исключительно за счет неукротимой своей страсти. В общем, подвалил к ней, дал пять центов за «Уочтауэр», потом еще пять центов за какую-то другую муру, экал, мекал, напускал на себя кротость и степенность, наконец выложил еще пятьдесят центов за избранные проповеди судьи Такого-Сякого, их верховода, и дело пошло на лад: я сказал ей, как меня зовут, она сказала, как ее зовут, сказала, что прямо измучилась весь день отбиваться от солдат, и хотя она должна отклонить мое приглашение выпить пива — религия запрещает,— пломбир она со мной съест. И повел ее в аптеку. Мать честная..

Вернелл Сатерфилд! — продолжал он свои воспоминания. — Эту девушку я не забуду до смерти! Свет не выдывал, чтобы такое спелое, соблазнительное, животрепещущее создание лучилось такой невинностью. Она сказала, что ей шестнадцать с половиной лет. Представляете, шестнадцать с половиной. Она была, как я теперь понимаю, в платье с декольте, но, конечно, забывала об этом, и всякий раз, когда она наклонялась — невинно, невинно,— я видел розовый наполненный лифчик,— потом она немножко откидывалась, приглаживала красивые волосы и говорила нежным голоском, как она рада, что в Уилмингтоне еще остался один джентльмен. Причем в этом не было никакого ханжеского самодовольства: просто она была чистая, понимаете, чистая как не знаю что, и начинена религией, и полна почтения к истинам, как она выражалась. Помню, она сказала таким серьезным, искренним и нежным голоском: «В конце концов, Христос сам был джентльменом». В общем, через полчаса от всех этих наклонов и невинных закидываний шелковой ножки на ножку и наоборот я превратился в один сплошной комок потной муки и спросил, можно ли проводить ее домой. Она вздернула выщипанные бровки, подумала и ответила, да, наверное, можно — опять же потому, что я такой воспитанный и нравственный,— и я взял ее брошюры, молитвенники и псалтыри, мы сели в автобус и поехали к ней. В ней не было ничего занудного — при надобности она могла говорить и о других предметах, но, в общем, сосредоточена была на религии и в автобусе расспрашивала меня, какого я вероисповедания и чувствую ли я себя готовым и тому подобное, а я не сводил жадных глаз (помните, какие короткие юбки тогда носили?) с ее круглых, пухлых, нежных коленок. Знаете, если превратить в перышки все слова, сказанные всеми мужчинами только за один год,— все слова, которые они сказали женщинам, думая совсем о другом, когда они стараются быть вежливыми и приятными, а мысли у них заняты этой единственной всепоглощающей целью,— лицемерия будет столько, что вся известная нам вселенная обратит перьями. Ну и я, чистопробный джентльмен, старался не ударить лицом в грязь, старался сосредоточиться на истине. Я сказал ей, что крещен в англиканскую веру, что отец был англиканским священником — так оно и было,— но в десять лет остался сиротой, и вырастили меня дядька с теткой, методисты. И это было. Но, как я уже говорил, из похоти родится лицемерие — из-за этих круглых коленок и пружинистого в вырезе у меня ум за разум зашел... и я заявил, что, несмотря на все, меня ужасно тянет к свидетелям Иеговы — они мне всегда казались представителями религии высшего типа,— и тут мы стали совсем друзьями: она сказала, что она тоже сирота и это нас как бы

роднит — правда ведь? — и очень приятно, что я тоже могу стать свидетелем Иеговы; и к дому ее мы подходили уже порядком разомлев, и я держал в руке ее потную ладонь. Я готов был взлететь. Помню, как говорил: «Господи, разве не грустно быть сиротой», — и это тоже было правдой, но не тогда, потому что тогда я думал только, хватит ли мне храбрости и позволит ли мне бог (а верил я тогда в доброго, покладистого бога) добиться чего надо от его сладостной слуги. И она говорит: «Правда, господи, как грустно. Христос призвал маму и папу, когда мне шел только шестой годик». Я буквально чуть не взлетел.

Вам может показаться, что я отклоняюсь. Но понимаете, тогда, в Париже, эта девушка и этот момент были очень важны для меня — я вам потом объясню почему. Я часто думал, что дело даже не столько в девушке... потому, наверное, что любви тут все же не было... а в самом моменте, в настроении, в грустном ностальгическом очаровании... называйте как хотите этот кристаллизованный миг прошлого, который обнимает, объясняет, оправдывает само время. Назовите как хотите неуклюжее соблазнение подростка — смешным, нелепым, трогательным и даже грустным, — но само по себе ничего особенного оно не представляет, и не стоит терять время, отыскивая в нем какое-то глубокое значение или трагизм. Нет, с милой Вернелл дело не в этом — а в мгновении, куда она вплавлена, в облаках времени, сквозь которые она несла, как два кубка, свою безмозглую чувственность и свою невинную любовь к Христу. Подумайте, как мало найдется среди нас, людей нашего возраста, таких, кого минуло это мгновение, к лучшему или к худшему. Солдатом я еще не был, но стал им меньше чем через год, так что это не важно. Настроение все равно то же — настроение, очарование, чувство, которое оправдывает время. Все мы испытали это, когда уходили на войну, а я как южанин, должно быть, особенно остро. Да вы понимаете, о чем я говорю. Кто-то сказал, что вторую мировую войну вели как войну между штатами — между Потомаком и Мексиканским заливом, — ей-богу, это так. Подумать, сколько миллионов нас, мужчин и парней, бродило по улицам пыльных южных городишек — скука, пивные, автобусные станции, контрабандное виски и бесконечные, бесконечные поиски женщин. И дождь, и мертвое черное зимнее небо, и военная полиция. Многих ли миновало это! Это отпечаталось в душах целого поколения. А над всем этим как тень — память о времени, когда хорошие девушки исчезли с лица земли. И остались только проститутки. Проститутки и Вернелл Сатерфилд. Знаете, каждому из нас рано или поздно попадалась своя Вернелл.

Так вот, говорю, Христа она любила будь здоров. Она жила в поганеньком, дощатом домике с теткой-первосвященницей или как там у них, у неговивстов. Тетки дома нет, сказала Вернелл, и у меня душа взыграла. Ну, вы представляете себе, что это за дом — бывали в таком же со своей Вернелл: абажур с бисером, два фиолетовых кресла, линолеум на полу, керосинка. Кленовый шифоньер в углу, старое пианино, будильник на столе.

Он помолчал, улыбнулся.

— Короче, он мало чем отличался от дома, где я вырос. Прямо глаза щиплет. В общем, тут и продавленная кушетка, а на ней подушка из розового с зеленым отливом шелка, с видом Аламо или Сент-Питерсберга и стишком к матери. Полочка, на ней штук двадцать пять кинематографических журналов. А на пианино две подкрашенные фотографии молодых людей в военной форме, с подписями «Бадди», или «Лерой», или «Джек-младший», или «Монро». Они улыбаются. Один — двоюродный брат Вернелл, другой — ее молодой человек. Это истинная правда. Одна из главных примет тогдашнего времени — у Вернелл непременно был молодой человек. Сердце у меня упало. Но знаете, она не могла бы так хорошо любить меня или Бадди, если бы не любила Христа еще больше. Иногда мне кажется, что там я и решил стать художником. Потому что ее маленькая спальня — она ввела меня туда как в храм, но кровать, я вам доложу, прямо-таки ма я ч л а, — спальня оказалась какой-то несусветной галереей: Христос распятый, Христос несет свой крест, Христос плачет, Христос перед Пилатом, и в Гефсиманском саду, и на Голгофе, и восставший из гроба. Христы-чудотворцы, Христы возносящиеся, Христы-мученики — и все до единого нарисованы в Атланте. Форменный культ Христа. Крестьяне из Аbruцци могли бы позавидовать.

Я там немного сплеховал. Я уже тогда любил живопись и хотя не понимал в ней ни черта, но увидишь, бывало, какой-нибудь рисунок Леонардо в книжке — и как будто маслом по сердцу, а тут от этой страшной мазни меня чуть не вывернуло: ну, и она спросила, как мне ее картинка, а я отвечаю, что по части религии тут вроде все в порядке, но насчет искусства — жидковато. Она покраснела, рассердилась и сказала, что я не понимаю в живописи. Может, я и джентльмен, но глаз у меня нет, — сердце у меня опять упало, все, думаю, пошел. Но она скоро отошла и сказала, что хочет есть, — я сбегал в киоск, взял пакет сосисок и пару бутылок пепси-колы, притащил к ней, уселись на эту продавленную кушетку, жуем, и Вернелл опять завела про религию... завела! — она все время была заведена — и спросила, кто мой любимый апостол. Я что-то ответил... наобум — и вместо апостола выскочил с пророком, Иезекиилем не то еще кем-то, она засмеялась надо мной, невеждой, и я почувствовал, что между нами, как лист стекла, возник холодок. Во всяком случае, мне так показалось. Как же я страдал! Во мне каждый капилляр буквально лопался, а я должен был только сидеть, жевать дурацкие сосиски и выдумывать, изобретать какие-то безнадежные маневры, потеть и мучиться. Что может быть несчастнее, чем семнадцатилетний мальчишка, которому приспичило? А время уже позднее, и религии я так наелся, что чуть не плачу. Боялся я до смерти, но решимости не потерял, чтобы приложиться к этому чистому, неоскверненному сосуду, был готов на все, кроме разве изнасилования — да и на него даже. Жалкий нечестивец — вон когда уже погряз в первородном грехе.

Наконец, когда казалось, что я не выдержу больше ни секунды, она встает и, невинно виляя задиком, подходит к патефону и заводит пластинку — деревянную песню, она до сих пор звучит у меня в ушах, — ставит этого Роя Акуффа, поворачивается ко мне и спокойненько, как ни в чем не бывало говорит: «Хотите ли потанцевать?» Как сейчас ее вижу: сочную, сливочную девственницу с пятнышком горчицы на губе и грациозно оттопыренной ладошкой — как ей показывали в кино. Я ошел. Хочу ли я танцевать! Да я готов был танцевать босиком на битом стекле, на дне моря, прямо в пасти ада. Но я не понял, я не поверил своим ушам! Танцевать с этой голубкой Иеговы? И я сказал: «А вам религия не запрещает?». А она не моргнув глазом: «Вот этого вы еще не знаете о нас, свидетелях Иеговы. В смысле светского общения у нас большая свобода».

И все, и конец! И зачем я мучился, несчастный. Да понимаете, с тех пор как мы переступили ее порог, она только и ждала, чтобы я начал. Я взял ее за талию, и все исчезло: только бедра, живот, раскрытые губы в горчице — «милый мой», и стон, и киношная истома: «Милый, почему ты так долго не решаешься?» — один и тот же вопрос снова и снова и с такой еще, знаете, великосветской, из кино, интонацией. Вернелл Сатерфилд! Мессалина в облике девы-весталки! Не раба божья, а малолетняя блудница! Да она была такая же дева, как потаскушки толстого короля Людовика! И все чирикает: «Милый, почему ты так долго не решаешься?» — этим кошмарным жеманным голоском, как будто хочет, чтобы меня звали Родни. А потом... ну, кто не помнит своей первой девушки?.. запах духов — знаете, гардения, — безжалостные подвязки и молодое тело под пальцами — немыслимое, неземное потому, наверное, что в этом возрасте ты просто не можешь помыслить о нем иначе как о бессмертном.

Но я оконфузился. Чего еще ждать в таком состоянии? Да не это важно. Это ровно ничего не значит. Настроение сохранилось во времени, оно длится — вот что важно. Боже мой, Вернелл Сатерфилд! До сих пор вижу, как простодушную набожную в ее глазах заволокло сладострастной мутью, как она скривила личико и все с той же изысканной хрипотцой простонала: «Скорее, милый! Скорее! Скорее! Тетя Люсиль может вернуться!» Волосы у меня стояли дыбом, руки и ноги тряслись, а она тащила меня, как здорового, квелоого, испуганного недопеска, в спальню, на просевшие пружины. И там я сошелся с ней в сумерках, на глазах у трех дюжин умножающихся Христов, и Рой Акуфф выл, как леший, про большую пеструю птицу и про Библию, которой завидует лебедь. Нет, я не сошелся с ней, я не так сказал. Потому что от одного прикосновения ее руки я обвалился на нее, бормоча как полоумный. И все. Но это не важно. Осталось другое... гитары, гардения, пот и спешка, и тетя Люсиль возвращается, и где-то далеко распевают солдаты, война, агнец божий милостиво глядит на

меня большими овальными глазами над вздыбленным бельем. И ее слова! Господи, разве я забуду ее слова! Разве забуду, как она села и прижала мою слабую дрожащую руку к своей груди и сказала: «Ах ты бедненький. Посмотри! Посмотри, что ты наделал! Ведь это святой дух вышел из тебя».

Касс умолк, задумчиво снял очки и привычным движением нажал пальцами на веки. Он молчал довольно долго, а потом со смешком, или, вернее даже, со вздохом, сказал:

— Так вот, я говорю, это как-то связано с тем днем в Париже. И до конца разобраться в этом я не могу. Итог подвести не могу. Вы тут недавно пытались добраться до чего-то важного. Вы говорили, что, когда засыпаешь, возникает такое странное состояние, необъяснимое и непередаваемое, что-то среднее между бодрствованием и сном, когда антенны подсознания чутко дрожат, но как бы дремлют, упонительно дремлют, и самые разные случайные воспоминания накатывают одно за другим, настолько яркие, что сердце замирает и рвется, как будто в них сгустились не просто мгновения прошлого, а вся красота, вся грусть, вся радость, какую ты изведal в жизни. Ну вот, в Париже после того экстаза или припадка, когда я потерял сознание у окна и сразу пришел в себя, мне раньше всего захотелось спать. Конечно, я был пьян, но, по-моему, дело не только в этом. Я был озадачен тем, что увидел из окна, смущен и, наверное, даже напуган. Я просто не понимал, что за чертовщина тут творится. Но интересно, что при этом я ощущал удивительный покой, впервые не помню с каких пор, и эта пьяная спокойная сонливость пробрала меня до костей... Всю тревогу, весь мандраж как рукой сняло... и я отвернулся от окна, пошел к дивану и лег. Но не уснул. Только задремал под «Волшебную флейту» и очутился в этой межуточной области, где нет отбоя от воспоминаний, бередящих сердце. И я вспомнил, без сладострастия, а только с какой-то дикой безнадежной жадностью, Вернелл Сатерфилд, розоватое тело, исчезнувшее навсегда. И это напомнило мне дом — пыльные дороги, отмели, и в небе над ними на заре хлопают крыльями длинношеие водяные птицы; рекламы «Доктора Пеппера» на ветхом придорожном магазинчике и как выглядел этот магазинчик в жаркий летний полдень, когда я был мальчишкой, и солнце жгло табачные поля вокруг, а над ним кружили сарычи, как по пустой дороге шел негр с керосиновым бидоном или с поросенком под мышкой или волочил по пыли пустой мешок и напевал. А потом я стал думать о других вещах — случайных, понимаете, — беспорядочно, полусонно, но каждая протыкала мне сердце, как вертел... Джунгли и берег на мысе Глостер, какими туманными и призрачными они были на рассвете, и запах моря, когда мы входили в воду, и вывороченные пальмы на берегу, похожие на убитых гигантов. И снова дом, и длинношеие птицы, и негритянские хибары в сумерках. А потом Нью-Йорк, летняя ночь на Третьей авеню, под железнодорожной эстакадой, грохот поездов, гудки барж на реке, молодость и восторг одиночества в большом городе летней ночью. Потом снова дом, и Вернелл Сатерфилд, и как тетка повела меня в цирк и на карусель и там держала меня за руку, приговаривая: «Сынок, не подходи так близко». Потом... Впрочем, не важно. Я не спал и не бодрствовал: лежал, ворочался, задремывал, пробуждался, и эти воспоминания все время носились у меня в голове, как большие птицы, — настолько яркие, что даже не были похожи на воспоминания, а на осколки жизни, проживаемой заново, слышимой, видимой, осязаемой. Не знаю, сколько прошло времени — может быть, полчаса, может быть, меньше. В конце концов я встал. Больше не мог выдержать. Радость, просветленный покой — все осталось при мне, как будто на меня навели чары, как будто ощущение чуда, которое я пережил у окна, вошло в мою плоть и кровь. Как будто это прозрение, озарение, откровение — черт его знает что — не кончилось, а все еще длилось, не отпускало меня, преследовало, пронимало своей простой прозрачной правдой. И вот когда я встал с дивана, а эти воспоминания все носились и носились у меня в голове суматошно и упонительно, мне вдруг открылась — как открылась перед этим красота захудалой парижской улочки, так открылась теперь красота и п р и с т о й н о с т ь моей жизни, не разрушившаяся от времени красота, которой были и водяные птицы, и карусель, и негр на пыльной летней дороге, и, боже мой, Вернелл Сатерфилд, — и поскольку они со мной не только в прошлом, а сейчас и на все

времена, они победят мою нынешнюю низость, эгоизм и убожество — если я им хоть чуть-чуть пособлю...

Он встал и подошел к окну.

— В общем, радость, радость и покой. Настоящая эйфория. И какой же я, господи, был дурак, если не понял, что все это — липовое. Что мне грозит беда, что я болен — по-настоящему болен от пьянства, от полуголодной жизни, от надругательства над своим организмом. Что все это... это видение, прозрение, не знаю что — морок, может и приятный, но все равно морок, спровоцированный чисто химическим путем, — и доверяться ему можно так же, как... ну, сновидению. Я этого не понимал; не понимал, что чем выше воспарить таким манером, тем крепче треснешься оземь.

Ну а потом было так. Встал я с дивана и чувствую, что сейчас мне море по колено. Пьян был в дым — но хвост трубой, выйду хоть против целой оравы великанов. Помните, я сказал вам, что долго не мог работать. А тут, в этой фальшивой эйфории, я готов был дать урок самому Пьеро делла Франческа. Правду и красоту я держал, понимаете, за холку, и мне загорелось выйти. И вот под звуки «Волшебной флейты», расплывшись от самодовольства, я мотаюсь по комнате и собираю причиндалы: альбом для набросков, столько месяцев хранивший девственность, уголь и бутылку... куда же без бутылки? Про Поппи и ребят я вроде вообще забыл... И на улицу, в парижский день. Не знаю, когда именно я начал снижаться, когда стало таять подо мной это облако, на котором я ехал верхом. Но как мне помнится, времени на это потребовалось немного. А поначалу я был — перец и электричество, витамины и скипидар. Я шел по улице и дивился ее красоте, этим линиям и краскам, в самом деле дивился, был в упоении от ее совершенства. Помню, как шел по рю Делямбр к кафе «Дом», улыбался во весь рот, и думал, что выступаю щеголевато, как настоящий парижский фланер, — а сам, наверно, переваливался не хуже какого-нибудь трюмного матроса — и наслаждался парижской весной. А что такое парижская весна? Вы сами знаете. Воздух, полный пыльца, золото, лист, тень, и ситцевые платья, и кокетливые зады, и что еще?.. А-а...

Падение происходило постепенно. Но первый признак, первую приметку помню. Я шел к Люксембургскому саду; там есть один уголок, и вот мне взбрело в голову, что хорошо бы там сесть и порисовать. По дороге я завернул в кафе «Дом», купил сигар и, когда выходил оттуда, повстречал знакомую проститутку — на воскресном дежурстве, сверхурочно работала. Распространяться о наших отношениях смысла нет. Ничего особенного. Звали ее Ивонна не то Лулу, а может, и еще как. Помню только, что она была из Лилля, не очень хорошенькая, но с замечательной фигурой. Я провел с ней одну ночь — черную, изнурительную ночь после пьяной ссоры с Поппи — и чувствовал себя жалким и виноватым как черт знает кто. Из-за ночи то есть. Знаете нашу англосаксонскую страсть к самоедству. Я казнил себя за прегрешение, но еще больше, наверно, за то, что месячную пенсию свою пропил и десять долларов девке уплатил фактически из денег Поппи. Господи, что мы над собой творим. Словом, встретил я ее, когда она выходила из кафе. После той катастрофы мне как-то удавалось избегать ее. Я выкинул ее из головы — поэтому, когда столкнулся с ней, на солнечный мой денек как будто наплыла черная туча. В общем, она была хорошей, доброй бабой в отличие от большинства проституток: это сказки, что у них золотое сердце, на самом деле они стервы и язвы, или просто дуры, или лесбиянки невыявленные. Помню, сперва она стала со мной заигрывать, болтала что-то, но потом потемнела лицом, болтать перестала, наклонила голову набок и грудным мрачным таким голосом говорит: «Cass, tu es malade!»⁵ — потом погладила меня по лбу и сказала, что он — как рыбе брюхо, мокрый и холодный. Сказала, чтобы я шел домой и вызвал врача — вид у меня больной, очень больной, и она за меня беспокоится. И это не было болтовней.

Я ее отшил, и кажется, грубовато. Чтобы монпарнасская шлюха — особенная такая, которая объявилась как воплощение моей вины, — испортила мне этот сладостный день? Я сказал ей какую-то грубость и бодренько зашагал по бульвару, приветствуя бутылкой бронзового старика Бальзака и посылая благослове-

⁵ Касс, ты болен! (Фр.)

ния окрестностям в целом. Но снижение уже началось. Я почувствовал себя... ну, мягко говоря, неважно. Видит бог, это было некстати... и не знаю, знакомая ли моя оказалась катализатором, только через несколько кварталов у меня началась морская болезнь. Морская или нет, а болен я был точно. Болен не первый месяц, только не знал этого — а от чего болен? Ну, от упомянутого пьянства, от пренебрежения телесной оболочкой, как назвал ее один оригинал, методистский проповедник, и в Париже, прости господи, в этом генеральном штабе мировой гастрономии, — от систематического, почти маниакального недоедания. Но болен я был, конечно, не только этим. Из моих болезней эта была самая легкая. А по-настоящему я был болен — отчаянием и отвращением к себе, жадностью, эгоизмом и злобой. Я был болен параличом духа, дряблостью, ячеством. Болен той болезнью, которой люди болеют в тюрьме, на необитаемом острове, короче, там, где серые, пасмурные дни тянутся дурной бесконечностью и никто не приходит ни с ключом, ни с ответом. Я был болен почти смертельно, и, если хотите знать, болезнь эта от лишения, а в лишении я был виноват сам; тогда я этого не понимал, но я окончательно лишился веры в то, что во мне есть хорошее. Хорошее, которое очень близко к богу. Это истинная правда.

И в довершение всего я был дураком, понимаете? Я думал, что это чудо, блаженство, покой, прозрение явились мне потому, что мне наконец дан ключ, потому что я гений, а гению стоит только подождать — и ему поднесут откровение на тарелочке. Но я ошибался. Я был дураком. Никакого откровения не было; были большие пьяные видения, в которых не больше истины и логики, чем в галлюцинациях какого-нибудь несчастного, старого голодного отшельника. Неудивительно, что в житиях святых описано так много видений. Хлещи себе подольше, изнуряя себя, голодай — тут даже чурбан начнет видеть архангелов, если не похуже. Но тогда я этого не знал. Не знал и, хоть убей, не мог понять, пока шел к Люксембургскому саду, откуда взялась эта слабость, головокружение, дурнота. И почему мой восторг пошел на убыль. Может, и проститутка сыграла свою роль. Но нет, чему быть, того не миновать; она, наверно, просто ускорила дело: понимаете, вина вспомнилась, вся эта грязь, затхлые простыни, поддельная шлюхина страсть и я в слюнях, — а Поппи в это время лежала дома и плакала.

Господи боже милостивый! Словом, когда я подошел к саду, мне уже было плохо. Меня прошиб холодный пот, меня пробирала дрожь, и, проходя мимо витрины, я увидел себя в зеркале: белый, как полотно, девка сказала правду. И в довершение всего, хуже всего — опять вернулась тревога... страх, ожидание чего-то ужасного. Помню, остановился перед входом в сад. Я основательно глотнул коньяку из бутылки и ждал подъема, ждал, что меня опять подкинет кверху; но напрасно — я падал и не понимал этого; расплата наступила, и я падал быстро. Ни черта не произошло: от коньяка мне стало только хуже. Но все равно рисовать я не раздумал. Я все еще хотел доказать себе, что я могу, что этот восторг, это безумное просветление не были обманом, липой. Ну, кое-как сманеврировал я в сад. Он был запружен солнцепоклонниками, и я стоял дождался, пока маленькая морщинистая сторожиха разыскивала для меня стул. Мне показалось, что она час рыскала. Знаете, в таком околдованном состоянии время удлиняется, тянется, как тянучка. Сидишь и маешься, ерзаешь и мучительно ждешь, когда произойдет следующее событие — только оно и может показать тебе, что ты еще жив и соприкасаешься с миром, а не утоп в вечном удушливом ужасе, — и кажется, ждешь этого события века, века. Я говорю, сторожиха как будто час ходила за стулом. А я стоял с пустотой в груди, слабый и перепуганный и трясся, как епископ с триппером. Когда она притащила его, у меня прямо от души отлегло, и уселся я так, как будто мне предложили трон.

И это было начало конца. Я сидел, свесив руку с бесполезным альбомом, и цепенящий ужас снова налетел на меня, как холодный шквал. В жизни не чувствовал себя таким потерянным, как тогда, на парижском солнышке. Я был как баржа, которую сорвало с якоря и несет в море, и вокруг рифы, а внизу черная пучина. Я хотел закричать, но у меня пропал голос. Возникло паническое желание удрать... хотелось бежать во все стороны сразу, но я знал, что, куда ни кинься, этот невообразимый, безымянный ужас погонится за мной, как бешеный волк. Люксембургский сад раскинулся вокруг меня пространством в де-

сятки световых лет... клянусь богом... а люди сделались далекими и не похожими на себя, как во сне. Я сидел, страх душил меня, и самым лучшим подарком, самым большим счастьем на земле было для меня запереться... одному... в крохотной темной комнатке.

И я знал, где эта комната. Дома, на той улочке, откуда я пришел, — и я знал, что если срочно, в ближайшие минуты не вернусь туда, не спрячусь в темноте, за ее надежными стенами, ужас раздавит меня, я сойду с ума прямо сейчас, в это мирное воскресенье, прямо здесь, в Люксембургском саду, заору и завою, начну лупить людей по головам или, того хуже, поскачу по улице, взберусь на церковь Сен-Сюльпис и брошусь на мостовую. И вот я встал со стула — стараясь не шататься, потому что люди все время смотрели на меня... ну, с любопытством, — добрался до ворот и побежал. Не быстро и не медленно — ровной, упорной рысью, по тротуарам, через улицы, под красный свет, под носом у машин, и все время приговаривал, твердил себе вполголоса: если перестану бежать, я пропал, я боюсь, мне страшно, как ни разу в жизни, но если я буду бежать и добегу до дома, я, может быть, уцелею. Помню, когда бежал через бульвар Распай, увидел полицейского, он закричал, как будто принял меня за вора, а я подумал: еще стрелять начнет, чего доброго, — но все равно продолжал бежать и уговаривать себя, и он отстал. Потом в каком-то переулке возле авеню де Мэн две девочки играли со скакалкой, я налетел на них, зацепился ногой за веревку, чуть не упал, но удержался, даже с шагу почти не сбился, и побежал дальше в поту и ужасе. Наконец я очутился на своей улице, потом перед парадным, взбежал по лестнице, прыгая через ступеньку, и ворвался в мастерскую, разинув рот в беззвучном крике, как химера. Потом спустил повсюду жалюзи — не знаю даже, как я с ними совладал, — закрылся от улицы, от света, лег в постель, с головой залез под одеяло — и трясся и скулил там, словно одинокая старуха, которой почудилось, что кто-то ломится в дом...

Он отошел от окна, уселся и раскурил сигару.

— Ну вот, я лежал, дрожал и плакал про себя. Но все-таки мне полегчало: по крайней мере, я был дома, я был в темноте, я вернулся в утробу. Страх немного утих, и я заснул, накрывшись с головой. Неприглядная картинка, а? — этот тритон, эта потная гусеница в душном забытьи?

— Да что вы себя грызете? — сказал я с искренним раздражением. — Ведь все быльем поросло.

— Вы правы, — сказал он. — В общем, я уснул. Только я не спал. Я сидел в машине с дядей, и мы ехали по улице в Рали, он вез меня в тюрьму штата. Чудно — я так ясно помню подробности, как будто это случилось на самом деле. Он вез меня на машине в тюрьму штата. Я видел впереди высокую каменную стену со сторожевыми вышками. И помню свое отчаяние — я не мог сообразить, какое мной совершено злодеяние, знал только, что оно чудовищное — хуже изнасилования, убийства, измены, похищения ребенка, — какое-то гнусное и неведомое преступление, и приговорен я не к смерти и не к пожизненному заключению, а к неопределенному сроку, который может оказаться и несколькими часами и десятилетиями. Или веками. И помню, дядя спокойно и ласково говорил мне, чтобы я не волновался, он знает губернатора — помню, он называл его Мэлом Бротомом, — он свяжется с Мэлом, и через два часа, самое большее, меня освободят. Но когда дядя остановил машину у ворот и мы распрощались, когда я вошел в ворота и они с лязгом захлопнулись за мной, я понял, что дядя уже предал меня или забыл и я буду гнить в тюрьме до скончания века. И что еще странно — поскольку к тому времени я давно избавился (или думал, что избавился) от такого рода предрассудков, — едва ворота захлопнулись за мной, как новая мысль наполнила меня отчаянием, почти таким же сильным, как от дядиного предательства: что больше половины заключенных здесь негры и остаток дней я проведу среди негров. Но потом сон переключился — знаете, как бывает в снах, — и начался настоящий ужас: не из-за негров, хотя их там оказалось много, а из-за моего преступления, которое мучило меня неотвязно. Я уже был в тюремной одежде, а заключенные окружили меня, показывали на меня пальцами, насмехались, смотрели на меня с ненавистью и отвращением и всячески обзывали; потом один сказал: «За такое дело его надо в газовую камеру!» Тогда остальные закричали и заорали: «Газануть его! Газануть его, сволочь такую!» Только

надзиратели не подпустили их, но сами меня тоже ненавидели. А я все хотел заговорить, хотел спросить: что я сделал? за что меня сюда? в чем моя страшная вина? Но мой голос тонул в криках и ругани заключенных. Потом сон снова смазался, время растянулось до бесконечности, дни, месяцы, годы листались взад и вперед, а я все карабкался по нескончаемым стальным тюремным лестницам, проходил в лязгающие двери с ношей неназванной вины, с грузом неведомого преступления. А вокруг — не товарищи по несчастью, а только отвращение и ненависть таких же прокаженных. И, несмотря на все, жалкая, нелепая надежда, что как-нибудь, когда-нибудь дядя убедит губернатора отпустить меня. Потом сон опять переключился, и я услышал, как заключенные галдят: «Газануть его! Газануть его!» — и вдруг я уже раздет до черных трусов — так отправляют в газовую камеру в Северной Каролине — и рядом с надзирателем и с двумя священниками в сюртуках — один впереди, другой сзади — иду в комнату смерти. Знаете, даже человек вроде меня, сам себе устроивший из жизни ад, не может терпеть такой сон без конца. Я проснулся под одеялом, задыхаясь и вопя, как будто меня резали, а в мозгу еще дотлевала последняя картинка кошмара: мой дядя, мой добрый старый лысый дядя, заменивший мне отца, стоит в дверях камеры с тигельком синильной кислоты в руке и улыбается улыбкой Люцифера, черный, как ворон, в палаческом балахоне...

Касс замолчал и поежился словно от холода. Потом он долго ничего не говорил.

— Ну, я вскочил с кровати, разевая рот и цепляясь пальцами за воздух, дрожа всем телом. Не знаю, сколько я пролежал, но на улице уже была ночь. В щели жалюзи я видел зарево над вокзалом Монпарнас и вдалеке красные огоньки на Эйфелевой башне. Где-то на улице гремело радио, до сих пор его слышу: аплодисменты, смех, свист и оглушительный голос: «*Vous avez gagné soixante-dix mille francs!*»⁶. А я стоял посреди комнаты, дрожал и лязгал зубами, как будто у меня пляска святого Вита. И что-то хотел сказать — недоношенную молитву или хотя бы слово, — но не мог пошевелить губами, как будто всякий волевой импульс во мне был заморожен и парализован ужасом. В голове вертелась и вертелась одна мысль: выпить, выпить бы, только бы выпить, — но я знал, что бутылка брошена вместе с альбомом в Люксембургском саду. И не знал, что делать... опять задыхался от тревоги и страха, изнемогал под этой непосильной ношей, словно тяжкая эта пустота гнула меня к земле невидимыми руками. Потом я звал Поппи, но дома никого не было, и мне представилось, что все они умерли или утонули, лежат на дне Сены — я же сам велел им броситься туда. И тут впервые в жизни у меня возникло искреннее, жгучее желание умереть — понимаете, прямо физиологическое, — и я бы покончил с собой немедленно, но тот же сон, который привел меня к краю, тот же сон вдруг захлестнул мне горло и оттащил назад для продолжения пытки: не будет после смерти никакого забвения, понял я, а будет вечная тюрьма, и вечно буду топтать по серым стальным лестницам, и собратья-преступники будут издеваться надо мной за мое позорное преступление, а в конце меня ждет тигель с синильной кислотой, запах горького миндаля и удушье — и переход не в милосердную тьму, а в жаркую комнату с задернутыми шторами, где я снова встану, как сейчас, дрожа от смертного страха. И все сначала, раз за разом, как в супротивных зеркалах парикмахерской, множавших до бесконечности обличье моей вины. И тогда, лишившись выхода, лишившись всего, я подошел к кровати, снова залез под одеяло и спрятался от ночи.

А потом, позже, начался старый отвратительный сон, который я столько раз видел за свою жизнь, — водяные смерчи, бури, клокочущие вулканы.

Но тут обошлось без паники. Без криков, дрожи, пота, страха. Время было позднее. Наверно, за полночь, но Поппи с детьми не вернулась. Я знал, что они рано или поздно вернуться, ждал их. На улице было тихо, как в могиле, и зарево над вокзалом погасло. На улице слышались шаги, кто-то насвистывал «*La Vie en rose*»⁷. Потом раздался смех, девичий голос, потом шаги стали стихать, стихать, пропали вдалеке, и снова все смолкло. Я приготовился. Мускулы у меня

⁶ Вы выиграли семьдесят тысяч франков! (Фр.)

⁷ «Жизнь в розовом цвете» (Фр.).

были, как у медузы, язва разыгралась, но я не думал об этом и был трезв как стеклышко. Странно, пока готовился, я все время вспоминал газетные заголовки вроде такого: «Фермер зарубил семью, покончил с собой», — этот всегда стоял у меня перед глазами как живой: осатанелый, потный, косматый увалень с пеной на губах и выпученными глазами, как голубиные яйца, садит топором и кричит: «Блудницы содомские! Сатанинское отродье!» Крошит свое племя и семья, как капусту, а потом с последним призывом к Христу и ко всем святым быть свидетелями его несчастья берет двустволку двенадцатого калибра и картечью разносит себе череп. Я всегда думал, что картина эта, может, и правдоподобная, но моя, наверно, ближе к правде. Что человек, задумавший истребить своих дорогих и близких, может быть безумцем, а может и не быть: он может подчиняться холодной логике вечности, может видеть, как я, дикие манихейские сны, из которых явствует, что бог даже не ложь, а еще хуже, что он слабее зла, которое сам же создал и поселил в душе человека, что бог сам обречен, что небесный пейзаж вовсе не сплошное золото и пение, а темное пространство ужаса без конца и края. Такой человек знает правду и, зная ее, изберет самый лучший выход: стереть с лица земли всякий след, всякое напоминание о себе, всю свою грязь, свою любовь и напрасную надежду, свои жалкие создания и свою вину и распрощаться с аферисткой-жизнью. Он сделает это спокойно и собранно, потому что портачить здесь — себе дороже.

И вот что я сделал: я пошел и проверил газовую плиту, духовку и все четыре конфорки — открыл газ, потом закрыл. Газ шел хорошо. Этого хватит, этого будет достаточно, решил я. Потом сел на кровать. Я был совершенно спокоен и все рассчитал: когда они вернуться, прикинусь спящим, дам им уснуть, а под утро встану и все сделаю. А после покончу с собой. Потом подумал: а если не получится, если проснутся от удушья? Что может быть страшнее? Они должны умереть легко и быстро, как уснуть. Я опять встал, порылся в кладовой, нашел молоток и взял с собой в постель. Потом лежал на спине с открытыми глазами, ждал их и ни о чем не думал, колыхался на мягких, больших, неслышных волнах пустоты и одиночества — словно последний человек во вселенной. И ни с того ни с сего началось что-то странное: я как будто снова переживал старый кошмар, но не ту часть, которая рвала душу — не водяные смерчи, и вулканы, и гиблый берег, — а другую часть, хорошую, красивую, прежде скрытую, и меня как бы манило туда. Я видел южную страну, оливы, апельсины в цвету, девушек с веселыми черными глазами, зонтики, синюю воду. Там были величественные утесы, чайки над водой и какой-то карнавал или ярмарка: я слышал музыку карусели — ее брэнчание пронизывало меня восторгом — и слитный гомон голосов, я видел белозубые улыбки и — боже мой! — даже запах слышал, запах духов, сосен, апельсинового цвета, девушек, и это был один блаженный аромат покоя, мира, радости. А над всем этим — невнятный и неразборчивый, но подчинявший себе все девичий голос, голос какой-то южной Лореи, который звал меня. Иногда мне чудилось, будто я вижу все это место целиком, и какой-то голос подсказывал мне, что это Андалузия, потом другой — что это склоны Апеннин, потом — что Греция. Иногда я видел только маленькие яркие фрагменты, как цветные слайды на экране, и взгляд выхватывал то утесы, то чаек, то сияющее море, то девушек с цветами в волосах. Потом все проваливалось в черноту, и я ничего не видел — и вдруг возвращалось наводнением красок, синих, красных, вишневых, ярко-зеленых, меня снова звал голос девушки, и во сне я стонал от наслаждения и знал, что должен туда поехать. Наконец посреди всего этого я услышал какой-то щелчок. Я проснулся. Открыл глаза: на улице был день. Жалюзи были подняты, на стенах лежали прозрачные зеленые тени виноградных листьев. Пахло хлебом; кто-то выпустил во двор пугая, и он болтал без умолку.

Ну, я был слаб, как новорожденный мышонок. И голоден! Готов был съесть пласт асфальта. Я даже не слез, а вроде как скатился с кровати, постоял, поморгал и тихо пошел в другую комнату, где спали Поппи с маленьким, Фелиция и Тимоти. Они не проснулись. Я пошел в ванную; на стульчаке в ночной рубашке сидела Пегги и читала комиксы. Она подняла голову, улыбнулась мне и сказала: «Здравствуй, папа», я тоже хотел что-то сказать, но не мог произнести ни звука. Тогда я повернулся и пошел в спальню. Присел возле кровати и осторожно

притянул к себе Поппи. Лицо у нее было мягкое, теплое, влажное и... ну, скажочное. Она тихо проснулась, открыла глаза, моргнула, потом зажмурилась, потом опять открыла, моргнула, зевнула и наконец сказала: «Касс Кинсолвинг, если ты не подстрижешься, я тебе выправлю собачий паспорт!» Я ничего не говорил, только сидел с закрытыми глазами, прижавшись щекой к ее подушке. Потом она сказала сонно, ласково, без всякой обиды: «Что, миленький, сегодня тебе легче? Вчера ты покапризничал. Тебе легче?» Я ничего не говорил, только кусал губу и гладил ее через простыню по тоненьким хрупким ребрам. Потом она завозилась, приподнялась на кровати и сказала: «Ты не очень беспокоился, что нас вчера долго не было? Сколько времени? Мне надо вести Пегги к мессе». Потом: «Ой! Касс! Угадай, куда мы ходили. Мы ходили на птичий рынок и... угадай, что? Мы купили попугайчика! Чудесного попугайчика с зелеными и синими крылышками, и он умеет говорить только по-фламандски! Касс, это чудо, а не попугайчик! Ты знаешь что-нибудь по-фламандски?» Я не мог выдавить ни слова, но как-то все же справился с собой и сказал: «Поппи, радость моя, я думаю, мы отсюда уедем. Думаю, мы вполне можем переехать на юг». Но она меня не слышала, в ее стране чудес щебетали птицы, попугай, а я прижался головой к ее плечу и думал о вчерашнем дне, и о долгой ночи, и даже о Вернелл Сатерфилд, которая правильно сказала, что из меня вытек святой дух, и о том, что я должен вернуть его, если хочу спасти свою жизнь.

VI

На другой день Поппи заставила Касса пойти к врачу. Приемная помещалась в хорошем доме на правом берегу Сены, и врач, апатичный, дотошный австриец с наморщенным лбом, прослушал у Касса сердце, измерил давление, проверил уши, сделал просвечивание желудка и, осмотрев и ощупав его с головы до пят и выслушав несколько сокращенный рассказ о его последней вакханалии, сразу начал с сути. На удивительном французском, коверкая «г» и «р», он заявил, что, если не считать язвы, Касс здоров, как бык, но даже бык может сгубить свое здоровье, если вместо еды будет долго употреблять плохой коньяк. Неудивительно, что у него бывают периоды тревоги (Касс лишь приблизительно дал понять, насколько тяжелы эти периоды); как-никак сознание нельзя рассматривать в полном отрыве от тела. Растратишь свое состояние смолоду, будешь жалеть об этом всю жизнь. «Просьте пить!» — сказал он по-английски. И прописал двухмесячный курс полезных витаминов, легкое снотворное на неделю и новое лекарство про-бантин — от язвы, которая не внушает особых опасений. Когда Касс собрался уходить, австриец отбросил тяжеловесную официальность, повел себя непринужденнее и, взяв Касса за локоть, сказал ему: «Не валийте дурака, вы еще молоды». Визит обошелся в двадцать тысяч франков, дороже, чем в Америке; Касс почувствовал себя неприлично старым.

Остаток мая и начало лета Касс провел в режиме, который охарактеризовал потом как «скучную умеренность». Это было нелегко; он сам не ожидал, что у него хватит воли, однако выдержал — в основном — и вскоре ощутил, что к нему возвращается давно утраченное спокойствие и самообладание. Наказы доктора он выполнял почти (но не совсем) буквально. Витаминов он принял ровно четыре пилюли, после чего забыл о них, и они растаяли на полке в ванной, превратившись в клейкие штучки. Лекарство же от язвы он принимал аккуратно, и ноющие боли в животе прекратились; и, самое главное, он зарекся от дрянного коньяка. Перешел на вино. Конечно, это не вполне совпадало с предписаниями врача, но тут было гораздо легче регулировать дозу, и он еще мог видеть Париж в розовом романтическом цвете. Он опять начал есть. Начал работать — может быть, без особого воодушевления, ибо то, что стопорило его раньше, стопорило и теперь, но, по крайней мере, когда он брал кисть или карандаш, пальцы у него больше не тряслись от страха и отвращения. Мысли о геенне, которые дожимали его в ту ночь, он отбросил — не только как ношу, невыносимую для ума, но и как нечто маловероятное; он не мог вернуться к ним и не возвращался и только в минуты легкой задумчивости, которая иногда овладевала им, говорил себе, что если человек хочет видеть вещи в правильном свете, надо, чтобы его время от времени подтаскивали к краю бездны.

Да и держаться среди людей он стал совсем по-другому. Он уже ходил, а не спотыкался — и солнце светило ему на лоб, а не на затылок, как раньше. У него обострился вкус (характерный признак для исправившегося пьяницы), а также зрение: дети, которые долго были для него неясными светлыми пятнами, вдруг возникли перед ним веселые и красивые, как невеста откуда взявшийся пучок нарциссов. И вдруг оказалось, что он растроганно, сам себе удивляясь, тычется носом в их липкие щеки. Даже волосы у него стали блестящими. И хотя его состояние духа трудно было назвать восторженным («Я всегда с опаской относился к идютам, которым все время хочется обнять мир, — однажды сказал он, — и для себя не делаю исключения»), на душе у него было спокойно: утром, сидя в кафе за гренком и графином вина (легкая опохмелка), ясным и приветливым взглядом следя за воробьями на платане, за прохожими — стариками и юбками (юбки, всегда эти игривые, на выпуклом, юбки, удаляющиеся прочь!), — он ощущал в себе порой освобожденность, прилив жизни и почти не замечал, что облачко выгрызло край солнца, и в воздухе потянуло холодком, и что глаз его, остановившись на вдруг потемневшей стене кладбища Монпарнас, передает куда-то в глубь мозга смутное беспокойство и напоминание — слабенькое всего лишь напоминание — о прежнем страхе. Тогда он спрашивал себя, долго ли может продлиться этот покой.

И вот однажды утром в начале августа, когда он сидел и читал в кафе на бульваре Сен-Жермен (вспоминая об этом позже, Касс обнаружил стройнейшую логику во всей последовательности впечатлений — читал он как раз тот прекрасный хор из «Эдипа в Колоне», который начинался так:

«Странник, в лучший предел страны,
В край, конями прославленный,
К нам ты в белый пришел Колон.
Звонко здесь соловей поет
День и ночь, неизменный гость,
В дебрях рощи зеленой,
Скрытый под сенью
Плюща темнолистного
Иль в священной густой листве
Тысячеплодной» — и т. д.),

прямо над правым ухом у него раздался пронзительный голос; бессмысленный и в то же время полный смысла, он подействовал на его нервные окончания, как крупная терка, заставив вздернуть голову и выронить на пол том первый «Полного собрания греческой драмы» Оутса и О'Нила. «Не буду платить! — произнес этот голос с чистейшими интонациями американской степной глубинки. — Если вы думаете, что я уплачу за эй то семьсот франков, вы просто не в своем уме!» Касс оглянулся, и до него вдруг дошло, что, кроме напуганного официанта, который стоял подле клиентки, механически пожимая плечами, вокруг не видно ни одного француза. Как будто, погрузившись в Софокла, он не заметил, что злая волшебница заколдовала все заведение, перенесла его за море, на три тысячи километров. И хотя Касс понимал, что особенно изумляться тут нечему, он не мог побороть в себе суеверный страх, пока глаза его напрасно рыскали по кафе, пытаясь отыскать хотя бы одну галльскую физиономию. «Мама родная, — думал он, — я же в аптеке-закусочной». Его окружало море фотообъективов и рубаш, не заправленных в брюки; голоса соотечественников мучали слух, как гвалт скворцов на загородке. «Уиллард! — не унималась женщина. — Отчитай его! Да по-французски же!» «Нет, — подумал он, — на это и карикатуры не придумаешь». Неверной рукой он подобрал книгу, открыл:

«Здесь, небесной впоен росой,
Беспреданно цветет нарцисс —
Пышноцветный спокон веков
Превеликих богинь венец...»

Наверное, это было просто, как говорится, стечение обстоятельств — непонятно лишь, почему оно не произошло раньше: как громадный веселый дельфин

из черной пучины, на поверхность сознания вырвался тот сон — синее южное море, карусель, черноглазые девушки — уже не надежда, не обещание, а скорее приказ, призыв. И вся недолга: почему, радостно подумал он, почему я до сих пор не уехал? Расплатившись за вино, он встал и подошел к некультурной чете из Барабу или еще откуда-то.

— Простите, мадам, — сказал он без злости, а даже учтиво, с нежными каролинскими интонациями, натянув берет на самую бровь, — когда мы в гостях, мы не кричим. Мы ни в коем случае не о р е м.

Глаза у нее сделались как плоски; толкни ее мизинцем — и она свалится.

— Никогда в жизни со мной... Уиллард!

Но Касс, круто повернувшись, уже выскочил на бульвар и мчался домой сказать Поппи, что они отбывают на солнечный юг.

— Город полон американцев! — закричал он. — Ступай на Сен-Жермен, убедись сама. Галантерейщики, гробовщики, м а т р о н ы! Всевозможная сволочь. Господи боже милостивый! Погляди на них, Поппи! Надо бежать отсюда! Едем в Италию!

Поппи была убита. Во Франции она все время тосковала по Америке, по песчаным берегам Делавэра, по дому, по маме; но она привыкла и даже привязалась к Парижу, о чем Касс прекрасно знал, — и его предложение, а вернее требование, вызвало целый поток слез.

— Только-только мне стало здесь нравиться! — хныкала она. — И немножко научилась по-французски, и вообще, а ты срываешь нас с места и хочешь везти детей неизвестно куда! — Она стала пунцовой; Касс не видел ее в таком горе с тех пор, как умер ее отец. — Ну почему, Касс! — взмолилась она. — Если нам надо куда-то ехать, почему не домой, не в Америку? Почему, Касс? Ну почему ты такой антиамериканец?

— Потому! — бушевал он, несколько разгоряченный вином. — Потому... Хочешь знать почему? Потому что в этой стране душа может отравиться от одного только уродства. Потому что вся Америка похожа на переулочек за автобусной станцией в городе Покипси, штат Нью-Йорк! Господи помилуй! Неужели надо все объяснять сначала? Потому что, когда я думаю о Штатах, я вижу только переулочек в Покипси, Нью-Йорк, — я заблудился там, когда шел к тебе, — и от одной мысли об этом уродстве меня охватывает такое отчаяние, так корежит всего от боли, что я готов плакать. Или ты хочешь, чтобы я тоже заплакал?

— Нет, — сказала она, вытирая глаза, — но, правда, Касс, ты же сам знаешь, что там не везде так. Ты же сам говорил...

— Не надо этих сомнительных цитат! Что бы я ни говорил... з а с л о н я я с ь от этого ужаса, который нагоняет на меня Америка, забудь мои слова, забудь! Я просто расчувствовался. Слышишь, — начал импровизировать он, — я там увидел женщину из Расина, Висконсин... из Расина, какая ирония! И у нее большой, зобатый муж Уиллард, прямо с карикатуры Домье, которая называется «Monsieur Pot-de-Naz», и когда я посмотрел этой женщине в глаза, клянусь тебе, Поппи, у нее там были два долларовых знака, словно под глазурью — двойной блестящий символ скудости, продажности и алчности. И...

— Перестань, Касс! — крикнула Поппи. — Ты сам говорил, что французы — чуть ли не самые жадные люди на свете! Откуда у тебя эти... эти предрассудки! Я сама видела американцев в Париже. Ничего в них особенно плохого. И среди французов попадаются такие противные и жадные, что хуже некоторых американцев. Это у тебя предрассудок, и больше ничего. По-моему, просто грех иметь такие предрассудки против своих!

— С в о и х? Ничего себе свои! Эти жуткие... эти м а к а к и — мне свои? Мадам Уиллард — своя? Эта грубая бабища с тыквой вместо лица, эта бюргерша? Черт возьми, Поппи, иногда ты просто невыносима! Послушай, что ты говоришь! Японский бог! Ты в своем уме? Все вы такие, ирландские католики, черт бы вас побрал! Она говорит о предрассудках! Вы бич и позор человеческого рода! Все ваше жалкое племя! — Он поймал себя на том, что по-учительски грозит ей пальцем. — Суеверное неумытое мужичье, вы, как чума, налетели на Соединенные Штаты, когда они могли еще стать великой страной, когда у них была надежда на славное будущее, — и с вашим муниципальным ворьем, с вашими лицемерными попами и епископами и прочими гнусными шаманами помогли

презрять их в то, чем они стали, — в вавилонскую башню невежества, подлого материализма и безобразия! Бельмо на глазу у господ! Пьяницы, толстозадые полисмены, холуи при политиках, безмозглая шушера! День святого Патрика в Нью-Йорке! Господи помилуй! Целый город во власти мусорщиков и буфетчиков! А ваша религия! Елейная, ханжеская, топорная религия! Да за один плевков Ван Гога я отдал бы целый пук удостоверенных волос из бороды святого вашего Патрика! Что вы знаете о боге! Что вы...

— Не тронь мою религию, Касс Кинсолвинг! — взвизгнула она. — Счастье, что тебя не слышат дети! Мой прадедущка умирал от голода! Ирландцы приехали в Америку нищими! Им пришлось бороться с вашими предрассудками! Еще о пьяницах говоришь, пьяница. В жизни не видела такого несчастного человека! Может, — со слезами сказала она, поворачиваясь к двери, — может, если бы ты хоть прикоснулся к этой религии, ты бы не был таким несчастным. Может, пил бы поменьше, и работал бы, и не мучил себя все время. Может, — бросила она через плечо, шагая к выходу, — может, и людей, которые тебя любят, сделал бы немного счастливее! Правду тебе говорю. — Хлоп! — Может, — высунув красное личико из-за двери, — может, понял бы, что Америка замечательная страна, и ты не имеешь права критиковать ее за...

— Нет я имею право, черт возьми! — закричал он с надрывом. — Я чуть не погиб за нее! Я сгноил за нее в джунглях половину моих мозгов, мой покой и волю. Если у меня нет права критиковать, у кого же оно есть? А что до бедности ирландской, итальянцы были не богаче! И евреи! Но у них хватило души и человечности, чтобы...

— Ну тебя к свиньям! — Хлоп!

С т ы д н о. Ему было мучительно стыдно. Зачем он так говорил с Поппи? На сердце кошки скребли. Он раскаивался; в голове зародились картины, рожденные виноватым страхом. (Ломая руки, думал: «А если с ней что-то случится? Попадет под грузовик. Господи, я люблю ее».) Но поскольку подобные сцены происходили уже много раз, поскольку в сотнях домашних батاليон он задул, выработал иммунитет против чрезмерно острого ощущения вины, он пережил этот стыд довольно легко и постарался забыть о разговоре. Позже, когда Поппи привела ребят с детской площадки, произошло тихое примирение. А еще позже, ночью, в постели, Поппи сказала:

— Касс, милый, знаешь, как я тебя люблю? Я поеду с тобой куда хочешь. — И погладила его по животу. — У тебя не болит, милый?

— Чем это у нас пахнет?

— Ой, — сонным голосом. — Фелиция обкакалась, а я оставила штанишки на...

— Гос-споди.

— Я встану...

— Не надо. Не надо, Поппи. Лежи, маленькая.

Она была как хорошенький ребенок. Он очень любил ее — по-своему — и думал порой, что самое большое его мучение в том, что он причиняет мучения ей. А как он мог ей объяснить, что бежит на юг не от американской чумы, а повинуюсь наивной, но непобедимо соблазнительной фантазии? Он попробовал объяснить — про себя, — но не смог и уснул.

На другое утро он пересчитал деньги, получил по чекам у разговорчивого еврея возле ратуши и начал собираться в дорогу. Сколько барахла скапливается в семье за год! Неумело рассовывая по чемоданам вещи, он составил маршрут. Сперва он угостит Поппи Ривьерой — это вовсе не из сна, но все же юг, — потом в Италию почти все равно куда...

Где-то на левом склоне долины Роны, у железной дороги, ведущей на юг, к Лазурному берегу, есть одинокая скромная могила. Обозначена она молодым дубком, пересаженным сюда из недалекого места; теперь, может быть, и дубок засох, или его повалило бурей, так что разыскивающий останки не найдет здесь ничего, кроме клочка ненормально высокой травы, кроме ветра, солнечного света и унылых, облитых солнцем утесов вдали, стоящих в карауле над ложем незапамятного паводка. Впрочем, Касс запомнил там еще корявую яблоню и заскорузлую изгородь, и, ориентируясь по зеленой солдатской шеренге тополей,

выстроившихся на горизонте, он мог бы и теперь, если бы захотел, найти печальную, позабытую могилу. Это было к югу от Лиона, не доезжая Валанса: здесь по неизвестной причине поезд остановился на час — и все они высадились из душного гулкого купе третьего класса, чтобы похоронить Урсулу, попугайчика, который говорил по-фламандски. Кончина была поразительно скорой. С того момента, когда в прохваченном сквозняками Лионском вокзале Урсула вдруг оборвала свои пронзительные, бодрые разглагольствования, вздрогнула, засуетилась, закивала головой и со старческой ворчливой жалобой забилась вянущим зеленым листом в угол клетки, где перья ее слиплись, поредели, потускнели прямо на глазах, и до того момента, когда она, сухо закашлявшись, испустила дух и пыльной тряпочкой упала с насеста на пол — «не попрощавшись даже», как сказала Пегги, наименее сентиментальная из них, — прошло никак не больше двух часов. Касс увидел в этом дурное предзнаменование. Вагон огласился жалобным ревом Тимоти и Фелиции; даже Пегги, старшая, горевала, даже он. Младенец в корзине присоединился к всеобщему воплю, а Поппи — Поппи была хуже всех, слезы лились у нее безостановочно, она старалась сдержаться перед детьми, слизывала слезы с дрожащих губ и, будто надеясь отвести горе словами, повторяла соседке по купе, растерянной и потной деревенской женщине, что *pauc' petit perroquet*⁸ по крайней мере прожил «очень счастливую жизнь».

Смятение, горе, шум стали почти нестерпимыми. Мечтая о глотке чего-нибудь крепкого, ненавидя обретенную в тяжких борениях самодисциплину, удрученный жизнью, в которой случаются такие невыносимые минуты, когда помочь способен только эликсир, в свою очередь невыносимый, Касс накинуд саван на клетку попугайчика (попугайчик был из породы длиннохвостых), крикнул плакальщикам, чтобы они прекратили рев, и, накрыв голову подушкой, лег спать. Но мысль о дурном предзнаменовании не оставляла его и во сне. Когда поезд остановился и Касс узнал от проводника, что стоянка будет долгой, вся семья вышла на луг. Был ясный южный день, знойный и безоблачный, ослепительно голубой; в кустах беспокойно жужжали насекомые. Поппи несла еще теплую Урсулу в зеленой тряпице, которой накрывали клетку. Роли на похоронах распределились сами собой: Поппи выступала как мать Урсулы, Тимоти был ее верным мужем, Фелиция — младшей сестрой; Пегги, как всегда державшаяся немного отстраненно (она не могла простить попугаю, что он ущипнул ее два месяца назад), назвалась «просто другом, другом птиц», а сам Касс, правда не по своей воле, стал и могильщиком и священником. «Ну как я могу быть священником, черт возьми?» — спросил он у Поппи. «Можешь, — сказала она, — для попугая». С трудом выковыривая камнем ямку в земле, Касс думал о том, до какой отвратительной придурковатости — если не кощунства — способна Поппи поэтизировать свою веру. — но священником был назначен и священником стал и прочел заупокойную молитву по ее молитвеннику с транскрибированной латынью, между тем как сама Поппи и дети стояли, склонив головы, а скучающие пассажиры, обмахиваясь кто чем, глазели на них в безмолвном смятении. Похороны подошли к концу. Все бросили в могилу по горсти пыли. Касс пересадил деревце, Поппи сорвала для Фелиции василек, и Фелиция по-сестрински — ей тогда было два года — взяла его в рот. Прощай, Урсула, *adieu cher oiseau*⁹, прощай, прощай... Касс был рад избавиться от болтливой птицы. Но когда процессия направилась к вагону, он подумал, что, несмотря на слащавость сцены, в ней было что-то трогательное: его дети, все как один хорошие католики, которых ждет спасение, стояли, опустив головы, среди полевых цветов, такие же чистенькие и нежные. Именно тогда, по дороге к вагону, вспоминал он впоследствии, Пегги оступилась, привалилась к нему, и он увидел, что глаза у нее больные, а щеки лихорадочно горят. Не зря было это предзнаменование. Орнитоз! — подумал он. Чудовищная птица! Попугайная лихорадка, смертельная для человека! Господи боже!

В диагнозе он ошибся, но девочка была страшно больна, и он не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь в жизни ему было так тяжело. Портовый город Тулон, куда они прибыли через несколько мучительных часов, по величине и виду почти не отличался от Норфолка в Виргинии, являя глазу такую же непригляд-

⁸ Бедный попугайчик (фр.).

⁹ Прощай, милая птичка (фр.).

ную зазубренную панораму кранов и доков, такую же маслянистую гавань и суету приморского кочевья. Не то место, куда приезжают отдыхать и любоваться окрестностями или привозят больного ребенка, — а Пегги, как они поняли с самого начала, была больна, тяжелее некуда. Ее рвало по всему вагону, ее бил озноб, красивые светлые волосы прилипли ко лбу и шее, и, раньше чем поезд успел одолеть триста с лишним километров душного Прованса, она забылась в бреду. Сдуру, в панике, вместо того чтобы отправиться прямо в больницу, они поехали в гостиницу — казарменного вида здание с пальмами в кадках, навевавшее мысли о коммивояжерах и случайных связях. За дикую цену («La saison, vous savez»¹⁰, — пояснил администратор, словно Тулон был курортом) они сняли два смежных номера и в один поместили младших детей, а сами с Пегги заняли другой. И тут в сумерках прямо у них на глазах лицо мокрой и растрепанной девочки стало ярко-малиновым, все, кроме треугольника между носом и ртом, который был белым, как мел, и сделал ее похожей на клоуна. «C'est la scarlatine»¹¹, — сказал приятный молодой врач, только взглянув на ребенка. Потом он объяснил, что случай, судя по всему, крайне тяжелый, и велел везти ее в больницу. Несмотря на суматоху, администратору все же удалось найти какую-то серьезную пожилую женщину, чтобы присмотрела за детьми, и тогда Касс и Поппи, осунувшиеся, несчастные, молча завернули Пегги в одеяло и помчались по засаженным пальмами улицам на такси, которое вел отзывчивый и усердный маньяк. Иногда жизнь, думал Касс, держа на руках горячее тело дочери, иногда жизнь бывает страшнее войны. В гулком, пропахшем карболкой больничном коридоре, по которому с мрачной таинственностью бесшумно сновали монашки в кремовых балахонах, Касс и Поппи прождали до утра. Они не обменялись ни словом. На рассвете вышел усталый и хмурый врач. Пенициллин на нее слабо действует. Впрочем, об этом еще рано говорить. Езжайте домой, отдохните. Возвращайтесь к десяти часам. На лице у пожилой няньки, которая стерегла младших, написана была такая тревога и испуг, что оно напоминало маску. «Les autres aussi, — прошептала она. — Ils' ont la fièvre!»¹² Скарлатина, будь она проклята!

В десять часов утра, оставив Поппи с детьми (за это время у них побывал еще один врач, тоже с пенициллином), он опять поехал в больницу. Там ему сообщили, что у девочки судороги; ей сделали пункцию, она показала страшное осложнение; в самих словах Кассу послышалось что-то позорное и роковое: стрептококковый менингит. Нередкое осложнение в особенно тяжелых случаях, сказал врач. Касс тихонько вошел в палату и поглядел на дочь: она, казалось, едва дышала, а в пылавшем лице под краснотой проступало что-то восковое. «Ой, детка, не надо», — прошептал он. Прогноз, le pronostique, увы, сказал врач (и впрямь ведь плечамижимают, лягушатники!), прогноз никак нельзя назвать благоприятным.

Касс вышел на жаркую улицу с сухим, ржавым привкусом страха во рту, с ощущением смертельного холода в костях и мышцах. В глазах была резь после бессонной ночи, и он сам не понял, как очутился возле шумного пирса, где в воздухе носилась мелкая скрипучая пыль и ветер пах солью и бензином, а молоток невидимого клепальщика всаживал в барабанные перепонки одну за другой пули чистого грохота. Впоследствии Касс рассудил, что, не будь он так измотан, растерян, ошарашен, ему и положение не представилось бы таким безнадежным; но тут как будто все на свете сговорилось внушить ему одну мысль: «Мои дети умрут. Все мои сыновья и дочери». Безысходность этой мысли была уже за пределами горя. И, сколько ни пытался, он не мог прогнать, отбросить от себя один образ: Пегги, его первеница, из милых самая милая и самая лучшая, со спутанными кудряшками на лбу, поднимала к нему личико и всегда целовала таким манером — хватала его за уши и поворачивала лицо к себе, словно голова обожающего папочки была кувшином. Отгоняя это невыносимое видение, он поднял глаза к небу: два реактивных самолета с ревом пронесли над гаванью, едва не задевая крыши и пароходы, и пропали. Обожающего! Конечно, он их обожал, но занят был безраздельно собой; а не с т о я щ е й любви много ли они видели? Ведь это Поппи, и только она, покупала им подарки,

¹⁰ Сезон, знаете ли (фр.).

¹¹ Скарлатина (фр.).

¹² Остальные тоже. У них жар (фр.)

следила за ними и ухаживала и безалаберно, как умела, учила их всему, что они знают, а он довольствовался тем, что трепал их по попкам, качал на колене и снисходительно улыбался их шалостям, воспринимая детей как нечто само собой разумеющееся. Видит бог, так ему и надо. Так ему и надо — за самодовольство. За дурацкое, ребяческое самодовольство. А что же еще? — отрывка воскресной школы, подспудное влияние набожной Поппи — и вот он благодушно уверовал, что переродился за последние месяцы, что его трезвость, более или менее приличное поведение смогут как-то искупить целые годы разгула, лени, никчемности, могут оплатить все бездарно убитое, безвозвратно пропавшее время, когда он пил, не желал работать, не делал того, что надо было сделать, и наоборот. Господи, с болью подумал он, вел себя, как паршивый католик. Индульгенцию себе купил! Надеялся избежать расплаты, нелепо и недостойно уповал на то, что дурное дело можно стереть, как мел со школьной доски, и аккуратноенько вписать вместо него благое дело. Забыл, что ли, в какой вере его воспитывали, запомнил, что бог вовсе не добрый и милостивый христианин, который не взыщет, как сказала бы Поппи, если честно покаешься, а несговорчивый, гневливый иудей с грязной бородой и горящими глазами, и в храпе ноздрей его — дым и адское пламя, и в голову Кассу он вбил закон так же, как вбивали бешеные лохматые пророки времен его детства, носившиеся по каролинским низовьям с банками краски и писавшие на каждом сарае, на каждом столбе яростное НЕ УБИЙ! НЕ УКРАДИ! Он догонит тебя, коли ты согрешил, а догонит — ты обречен. Вот и весь сказ. И хоть «отче!» вопи, хоть «грешен!», хоть головой об стенку бейся, он тебя догонит. И с тем же судейским гневом, который заставлял миллионы евреев трепетать перед одним лишь именем его, он выкроит тебе наказание по преступлению. Разве неправильно, думал Касс, что он, чья жизнь до сих пор была посвящена бессмысленному издевательству над собой, наполовину верит в бога — безжалостного садиста? Разве неправильно, что этот бог (не наблюдал ли он за мной злорадно в ту страшную ночь) занес над ним теперь карающую десницу и, как бы показывая свое недовольство тем, кто так неуклюже, бестолково, всеу домогался маленького бессмертия, отнимет все, что есть бессмертного на самом деле? Сыновей и дочерей! Пускай они красивы и нежны, как полевые цветочки, пускай они лишь мелкие пылинки в сиянии его солнца. Он и их достигнет. «Так заведи их! — услышал Касс свой яростный и покаянный шепот. — Заведи их! Заведи их!»

Потом он хотел напиться в портовой пивной, но почему-то не смог. Впоследствии, задним числом, он готов был признать, что спасли его от этого окончательного банкротства какие-то остатки внутренней честности. А в тот момент просто невыносимо было сознавать себя дезертиром: ощущая, что по какой-то таинственной, непостижимой логике он стал убийцей своих детей и что бог, кем бы он ни был, — бог, все время менявший форму и обличье в его душе, словно какой-то беспокойный фантом, — подстрекал его на это преступление, Касс шел в гостиницу, чтобы рассказать Поппи о дочери, и всю дорогу горько плакал. Вернее сказать, ревел в голос.

Но тем и увлекательна, между прочим, жизнь, что у самых страшных наших испытаний бывает иногда чудесный конец. Нет выхода! Все пропало! «Моя египтянка, я умираю!»¹³ А глядишь — уже сидим у камельна, и язык развязался, и лицо разрумянилось, и рассказываем, как выпутались из страшной передрыги; подробности ее еще свежи, но уже тускнеют. В данном случае дело кончилось тем, что через полтора суток дети пошли на поправку. Пегги после мощных вливаний пенициллина воспряла и во все горло требовала *la glace au chocolat*¹⁴, а у Тимоти и Фелиции, которых тоже накачали всемогущим лекарством — да и скарлатина у них была в легкой форме, — прошли и сыпь и жар, и к концу второго дня они уже вылезли из постелей и оглашали гостиничный коридор буйными криками. Маленький же благодаря врожденному иммунитету вообще не заболел. Пегги выздоравливала неделю, и за это время стало ясно, что болезнь пройдет без последствий; надо было еще заплатить по большим счетам, но через каких-нибудь десять дней все они уже хлопали

¹³ Шекспир, «Антоний и Клеопатра».

¹⁴ Шоколадное мороженое (фр.).

на себе комаров, сидя на каменистом пляже Иера, где сняли домик, — и вряд ли бы кто угадал (если бы не развешанные на веревке полотенца с надписью «Clinique de Provence Toulon»¹⁵), что семью потрепала болезнь. Поппи, мокрая, загорелая, лоснящаяся, в пестром бикини размером с повязку для глаза, кричала из пены: «Вон папа! Касс, иди с нами купаться!» Но Касс, в теннисных туфлях и мешковатом бумажном свитере, досадуя на грибок, который умудрился подцепить неизвестно где, и посасывая лакричную конфету, которая вкусом напоминала перно и тем заменяла выпивку, удалялся в дом. Из всей семьи лишь он оставался серьезным, задумчивым, тихим...

«Здесь все похоже на Эстак в картинах Сезанна, — так начинается его запись в блокноте, помеченная пятницей, le 24 août¹⁶, — иначе говоря, яркий субтропический свет и такое буйное смешение зеленого и синего, что чувствуешь себя ОБЯЗАННЫМ любой ценой разгадать тайну, кроющуюся за этим спектром. Но не могу пошевелить рукой. (Интересно, en passant¹⁷, что этот дневник или журнал, или как его там, идет циклами, то есть это первая запись за долгое время, с тех пор как в Париже паралич и непроходимость донимали не хуже теперешнего.) Вчера вооружился орудиями ремесла и, почему-то забыв обычное малодушие, отправился один на пароме в Поркеролль, рассчитывая, что застаю в жимолости стайку спелых вакханок, партию найад (орф?) и русалок всевозможных мастей. Застал несколько сот торговцев «бьюнками» из Женеви, на конференции, в результате сел у моря на камень и крепко уснул. Это место — НЕ ИЗ США. Сон после Парижа не возвращался — видимо, не в меру поздоровел, требуются издерганные нервы и большая печень. Кажется, готов и на ЭТО, лишь бы как следует все разглядеть. Поппи и ребята довольны жизнью, как улитки, а я здесь чувствую себя все равно как в Дейтона-Бич, среди мотелей и прочего варварства. Французы на курорте по крикливости и вульгарной развязности превосходят все народы на свете, включая моих соотечественников на о. Кейп или в Миртл-Бич, Юж. Кар., — никогда бы не поверил. Впрочем, может быть, это лишь проекция того, что гложет меня с прежним усердием. Тем не менее надо подступить к П., спокойно, но твердо внушить ей, что единственное спасение для человека — Рим (ГОРОД), откуда она, в сущности, родом, и это может повлиять. Между тем изумляюсь и поражаюсь собственной силе воли vis a vis¹⁸ злодейскому зелью. Первые слабые проблески перерождения. Очень слабые. Глаза ясные, как призмы, нюх как у гончей, аппетиту позавидует целый свинарник, и о Леопольде уже три месяца ни слуху ни духу — хотя этому удивляться нечего, парижский коновал сказал, что при воздержании язва залечится мигом. До чего люто обостряются чувства! Берег вдалеке выгибается длинной белой дугой к Корсике, чайки носятся как лепестки в океане чистого аквамарина, а зелень, потрясающая, косматая, почти светящаяся, но, что удивительно, нежная зелень земли, которая окаймляет все это, превосходит всякое воображение. Настоящий Сезанн. Вернее, КИН-СОЛВИНГ, в мысленном представлении. Но почему-то радости в этом нет — РАДОСТЬ отсутствует, — и я не могу пошевелить рукой. У Поппи на плите парится что-то жуткое. Вижу, как она с детьми плещется в море. Из синей воды высоко выскочила рыба и блеснула ртутно. И какая-то дымка, вороватая, не сразу заметная, обволакивает все — берег, пышную зелень, лепестки чаек — и делает слегка нечетким (как у Тёрнера Венеция) и тусклым весь пейзаж, включая паром, который корытом уплывает в море, пятная небо черным дымом. Потрясающе! Не могу пошевелить рукой. Помню, прочел где-то — у Монтеня? — что человек не должен преследовать никакой другой цели кроме той, которая дарит ему самую большую бескорыстную радость. Вот и выходит, что я полумный. По крайней мере, я понял это — в некотором роде, — так что невежество тут ни при чем, как ни взгляни. Без всякой причины (воздух теплый? или же неисправимое мое свинство?) вдруг загорелось. За десять минут могу нарисовать двух гладеньких пятнадцатилетних за этим делом так, что у самого

¹⁵ Клиника провинции Тулон (фр.).

¹⁶ 24 августа (фр.).

¹⁷ Между прочим (фр.).

¹⁸ По отношению к (фр.).

матерого порнографа на Монмартре глаза вылезут. На худой конец, можно заняться этим. Но что-то меня останавливает. Мужаюсь. *L'après-midi d'un cra-
paud*¹⁹. В пустынной Академии наших душ с нами все же остается наше вождление. Кто это сказал?

(Позже. Сумерки.) *Peintre manqué*²⁰ вроде меня может по крайней мере попробовать вести дневник, как Делакруа, у которого это прекрасно получалось, притом что он был сказочный художник, или как Берлиоз, про которого кто-то сказал, что литературе он лучше послужил, чем музыке. Кто придумал, что художники косноязычны?? В общем, обоснование неплохое. В общем, ну его к черту. Чудно — сегодня, когда ехал на автобусе в город купить что-нибудь для моих гноющихся ног, пришло в голову, что меньше чем через неделю мне исполнится тридцать, и до чего это меня потрясло; хотя потрясаться тому, что тебе тридцать — пошлейшее дело на свете. *Dans le trentième an de mon age*²¹ и т. д. и т. д. Подумал: правду ли говорят, что если к тридцати годам потом, кровью и трудом ничего не достиг и успех не забрезжил, то никогда не достигнешь? Боюсь, это не так уж далеко от истины — особенно не в делах практических и коммерческих, то есть в искусстве, — но опять-таки ну его к черту. По крайней мере я вижу количество и качество того, чем обладаю, — загадочного отвращения к себе, такого жалкого и засасывающего, что Гитлер с Гиммлером позеленели бы от зависти, вижу достаточно ясно, чтобы держать это (грубо говоря) в границах разумного. Когда-нибудь, даст бог, доберусь до корня. А до тех пор постараюсь не слишком стыдиться этого, принимать с шуткой и терпеть, как терпел бы насморк, зная, что он на всю жизнь. Хотя, как сказал Монтень, это самое низменное чувство, какое может поразить человека. Никуда не денешься. Надо терпеть. (Тимми только что вбежал, вопя как резаный, сказал, что краб укусил его за нос. Я поцеловал рану, и она зажила, и он унесся, радостно сообщив, что у него есть крабы.) Сумерки здесь великолепные. Они как бы сообразны морю, которое похоже на тихое озеро и требует приглушенных прощаний и безмятежных концов; рассвет же — для океана и только для океана, которому требуется бурное начало и восход, похожий на трубный глас. Может быть, все — от воздуха, прозрачного, не совсем спокойного, или от уменьшения влажности в сумерки, не знаю. Краски же — образец или модель для импрессионизма, готовенькая, — неудивительно, что они так писали. Все сплавлено, небо уже как смоль и обрызгано звездами, но они совсем не обособлены, тают, дышат, обживаются — и в прощальной ленте света над горизонтом, и в воде, синей, поразительно синей в такой поздний час. Одно целое. А ближе — Поппи и дети на гальке, крошечные, еще играют и переключаются в сумерках. Будь я хотя бы половиной человека, я был бы достоин этого. Серьезно. Не верить ни в какое спасение, чтобы неверие лежало на твоей душе неподъемным гнетом, и при этом видеть, как сейчас (причем трезво), запечатленной в небесах и на недвижном песке такую красоту и великолепие, видеть, как носится по берегу твое потомство, беспечно, словно не существует ни времени, ни усталости, и все равно не верить — до чего тяжело, до чего тошно. Мне бы родиться где-нибудь в нью-йоркском предместье, в Скарсдейле каком-нибудь, и не знать никогда этого томления и жажды — сидел бы сейчас на Медисон-авеню, создавал этикетки для дезодоранта и не знал, не ведал бы, что такое это ледящее одиночество блудного сына. А тут — одна только жажда, смертельная жажда человека, который видит потоки студеной воды, сбегаящие с высоких Гималаев, за тысячи, тысячи и тысячи километров от самой безумной его мечты, — я душу продал бы за одну каплю. У Поппи, подлой нимфы, все это сложено и перевязано ленточкой, без всяких хлопот и метаний. Иногда думаю, что отношения у нас такие, какие должны быть у педераста, женатого на толкательнице ядра. Гармоническая дисгармония. Вчера я что-то сказал о наших тулонских несчастьях. Вскользь, между делом. Дети коричневые, здоровые, довольные, и я сказал: как чудесно, как замечательно — что-то в этом роде — и как ужасно было думать тогда, что все до одного умрут. Да

¹⁹ Послеполуденный отдых папана (фр.).

²⁰ Несостоявшийся художник (фр.).

²¹ На тридцатом году моей жизни (фр.).

ну, Касс, хмыкнула она, с чего ты взял? Я с самого начала знала, что они выздоровеют. А я спросил, откуда она знала. Она говорит: я ВЕРЮ, глупый. И тут я взвился — какого хрена тут верить, ты человеку обязана, Александру Флемингу, вот кто их спас, идиотка, пенициллин и на семьдесят пять тысяч франков медицинской obsługi, и взялись они не из веры в какое-то бесплотное газообразное позвоночное, в двуполоую, черт его знает, какую-то тройчатку, а от веры человека, пускай напрасной, но все равно веры, в собственную порядочность и трудное самоусовершенствование, оттого, что он не смирился со своей злосчастной долей, со своей казнью — сидеть на тлеющих углях, — куда он, между прочим, не просил его сажать. Не в ПРИВИДЕНИЕ, я ей говорю. А она — ноль внимания. Только зевнула и сказала, что я интеллектуальный хулиган — единственное ученое слово в ее лексиконе. И повторила твердо и решительно: я верила. Потом запустила насос — выдавила каплю молока из своей маленькой сиськи, дала ее Ники, повернулась на бок и уснула, кормя. Я крикнул: все бы умерли, если бы не это, — а она и не пошевелилась. Что тут сделаешь. Она отдает и любит, а я беру, и все тут.

(Позже. За полночь.) Тихо. Только комары, маяк мигает где-то на островах, а на востоке далекие зарницы, откуда-то из Италии идет гроза. Тихо так, что слышу тиканье своих часов. Дневник этот надо вести более или менее регулярно. Чудно, сегодня вечером, впервые после детства, вспомнил один дядин совет: если тебя что-то гложет, если тяжело на душе, пойди в лес и свали дерево. Замечательно, подумал я, когда ты мальчик, чист и невинен душой, когда на тебе благодать, — а когда тебе стукнуло тридцать и ты в пустыне, где нечего рубить, да и было бы что, так топора нет? Это мне напомнило, как я приехал после войны в Нью-Йорк, и бил копытом, и готов был наизнанку вывернуться, умереть, не знаю что сделать ради искусства — темный каролинский пентюх с соломой в волосах, — и это несмотря на четыре года в морской пехоте и т. д., и после всех трудов и стараний понял, что всем ровным счетом наплевать. Тот еврейский парень — Дорман? Дорфман? — тоже стоял под дождем на 14-й улице всклокоченный, весь в краске, с бешеными глазами и вопил: я ничего не хочу, хочу только отдавать себя, а эти слепые свиньи замечать не хотят, не то что брать, умрут, и следа от них не останется, так им и надо. Племя слепых ничтожествов, кричал он, а через три дня был найден в своей убогой квартирке, повесился на газовом счетчике. Не знаю, может быть, тогда и начался этот паралич. Не понимаю, что произошло. Может быть, мы с ними стоим друг друга, и вину надо разделить поровну. Охота спать. После ужина решил отведать виноградной водки: хуже не стало, добавить не захотелось, так что, может, я выправлюсь и когда-нибудь укреплю свой моральный фундамент — пусть не для вящей славы своей, так для блага тех более ласковых, и более чистых, и более милых, которые уже явились следом за мной. Так что завтра или послезавтра я скажу Поппи, что мы едем дальше, в Италию, где текут молочные реки в кисельных берегах, и мы погрузимся в какой-то нескорый поезд с толстоногими младенцами, апельсинowymi корками, мягкими шоколадками и резиновыми пупсиками и... поехали — высунувшись из всех окон — прощай, Франция, *adieu beau pays*, прощай, прекрасная земля...»

Флоренция, великолепием своим ранящая и устрашающая глаз, была слишком красива, чтобы остаться там надолго. К середине сентября Касс и компания жили уже в Риме, в сумрачной квартире, близнеца которой нетрудно найти в Бруклине, на виа Андреа Дориа, неподалеку от западной окраины города и, к радости Поппи, на малом пешеходном расстоянии от Ватикана, который владеет ее мыслями так, как Мекка не владеет мыслями самого ретивого мусульманина. Касса, балансировавшего на зыбком канате добропорядочности, бросало то в жар, то в холод: осанны новообретенному здоровью сменялись черной тоской, причину которой он не мог понять.

В Риме эта скачка с препятствиями, происходившая у Касса в голове, озадачивала и бесила его прежде всего тем, что, сколько бы он ни старался, как бы хитро ни делал ставки, он все равно оставался на бобах. Когда, например, усилием воли, или от отчаяния, или еще почему-то он заставил себя сыграть наверняка: бросял пить (ячичи бросял) и во многих других отношениях сделал

ся хорошим семьянином, устремясь к солнечному идеалу *mens sana*²² и т. д., от-вернулся от соблазнов ночной жизни, покончил с эротическими грезами и присту-пами самоубийственной хандры, стал чистить зубы дважды в день и чи-стить ботинки, стал употреблять листерин, чтобы не пахло изо рта, — все это принесло благие результаты, и самый главный заключался в том, что он стал функционировать как человек хотя бы в биологическом смысле. Вкус, зрение, слух — сладостные ощущения, которыми природа наградила самого неразви-того смертного, — вернулись к нему; воздух сочился солнечным светом, ноздри трепетали от давно забытых ароматов, и ему казалось, что так можно дожить и до мудрой старости. Но и у этого образа жизни были свои печальные изъяны. Самый важный заключался в том, что чем ближе он был к этому счастливому состоянию здорового индивида, свободно распоряжающегося всеми богоданными способностями, тем явственнее видел в себе приятного молодого человека со смутной улыбкой — эмоционального кастрата, потерявшего ту необходимую часть души, которая воспринимает мир страстно и безрассудно и которую надо будоражить, раздражать, доводить до белого каления, дабы сохранить зор-кость. И, если подумать, теория эта не была романтическим вымыслом: Касс, попросту говоря, оступел. Действительно, он преодолел апатию, овладевшую им на побережье в Иере, и впервые за год принялся работать всерьез; но работы его — и он видел это с мучительной ясностью — были вялыми, скучными, серыми, на всех лежала печать школярской, академической пустоты. Глаза у него по-прежнему были «ясные, как призмы», уши жадно ловили грубую музыку Рима. И Леопольда, его язва, вела себя пайнкой. Но, несомненно, есть на свете такая вещь, как чрезмерное благополучие: он чувствовал, что, прежде чем достигнуть какой-то там мудрой старости, можно запросто скончаться от здоровья, благих намерений и тупости.

Все это было понятно, но так же понятно было и то, что еще одного мно-гомесячного запоя вроде парижского, когда он дошел до ручки, ему не выдер-жать. Воспоминание о том последнем дне и последней ночи жило в нем как слабый отзвук кошмара; застывший миг красоты отпечатался в памяти ясно и отчетливо, но на нем лежала мрачная и пагубная тень, словно от призрачных крыльев злого духа. Одна мысль об этом вызывала у Касса дрожь. И так и так — он оставался на бобах.

Иногда, думал он, иногда мне кажется, что лучше было остаться в Нью-Йорке. Стал бы абстрактным экспрессионистом, курил бы марихуану — это полезней, чем пить, — и был бы везуном не хуже Эйзенхауэра. И ничем бы не пришлось за это платить, был бы модным как черт знает кто, в деньгах бы купался...

Но Рим зимой бывает сказочным. Правда, первое время очень не хватало денег, но в один прекрасный день на них свалилось богатство в виде выплаты по его солдатской страховке, и Касс купил с рук (едва ли первых) мотороллер и стал гонять по городу в шарфе и крагах, в запотевших очках, натянув берет на уши, чтобы уберечь их от тибрской сырости и туманов. В это время года американцы город не жаловали, и Касс был счастлив. Он повидал все, что видят туристы, и многое сверх этого. Когда надоедали галереи, церкви и развалины, Доменикино, Гвидо Рени, и Тьеполо, и сонмы меньших святых предшественни-ков, он сидел в кафе и барах, вглядывался в римские лица, прислушивался к разговорам и с печальной умеренностью пожилого священнослужителя при-губливал тепленькое белое вино. Римляне пробудили в нем общительность. Когда у него бывало хорошее настроение, он ходил в людные кафе в Трастевере, спорил там с буфетчиками, беседовал с учеными старушками-кошатницами, с высохшим старым вруном, завсегдаем одного бара, — по словам старика, он штурмовал ворота Сан-Панкрацио в отряде самого Гарибальди — и с компа-нией шумных молодых коммунистов, которые мечтали уехать в Америку, одна-ко полюбили Касса за то, что он ее ненавидит, и пели ему серенады. Таким образом он вполне сносно выучил итальянский, но в заслугу себе этого не ста-вил, ибо еще давно, во Франции, обнаружил, что языки ему даются легче лег-кого: иногда он с грустью думал, что это у него единственный настоящий дар.

²² Здоровый дух (в здоровом теле) (лат.).

Где он прочел, что талант многоязычия преобладает у больных психозами? Эта мысль порой внушала ему беспокойство. Когда настроение было похуже, а Поппи отправлялась с Пегги в школу или по-домашнему, как вошло у нее в привычку, навещала своих любимых святых и ходила со всем выводком из церкви в церковь, Касс оставался дома, курил сицилийские сигары, кряхтел и писал свои скучные картины. Иногда слушал проигрыватель, совсем уже осипший. Иногда читал Софокла, который неизменно смущал и расстраивал его и вызывал испарину на ладонях; чаще, чем хотел бы признаться, читал «Оджи», вернее — поскольку читать по-итальянски не умел — разглядывал картинки, облизываясь, подобно всем лицам мужского пола, кроме самых рассеянных, на Джину Лоллобриджиду, Сильвану Мангано и Софию Лорен, и обнаруживал новый источник наслаждений в фотографиях техасских смерчей и иллинойских убийств (*un triplice assassinio a Chicago*²³), накрытых кровавой простыней трупов. Иногда весь день спал. Иногда ничего не делал, только сидел и думал — с пересохшим ртом, неподвижный, одеревенелый, — пытался понять, что его гложет. Время от времени писал в свой дневник. С Поппи и детьми был ласков. Не причинял вреда ни себе, ни другим. Так он прожил в Риме семь месяцев.

Затем, в холодные и ветреные дни марта (на страстной неделе, запомнил Касс), произошло несколько неприятных событий, заставивших его вновь обратить свои взгляды на юг, в сторону Самбуко.

Случилось это вот как. Поппи, развившая большую религиозную активность во время великого поста (Касс иногда думал, что если она принесет в дом еще одну рыбу, то он ее, Поппи, удавит), на страстной неделе достигла предельного рвения; не зная устали она присутствовала на всевозможных мудреных службах, под проливным дождем выбегала на улицу, чтобы побывать на разных Остановках²⁴, или как их там, и на одной из них — где именно, Касс не узнал: в церкви ли Санта-Мария-Маджоре или же в той, где фреска Джотто, в Сан-Джованни-ин-Латерано, — она и повстречалась с американской парой, Маккейбами. Если бы просто повстречалась, размышлял потом Касс, это еще полбеды, и кто был повинен в состоявшемся знакомстве (застенчивая Поппи вряд ли; после Касс представлял себе, как в богомольной толчее толстопалый, губастый Маккейб с его курносый ирландским носом и «роллейфлексом» на груди внутренне востропел, когда его взгляд упал на сияющее благочестием личико Поппи), он так и не выяснил. Во всяком случае, разговор завязался. Поппи, сама невинность, прилипла к этим пилигримам, они — к ней, и она совершила грубую ошибку, приведя их домой. Они пришли под вечер; в воздухе висели молекулы дождя, серой измороси, и Касс, сам серый, как селедка, весь день размышлял об их шатком финансовом положении. Маккейб, разбитной мужик лет тридцати пяти, в макинтоше и кепке, беспрерывно улыбался. Он торговал (как тесен мир!) вином и ликеро-водочными изделиями в Минниоле, штат Нью-Йорк; о Поппи он говорил «наша малышка», а Касса называл приятелем. Его жена, непривлекательная молодая женщина, носила челку на лбу — должно быть, низковатом, — и звали ее Грейс. Кассу не верилось, что все это происходит с ним наяву.

— С чего тебе взбрело? — тихо спросил он у Поппи на кухне, пока она готовила ужин. — Да еще ест позвала!

— Извини меня, Касс, — решительно ответила она. — Они были очень милые и вообще. Купили мне *gelato*²⁵. Мы разговорились, и вид у них был такой грустный, знаешь, такой потерянный. Они милые. Кроме того, — печально добавила она, повернувшись к Кассу, — мы совсем не встречаемся с американцами... никогда!.. Я устала от этого, вот и все!

Бог свидетель, это правда, сокрушаясь (о Поппи), подумал Касс: за эти годы он так оторвался от родины, что если посчитать, сколькими словами на родном языке он перемолвился со своими соотечественниками вне семьи, то

²³ Тройное убийство в Чикаго.

²⁴ Остановки — обряд у католиков, воспроизводящий путь паломников от дома Пилата до Голгофы. Остановок на этом пути четырнадцать: 1. Христа приговаривают к смерти; 2. Христа заставляют нести свой крест; 3. Христос падает в первый раз — и т. д.

* Мороженое.

пальцев на руках и на ногах хватило бы. Тем не менее он не мог приравнять это лишение к мучительным Маккейбам.

— Черт возьми, это не повод, чтобы приволочь домой парочку ирландцев! Вдобавок из Минниолы...

— Хватит про ирландцев! — сказала она, и сбивалка для яиц задрожала в ее руке. — А я кто, а дети твои кто, наполовину, и вообще такого рариста, как ты, я не видала... Я...

— Почему не пригласила парочку сантехников и пяток масонов...

— Пригласила, и все, и замолчи!

За ужином — подана была жирная *merluzzo*²⁶ с макаронами — Маккейб, не замечая разбросанных по комнате холстов и тюбиков с красками, спросил у Касса, кто он «по специальности». Услышав ответ, он скорчил гримасу, ухмыльнулся, но ничего не сказал. В Вечном городе даже фарисей не смеет презирать искусство. Разговор, как и следовало ожидать, перешел на духовные аспекты текущего сезона.

— Отец Клири, — сказала Грейс, — знаете, мы с ним ехали сюда, так вот, он сказал, что его святейшество когда-нибудь, наверно, канонизируют. Во всяком случае, ходят такие слухи.

— Знаете, что такое слухи? — сказал Касс, вытаскивая изо рта рыбью кость. — Знаете, как их распускают? Слухи, толки. Звук и ярость, а смысла niente²⁷.

Была минута тишины, замирание, почти слышимое, вилок и ножей в воздухе. Когда Касс поднял глаза, Грейс с легким оттенком язвительности произнесла:

— По дороге сюда ваша жена нам сказала, что... э-э, вы не католик.

«Во, только этого мне не хватало». Грубость вертелась на языке, лезла на волю; он почти видел ее всю, вместе с кавычками, но до дела не дошло.

— Оченьне верно, — промямлил он вместо этого. — Не сподобился.

Внутренне кипя, он все-таки высидел ужин, только все время ковырял в зубах, беспокойно отлучался в туалет или, погрузившись в мысли, рассеянно чертил ложкой закорючки на скатерти, между тем как за столом мотали клубок пустой болтовни: о папе Пие, которого Маккейбы надеялись увидеть на аудиенции, о кардинале Спеллмане, который вовсе не так толст — широк, по выражению Грейс, — как изображают фотографии. Поппи была захвачена этими новостями, но тоже утерла нос Маккейбам — тем, что уже побывала на аудиенции у папы («Близко-близко»), — и у нее была минута скромного триумфа, когда по просьбе трепещущей Грейс она описывала его святейшество — руки, форму носа, размеры перстня или перстней; «Замечательный, прекрасный человек», — сказала она, блестя глазами и сбиваясь на выговор дедов.

— Прошу прощения, — вдруг вставил Касс. Старая несуразница так и вертелась в голове, так и просилась на язык. — А знаете, как, — сказал он, уже заливаясь смехом, — знаете, как зовут Спеллмана кардиналы в Ватикане?

— Нет, а как? — сказала Грейс. — К а р д и н а л С п е л л м а н.

— Догадайтесь.

— Правда, не могу догадаться, — сказала она, с надеждой глядя на него.

— Шер... — Смех разбирал его так, что он уже не мог говорить. — Шер... — Вдавливая лоб в ладони, он всхлипывал и корчился от хохота. — Шер... Ой, не могу. Шерли Темпл²⁸!

— Касс! — вскрикнула Поппи.

— Нет, серьезно! — Он хихикал, глядя на скандализованную Грейс. — Прилетает из США, понимаете, на «Супер Констеллейшне»...

— Касс! — сказала Поппи.

— Нет, серьезно! Учтите, мне это священник сказал. Прилетает он в Чампино, и по Ватикану разносится весть: «*Shirley Temple è arrivata!*»²⁹.

— Касс!

²⁶ Треска.

²⁷ Нету.

²⁸ Шерли Темпл — американская актриса.

²⁹ Шерли Темпл приехала!

— Ха-ха-ха! — За столом раздался хохот. Касс вздрогнул и увидел, что Маккейб, разинув рот в точности, как он сам, беспомощно трясется от смеха. — Это потрясающе! — сказал Маккейб, вытирая глаза. — Шерли Темпл, это обалдены Грейс, ты слыхала? — Он простонал, что мечтает рассказать это Биллу Харли.

— По-моему, это совсем не смешно, — отрезала Грейс.

Именно тут, вспоминая потом Касс, вечеринка круто повернула в лучшую сторону: правда, когда был кончен бал, когда погасли свечи, оказалось, что поворот был обманчивым и только убаюкал Касса, увлек в ловушку, поверг в душевную сумятицу, из которой он долго не мог выбраться. Однако в ту минуту (кто же знает, как может отыгаться всего лишь одна грубоватая шутка!) он наслаждался: одобрительный смех Маккейба превратил его из поглощенного собой угрюмца в талантливую шуту. Что же до самого Маккейба, который мотал головой и расслабленно повизгивал от смеха, он уже виделся Кассу в новом, более благоприятном свете. Что он балбес, это само собой; но оттого, что он мог смеяться, не обращая внимания на претенциозную и нудную набожность жены, образ его почему-то приобрел более определенные очертания... Касс почувствовал симпатию к гостю, несмотря на «приятеля» и прочее.

— Только между нами, — сказал Маккейб после обеда, когда Поппи и Грейс мыли посуду — Я честный католик и все такое, но не до обалдения, понимаете? Рим, конечно, замечательный, что и говорить, но мы с Грейс за разным сюда приехали. — И, очертив ладонью в воздухе воображаемую грудь или ягодицу, сильно, по-эстрадному подмигнул. — Понимаете меня, приятель?

— Еще бы, Мак, — благосклонно ответил Касс.

Наступила роковая минута. Перевоплотившаяся Ева из Миниолы предложила запретный плод.

— Слушайте, — произнес гость хриплым шепотом. — Похоже, вы давно не пробовали настоящего американского продукта. Как насчет «Старого Маккейба»?

Он не шутил, а «Старый Маккейб» не был вымыслом: это было пятидесятиградусное кукурузное виски теннессийского разлива, продававшееся в Минниоле под собственной Маккейба оригинальной этикеткой (трилистник клевера, арфа, ирландская трубка³⁰), — и литровая бутылка этого напитка оттягивала карман его макинтоша. Когда Маккейб поднес бутылку с янтарной жидкостью к свету, с уст Касса сорвался стон, в котором соединились радость и отчаяние: он стонал, он ерзал, он потел и наконец сказал совершенно убитым голосом:

— Да, Мак, не пробовал с тех пор, как уехал из Штатов, — очень хочется. Но нельзя.

— В чем дело, приятель? Это чистый продукт. Я без него не езжу.

— У меня нелады с этим делом, — честно признался Касс. — Забирает. Норму не соблюдаю. Поэтому пробавляюсь винцом. Если хотите знать правду, я пропойца. Кроме того, Мак, у меня язва.

Он сам с собой играл в прятки: через какой-нибудь час он уже был на верном пути к тому, чтобы стать самым пьяным человеком в Риме, а вечер оказался самым тяжелым на его памяти за последнее время. И почему? Почему? Почему этот вечер, при этих именно обстоятельствах, в обществе глупого и утомительного незнакомца? Почему после долгой борьбы за то, чтобы сохранить душевное здоровье, он должен был сорваться сейчас, унылым, скучным римским вечером, ни с того ни с сего, ни с горя, ни на радостях? Почему, спрашивал он себя, с отчаянием и почти без передышки раз, другой и третий опрокидывая в рот по полстакана неразбавленного виски, почему он такая размазня — или же его поставили в обстоятельства, над которыми он совсем не властен? Вдруг (когда мокрогубый Маккейб, раздевшись до сине-бело-красных подтяжек, принялся рассказывать скромные ирландские анекдоты с Майками и Патами и с диалектными словечками) ему пришло в голову, что этот лавочник на самом деле какой-то *advocatus diaboli*³¹, посланный сюда не просто испытать его, а доказать посредством зелья, что он не способен жить сообразно со своей волей. Господи боже мой, подумал он, поднося к непослушным губам третий стакан, я опять по-

³⁰ Трилистник клевера — эмблема Ирландии; арфа — герб Ирландии.

³¹ Адвокат дьявола (лат.).

катился. Но «Старый Маккейб» и впрямь был качественным продуктом: Касс оттаивал и внутренне, и наружно, и всячески; он слушал анекдоты, разинув рот, ржал, хлопал себя по ляжкам, скреб в паху, как лоботряс в вагоне для курящих, и рассказывал Маккейбу свои. Через полчаса, когда «девочки» вернулись из кухни, лицо у него пылало, галстук валялся в стороне, и, обливаясь потом, он скакал по комнате, как козел.

— Значит, едет ирландец в поезде, — рассказывал он, — а рядом маленький еврей, ну там из Германии или откуда, по-английски читать не умеет и все спрашивает, что написано в газете. «Ладно, — думает ирландец, — сыграю с тобой шутку»... Этот знаете?

— Касс Кинсолвинг! — раздался за спиной несчастный голос Поппи. — Касс, опять начинается!

— Тихо, Поппи! Я рассказываю.

— Ну Касс...

— И вот как еврей спросит: «Это что?» — ирландец отвечает «сифилис», или «гоноррея», или что-нибудь в этом роде...

— Касс! Послушай меня!

— Наконец еврей говорит: «А это что значит? Вот это вот слово?» Ирландец ему: «Триппер». Тут еврей головой покачал и говорит: «Ой! Таки этот папа бо л ь н о й человек!»

— Ха-ха-ха! — закатился Маккейб, валясь на кушетку. — Ха-ха-ха-ха!

Тоже ослабев от смеха, забыв свое отчаяние, сожаления, укоры совести, он обернулся к несчастной Поппи.

— Ты же сказал, что больше не будешь!

— Я пошутил, — лучезарно ответил он и обнял ее. — Забыл, как это приятно.

Она вырвалась. Хотела что-то сказать, шевельнула губами. Потом раздумала (храни ее бог, сонно и смутно подумал Касс, никогда в жизни меня не пилила), бросила на Маккейба уничтожающий взгляд, молча повернулась и вышла из комнаты не в силах видеть — или не желая видеть, — как он снова отдается своему демону. Она хлопнула дверью спальни.

Потом произошло нечто странное. Грейс, первое время державшаяся чопорно и отчужденно, постепенно отмякла и, побуждаемая укориженными и громогласными шутками мужа («Брось, Грейси, не будь занудой, ну пост, ну и что, от «Старого Маккейба» ты ведь не зарекалась»), тоже отведала фамильного продукта; продукт оказался, как всегда, прекрасным, она вскоре захмелела, волосы у нее распустились, язык тоже, и к полуночи, перед тем как они сели втроем играть в очко, она забыла всю свою чопорность и набожность, сказала со смехом, что сама, может, приехала в Рим «подыскать пару крокодиловых сумочек», и несколько раз помянула бога и черта. Касс поступил глупо, сев играть пьяным (тем более, постепенно дошло до него, с человеком вроде Маккейба, который пить умел, как гренадер, и, быстро сбросив маску компанейского малого, к игре приступил с ястребиным взглядом и бестрепетной рукой), но когда Маккейб сказал: «Не перекинуться ли нам в картишки?» — это прозвучало как фанфары, как боевой клич: из всех воспоминаний о войне только покер остался как что-то более или менее пристойное, приятное. Касс был — раньше, во всяком случае, — мастером. Даже виртуозом. И завоевал этим в своей части пусть и скромную, но славу. Жалованье набегало, деньги для них ничего не значили. На островах в Тихом океане, в гостиничных номерах на Гавайях, на биваках в Америке, в душных трюмах транспортов он выигрывал и проигрывал по меркам гражданской жизни целые состояния; однажды за три дня в Новой Зеландии он выиграл шестнадцать тысяч долларов — только для того, чтобы за неделю потерять их в злополучной и непочтенной игре в кости. Как-то он выиграл в одной партии больше четырех тысяч — чудом, конечно, и не без вмешательства всевышнего, добрав до стрита. А потом, в психиатрическом отделении морского госпиталя в Сан-Франциско, играя с одним патентованным шизофреником, двумя конституциональными психопатами и одним таким же, как он, ДИ (диагноз не установлен), он выиграл двадцать восемь миллионов долларов, и донкихотский характер ставок несколько не испортил ему торжества. Он любил карты, но ни разу не играл с тех пор, как приехал в Европу, хотя всюду таскал с собой

колоду и фишки, и теперь взялся за дело с жаром (видит бог, деньги им нужны), полагая, что обдерет унылых Маккейбов, — что было иллюзией и ошибкой. Если «Старый Маккейб» оказался запретным плодом, то из рая был изгнан Касс за игру в очко.

Притихшие и сосредоточенные, словно и не были собутыльниками, они втроем просидели за картами первые часы ночи; сквозь пьяный туман Касс следил, как уровень виски в бутылке (пил он теперь один) с гипнотической неуклонностью опускается до середины, потом ниже, и время от времени тряс головой, прогоняя быстро сгущающуюся мглу, и удивлялся, почему так стремительно растет проигрыш. Это все опрометчивость, думал он, зря предложил такой высокий потолок ставки — триста лир, примерно пятьдесят центов; пьян он был или просто потерял хватку, но при том, что карта шла — то девятнадцать, то двадцать все время, — к часу ночи он лишился почти всех наличных денег. К половине второго он проиграл восемнадцать тысяч лир, вынужден был пойти на кухню и, порывшись в темноте, добыл еще десять тысяч из жестянки от чая, где Поппи хранила домашнюю казну. «Черт возьми, — думал он, спотыкаясь в потемках, — веду себя, как подонок из кинофильмов; не можем мы швыряться такими деньгами». Он плюхнулся на стул и, прищурясь, поглядел на Маккейбов. Окаменело-сосредоточенные, с сигаретами в зубах, трезвые, невозмутимые, молчаливые, лишь изредка бросая повелительное «еще» или «хватит» тоном людей, которые всю жизнь играли для заработка, они, как две Золушки, преобразенные алхимией полуночи, сбросили маски благочестивых паломников и превратились в пару жадных, голодных акул. А Касс, хоть умри, не мог набрать очко двумя картами, чтобы банк перешел к нему³². От этих непропеченных кельтов мороз подирал по коже, у Касса было ощущение, что он один против шайки, десять тысяч лир утекали на глазах, как вода в люк. Три раза подряд он обыграл Маккейба; полоса невезения как будто кончилась. Банк перешел от Маккейба к Грейс; Кассу опять не везло с таким постоянством, что он внутренне корчился, и пот крупными каплями выступал у него на лбу. Наконец в первый и последний раз за полночь он набрал двадцать одно двумя картами, и банк перешел к нему; сдавал он всего два раза, после чего проиграл, и колодой снова завладел Маккейб.

— Черт! — с отвращением воскликнул он, когда в пятнадцатый раз против его туза и девятки — крепких двадцати — Маккейб выложил двадцать одно. — На кой вам папа римский, Мак? В жизни не видел, чтобы так везло человеку. — У него снова осталось не больше доллара.

— Понимаю вас, приятель, — сказал Маккейб, и это была его самая длинная речь за всю игру. — Зарядит вот так, и все. Грейси, дай мне спички, а?

Шел уже третий час ночи. И хотя Касс еще функционировал — по крайней мере как игрок, — избегая неоправданного риска, осторожничая, когда требовалась осторожность, надеясь на удачу не больше чем она того заслуживала, виски уже производило в его сознании свою грубую разрушительную работу. Ему стало тесно и страшно в четырех стенах. Комната претерпела слабое и незаметное, но крайне неприятное изменение: полная дыма, она стала меньше и как будто даже накренилась угрожающим образом — точно каюта корабля, качавшегося на беззвучной пока зыби, которая предвещает яростный шторм. Голова у Касса кружилась (и уже давно, думал он), подкатывала тошнота, и восторженная приподнятость сменилась — из-за трагических ли убытков или из-за неумеренного питья, а может быть, из-за того и другого вместе — липкой тревогой и тоской. Вот что значит закоренелый пьяница, думал он, ритуальным жестом протягивая руку к бутылке, уповать на то, что все затруднения разрешатся при помощи «Старого Маккейба».

— Хотите еще, Грейс? — услышал он свой хриплый голос, а рука его между тем протягивала бутылку, в которой оставалось (немыслимо!) всего на одну треть. — Еще немного «Старого Мака», а?

Легкую раскрепощенность повадок и настроения у Грейс как рукой сняло. Лицо ее было невозмутимо, словно ракушка.

³² Американские правила игры в очко немного отличаются от наших.

— Мы с Маком вино и карты не мешаем,— сурово ответила она, тасуя колоду с ловкостью иллюзиониста.

Предубеждение, такое, какое испытывал Касс против католиков вообще, а ирландских в особенности, рождает раздумье; раздумье рождает подозрение, а подозрение, в данном случае усугубленное хмелем и финансовым ущербом, рождает яростную убежденность. Убеждение же — в ту минуту, когда он опять стоял в темной кухне и выгребал из чайной жестянки деньги,— было вот какое: эти Маккейбы из Миниолы — шулерская семейка. В темноте ему казалось, что мозги у него раскачиваются, как качели; в глазах плыли рубиново-красные искры; его бросило на раковину, и он ударился локтем. Потом вытащил из жестянки горсть итальянских бумажек — грязных, мятых, разного достоинства; и в этот миг вспышка злой фантазии или воображения озарила происходящее таким ярким светом, что в нем померкла бы любая правда: Маккейб, гнусная скотина, передерживал с самого начала игры. Японский бог! — подумал он. Доверчивый лопух, слепая курица! Пилигримы, вашу мать! Парочка примитивных провинциальных жуликов, хотели обштопать его, как пижона, и поделом, но, видит бог, этот номер у них не пройдет. Они же профессионалы, арапы, воры, нарядившиеся богомольцами, они накачали его и ощипали тепленького. Зычная отрывка вырвалась из его глотки и огласила темную кухню. Он хотел опереться, ладонь легла на что-то мокрое и отвратительное, отдернул руку — оказалось, это тарелка остывших макарон. Его затрясло от лютого, всепоглощающего протестантского гнева. Гнев был праведный, но при этом вполне простодушного свойства — гнев на то, что его надували два мошенника и полагали, будто он, закаленный в сотнях беспощадных игр (на деньги, не на спички), за версту чуявший самый ничтожный подвох и обман, настолько туп, что не заметит элементарной передержки, не увидит дешевых фокусов (а они были, были!) Маккейба, выдаваемых движением слегка припухлой его костяшки,— средний палец, левая рука. Ну ничего, посмотрим! — подумал он. И, мрачный, как Армагеддон, ввалился в комнату, упал в кресло и сказал:

- Сдай!
- Что вы сказали? — не понял Маккейб.
- Сдай! Только в этот раз перемешай, перетасуй карты.
- Не надо нервничать, приятель. У всех нас случаются тяжелые ночи.
- Сдай, говорю. И ставим больше.
- Что?! — изумился Маккейб.
- Больше! Тысяча лир.
- С нашим удовольствием.

Касс пристально наблюдал за ним, вернее, настолько пристально, насколько позволяли воспаленные, разбредающиеся глаза, в которых все стояло только что не вверх тормашками. Маккейб был не из хлипкой породы: мясистые, крепкие плечи, толстые руки и некая кремневая кельтская настырность в лице говорили о том, что подрасться он не дурак. Но у Касса уже чесались руки, он был уверен, что с гостем можно управиться. Кипя и ерзая, он наблюдал, как Маккейб сдает карты — сперва ему, потом Грейс, потом себе. Но костяшка под колодой не мелькнула предательски; Касс даже щелкнул языком: не суетится, паразит, думая он, а может, почуял, что его раскусили. У Касса в банке было три тысячи лир, а на столе перед ним лежали открытые пятерка и шестерка и рубашкой сверху семерка — надежные восемнадцать. «Хорош»,— сказал он. Грейс больше не брала. Маккейб выложил свои карты, сказал: «Двадцать» — и стрел деньги.

— Ну, ты на ходу подметки режешь,— восхищенно сказала Грейс.

Шулер, да еще везучий,— это уже было чересчур. Пока Маккейб сдавал, Касс взяв бутылку обеими руками, как ребенок, и в несколько глотков, обжигаясь, опорожнил ее до последней бледной капли: возможно, чтобы предупредить несчастье — а то и все последующие,— ему следовало совершить возлияние римским богам; возможно, впрочем, и богам не спасти ныряющего в пропасть; так или иначе, спирт сразу ударил в голову, и, еще хватая воздух ртом, как рыба, где-то среди слезных руин зримого мира он уловил — или ему померещилось — вороватое движение белой костяшки и понял, что жизнь его опять полетела под откос. «Маккейб! — взревел он, — Передерживаешь, сволочь!» Не

больше двух секунд понадобилось ему, чтобы слернуть очки, швырнуть за плечо бутылку и, бешено загребая руками на манер ныряльщика, который торопится на поверхность, рыбкой проехать по разваливающемуся с треском столу среди карт, фишек и вспорхнувших купюр и облапить перепуганного Маккейба.

Кроме этого, он мало что мог вспомнить, сколько потом ни старался. Сознание его начало выключаться еще за несколько секунд до того, как он напал на Маккейба, поэтому все дальнейшее постепенно, но неуклонно вытеснялось забытьем. Он запомнил крики Грейс — оглушительные, невысказанные, катастрофические звуки: голос женщины, которая рождает четверню или отбивается от насильника, пронзительный, несмолкающий, нескончаемый. Он запомнил, как верхний зуб Маккейба безболезненно рассек ему костяшку — кажется, единственный удачный удар за всю драку, где он только размахивался со страшной силой, бессмысленно мотался по комнате и, обалдев от затрепани и от ярости, молотил воздух. Он помнил, как волосатый кулак Маккейба угодил ему в глаз и ослепил его. Потом опять крики Грейс. Потом он помнил, что кричала Поппи и дети, кричали жильцы сверху и снизу: «Zitti! Silenzio! Basta!»³³ — и вкус крови во рту. Помнил, как под конец крепко, срывая ногти, ухватил Маккейба за штаны и вышвырнул его в ночь. Он помнил, как нашел очки, набил карманы лирами — своими и Маккейба — и, спотыкаясь, выбрался из дома. И все.

Когда он наконец очнулся, он не мог понять, где он, как попал сюда и который теперь час дня или ночи. Он находился в занавешенной тихой комнате — темной, как Аид; в голове клокотала боль, болела рука и заплывший глаз, а сам он лежал голый на кровати. Несколько долгих минут он безнадежно бился над вопросом, как попал сюда, когда и зачем: был жуткий миг, когда он не мог вспомнить собственное имя. Но страх прошел. Черт с ним, с именем. Он утратил личность; он лежал, тихо дыша, вернее пульсируя, как низшая амебная форма жизни, не испытывая ни страха, ни тревоги, ничего, кроме боли, от которой он напрасно старался снова спрятаться в сон. Постепенно, с большими задержками он пришел к себе; память вернулась, действительность обозначилась — и с нею собственная фамилия, которую он по слогам произнес вслух: «Кин-сол...» — со сладким ощущением новизны, как молодой влюбленный. И вдруг похолодел от ужаса — вскочил с кровати, зашлепал по ледяным плиткам, отыскал выключатель, зажег свет и предстал перед собой во весь рост в высоком зеркале. Нагой, как Адам, одноглазый, в синяках, волосы торчком, как у готтентота, окоченевший — в гостиничном номере, настолько грязном и вонючем, что его постыдился бы панамский бордель. В воздухе висел запах запаха дезинфекции. Пыль, свалывшаяся длинными сосисками, украшала стенной багет, перекладки двух стульев-инвалидов, края вытоптанного ковра. Из мебели ничего, кроме этих стульев и кровати, не было; из удобств — только закупоренное биде, в котором застойно и тихо хлопала какая-то неопишуемая жидкость. Из украшений — только неизменная Мадонна, глядевшая на засаленную, продавленную кровать, где в беспомощности и бог знает с кем на пару он вписал и свою строку в бесконечную летопись местного блуда. Напарница его, кто бы она ни была (сколько ни ломал голову, вспомнить ее он не мог — или с привидением спал?), дело свое знала туго: она не только взяла все его деньги до последней, самой затрепанной пятилирной бумажки, но и прихватила его одежду. Даже нижнее белье исчезло. Нет — милосердная шлюха! — очки она оставила; он нашел их возле кровати на полу вместе с беретом, который, по-видимому, тоже нельзя было заложить по причине ветхости. Он надел очки и берет и поглядел на себя в зеркало: Благородное Живоотное. Тазовые кости ныли от пагубных, легейских забав; он опустил глаза, мелькнуло что-то движущееся — и он увидел, что она оставила ему на память чуть ли не все римское поголовье насекомых — если он еще в Риме. Караул! — подумал он. Караул! Убивают!

Итак, он был без денег, без одежды; вспоминая вчерашнюю ночь (если она и вправду была только вчера), он не сомневался, что за ним охотится полиция, папа и сама госпожа посланница Люс. Он подцепил площад. Палец, судя по всему, сломан. Ему грозит воспаление легких — в негодном гостиничном номере, в отдаленной части Италии (что он в Италии — это по крайней мере

³³ Тише! Хватит! Прекратите!

было ясно), местоположения которой он не знает. Оргия, но которой он так скучал, состоялась, и платить, конечно, надо — но неужели он заслуживал такого бездарного финала? Раздетый и беспомощный, он наяву переживал почти то же, что всем является в кошмарах: когда нагишом идешь по людной улице, у всех на виду, незащитный, без фигового листа, без всего. Выход был только один, по крайней мере в ту минуту, и он им воспользовался: влез обратно на ложе сладострастия и улегся, в берете, в очках, скребя себя ногтями, раздумывая, как теперь быть.

А потом... кто это позвал его? И откуда донесся этот восхитительный голос? Вымышленное это было место, плод воображения — какой-то остров или сказочный берег, никем не виданный на земле. — или же в самом деле он провидел страну, куда в один прекрасный день он вступит торжествующим любовником? Он приложил ладонь ко лбу, лоб был потный и горел. Воды! — подумал он. Воды! Где-то в доме с пушечным грохотом хлопнула дверь, и с багета посыпался целый десант перепуганных клопов; равнодушно наблюдая, как они разбегаются при ослепительном свете, он снова с ужасом провалился в сон — но не в забытье, о котором мечтал, а в старый отвратительный кошмар, где он носился по волнам беспомощный, как былинка, и вечно гиб и вечно пропадал. Тут был такой знакомый черный залив, безлюдный берег, окаймленный пальмами, и вулканы с выветренными склонами от края земли и до края извергали дым в мглистое небо, не знаясь солнечными лучей и беременное громом. Здесь, в заливе, в углой лодочке, которую вот-вот грозили накрыть черные пенные волны, он растерянно и бессильно греб к далекому острову, где крутились карусели и среди цветущих апельсинов и черноглазых девушек его ждал отдых, сонный, томный, сладостный южный покой, который так был нужен истерзанным и перекрученным нервам, что не достичь его значило погибнуть. И откуда-то из глубины этого зеленого видения его звал на незнакомом певучем языке девичий голос, далекий, настойчивый, обещающий любовь. «Люби меня! — кричала она на этом неведомом языке. — Люби меня, и я буду твоим спасением». Он налегал на тяжелые весла, но его относил от голоса все дальше, назад, к суше: неодолимое течение и буруны тащили его к голому, негостеприимному берегу: разразилась гроза, залив стал чернее ночи, на горизонте взметнулся целый лес водяных смерчей — и двинулся на него, темный и неотвратимый. Его швыряли черные, холодные волны; хлынул ливень. Громадная дуга вулканов выбросила огонь; чудесный зеленый берег или остров, эта волшебная страна, которая была у него за спиной, погибла вместе с неродившейся, неотведанной любовью — с шипением опрокинулась в море... «Dio non esiste!»³⁴ — услышал он свой крик, когда исполинская черная волна, прикатившаяся в залив словно с края земли, возносила его все выше и выше, сквозь небо, сквозь снегом сыпавшиеся трупы чаек и ухнула вместе с ним на берег, откуда нет возврата...

— Non c'è Dio!³⁵ — плакал он, очнувшись на полу. — Он умер! Он умер! — Но и после пробуждения на мокрых плитках ритм прибоя не отпускал его, и в последнем затихающем спазме памяти, под собственный крик, его опять волокло к жалкой и гнусной гибели. Сквозь ставни просачивался свет; но непонятно было, смеркается за окном или светает...

Поппи приехала за ним и привезла в коробке одежду. (У него хватило сил постучать в дверь и завопить, после чего прихрамал злодейского вида швейцар, которому он посулил золотые горы за телефонный звонок. Потом швейцар принес ему бутылку с водой, и он выпил ее залпом.) Убитая и заплаканная Поппи при виде его вздохнула с облегчением и, как всегда, простила. Терзаясь угрызениями, он наврал ей, будто в баре на пьядца Мадзини связался с дурной компанией: парой курчавых сомалийских негров, которые двух слов не могли связать по-итальянски, — они опоили его каким-то шаманским зельем, а потом обокрали и раздели. Поппи приняла его рассказ за чистую монету, и от этого ему стало стыдно вдвойне. В тряском такси, при свете утра он положил голову к ней на колени и мучился, мучился и проклинал себя вполголоса. От нее он узнал, что

³⁴ Бога нет!

³⁵ Нет бога!

гостиница расположена на паршивой труппной улочке в стороне от виа Аппиа Нуова — чуть ли не за городской чертой — и что он провел там целый день и целую ночь. Выла страстная пятница, и небо цвета семги наливалось печалью и надеждой, и колокола молчали над Римом.

VII

С сырым мясом на глазу, с бинтом на разбитом пальце и синей мазью на причинных местах, три дня он пасся, как больная корова, на опушках сна — выздоравливал. Кошмар не повторялся, но Касс подолгу о нем думал. Что он означает? Касс мучительно пытался ухватить смысл сна; каждая подробность рисовалась выпукло, словно дело было только вчера, но когда он пробовал сложить их, получался какой-то темный сумбур. Вероятно, решил он, это вид помешательства.

Так или иначе, он понимал, что в трезвенниках не удержался, что его опять закрутило и с этой карусели ему теперь долго не прыгнуть. Все его помыслы сосредоточились на бегстве как на первейшей необходимости — удрать, все равно куда, лишь бы скорее; сбывалось пророчество доброго Слоткина, флотского психиатра, который именно так и сказал Кассу: «Вы всю жизнь будете беглецом». Голос у него был отеческий, а в глазах — печаль человека, который уже не раз пытался, но не мог помочь разным беглецам и эскапистам; однако слова эти засели в голове, и на другой день после пасхи, выбравшись из постели, Касс вспомнил их — с чувством ненависти к этому идеальному отеческому образу, который будет преследовать его, наверно, до самой смерти.

Он знал одно: ехать надо дальше на юг; так он и поехал, один, — так и приехал в Самбуко.

Кое-что из этой самоубийственной поездки он все же мог потом вспомнить: под проливным дождем и под шарами граппы³⁶, на виляющем мотороллере, он только чудом (или за счет слезного благословения Поппи и Евангелия, которое ее туповатый братец Альфи пронес через всю нормандскую кампанию, а Поппи засунула ему в грудной карман) не закончил свой путь под колесами грузовика или автобуса. Дождь хлестал его по шее, вода ручейками стекала в туфли. Для бодрости духа он пел гимны, методистские гимны, полные пыла, кротости и любви к конфетному спасителю. «И рядом он идет со мной, — орал Касс дороге. — И разговор ведет со мной, и говорит, что я ему принадлежу». Весь во власти неожиданного религиозного тика, он смеялся, но при этом был на грани слез, глотал граппу и одной рукой удерживал виляющий мотороллер на опасной горной дороге. «У креста, у креста я увидел свет впервые!» Огромные грузовики обгоняли его, обдавая водой из-под колес; один раз в кузове Кассу померещился его старый дядя — уменьшаясь вдали, дядя укоризненно грозил ему пальцем. «И камень свалился с души...» Низкий, черный, старый «мазерати» прошел впритирку, взвизгнул тормозами, его занесло в дождевой мгле, и Касс чуть не слетел с дороги. Воспоминания радужной пленкой слез застилали глаза. «Вера благодатная — Христос со мной!» Вся Италия окуталась сыростью и холодом. «О, дивное предчувствие славы неземной». Наконец он перестал петь и размяченно погрузился в заповедные глубины собственной души. Мотороллер уже более или менее слушался его. Какого града взыска, трясся он в седле, какое видение, какая ослепительная мечта влекла его в эту страшную мокрядь, он сам не знал; но к полудню, когда солнце ударило в склон Везувия, а под горой открылся Неаполь, морской постоялец, запутанный, голубой и дымчатый, поразительный, как Иерусалим, им овладело предчувствие, очень похожее на восторг. Касс не остановился там ни поесть, ни отдохнуть. Что-то гнало его дальше. С одеревенелыми ногами и растертым задом, на крутых виражах пересекая туда и сюда путаницу трамвайных рельсов, он тарыхтел по дождливой виа Монтеоливето, где на него сразу напала ликующая, грязная орда южных запахов — соленого моря, душистого перца, сточных канав, — и бодрый любовный гомон, и яркие, дерзкие черные глаза, и горластый сутенер лет самое большее десяти и ростом ему по колено, незабываемо жуткий, с голубой воронкообразной ямой на

³⁶ Г р а п п а — итальянская виноградная водка.

месте уха, который бежал за ним пять кварталов и уговаривал попользоваться своей сестрой. «Э, Джо, может, брата моего хочешь?» «Может,— подумал Касс, глядя на узкие бедра мальчишки, и в груди у него что-то печально шевельнулось,— может, раз женщинами уже не интересуюсь»,— но потом прогнал эту мысль и прогнал мальчишку, дав ему несколько лир и легкого пинка под зад, и газанул по шоссе в Сорренто.

Опять пошел дождь, а он все еще не знал, зачем гонит дальше. Между заснеженной вершиной Везувия и темной гладью бухты, как лежащий утес среди летней зелени, простерся мол в тине и водорослях, обнаженных отливом. На краю мола, под ливнем удили рыбу трое босоногих дрожащих мальчишек и важный толстый священник, и Касс остановился задумчиво: по силам ли ему нарисовать эту трогательную и нелепую сцену,— решил, что не по силам, и поехал дальше. Граппы в бутылке почти не осталось. В Сорренто, под вечер, он очутился в закоптелом баре где-то на берегу — пил апельсиновую водку, с потным барменом в трусах и майке разучивал песни на непонятном диалекте, играл в настольный футбол с косоглазым парнем в американской военной рубашке, мыл руки в запакощенной раковине, из которой лилось прямо в море с высоты пятнадцати метров; там, некстати вздумав завести часы, обронил их в море и безумно загоревал. «Sono pazzo! — со слезами жаловался он бармену.— Я сумасшедший! Сумасшедший!» И оглянуться не успел, как снова ехал на мотороллере к Позитано и Амальфи, едва вписываясь в крутые повороты. Над Позитано проколол шину, сел на обочине и залатал ее непослушными пальцами. Потом у него кончился бензин — на беду или же к счастью, смотря по тому, как расценивать все происшедшее потом в Самбуко. Ибо, когда он стоял под дождем на обочине, рядом затормозил грузовик с винными бочками, и из кабины выснулась необыкновеннейшая физиономия. Господствовал над нею и, можно сказать, почти заслонял ее дерзко выставившийся и загнутый, как турецкая сабля, нос; по мощной его арке, как тыквенные семечки, разбросаны были жировики, а из нюхательных отверстий выбивалась целая роща черных и неукротимых волос. Подбородок как таковой почти отсутствовал: над тем пунктом, где ему полагалось быть, в тени громадного бушприта тонкие красные губы сложены были в v-образной влажной улыбке. Выражение лица, наверное из-за носа, было милостивое и одновременно насмешливое — помесь Петрушки и Торквемады; длинные патлы свисали на плечи, как у Ференца Листа. «Che t'è successo?»³⁷ — спросил он. Касс ответил: «Нет бензина, друг». Лицо улыбалось. «Цепляйся за ди, — сказала оно. — Замерз, вижу. Вынь tarro»³⁸ и выпей вина, только зря не лей. Держись, дотащу тебя куда надо».

И это было самое странное. Потому что лицо в кабине также не знало, куда надо, как и сам Касс. И много позже, размышляя о том, что без этого избавителя он никогда не очутился бы там, где очутился, Касс все пытался понять, таким ли действительно странным и зловещим было лицо, как ему помнится. Касс уцепился одной рукой за кузов грузовика — и поехал; он чувствовал, что дорога под ним пошла в гору, и видел сквозь дождь, что его тащит все выше и выше по краю какого-то дикого и страшного ущелья, а внизу чуть ли не на километровой глубине клубился поток, и море уваливалось назад, парное и мутное, как ушат с помоями. Прямо у него перед носом во втулке одной из бочек торчал деревянный кран: он повернул его свободной рукой, и красное пенистое вино побежало в его выставленную совочком губу. Все выше и выше взбирался грузовик и поил буксируемого. Пока они добрались до плоского места на вершине, Касс успел выдуть поллитра, не проронив ни капли, но вот грузовик остановился на незнакомой, залитой дождем площади, и Касс, не успев поблагодарить волшебное лицо в кабине, свалился с мотороллера кучей мокрого тряпья и безумным взглядом уставился на красно-белый транспарант, заслонивший видимую вселенную:

BENVENUTO A SAMBUCO
BIENVENU A SAMBUCO
WILLCOMMEN IN SAMBUCO
WALCOME TO SAMBUCO

³⁷ Что у тебя?

³⁸ Пробку.

Дабро пажаловать в Самбуко. Грузовик исчез. Боже милостивый, подумал он, поднимаясь с четверенек, ну все, начинается невротический цикл. Он рассеянно взгромоздился на мотороллер, попробовал его завести, вспомнил, что нет бензина, и хотел уже откатить куда-нибудь под навес, но тут, разбрызгивая воду, разинув кривоzubый рот и лопоча, к нему через площадь подбежал Саверно и чуть не повалил его снова, когда набросился на рюкзак, ехавший сзади. «„Bella vista“! — орал он. — Tutti i confortil Panorama scenico! Prezzi moderati!»³⁹ Сквозь густой дождь создание умоляюще глядело на него вывихнутыми глазами. Касс содрогнулся. «Я сплю, — подумал он, — я сплю, мне снится ад». Он чихнул и пьяно покачнулся; день почти погас, канул в темноту.

— Dica⁴⁰, — обратился он к идиоту, — выпить где?

— В «Белла висте»!

В вестибюле «Белла висты» не было ни души. Там было пусто, холодно, темно и тихо, только маятник уродливых, с завитушками часов меланхолически ходил туда и сюда. Касс увидел фикусы в горшках, подставку для зонтиков и в полированном овале на спинке тяжелого орехового кресла — призрак себя самого, бледный и промокший призрак. Все это было похоже на похоронное бюро, а соседний salone открыл еще более мрачные тайны: плюшевые кресла с пыльными салфетками-подголовниками, люстра, задуманная для балов и приютившая одинокую тусклую лампочку, опять фикусы в горшках и вид на пасмурную долину, где клубился туман и мчалась тучи. Потом глаза его набрели в сумерках на камин с чуть теплившимися углями. Почти вплотную к камину пожилая чета в свитерах и мешковатом твиде, с застуженными трясущимися руками и потусторонним выражением на лицах играла в триктрак. Других постояльцев видно не было. Покорно чиркала где-то невидимая канарейка. Пахло сырой шерстью, старыми книгами, рыбой, Великобританией. Ковыляя по коридору, он углядел бар. О нем здесь словно вспомнили в последнюю минуту — и запихнули в какую-то темную душную конуру. Наверное, во всей Европе не нашлось бы более унылого питейного заведения. Касс долго гремел колокольчиком, наконец появился угнетенный официант и продал бутылку итальянского коньяка, отдававшего жженым сахаром. Он вернулся с бутылкой в salone и сел, мечтая просохнуть, но воздух в гостинице был сырее его одежды. Он взял газету, лондонскую «Дейли мейл», и положил обратно — она была полугодовой давности. Коньяк, хоть и дрянной, все-таки согрел его и успокоил, от души отлегло. Через несколько минут даже появилось обманчивое и тупое ощущение комфорта, и он сказал себе, что, в сущности, не пьян. Он поглядел на игроков в триктрак и опять чихнул.

С полчаса Касс просидел в задумчивости, созерцая трагический ландшафт. По представлениям Касса, именно так должны были выглядеть места, от которых надо держаться подальше: Блэкпул, Виннипег, Финляндия, Шамокин в Пенсильвании. Темный, проклятый край. Он глотнул из бутылки. В сумраке у каминчика англичанин с женой растирали пальцы. Вдруг, несмотря на честное сопротивление, то, что копилось в животе целый день, вырвалось на волю громкой и протяжной трелью; он заерзал, напрасно пытаясь заглушить ее, потом виновато расслабился и выпустил... с медленным сбивчивым треском, словно камушки роняя в ведро. За столиком для триктрака произошло волнение. Он этого почти не заметил. Ему стало легче, и он опять впал в задумчивость. Немного погодя он с трудом поднялся со стула и, занятый мыслью о том, что пора, наверно, возвращаться в Рим, хоть и дождь на улице, почти не замечая, что ворчит уже вслух, неуверенной ногой ступил вперед.

— В... этот Самбуко! — произнес он вслух. — Ну его в...!

Он и не понимал, что говорит; англичанка — и муж ее тоже, но с некоторым опозданием — встрепенулась за столиком, как лань. В надежде хоть штаны погреть у жалких углей он побрел к камину. И вдруг возникло чувство, что он пойман, загнан, окружен в Самбуко, — то же, что испытывает отважный ковбой, когда, припертый к пропасти шайкой индейцев, он должен либо оборотиться навстречу граду стрел, либо махнуть с конем и прочим в ужасную бездну. Некуда, понял он, некуда больше деваться. Его опять пучило. Стравливая на ходу, он протиснулся мимо малинового, ошестинившегося старика, который начал медлен-

³⁹ «Белла виста»! Все удобства! Живописный вид! Умеренные цены!

⁴⁰ Скажи.

но подниматься, в полном отчаянии навалился на каминную полку, и что-то массивное подалось под его плечом и с оглушительным грохотом рухнуло на пол.

Слоткин, папаша, подумал он, старый мудрец. Выдержка, дисциплина — вот что мне необходимо, — и пока он думал так и смутно поздравлял себя с этим озарением, вокруг заварилась буча. Дело в том, что громадная ваза — весом не меньше полутора пудов — только чудом миновала старика; и сейчас, тупо глядя на зеленые осколки и черепки, Касс увидел, что два подбитых войлоком шлепанца зашаркали к нему, и услышал старческий дребезжащий голос, в котором клокотало бешенство.

— Пьяный безобразник! Стервец! — захлебывался старик, потрясая невидимым хлыстом, и только тут, с жалостью и недоумением глядя на воспаленное усатое лицо, Касс понял, что он натворил.

— Извините... — начал он, но было поздно, разбуженная грохотом гостинная ожила, как мавзолей, захваченный вандалами. Появились три официанта, несколько горничных; прибежало что-то вроде повара в дрожащем белом колпаке и ва-тага мелкой сошки — садовников, кухонных мужичков, уборщиков. Пока они окружали его, а раскипятившийся старик подносил к его носу кулак в цыпках, в голове у него вертелась только одна мысль: что при таком количестве obsługi гостиница, наверно, прогорает.

— Смотрите! Безобразник! — кричал собранию англичанин. — Посмотрите на него! Откуда взялся этот пьяный оборванец? Еще бы чуть-чуть — и проломил нам вазой головы!

Касс бессмысленно переводил взгляд с англичанина на англичанку, которая почему-то дергала его за рукав, на публику, заполнявшую зал, и как заведенный повторял про себя: «Не со мной это происходит, не со мной». Желание провалиться сквозь землю достигло такой остроты, что он и впрямь почувствовал, как она уходит из-под ног; но тут появился коротенький человечек с вытаращенными глазами и стал размахивать пухлой рукой, в которой было меню. Это, насколько понял Касс, был некто синьор Ветергаз, маленькое существо и совершенно устрашающее. Прокричав извинения старому англичанину, он обратился к Кассу и стал размахивать преискурантом у него перед глазами. «Вы! — кричал он. — Эта ваза штоила двешти тышяч лир!» Растерянный, оторопелый, безнадежно запутавшийся Касс не мог даже пошевелиться; в каше мутных образов и глухих звуков, похожих на самую дику галлюцинацию, он выделил судорожно кривящиеся губы возмущенного Ветергаза — но все равно не мог понять, что они говорят; а старик все кипятился и тряс своим призрачным стеклом; среди зрителей кто-то хрипло и смущенно заржал. Выцветший камчатный занавес волновался, как вода, перед его глазами; долина вместе со своим туманом накренилась вдалеке к несуществующему морю, точно слаломный склон. Его слегка за-тошнило; он хотел ответить, хотел поймать хоть какой-нибудь смысл в этом нелепом инквизиторском кошмаре, и тут, когда он уже зашевелил непослушными губами и, выталикивая изо рта клубок странно звучащих извинений, умоляюще протянул руку к Ветергазу и сделал шаг вперед, какая-то неподатливая перекладина, или рейка, или каминная решетка поймала его за лодыжку, и паркет «Белла висты» встал дыбом и шарахнул его по лицу, как дверь. Он лежал, и от боли перед глазами у него вспыхивали тысячи крохотных огненных цветочков. Потом чьи-то сильные руки, жесткие руки в белых манжетах подняли его, протащили через всю комнату в коридор, где кто-то, ругаясь по-итальянски, всунул его в лямки рюкзака и за мотню — чуть ли не на весу, так что ему оставалось только перебирать ногами, как велосипедисту, — выволок из дома под дождь. «Cassiateo via!» — услышал он чей-то крик и язвительное: «Ubricone!»⁴¹. Захлопнулась дверь, из-за нее донеслось приглушенное: «Не вздумай возвращаться!» И он остался один, опять под дождем.

А потом, может быть, из-за проклятого ливня, или из-за шишки, вздувшейся на скуле, или из-за обиды на это ubricone — облыжное обвинение в том, что он чересчур много выпил, — внутри у него словно вышибло какой-то клапан: он набрал в грудь воздуху, приосанился и, как разъяренный медведь, ринулся обратно в гостиницу. Большая ошибка. Скользкие от дождя мраморные ступени пре-

⁴¹ Прогоните его!.. Пьяница!

вратились в лед у него под ногой. На полпути к двери землю выдернули у него из-под ног, словно коврик. Он еще орал, когда фасад гостиницы бешено крутанулся перед его глазами вместе с дверью и одиноким официантом, который, горестно вытаращив глаза, напрасно протягивал руку, чтобы удержать его. Край ступени ударил его по голове, и он отплыл в небытие на пышных органных аккордах, заглушивших и отзвук удара и боль...

Очнулся он с головной болью, но, как ни странно, с ясным сознанием и, почуввав казенный запах вина и грязи, сразу понял, что он в полиции. Он лежал на койке и, пока старался вернуться к действительности, услышал собственный стон; потом он принял сидячее положение, хотя это показалось ему репетицией смерти, и нащупал на голове шишку размером с яичко, к которой невозможно было прикоснуться. Потом он поднял глаза и увидел двух полицейских. Один, чудовищно жирный сержант в очках, грозно смотрел на него из-за стола. Другой, молодой капрал с усами, стоял и разглядывал Касса не враждебно и не подозрительно, а скорее озадаченно — впрочем, и это трудно сказать наверняка, поскольку часть его лица была скрыта: широко разинув рот, он ковырял в зубах большой рукою. Все молчали. Касс тупо наблюдал за усатой крысой, которая выглянула из дыры в стене позади сержантского стола, принялась к атмосфере и, как праздный гуляка, вразвалочку выходящий днем из кафе, невозмутимо проследовала через дверь в соседнюю комнату. Дождь мерно барабанил по крыше. Касс еще был пьян, особой боли не чувствовал — и неожиданно для себя тоненько и глупо захихикал.

— *Moio comico?* — с тяжеловесной иронией произнес толстяк сержант. — *Moio divertente?*⁴² Ничего, посмотрим, так ли уж это смешно. — Он разложил перед собой бумаги. — Поднимитесь и подойдите сюда.

Касс встал и приблизился к столу, после чего, вытянув шею, смог заглянуть в список обвинений, который в это время зачитывал тонким женским голосом сержант.

— Вы обвиняетесь, во-первых, в умышленной и преднамеренной порче имущества. *Secondariamente*⁴³, в употреблении нецензурных слов в общественном месте. *In terzo luogo*⁴⁴, в нарушении порядка в общественном месте. *In quarto luogo*⁴⁵, в покушении на оскорбление действием, а именно, синьора вице-адмирала сэра Эдгара А. Хатчера, Саутси, Гемпшир, Гран Бретанья. *In quinto luogo*⁴⁶, в пребывании в нетрезвом виде в общественном месте. Ваша фамилия? Попрошу паспорт.

— *Сome?*⁴⁷ — сказал Касс.

— Ваш паспорт! — повысил голос сержант.

— Он на мотороллере, на площади, — выдавил Касс, стараясь побороть бессмысленный смех.

Сержант, раздраженно всплеснув толстыми руками, обернулся к капралу:

— Давай сюда мотороллер. Мотороллер и паспорт.

Капрал жалобно закатил глаза: дождь лупил по крыше пуще прежнего.

— Ладно, подождем, пока перестанет, — снизошел сержант и снова взялся за Касса. — *Nazionalità? Inglese?*⁴⁸

— *Americana*⁴⁹.

— Фамилия? — с провинциальной официальностью продолжал полицейский, приговаривая писать.

— Доменико Скарлатти. — Имя как звук флейты, как заклинание возникло в голове без всякой причины — и сорвалось с языка; он произнес его спокойно, веско, с достоинством. Сержант вглядывался в Касса маленькими непросвещенными глазками.

— Так вы италоамериканец, — пропищал он с глубоким осуждением. Потом откинулся на стуле и сложил руки на слоновьем брюхе. — Очень типично.

⁴² Очень смешно? Очень забавно?

⁴³ Во-вторых.

⁴⁴ В-третьих.

⁴⁵ В-четвертых.

⁴⁶ В-пятых.

⁴⁷ Как?

⁴⁸ Национальность? Англичанин?

⁴⁹ Американец.

Такие, как вы, уезжают в Америку, наживают там деньги, а потом возвращаются на землю своих предков, чтобы покуражиться. Как жаль, что с нами больше нет Муссолини. Дуче сумел бы вас обуздать. Вот что я вам скажу, Скарлатти. Здесь, в Самбуко, мы ваших безобразий не потерпим, понятно? — Он опять наклонился над бумагами. — Где и когда родились?

О боже, подумал Касс и начал импровизировать:

— Шестого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года. Но скажите, сержант, почему меня обвиняют в покушении? С этой вавой... я нечаянно...

— Отвечайте на вопросы, — оборвал его сержант. — Место рождения?

— Запишите: Токсидо-Парк, — упорствовал Касс. — Потом запятая, Нью-Йорк. — Он тихонько прикоснулся пальцами к столу, чтобы не шататься.

— Токсидо-Парк, Нью-Йорк. Как пишется?

— Т-о-к-с-и-д-о. Как столица Японии.

— Странно. Отец?

— Алессандро Скарлатти. Скончался.

— Мать? — Сержант старательно записывал.

— Лилия Роза Скарлатти. Defunta, — добавил он. — Тоже скончалась. — И вдруг, сирота с малых лет, он чуть не расплакался.

Сержант отвалился на спинку и с важным и непроницаемым видом снова начал его воспитывать.

— Вас ожидают серьезные неприятности, друг мой. Мы не любим арестовывать американцев. Но не потому, что они нам так нравятся, понятно? А только потому, что сейчас вы сильны, а мы слабы и ваша страна... как бы это выразить?... оказывает нажим. Когда мы вернемся к принципам дуче... — на свинячем лице появился бледный отгиск улыбки, — все это может измениться. Но в настоящее время мы не обожаем арестовывать американцев. — Он замолчал, опустил глаза и забарабанил пальцами по столу. — Но такого поведения мы не потерпим. И вас арестуем. Вот из-за таких эмигрантов вроде вас, с итальянскими фамилиями, об Италии идет по свету дурная слава. Как указал сам дуче, — продолжал он, наконец-то блеснув эрудицией, — как указал сам дуче в своей речи в Анконе в июле тридцать первого года, демократии рухнут под грузом морального разложения и распущенности своих граждан, граждан, я полагаю, вроде вас...

Неизвестно, сколько еще он бы разглагольствовал, но тут в смежной комнате начался какой-то скандал. Сперва послышался голос мужчины, важный, грубый, недовольный, потом девичий — высокий, бранчливый и презрительный. Что-то грохнуло в стену. Девушка завизжала, мужчина заорал. Сержант, пыхтя, поднялся и протопал туда. «Zitti!» — пропищал он, гвалт стих, теперь там слышалось только тяжелое дыхание и кастратский голос начальника. Касс обернулся к капралу; тот все еще смотрел на него внимательно, вдумчиво и без враждебности.

— Что мне будет? — спросил Касс и закричал, только теперь почуввав нехорошее.

Капрал вынул ноготь из зубов, но вопрос оставил без внимания.

— Straordinario, — задумчиво протянул он, — assolutamente straordinario⁵⁰.

— Что?

— В а к у у м в голове. Родился и вырос в Неаполе, на родине Скарлатти. И не слышал ни о том, ни о другом. Как ваше настоящее имя?

Касс сказал ему; он уже трезвел, но боль в голове набухала и распускалась и в грудь вползала черная тревога. У него вдруг возникло сумасшедшее желание броситься к двери. Он заставил себя успокоиться и попросил у капрала стакан воды.

— Что мне будет? — снова спросил он, пока капрал наливал воду.

— Nate выпейте. Не помешает. Вы прекрасно говорите по-итальянски. А наивность ваша в таких вопросах, думаю, оттого, что вы американец.

— Это вы о чем?

— Это я о сержанте Паринелло. Когда полицейский хочет вас арестовать, он вас сажает. И все. С другой стороны, когда он видит, что может немного нажитья на отчаянии обвиняемого, которому хочется на волю, тут начинаются

• Изумительно... поразительно.

длинные рассуждения о том и о сем. Дуче. Анкона. Тридцать первый год. Демократии. Моральное разложение и распущенность. Вам не кажется, что в этом витийстве есть система? Дать время. Дать обвиняемому время произвести в голове соответствующие вычисления, а именно: выложит ли он, скажем, сумму, эквивалентную царскому обеду в первом классе ресторана, или проступок его таков, что требует пожертвования более щедрого... скажем, на новое платье для чьей-то жены, или же...

— Я не дам взятку этому мешку с потрохами! — воскликнул Касс с чрезмерным жаром — дух Кальвина, Уэсли и Нокса⁵¹ внезапно вспыхнул в нем при упоминании о расходах.

— Тсс,— остерег его капрал. Лицо у него было очень серьезное.— Поверьте, это я, Луиджи, говорю: Паринелло может крепко насолить. Обвинения вы слышали: до суда можете месяц просидеть в тюрьме в Салерно. А процедура выпуска под залог у нас не такая, как в Америке. Паринелло, в общем-то, человек дешевый.— Он подошел к двери, поглаживая усы, потом тихо сказал: — В вашем случае я счел бы, что десяти тысяч лир достаточно, если вы заплатите за разбитую вазу. Открыто нельзя, суньте ему в папку. Я ничего не видел.

— Почему вы мне помогаете? — вслух удивился Касс.

Но пугающе-ласковый, загадочный в своей убежденности капрал скрылся в соседней комнате. Что за гнусная афера, подумал Касс, десять тысяч лир. Недельное жалованье этой свиньи. А сам он оставался почти без денег, и это, говоря по правде, было сейчас важнее и чем уязвленная гордость, и даже чем отвращение к бычьему пузырю, который совершал вымогательство. Голова раскалывалась, живот болел, ему было паршиво, как в самые паршивые парижские дни; он вынул из бумажника купюру — последнюю такого достоинства,— шепнул ей «прости» и сунул в папку сержанта так, чтобы скромно высовывался только краешек, как розовенькая полоска ноги над чулком.

Топая, возвратился сержант и сел за стол.

— Итак,— сурово начал он,— хочу повторить, вас ожидают серьезные неприятности.— Он взялся за папку, и Касс увидел, как его глаза задержались на банкноте.— Серьезные неприятности,— продолжал он, не изменившись в лице, но с такой тонкой модуляцией в голосе, что просто дух захватывало,— которых вы, однако, пожалуй, могли бы избежать.— Он поглядел на Касса и сразу же захлопнул папку.— Вы совершили серьезную ошибку у нас в Самбуко. Мы не потерпим таких нарушений. Вместе с тем,— перешел он на мягкое выразительное *larghetto*,— вместе с тем человек вы как будто порядочный, Скарлатти. Я бы даже высказал предположение, что это ваша первая встреча с полицией. Точно?

— Как в аптеке, начальник,— ответил Касс, от сильного негодования сбившись на родной язык.

— Тогда я скажу вам, что я сделаю. При условии, что вы заплатите за разбитую вазу, я сниму с вас эти обвинения. И советую в дальнейшем вести себя осмотрительнее. Вы свободны. Внесите сто пятьдесят лир — *carta bollata*⁵².

— *Carta bollata*?

— За гербовую марку на протоколе, за...

— Да знаю я! — повысил голос Касс.— Ты что же, потрох, не можешь взять из...

Впоследствии Касс вспоминал, что мог все погубить этими словами, но сержант либо не расслышал его, либо не захотел расслышать, тем более что в соседней комнате возобновился шум и крики. «Bugiardo!»⁵³ — завопила девушка. «Врешь!.. Стерва!» — заорал мужчина.

И почти сразу капрал Луиджи, потный, в фуражке набекрень, втолкнул в комнату небритого, с запавшими щеками человека в спецовке продавца, а следом за ним крестьянскую девушку лет восемнадцати. Пальто у нее, потрепанное, изъеденное молью, с темными от дождя плечами, было велико на несколько размеров. Девушка была в выгоревшей косынке, но босиком. Она вошла, еще визжа от ярости, и сердце у Касса упало, он забыл обо всем — такая она была

⁵¹ Уэсли Джон (1703—1791) — основатель методистской церкви; Нокс Джон (1510—1572) — основатель пресвитерианской церкви.

⁵² Гербовый сбор.

⁵³ Врешь!

красивая. Как ветер раздувает костер, так и ее красота стала только ярче от злости; Касс заметил, что большая рука Луиджи тянет ее сзади за пояс пальто, чтобы она не вцепилась сзади в спину торговца, как дикая кошка. «Врешь! — визжала она. — Врешь! Врешь!» А торговец, чьи шелушащиеся щеки казались обмороженными, откликнулся низким гортанным стоном, вернее обиженным, изумленным рыданием, которым перемежаются все итальянские свары: «Ah-uuh Tu sei bugiarda! Puttana! Сама врешь, стерва!»

— Тихо! — прикрикнул сержант. — Вам, пожалуй, лучше встать сюда. — предложил он торговцу. — А ты, — кивнул он девушке, — ты встань по эту сторону стола и прикуси язык.

Касс почти слышал, как, тихо динькнув, весы правосудия, на одной чаше которых лежала похоть, склонились в сторону коммерции. Девушка отошла, куда ей было приказано, глаза у нее при этом вспыхнули, но она чуть не плакала. Она прикусила щеку, губы у нее задрожали, а Касс поглядел на ее мягко очерченное лицо в брызгах грязи, и у него возникло желание отмыть ее, приласкать — и крепко поцеловать в губы. Он беспомощно потирал шишку на голове, и ему мучительно хотелось убедиться, что у нее вся фигура такая же изящная, как ноги; ноги были безупречной формы и тоже заляпаны красноватой грязью.

— Давайте разберемся, — сказал Паринелло мужчине. — По вашим словам, эта девушка что-то украла у вас в лавке.

— Она пыталась. Я поймал ее с поличным.

— Я не крала! — крикнула девушка. — Я была на улице и держала ее в руках, но я собиралась заплатить!

— Опять вранье! — вмешался мужчина. — Чем ты могла заплатить?

— Тишина! — сказал сержант. Он опустился во вращающееся кресло, и оно с пружинным аккордом запрокинулось далеко-далеко назад, уложив почти горизонтально оплывшую тушу, ничтожную и страшную в своей важности. Он выдержал паузу, потом обратился к лавочнику: — Скажите. Вы мне не сказали. Что именно украла у вас эта девушка?

— Вот что, — сказал лавочник. Он вытащил из кармана яркую целлулоидную вертушку на палочке, с какими бегают дети. Красная цена ей была десять центов. — Я выставил ее снаружи на витрине, — стал быстро объяснять он, — и тут появляется эта девка, схватила ее и бежать. Признавайся! — закричал он девушке. — Почему не признаешься?

Она не выдержала, уткнулась в ладони и зарыдала.

Паринелло взял вертушку. С нелепой театральной игривостью он подул на нее, и шарообразные щеки, сложенные в трубочку розовые губы сделали его похожим на распутный ветер, который дует из угла старинной карты.

— Скажи мне, девка, — произнес он наконец сварливым бабьим голосом, — скажи мне. Сдается, я тебя уже встречал, а? Откуда мне не видать, но, помнится, у тебя большой, красивый зад. Приятненький зад. Так зачем взрослой девке с большим и круглым задом красть детскую игрушку? Тебе бы сейчас на пляже продавать свой красивый задок богатым туристам. — Это был чистый и неприкрашенный голос импотенции, и Касс увидел, как порозовело лицо сержанта, пока он мурлыкал, чмокал и облизывался, предаваясь своим лабиальным утехам. Луиджи ерзал от неловкости и удрученно глядел в окно. — Зачем ты хотела украсть такую вещь?

— Для братика, — беспомощным, слабым голосом ответила девушка, и слезы потекли между ее грязных пальцев.

— Слушай, — не отставал Паринелло. — Ты из Трамонти, так ведь? И, конечно, деньги нужны. Я тебе дам совет, carina⁵⁴. Ты накопи на дорогу и езжай в Позитано, а то и в Неаполь... или даже в Рим. Рим хороший город. Сними там номер в гостинице да подбери богатого мужчину на большой улице... Эй, как называется эта улица, капрал, куда богатенькие ходят?

— Виа Венето, — последовал ледяной, еле слышный ответ.

Девушка горько плакала.

— Идешь в этот номер и раскладываешь свой красивый круглый зад на розовых простынках...

⁵⁴ Милая.

Потерпевший лавочник начал одобрительно хмыкать. Касс, чтобы не видеть безобразной сцены, по примеру Луиджи отвернулся к окну. Череп налился дергающей болью, как громадный фурункул, и все же он заметил, что погода на улице переменялась — произошло чудо. Там была весна, он почувствовал ее тепло костями. Серое месиво туч исчезло из долины, испарилось, как роса. Долина под средиземноморским солнцем стала чистой и яркой; казалось, можно дотянуться до каждой вещи и потрогать ее; он увидел открытку с величественными вершинами и небом такой потрясающей голубизны, как будто безумный художник перестарался с цветом, и апельсиновые рощи, зелеными ступенями спускавшиеся к морю. Где-то слышался стук капель, последний отзвук дождя и зимы. Стадо овец пьяно бляело на противоположном склоне долины. Господи, подумал он, и музыка тут же: где-то далеко на улице громко включили приемник словно в честь незаконного солнца. Музыка, правда, была не из карусели, предварающей во сне именно такой миг; это был Гай Ломбардо⁵⁵, патока и щекотка, но и на нее отозвалась какая-то струна в душе, и когда он опять поглядел на девушку, которая уже перестала закрывать свое испачканное, печальное, милое лицо, ему захотелось крикнуть.

— Perciò⁵⁶, — продолжал язвить сержант, — у тебя будет много денег, надо только найти употребление твоей красивой круглой части... А так... — в голосе его не осталось ничего масляного, — красть тебе не по карману. Знаешь, какой полагается штраф за кражу?

— Нет, — безнадежно ответила девушка.

— За такую — тысяча лир. Есть у тебя столько?

— Нет.

— Ну ясно, нет. Тогда знаешь, что мы должны с тобой сделать?

— Нет.

Касс увидел, что лицо у сержанта опять порозовело от возбуждения.

— Мы возьмем тебя за этот большой приятный зад...

Ярость, охватившая Касса, была как вспышка безумия; в чужой язык она не умещалась.

— Отвяжись от нее, сука! — заорал он. — Отвяжись от нее, слышишь? Отвяжись, или я тебе зубы выбью! Отвяжись!

Сержант испугался, побледнел, опустил руку к кобуре, и пальцы-сосиски потрогали рукоять маузера.

— Капрал, что он говорит? Che cosa significa⁵⁷ о т в я ч и с ь?

— Не знаю. — Луиджи пожал плечами. — Не понимаю по-английски, сержант.

Пока Луиджи отвечал, Касс старался успокоиться, но его трясло. Не обращая внимания на их разговоры, фланирующая крыса вышла из соседней комнаты, остановилась, принюхалась и шмыгнула в свою нору. Из окна на Касса пахнуло цветами. Он потел. Тепло в воздухе было не весеннее, это было тепло вечного лета; за дверью над белыми цветами огромных камелий гудели шмели, и этот звук напомнил ему о другом Юге, о родине. Сержант обескураженно смотрел на Касса, нервничал.

— Я заплачу за игрушку, — сказал Касс лавочнику и, сдерживаясь, что было для него пыткой, объяснил сержанту: — Извините за шум, Vossignoria⁵⁸. Если вашему превосходительству будет угодно, это мое несчастье. У меня часто бывают припадки... безобидные.

Сержант успокоился.

— Если можно, я хотел бы заплатить за нее и штраф. — Сержант снисходительно пожал плечами. Касс вынул бумажник. — Вот две тысячи лир, за все. Надеюсь, этого достаточно.

Потом он повернулся и вышел из комнаты на весенний воздух.

День клонился к вечеру. В прозрачном чистом воздухе плыл колокольный звон. Стая голубей взмыла словно ниоткуда, и небо над фонтаном стало рябым от сизых крыльев. Шагая по бульварной улочке к гостинице, он оглянулся, и ему

⁵⁵ Ломбардо Гай — руководитель эстрадного оркестра.

⁵⁶ Таким образом.

⁵⁷ Что значит.

⁵⁸ Ваше превосходительство.

показалось, что из двери полицейского участка, втянув голову в воротник своего большого пальто, выскочила девушка; он стал звать ее, но она уже скрылась в переулке. Он повернулся и пошел дальше, но тут его окликнули.

— Как голова? — Это был капрал Луиджи. Он вел себя сдержанно, невозмутимо, совсем не по-итальянски, и в то же время видно было, что он истосковался по человеческому разговору; он нагнал Касса на подъеме и пошел рядом с ним. — Паринелло послал меня проследить, чтобы вы заплатили за вазу.

— Голова ничего, — сказал Касс. — Странная у вас в Италии полиция.

Капрал ответил не сразу.

— Полагаю, она не хуже и не лучше, чем в других местах.

— Удивительно, что до сих пор никто не прикончил вашего шефа. Он проработитель всех пресмыкающихся.

— Да, — отозвался Луиджи, — он... утомительный. Скажите, вы образованный человек, так ведь?

— Нет, я не получил образования. Книжки читал, но образования у меня нет. Почему вы спросили?

Капрал остановился. Касс тоже стал и заглянул в серьезное, важное лицо — лицо человека, по-видимому не расположенного к юмору.

— Не знаю, почему спросил, — ответил капрал. — Не знаю. Вы уж меня извините. Но таких американцев, как вы, редко видишь. Я имею в виду вашу маленькую шутку у Паринелло и владение итальянским. А потом... как вы поступили с девушкой, хотя это просто бедная крестьянка и никакого интереса не представляет. Мне это понравилось. Жест гуманиста, подумал я. Так поступают образованные люди. Это мне понравилось.

— А мне она понравилась, — с легким раздражением ответил Касс. — Она представляет некоторый интерес. Она очень красивая женщина. А что? Вы разве не образованный человек?

— Нет, я не образованный человек, — все так же педантично и официально отвечал полицейский. — Как и вы, я прочел много книг, но не имел возможности продолжить образование. Я хотел стать адвокатом, но обстоятельства вынудили меня... — Он не кончил фразу. — Я стал тем, что я есть. В нашей стране большинство людей не получают хорошего образования. Им приходится много работать, и они ничего не читают.

— В Америке тоже неважно с образованием, — сказал Касс. — Много работать им не приходится, но они тоже ничего не читают. — Он пошел дальше.

— Жаль, что не читают, этим они обедняют себя. Одним из самых больших откровений в моей жизни был «Мир как воля и представление» великого немецкого философа Шопенгауэра. Из всех, кого я читал, он наиболее точно указывает путь к тому, что я назвал для себя творческим пессимизмом. Вы читали Шопенгауэра?

— Никогда, — ответил Касс короче и грубее, чем ему хотелось бы. Голова у него опять разламывалась. — Нет, не читал.

— Извините, — произнес чуткий капрал. — Если я задал бестактный вопрос, извините. В наши дни не часто удается поговорить с человеком, родственным по духу. Ваша шутка у Паринелло... Это было восхитительно! Как бы мне хотелось...

Но фраза оборвалась на половине, а они между тем поднялись на высокое место, и Касс опять увидел далеко внизу море, апельсиновые и лимонные сады и виноградники, террасами спускавшиеся по гигантским склонам. Где-то в канавах и стоках ровно журчала вода: земля и небо казались отмытыми, натертыми, начищенными, и вода с бульканьем уносила зимний хлам к морю. Солнце садилось, серпы потускневшего света одели голые вершины дальних холмов. «Madonna! Che bello!»⁵⁹ — донесся женский возглас, будто славословия свет второго пришествия. Касса прохватила непонятная дрожь.

— Эта девушка, — он повернулся к капралу, — что была в участке. Как ее зовут?

Луиджи пожал плечами.

— Не знаю. Крестьянка из долины. Не припомню, чтобы встречал ее раньше.

— Она красивая. Они все такие?

* Мадонна! Какая красота!

— Красота среди крестьян редкость. А если и встречается, то хватает ее только на детские годы. Я не заметил, что крестьянка была красивая.

— Надо быть слепым, капрал.

— Я к ней не приглядывался. Крестьяне меня не интересуют. Это шваль по большей части, из поколения в поколение женятся на кровной родне, как животные. Большинство умственно неполноценные.— Он скорбно покачал головой.— Оттого, что питаются одним хлебом. Иногда я думаю, что их всех надо ликвидировать.

— Капрал,— добродушно воскликнул Касс,— вы прямо как фашист рассуждаете!

— А я и есть фашист,— прозаически сообщил Луиджи, но потом, как бы оправдываясь, пояснил: — Пожалуйста, поймите меня правильно. Ликвидация не в буквальном смысле. Фашизм не нацизм. Я только хотел сказать... — Он замаялся, упер кулак в кулак, точно подыскивая правильное слово, довод. А затем голосом, который прозвучал бы напыщенно, не будь в нем такой убежденности, произнес: — Мы все обречены, понимаете! Все! Но как-то перебиваемся. О ни...— Луиджи указал головой на какого-то невидимого крестьянина,— они обречены навеки. Они не перебиваются. Они ниже животных. Их надо ликвидировать. Положить конец их мучениям.

— Творческий пессимизм.— Касс мигнул.

На лице у капрала впервые появилось подобие улыбки; потом он посмотрел на часы.

— Приятно было с вами поговорить,— сказал он.— Надеюсь, я вас не обидел. Жизнь — странная штука, правда?

— В каком смысле? — искренне удивился Касс.

— В смысле существования. С вами не бывает так, что когда вы просыпаетесь после долгого сна и еще не пришли в себя, вы ощущаете ужас и тайну существования? Это длится считанные секунды, но только тут, больше никогда, мы чуть-чуть подступаемся к вечности. И знаете? Я не верю в бога. Но самое ужасное то, что не успеешь глазом моргнуть, как ты уже совсем проснулся и не поймешь: когда подступался к вечности, к богу ты приблизился или... к ничему.

Касс опять мигнул и подумал: а не помешанный ли слегка этот капрал? Фашист-гуманист, интеллектуал, истребитель крестьянства, творческий пессимист, метафизик... и усы, и длинные баки, спускающиеся из-под фуражки, и бархатные глаза, мечта зажиточной матроны, и при всем этом — беседы наедине с самим собой; и вдруг его слова — так ли они были верны, как казалось, так ли страшны? — отделись в Кассе как в огромном гонге. Он посмотрел Луиджи в глаза и понял, что капрал при всех его странностях нормальнее любого нормального.

— И мне часто бывает одиноко,— сказал Касс.— Очень одиноко. Очень страшно.

— Тогда вы понимаете, о чем я говорю?

— Да.

— Я жалею, что завел этот разговор,— помолчав, сказал Луиджи и протянул ему руку.— Надеюсь, вы еще приедете сюда. Так вы заплатите за вазу?

— Заплачу, Луиджи,— ответил Касс.— Спасибо вам. Спасибо.

И капрал покинул его.

Умилостивить Ветергаза оказалось легче, чем он думал. Умывшись в уборной какого-то кафе и окончательно протрезвев к тому времени, Касс с самым учтивым видом явился в гостиницу и пространно извинился за разбитую вазу. Ветергаз встретил его холодно и сурово, но, к удивлению, быстро оттаял и с искренним сочувствием выслушал рассказ Касса о сахарной болезни, которой он страдает с отроческих лет, и о вызываемых инсулином полубморочных состояниях, когда у него хрипнет голос, нарушается координация движений и, увы... самое отвратительное... речь становится грубой и несдержанной, прямо как у пьяного. «Боже мой, я ведь понятия не имел!» — сказал Ветергаз, в свою очередь принося извинения и, вероятно, угадывая потенциального постояльца, а потом поведал и о своей беде, стародавнем свище в апо⁶⁰, который так и не удалось

* Заднем проходе.

прооперировать, несмотря на консультации у женевских, цюрихских и базельских врачей. Вернувшись к основной теме, Касс сказал, что в отношении денег он несколько стеснен, и хотел уже предложить платить в рассрочку, но тут Ветергаз, славный малый, утешил его печаль: ваза, сказал он, и вообще вся мебель застрахованы в солидной швейцарской фирме, которая (в отличие от итальянских) всегда выплачивает, и, судя по его довольному тону, в виде осколков ваза даже больше его устраивала. Касс подошел к окну. Смеркалось. По заливу, на фоне нежнейшего аквамаринового вечернего неба уходили в море рыбацьи лодки с огоньками; огоньки блестели и мерцали — крохотная гроздь веселых странствующих звезд. Воздух был тепел, и в окно лился густой запах цветущих апельсинов. «Красиво здесь, — сказал он вслух. — Ничего подобного не видел». Ветергаз, возбужденно дыша у него за спиной, заметил, что тут в самом деле красиво, самое подходящее место для американца, особенно художника, особенно американца, который так не похож на его итальянских жильцов прошлых лет, таких крикливых, таких невоспитанных, и дети у них пижут непристойности на каждой стенке. Другое здание, дворец, знаменитый палаццо д'Аффитто принадлежал еще деду Ветергаза... Квартира исключительно привлекательная, масса воздуха... Может быть, мистер Кинсолвинг хочет посмотреть?

Громкий крик долетел из долины, крик неистовый, молодой и буйный, тьма опустилась тяжело и быстро, дыша весной и ароматом апельсинов. Касс долго стоял у окна, как некогда Рихард Вагнер («„Парфифаль” написан ждешь», — прошепелявил Ветергаз), и вождеделение, и истома, и кудрявые романтические врывы теснились в его груди.

Тут я, пожалуй, смогу работать, говорил он себе той ночью, тут я развернусь. Он лежал в постели на втором этаже «Белла висты» и не мог уснуть. Болела голова. Тридцать лет, а я все глазки продираю. Он подумал о девушке в полиции (Ассунта? Паола? Дезидерия? Лаура?) и задремал с тяжелым сердцем, тоскуя по нежности и вождеделю.

Наутро, по его словам, он напрочь забыл о девушке. Но весенняя погода была как песня. Он осмотрел с Ветергазом квартиру во дворце и счел ее подходящей. Он решил сейчас же ехать в Рим за семьей. Чеком — счет у них с Поппи был общий — уплатил за два месяца вперед и поехал в Рим, не подозревая, что отдал сейчас все их деньги, чуть ли не до цента.

Опять переезд! Поппи была отнюдь не в восторге.

— Только-только научилась немного по-итальянски, и на тебе — уезжаем! Ну ты, не знаю, Касс! Мне Рим нравится!

— Господи помилуй, Поппи, в Самбуко тоже по-итальянски говорят! У меня тут начинается клаустрофобия! Мы едем в пятницу. Тебе понравится, Поппи. Море, горы, солнце! Сущий рай, черт возьми! — Он задумался. — Надо купить краски, новые кисти. Надо хорошенько запастись, я там буду много работать. Нужны деньги. — Он опять задумался. — Кстати, о деньгах — не скажешь ли, куда девалась наша кисна?

Поппи сидела у окна, на ярком солнце, возилась со своими марками. Несколько лет назад она приобрела большой альбом и заказала фирме примерно на доллар марок («Набор 1000 марок всех стран»). У каждого должно быть хобби, говорила она и с тех пор собрала изрядную коллекцию, в основном за счет того, что копила все дубликаты, даже самых стандартных выпусков, и даже их ничтожную ценность сводила почти к нулю тем, что лепила марки в альбом намертво, а не пользовалась прозрачными наклейками. Касс подошел к ней, когда она безмятежно окунала кисточку в банку с клеем. Она подняла голову и спросила:

— Какая кисна?

— Какая, какая, — сказал он. — В какой ты деньги держишь. Банка от чая. Я только что туда залез, там ничего, кроме чая.

— Ой, Касс! Как ты узнал, что я там прячу? Пегги небось сказала? — Губы у нее слегка задрожали от обиды, что он узнал ее секрет — секрет, который он знал уже через месяц после свадьбы. — Как ты узнал, милый? — огорченно спросила она.

— Воробей начирикал. Слушай, маленькая, мне нужно пять тысяч лир на кисти и краску. Чек твой за этот месяц не пришел?

— Какой чек?

— Какой чек — че к.

Тут и началось. Она сказала, что не получила чека. Он спросил почему; она замялась, наклонила голову, наклеила марку в альбом, а потом, кривя губы, сказала, что вообще-то не знает, но, может, «в этих письмах» объяснено. В каких письмах? Ну, в тех, что приходили вместе с чеками из банка. А где у нее эти письма? Ну, в кухонном столе, где же. И тут в свалке ржавых ножей, невымытых сбивалок, лент для волос и просыпанного кофе он нашел страшный ответ — пачку липких от какого-то сиропа писем из банка в Нью-Касле, Делавэр. В одном из них содержалась окончательная разгадка:

«Мы писали Вам вновь и вновь (так оно начиналось, без предисловий; Касс представил себе, как пожилой узкогубый провинциальный банкир щелкает выключателем диктофона, пытаясь овладеть со своей досадой и возмущением), но так и не получили ответа на наши неоднократные просьбы позволить нам ликвидировать Ваше недвижимое имущество. По завещанию Вашего отца, как Вы знаете, Вы получали приблизительно 400 долларов в месяц с двух предприятий, именованных в последнее время Мотель «О'Кей» и Автобар и бутербродная «Вияни-Вилки», расположенных во втором фискальном районе округа Нью-Касл, Делавэр. В то время, когда строительство Делавэрского мемориального моста и шоссеного подъезда только обсуждалось, мы были уверены, что сумеем продать эти предприятия и, поместив соответствующим образом вырученную сумму, обеспечим Вам солидный месячный доход. Но поскольку нам не удалось получить Ваше разрешение, коего необходимость оговорена в завещании, мы не имеем иного выхода как сохранить эти предприятия. С окончанием строительства Делавэрского мемориального моста и шоссеного подъезда дорога к этим предприятиям будет закрыта для сквозного проезда, и, оставшись в стороне от транспортной магистрали, они фактически потеряют всякую ценность. Поскольку их нынешние арендаторы не пожелали возобновить договоры об аренде, считаем необходимым уведомить Вас, что чек, переведенный на Ваш счет в трест-компани в Нью-Йорке 1 марта или около 1 марта сего года, будет Вашим последним...»

Остаток письма, сварливый и оскорбительный, был посвящен налогам, которые предстоит выплачивать Поппи.

— Ты не дала им разрешения, — прошептал он изумленно и горестно.

— Да нет... — начала она.

— Нет, да? — Он повысил голос. — А почему не дала?

— Ну, потому... Потому что я их не читала!

— А какого же черта ты их не читала? — закричал он.

— Потому что... Не знаю. Потому что я их не поняла, Касс, я про- бовала...

— Тебе не пришло в голову, что, может быть, я пойму эти письма? Что, может быть, я сумею проникнуть в их тайну? Черт возьми, Поппи, ты же бог дал больше мозгов, чем тебе! Как ты могла? Как ты могла за здорово живешь выбросить четыреста долларов в месяц? Как раз когда мы едем туда, где могли бы прилично на них жить... в Самбуку то есть. Ты понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, Поппи? У кого ты теперь возьмешь? У святого Петра? У кого? У кого? Ответь мне!

— Я не знаю, — захныкала она. — Я не знаю, Касс. Ой, что же это, как жакно...

— Поздно жалеть! — заревел он. — Ты знаешь мой пенсионный чек? Который мне присылают за то, что я стебанутый? На него шиш без масла не купишь! Тебя это устраивает? Что нам теперь делать, в богадельню идти? Побираться? Одалживаться? Воровать? Что? Ты понимаешь, в какой ты дыре, голова и два уха? За семь тысяч километров от своего Нью-Касла, без собственного горшка ночного! Ты довольна? Поппи, ну как можно быть такой безответственной?

— Но ты же сам говорил, — начала доказывать она. — Сам, я слышала! Что капиталистическая система растленная и нечестная, а капиталовложения — это только наглый обмен.

— Черт! — сказал он. — Закройся, ради бога! Ты же ходячая фронтальная лоботомия! Вот тебе прекрасный урок капитализма! Одна промашка — и ты горьшь огнем! Знаешь, что с тобой будет, балда, — будешь мыть полы за пятьдесят лир в день, вот что! А с детьми? Они будут питаться акридами! (Дьявол, подумал он, можно, правда, и мне пойти на работу.)

— Ой, Касс! — заплакала она, съезживаясь под этим градом обвинений.

— Что у нас есть? — продолжал он. — Что?! Я могу продать мотороллер, но много ли макарон на это купишь? А в Самбуко теперь все равно надо ехать, понятно? За квартиру уплачено, за два месяца вперед. Но на что мы будем жить, скажи на милость? Объясни мне! — Отчаяние захлестывало его, как ледяная вода. — Господи, Поппи, что ты наделала! — Его взгляд остановился на руке Поппи. — Обручальное кольцо! — сказал он и схватил ее за руку. — За этот бриллиант мы получим тысяч сто лир, я заплатил за него триста пятьдесят долларов. Ну-ка давай сюда.

— Поди по... в свой берет и надень себе на голову, урод недоделанный!

— ПОППИ! — Он застыл на месте, оцепенев от ужаса и изумления. Потом слабым голосом произнес: — Поппи, где ты этому научилась?

Она завывала, широко разевая рот, и младенец, которого приткнули в кресле, тоже заголосил что есть мочи.

— Где ты этого набралась?

— Где я могла набраться, подумай, дурья башка, — всхлипнула она. — Ну где я могла набраться?

Касс был просто раздавлен. Он хотел потрогать ее за плечо, прикоснуться к секрету этой порядочности, чистоты, простодушия. — она отбросила плечом его руку. Он вышел из комнаты. На другой день он продал мотороллер, и этих денег вместе с его инвалидным чеком должно было хватить примерно на месяц. И они уезжали на юг. Все было прекрасно, впереди приключения. Поппи сказала: «Ой, это будет сказка!» Но пока автобус вез их на юг через зеленеющие поля Кампаньи. Касса не оставляло дурное предчувствие, и перед мысленным взором стояла одна картина: элегантные пассажиры в «кадиллаках» на этом подлomorphic мосту через Делавэр равнодушно смотрят вниз, а там мотель «О'Кей» и автобар «Винни-Вилки» — замшелые развалины под покосившимися телевизионными антеннами, и кругом куски штукатурки, осколки неоновых трубок, и на них наползают уже лопухи с крапивой.

И, конечно, новые горизонты в Самбуко ему не открылись. Он думал, что сможет писать. Ветергаз одолжил ему (вернее, сдал напрокат за две тысячи лир, и без того быстро утекавших) мольберт из подвала, оставленный здесь много лет назад третьеразрядным художником начала века по фамилии Анджелуччи, чьи злодейские татуировки, похожие на работу какого-то озверевшего Бёрн-Джонса с мускулатурой Буонарроти, но без его мозга, до сих пор украшали потолок и все до единой стены дворца. На этот мольберт Касс водрузил холст, но холст так и остался голым. От беспокойства он опять стал слишком много пить. А есть перестал. Уже пошевеливалась в груди та тревога, что донимала его в Париже. Каждое утро, с похмелья, он разыскивал Луиджи, холодного философа, который просиживал свободные от дежурства часы в кафе на площади за стаканчиком кампари с содовой. Луиджи питал слабость к тому, что несколько тяжелоусленно именовал *dialettica*⁶¹; беседы их обычно были спорными, но дружескими.

— Фашист, говорите, — подзуживал его Касс. — Ну как это может быть, Луиджи? Как вы можете быть фашистом и в то же время называть себя гуманистом?

— Очень просто, — отвечал Луиджи, ковыряя в зубах. — Ваша беда в том, друг Касс, что, как большинство северных людей, вы слишком склонны вешать на людей ярлыки. Иначе говоря: вы полагаете, что ярлык полностью определяет человека — либо он черный, либо он белый, и никаких полутонов. Поэтому ваши так называемые либералы охотно допускают, что итальянец может исповедовать коммунизм, итальянского же фашиста они считают хуже собаки. А ваши антилибералы испытывают прямо противоположные чувства. Все это показыва-

⁶¹ Диалектикой.

ет, что ни один из вас, американцев, ничего не понимает в итальянцах. Мы не немцы как-никак и не советские. Мне кажется, этот догматизм и сделал ваш народ таким бесплодным в области искусства, не говоря уж о дипломатии. — Он откинулся на спинку и улыбнулся без малейшего юмора.

— Продолжайте, — сказал Касс, тоже довольно хмуро, — вы не ответили на мой вопрос.

— Хорошо, я объясню, как я могу быть тем, что я есть. Во-первых, я фашист не духовный. У итальянца политические убеждения с духовностью не имеют ничего общего. Он слишком живет настоящим, чтобы идеалистически смотреть на тех, кто им правит. С одним или двумя перерывами тут всегда была тирания в том или ином виде, и ему в конце концов стало все равно. Что до меня, то я оппортунист. Оппортунист благонамеренный — в изначальном смысле слова. Вот почему я сейчас фашист. Позвольте мне объяснить: предположим, во-первых, что я гуманист, а так оно и есть. Все порядочные люди, в сущности, гуманисты, даже порядочные полицейские. Предположим далее, что мне надо найти работу, дабы иметь хлеб и помогать матери, отцу и сестрам, которые живут в Салерно. Предположим также, что единственная должность, открытая для меня — из-за моего высокого умственного развития, — должность полицейского. Пожалуйста, не улыбайтесь, Касс, это правда. Я должен либо стать полицейским, либо отремонтировать дороги, либо вообще остаться без работы; и я решаю стать полицейским. Не бог весть что, но и на том спасибо. А теперь на минуту задумайтесь. Могу я в Италии быть полицейским и в то же время быть коммунистом? Совершенный абсурд. А если бы это и было возможно, мой уважаемый начальник Паринелло, — тут на его лице выразилось отвращение, — фашист *sub rosa*⁶², и, будь я коммунистом, какую бы он мне устроил жизнь...

— Какое грустное оправдание...

— Касс, прошу без оскорблений. Позвольте объяснить. Дело не только в этом. В ранней молодости, как я вам уже говорил, я был коммунистом. Но это моя ошибка. Я был глуп, мало знал.

— А посему, поступив в полицию, вы на все это плюнули и стали фашистом. Забыли и про лагерь в Польше, где они перетопили миллион еврейских детей на сало, и пещеру под Римом, куда они отвели несколько сот ваших невинных соотечественников и в припадке бессмысленной кровожадности соскоили из пулеметов. Вы забыли, что за двадцать лет фашизм превратил Италию в пустырь, в пустыню. И не рассказывайте мне, что Муссолини построил отличные дороги. Вы забываете... Эх, Луиджи, до чего ж у вас короткая память!

— Прошу вас, Касс, — кисло возразил полицейский, — не надо истерики. Мы не немцы. Вы в самом деле испытываете мое терпение. Вы будете слушать?..

— Давайте. (Давай, серая скотина.)

— Итак, чтобы есть, чтобы поддерживать свое существование — не говоря уж о моей семье в Салерно, — я не мог оставаться коммунистом ни практически, ни морально. Так какой же путь мне оставался? — с видом победителя спросил он.

— Ну хотя бы — христианских демократов или социалистов. Господи помилуй, да любой, Луиджи, кроме этого гадостного...

— Не спешите, мой друг. — Луиджи сухо усмехнулся. — Может ли честный человек быть христианским демократом, я вас спрашиваю? Как указал великий немецкий философ Ницше (великие имена Луиджи всегда давал развернуто: знаменитый француз Декарт, прославленный художник Беллини), именно эти растрепанные и самодовольные подонки общества приносят народу больше всего вреда. Может ли честный человек поддерживать партию священников, жирной буржуазии и всех тех, кто готов пресмыкаться перед вашим *otgibile*⁶³ министром иностранных дел, — фамилию он произнес несколько на галльский лад: Дю-лес, — который мечтает превратить Италию в копию американской протестантской церкви? Мы бедны и мы с удовольствием примем милостыню; но от этого человека не может быть никакой милостыни, только ханжеские слова и барыш для богачей, которые делают пишущие машинки в Турине. Может честный человек уважать тех, кто уважает его? Ответьте, Касс. А что касается социалистов, они дряблые и мягкотелые и предлагают только грезы.

⁶² Тайный (лат.).

⁶³ Ужасным.

— Хорошо, Луиджи, вы могли остаться никем. Независимым — так это называется?

И опять ответом была раздражающая улыбка.

— Итальянец должен кем-то быть.

— Должен носить ярлык,— сказал Касс, думая, что заработал очко в свою пользу.

— Носить ярлык — да, но не обязан быть тем, что значится на ярлыке. Вот в чем мы отличаемся от всех остальных. А что до моей короткой памяти, как вы выразились, позвольте спросить вас, сколько евреев казнили итальянские фашисты. Судя по вашему лицу, вы отдаете себе отчет, что грехи Германии — это не грехи Италии.— Он выдержал паузу и дружески потрепал Касса по руке.— Я вам вот что скажу: итальянцы — самый рациональный народ на земле. То, что могло быть грехом, мы обратили в добродетель.

— Мы это не называем рациональностью. Мы называем лицемерием, и это не добродетель.

— Называйте как угодно. Мы, итальянцы, бедны и слишком много пережили, чтобы совершенную честность считать добродетелью. Мы полагаем, что честность в меру, честность, расходуемая экономно, стоит больше, чем неподъемная ноша вашей самодовольной англосаксонской праведности. Что до меня, я могу быть фашистом, не кривя душой. Это самый надежный выход. Я должен заботиться о своей шкуре. Я держу ухо востро и жду своего часа, хотя ни на что не надеюсь. Кто знает, может быть, и я когда-нибудь кому-нибудь сделаю немного добра?

Этот довод Касс не мог опровергнуть. Он молчал, пил, и разговор, направляемый Луиджи, постепенно переходил на другие темы: что такое материя? что такое разум? что такое действительность? читал ли Касс выдающегося испаноголландского философа Спинозу? Касс отвечал да или нет, по настроению, но к этому времени вино лишило его способности сосредоточиться, голова его опускалась на стол, все ему становилось безразлично...

— Вы слишком много пьете, Касс,— доносился до него голос Луиджи и огорченное цоканье,— доведет вас это до беды, попомните мои слова.

— А вы, Луиджи, слишком много разговариваете,— слышался тут его голос, и при ярком утреннем солнце он крепко засыпал.

Но в эту весну выдавались и такие дни, когда он был хотя бы отчасти трезв. Забросив свой всегдашний головной убор — залихватский берет, который начал папахивать с наступлением теплых дней,— он облачился в соломенную шляпу, сандалии и мешковатые голубые брюки и в этой гогеновской экипировке бродил по горам. Так он набрел на Трамонти, которое представляло собой лог, дол, ложину — словом, нечто поэтическое — и настолько удалено было от нынешнего века, что если бы откуда-нибудь высунул голову фавн и засмеялся по-козлиному или появилась бы пастушка с посохом и стала заигрывать с ним на языке Вергилия, он бы, сидя в прохладной тени ивы, даже не очень удивился. Там был ручей, припахивавший болотцем, прохладный, затененный папортниками и водяными ирисами. По долине разбросаны были крестьянские домишки, бродили овцы. Растянувшись на мшистом берегу с книгой или просто глядя в неподвижное синее небо, он слышал звуки — слабое блеяние овец, или звон коровьего бубенчика, или далекое чириканье птиц. Налетал бриз с моря, приносил запахи кедра и сосны, и семена одуванчиков, как крупные снежинки, взмывали вверх, плавали и кружились в воздухе и садились на землю. Дух сосны и кедра оставался, Касс задремывал, все страхи растворялись в сплаве воспоминаний и желанья, и тут, на самой грани темноты, сердце таяло в предчувствии покоя. Но даже тут не все было ладно: какие-то фантомы влезали в его сон — память хулиганила, откалывала коленца,— и, вздрогнув, он просыпался посреди этой буколической долины с мыслями о нимфах и пастушках, но весь в поту и твердо зная, что во сне он слышал слабые, доносившиеся как бы издали, однако вполне явственные звуки труда и страдания — звуки горше самого горького плача. Однажды, разбуженный таким образом, он вскарабкался на бугор и увидел, что портило ему сны. Три женщины в отрепьях, непонятого возраста, закопченные до орехового цвета, собирались по склону горы в сторону Самбуко с вязанками хвороста, которые в пору было бы нести крепкому мужчине или небольшому

мулу. Они и сами чем-то напоминали мулов. Чем именно, он даже не мог понять, но здесь тропинка свирепо вздыбливалась и подъем был настолько крут, что ни одна из них не могла сдержать стонов обнаженной нутряной муки, муки не душевной — какая может быть душа у этих горбатых, бесформенных созданий, — а муки измочаженных мышц и сухожилий, животной муки. Смущенный и несчастный, он смотрел на них во все глаза: три оборванных коричневых существа забралась на гребень, секунду постояли там и под громадными неустойчивыми вязанками, словно под облаком, поплелись дальше — один уступающий грязно-бурый иероглиф понурого, горбатого рабства.

Это зрелище было укором ему и огорчило его настолько, что он нашел себе в долине другой уголок для чтения и сна — подалеже от женщин, от их мучительных стонов и непосильных нош. Но забыть их не мог. Как ни пытался — даже здесь, на берегу другого ручья, среди другого луга, — он не мог отделаться от чувства, что каждый день в долину выходят новые тени, что по всей этой Аркадии блуждают зловещие призраки.

А вскоре, в начале мая, тревога вернулась по-настоящему, тяжелая и неоступная. Однажды вечером ему захотелось выпить, и, купив пять бутылок самбукского красного вина, он сел в гостиной перед проигрывателем, один, — Поппи с детьми уже крепко спали внизу — и весело стал лакать. Но после долгих часов, крепленных песнями Ледбелли и нездоровыми грезами о величии, оказалось, что это не так уж весело. К трем часам, постигнув всю красоту мира в том, как лежали его руки в медном озерке света под лампой, он был Ван Дейком (и тоже жил в роскоши и содержал нескольких любовниц); к четырем ослепительные идеи о цвете и форме теснились в голове так, что неизвестно было даже, за какую раньше хвататься, а сам он был революционером в искусстве, легендарным, несравненным; в половине пятого он излагал свои теории Рембрандту на небесах; в пять, когда над морем загорелась заря и он схватил кисть и мазнул по холсту, эйфория его лопнула, как воздушный шар, шлепнулась сморщенной тряпкой, и он заметался по комнате, как по каземату. Нервы были растрепаны, его охватила темная и непонятная паника, и Ледбелли пропел «Бедного Говарда» не меньше ста раз. О сне нечего было и думать. Он схватил последнюю бутылку вина, вышел из дому и при свете прохладной, еще не пробудившейся зари побрел в Трамонти. Он уселся на бережку, поставил между колен бутылку и прикладывался к ней и отхлебывал, а потом букашки завозились, а потом птицы запели, а потом город далеким звоном сообщил ему, что уже десять. Из всех мыслей, что ворочались у него в голове, пока он сидел у чистого ручья, согнувшись как зародыш, запомнилась только одна: ловко же умеет бог помучить человека — подсовывает питье, которое будто бы помогает к нему прикоснуться, но потом, всегда и навеки, уносит его за горизонт — и только ужас дымным следом висит перед глазами. Наконец он встал и бросил пустую бутылку в траву. С остекленелым взглядом, волоча ноги, поплыл к городу, и вдруг на бугре перед ним, словно видения из царства вечного огня, выросли с чудовищной ношей три женщины — опять те же самые, всегда одни и те же? — и безмолвно остановились там на секунду. А потом на тощих своих ногах — вниз, набирая разгон, согнувшись в три погибели, зашаркали к нему и мимо, дальше, не издав ни звука... «С добрым утром», — по-идиотски вырвалось у него... и они скрылись. Он застыл на месте, глядя им вслед, на красивую долину и холмик, за которым они исчезли. И в тяжелой тоске побрел домой.

В таком угнетенном состоянии он подходил к городу, но то, что случилось перед самыми городскими воротами, расстроило его еще больше — и злое обаяние этой сцены и его встречи с женщинами долго потом не рассеивалось. Перед воротами молча толпился народ. Тут же, еще урча мотором, стоял большой голубой автобус, а люди собрались неподалеку от него неровным кольцом — все наклонили головы, разглядывая какой-то предмет на дороге. Касс подошел и увидел раздавленную собаку: наверно, ее переехал этот автобус, вся задняя часть тела от брюха до хвоста была расплющена. Но, к ужасу и удивлению Касса, собака еще жила. Жила и разевала пасть в немом реве муки. Жила и двигалась голова, грудь и передние лапы — животное, напрягая последние силы, скребло когтями по асфальту, а толпа, затаив дух, следила, сможет ли оно оторваться от земли. Подняться собака, конечно, не могла, она уже издыхала, но

люди замороженно наблюдали за ее потугами, скалили зубы, как бы помогая ей, и Касс тоже смотрел словно замороженный, а собака с безумными глазами скребла по асфальту и беззвучно разевала окровавленную пасть не в силах крикнуть о своей боли. «Ah Dio!⁶⁴—сказал кто-то.—Избавьте же ее от мучений!»

Но никто не пошевелился. Казалось, люди наблюдают за смертельной схваткой с ужасом и отвращением, но прозревают в ней какой-то темный смысл, затрагивающий их самих, и потому не смеют в нее вмешаться. «Buon Dio!⁶⁵—произнес все тот же голос.—Прикончите же кто-нибудь несчастную тварь!» И опять никто не шевельнулся. С горящими глазами и пеной на губах собака еще дергалась, корчилась, била передними лапами по мостовой и, оскалив клыки, беззвучно вопила о своей муке. Наконец вперед вышел дородный мужчина в пиджаке, с толстой золотой цепью на брюхе. В руке у него была трость, и Касс, услышав в толпе слово medico⁶⁶, вспомнил, что этот человек однажды повстречался ему на площади — Кальтрони, местный врач. Он был в пенсне, и лысая голова его блестела, как мраморная. Врач шагнул к собаке, и рука, унизанная кольцами, высоко подняла трость; удар был неверный, он пришелся по носу и морде, голова собаки ударилась о дорогу, а из ноздрей брызнула яркая кровь. Толпа охнула. Собака опять подняла окровавленную голову и продолжала корчиться. Кальтрони, сразу вспотев, снова поднял палку («Во доктор!» — как всегда в таких случаях, хихикнул кто-то) и сильно ударил собаку по голове, но палка с громким треском разломилась на две зазубренные половинки. Толпа опять болезненно охнула. «Datemi un bastone!⁶⁷—в отчаянии крикнул доктор, но Касс не стал дожидаться продолжения — душа и желудок взбунтовались разом. Он трусливо бежал — отчего? ведь это была всего-навсего собака — и всю дорогу яростно чертыхался. Последнее, что он увидел, была разбитая, окровавленная собачья голова, немо вопящая небесам о своей пытке. И доктор, приверженец гуманного умерщвления, который кричал: «Палку!»

Конец дня и ночь он проспал беспокойным сном и, свернувшись калачиком в темной утробе небытия, все ждал возвращения кошмара — вулканов, залива, гиблого берега. Но снились ему женщины с тяжелой ношей, собаки, которых бьют по головам, и между всем этим существовала какая-то таинственная нерасторжимая связь, настолько чудовищная, что он проснулся — а проснулся он только на другое утро, поздно — с криком ужаса. И лежал в полумраке, пропоротый тяжким, быстро расплывающимся образом увечья и терзаний, и вздрагивал с похмелья. Чуть погода внешний мир вернулся к нему: за окном тараторили садовники Ветергаза, в нос шибануло чем-то рыбным, он повернулся и отпихнул от лица газетный сверток с дарами моря, неизвестно почему положенный сюда женой или кем-то еще.

Он встал, передернулся. Безумие повисло над днем, как мгла. Ощущение, что все сместилось, что из-под действительности выбиты опоры, уж очень напоминало тот страшный день в Париже. Он принял душ, но озяб, и только. Как-как напялил на себя одежду и на ватных ногах заторопился к площади со слабой надеждой утопить в вине страх, к которому был прикован, как к ядру кандалык.

— Ma la volgarità⁶⁸,— продолжал Луиджи, пока Касс заказывал официанту свое rosso⁶⁹,— пошлость нашего века сосредоточилась не в одной Америке, вот ведь как. Это всемирное явление. Вам приходилось читать знаменитого испанского философа Ортега-и-Гассета?— Он замолк и помешал волосатым пальцем лед в своем кампари.— Нет? Он излечил бы вас от вашей романтической наивности насчет искусства и его разложения. Италия. Это самая низменная страна на свете. Так что прекратите ваши сетования, Касс. Девятьсот девяносто девяти человекам из тысячи искусство нужно, как собаке пятая нога. Искусство — это глупая случайность. Зачем, по-вашему, перебрались в Америку миллионы итальянцев? Чтобы свободно приобщаться к искусству? Нет. Так зачем же?

⁶⁴ Боже!

⁶⁵ Боже милостивый!

⁶⁶ Доктор.

⁶⁷ Дайте палку!

⁶⁸ Но пошлость.

⁶⁹ Красное.

— За капустой.

— Come?⁷⁰

— За деньгами то есть.— Принесли вино, и Касс трясущейся рукой налил стакан.

— Совершенно верно. За деньгами. Кажется, вы начинаете понимать.— Он помолчал.— Вы плохо выглядите, Касс. Вам не кажется, что было бы разумнее не злоупотреблять алкоголем?

Касс отпил из стакана; в Самбуко даже красное вино подавали ледяным, но на этот раз оно словно воспламенилось в животе. «Ай!»— вырвалось у него. Перед глазами все поплыло; позолоченная площадь, голубые вершины вдали растаяли в слезах. К горлу подкатил ком.

— Гадство,— прохрипел он.— Проснулась-таки, Леопольда. Теперь я просто не смогу пить, Луиджи.

— Леопольда?— с недоумением переспросил Луиджи.— А-а, Леопольда! Желудок, вы мне говорили.— На его смуглом лице появилось выражение искренней озабоченности, а глаза наполнились собачьей грустью.— Неужели опять, Касс?

— Не знаю,— равнодушно ответил он. Он ждал нового приступа, но боль утихла, ушла.— Не знаю. Причин хватает.

— Надо беречься,— сказал Луиджи.— А не будете следить за своей язвой (он выразился научно — *ulcera al duodeno*⁷¹, и мелодический этот термин прозвучал вдвойне зловеще), у вас в один прекрасный день случится прободение, и кто вас успеет доставить в Салерно? Касс, почему вы не бросите пить? Почему вы, американцы, изводите себя пьянством?

— Да все потому, Луиджи, я вам недавно объяснял.

Вино взбудрило его, прогнало тяжелую хмарь, висевшую над ним с тех пор, как он встал с постели; тепло в груди, знакомое удалое тепло, растапливало тревогу, и от укоров Луиджи ощущение это было особенно приятным. Он посмотрел на площадь. Две тощие, ослепительно черные монашки проплыли по солнечной площади, как два ворона, и живое колыхание черных ряб над позолоченным булыжником чуть приглушило его похмельную тоску.

— Да потому, Луиджи,— продолжал он,— что американцы чересчур богаты. Потому и пьют. Топят в вине стыд за то, что они богаче всех на свете. Черт возьми, оставьте им хоть это удовольствие.

Касс произнес это без желчи, но Луиджи, печальный жандарм, конечно, уловил иронию. Может быть, потому, что при этих словах Касс машинальным движением вывернул карманы. *Carabiniere*⁷², опечалась еще больше, подался к нему и спросил:

— Что такое, Касс? Вы, по-моему, говорили, что вам переводят деньги почтой. Вы говорили, что от денежных забот избавлены.

— Мы разорились, Луиджи. Мы нищие. Переводов больше не будет.

— Но это ужасно, Касс! Вы же говорили...

— С деньгами — все, Луиджи. Проедаем последние пять тысяч. Гол как сокол Кинсолвинг.— Он отпил из стакана.

— А Поппи знает?— спросил полицейский, прищурясь — солнце светило из-за спины Касса.— Ей известно о ваших финансовых... *difficulta*⁷³?

— Конечно, известно. Но как вы могли убедиться, в практических вопросах она еще беспомощней меня. Поппи! Эх, почему я не родился итальянцем! Тогда бы я не испытывал угрызений оттого, что жена у меня в роли рабыни. За-марашка. Кухонная девка. И неумелая вдобавок. А так я угрызаюсь. А так я просыпаюсь час назад в полном раздрызге и распаде, голова раскалывается, последний кошмар еще стоит перед глазами — и что же, вы думаете, нахожу у себя на подушке?

— Что?— сказал Луиджи. На лице его был написан интерес и глубокая серьезность (нимфу? змею?).

⁷⁰ Как?

⁷¹ Язва двенадцатиперстной кишки.

⁷² Карабинер.

⁷³ Затруднениях.

— Два килло креветок. До чего неаппетитно. А вонища! Понни оставила... но почему здесь, убейте, не понимаю. Она... не знаю, как это сказать италийски... она витает в облаках. Грезит. По рассеянности все бросает где попало, и эти креветки, завернутые в страницу из «Оджи» с развесистой кормой какой-то блондинки, она прислонила прямо мне к подбородку. Боже мой, вся комната провоняла, как склеп! Луиджи, она не справляется без работницы. Честное слово, нас было двое, но и тогда мы жили в бардаке — помню эти вечные бумажки от конфет, эти бесконечные коробки от печенья, — но с четырьмя детьми!.. И вот я вылезая из постели и ступаю прямо на пеленку, полную г... Я просто в голос завыл. Потом принимаю холодный душ, иду наверх. Хаос! Сумасшедший дом! Тимоги пишет на стенах моей постелью. Фелиция льет молоко на кошку. Ннки с мокрыми штанами орет в углу. И посреди всего этого за столом — Поппи, солнце светит на русую голову, и она плачет в три ручья.

— Povera Poppy⁷⁴, — слегка завохтав, сказал Луиджи. — *La vita è molto dura per la bella Poppy.*

— Трудная жизнь у милой Поппи, — эхом отозвался Касс. — Итальянец сделал бы что-нибудь... — начал было он и умолк. Сколько можно хаять свою семью.

Полицейский поджал губы и приготовился что-то изречь.

— У Габриэле д'Аннунцио, — начал он, — в одной пьесе есть строка, где говорится об извечном конфликте между мужчиной и женщиной. Великолепная строка. Кажется, это из «*Il sogno d'un mattina di primavera*»⁷⁵. Впрочем, я сейчас подумал, может быть, из «*La città morta*»⁷⁶. Там так... — он закатил глаза, припоминая, — так: «*La donna e l'uomo...*»⁷⁷. Та-та, та-та, та-та. Черт, не могу вспомнить слова. Речь о том, что мужчине нужно спастись от женщины, или что-то в этом роде. «*La donna e l'uomo...*» Я почти уверен, что это из «*La città...*»⁷⁸. Вы слушаете?

Плохо дело, подумал Касс, все-таки Леопольда. Голодная боль жгла желудок и поднималась кверху, хотелось рыгнуть, но глотку перехватило; закружилась голова, по телу разлилась слабость, но это, он знал, скоро пройдет и наступит блаженная винная анестезия. Он смотрел на огорченное лицо Луиджи и повторял про себя: ле ж а т ь, Ле о п о л ь д а, ле ж а т ь.

— Я слушаю, Луиджи. Продолжайте.

Но Луиджи уже отвлекся от Аннунцио. Глаза у него вдруг блеснули, он щелкнул пальцами.

— Касс! Вспомнил, у меня есть именно то, что вам надо!

— У вас изобрели пластмассовый желудок?

— Нет, нет. Серьезно. Кто вам поможет по дому. — Он кивнул на заднюю часть кафе. — Здешняя *padrona*⁷⁹. Синьора Каротенуто. Утром она рассказывала мне про свою тетку. Пожилая обеспеченная женщина, жила в Самбуко, теперь живет в Неаполе и время от времени наезжает сюда — у нее какие-то благотворительные дела с монахинями. А вчера вечером она была в монастыре, и туда случайно зашла какая-то старая карга из Трамонти, в невообразимо жалком состоянии. Вы слушаете, Касс?

— Я внимаю.

— Так вот, эта женщина и вся ее семья стали жертвой самых ужасных обстоятельств. Иными словами, — он выдержал драматическую паузу, — иными словами, на нее и на ее семью обрушились жесточайшие бедствия, какие мог измыслить только Данте. По словам синьоры Каротенуто, вернее ее тетки, которая при этом присутствовала, на эту женщину страшно смотреть. Она утверждает, что ей сорок, но по виду ей вдвое больше, и вчера вечером она пришла к монастырю в истерическом горе и отчаянии. Глаза у нее были мутные, на губах пена, щеки в багровых брызгах крови. Решив, что она подвержена припадкам, сестры взяли ее, уложили на тьюфак, и там, придя в чувство, она пролепетала свою печальнейшую повесть. Лицо обрызгано кровью, как выяснилось,

⁷⁴ Бедная Поппи.

⁷⁵ «Сна в весеннее утро».

⁷⁶ «Мертвого города».

⁷⁷ Женщина и мужчина...

⁷⁸ «Города...».

⁷⁹ Хозяйка.

оттого, что она прикусила язык и губы. Понимаете, всю дорогу, все пять километров от долины Трамонти до города, она бежала.

— За каким лешим?— спросил Касс.

— Терпение, мой друг. К этому я и подхожу. Как утверждает тетка синьоры Каротенуто, произошло, по-видимому, следующее. Муж этой женщины, чахоточный крестьянин, который держит одну большую корову и молоко от нее продает здесь, в Самбуко,— этот муж, починяя коровник, имел несчастье упасть с крыши и сломал ногу. Вне себя от страха женщина оставила детей на попечение старшей дочери и, как я уже говорил, прибежала в Самбуко — за доктором. И тут начинается самое тяжелое. Доктор... вы знаете его — Кальтрони, такой полноватый человек в пенсне?

— Полноватый? Жирный, вы хотите сказать? Да, я его знаю. Видел вчера, как он мологил собаку.— Вчерашняя сцена вновь возникла перед мысленным взором и преследовала его на протяжении всего рассказа Луиджи.— Неквалифицированный, я бы сказал.

— Не надо насмехаться над Кальтрони, Касс. Несмотря на свое окружение, доктор Кальтрони не шарлатан. Он знающий врач, но мало зарабатывает, перегружен работой, и многие пациенты не могут или не желают платить ему за услуги. Что, кстати, имеет прямое отношение к моему рассказу. Эта крестьянка пришла к нему и потребовала, чтобы он сейчас же отправился с ней и занялся ногой ее мужа. Он ее прогнал...

— Безобразие.

— Отнюдь нет. Наоборот, он имел все основания, и хотя огорчительно, что человек должен так поступать, и Кальтрони, подлинный гуманист в душе, несомненно сочувствовал ее горю, он, как выяснилось, вот уже десять лет врачует эту несчастную семью, не получая ни лиры. Всему, в конце концов, должен быть предел.

— Не понимаю вас, Луиджи. А если этот горемыка истекал кровью? Где тут ставить предел?

Но капрал не желал углубляться в этические тонкости.

— Разрешите, я продолжу. Подхожу к самому интересному. Крестьянка, как я уже сказал, в отчаянии прибежала к монастырю. Монахини там не занимаются уходом за больными, но, к счастью, оказалось, что у одной из них, высокой грузной женщины, есть медицинская подготовка. Вместе с теткой синьоры Каротенуто и этой крестьянкой она поспешила в Трамонти; крестьянка не преувеличила: муж ее лежал на земле возле дома, корчась от боли и призывая небо, по словам тетки синьоры Каротенуто, положить конец его страданиям. А страдания эти, чтобы описать, сказала она, надо увидеть собственными глазами. Я это прекрасно себе представляю и, хотя не был в тех местах с довоенного времени, помню, что видел в молодости — картины тамошнего убожества и распада врезались мне в память. Тетка синьоры Каротенуто была совершенно подавлена, когда рассказывала об этом. Оказывается, туберкулезом болен не только отец, а по крайней мере еще двое детей... все кашляют и задыхаются в одной комнатке, которая не больше вашей спальни в палаццо д'Аффитто. И вот в эту конуру без окон они вносят крестьянина. Монахиня наложила ему шину, и он лежит там до сих пор, беспомощный и, конечно, обреченный.

Луиджи прервал рассказ и откинулся на спинку с печальным видом — но при этом довольный, как сытый кот. В синем небе над площадью все выше поднималось раскаленное белое солнце. На площади началась суета. У фонтана остановился голубой туристский автобус, оттуда, жмурясь, вылезли пассажиры, и на них напал Умберто, зазывала из «Белла висты», остролицый человек в генерал-майорской фуражке, умевший приставать и надоедать на пяти языках. Мимо стремительно прошли две толстые американские студентки с мосластыми ногами, без грудей и ягодич, на низких каблуках и в мятой одежде своего *Wanderjahre*⁸⁰; одну, услышал Касс, звали Барба, или Бабба, или еще как-то; сквозь густой весенний воздух они пронесли свою невинность, как кубки, и скрылись из виду. Удрученный рассказом полицейского, Касс с досадой спросил:

⁸⁰ Год путешествий после обучения (нем.).

— Так что я должен делать по этому случаю — голосовать за фашистов?

— Нет, Касс, я веду речь не о политике. — Он помолчал. — Это ехидная шутка в мой адрес, так ведь? Ничего, я человек терпимый, я оставлю ее без внимания. — понимающе подмигнув, продолжал он, — но, кстати, не мешает задуматься, что Трамонти, которой управляли коммунисты и ничего для нее не сделали, попала теперь в руки христианских демократов — а м е р и к а н с к о й, как вы знаете, партии — и по-прежнему прозябает в нищете. Конечно, я не говорю, что фашисты...

— Рассказывайте дальше. (Черт бы вас побрал.)

— Так вот, Касс. Старшая дочь — ей, кажется, лет восемнадцать — упала на колени и умоляла женщин устроить ее на работу. И что интересно — поэтому, наверно, тетка синьоры Каротенуто и отнеслась к ее просьбе с таким вниманием, — не далее как месяц назад девушка работала в этом самом кафе. Кажется, она хорошо готовит и вообще хозяйственная и согласна работать чуть ли не даром. Положение семьи настолько тяжелое, что я не удивлюсь, если она согласится работать только за еду, которую ей позволят уносить домой. Для вас это идеальная...

— Послушайте, Луиджи, все это прекрасно и замечательно. Допустим даже, что произошло чудо и я смогу ей платить. Допустим, я буду платить продуктами. Ради Поппи... то есть ради детей и ради своего душевного здоровья я все на свете готов отдать тому, кто сделает наш дом пригодным для обитания. Но неужели вы хотите, чтобы к бесконечному списку язв, похмелий, коллик, насморков, которые осаждают la famiglia⁸¹ Кинсолвингов, добавился еще туберкулез?

— Ах да, забыл сказать, — перебил Луиджи, — эта девка не больна. По словам синьоры Каротенуто, у нее был туберкулез, но два года она работала прислугой в Амальфи и благодаря тамошнему здоровому климату и прохладному воздуху совершенно поправилась. — Он говорил об Амальфи так, словно дело было где-то в Дании. — Говорят еще, она немного знает по-английски, а для Поппи... Вы просто окажете благодеяние, если... Да что там. Сейчас я приведу синьору Каротенуто, она сама вам объяснит. — И, прежде чем Касс успел ответить, Луиджи встал и отправился за хозяйкой.

Касс посмотрел на стол и удивился: за какие-нибудь полчаса он выпил целый литр вина, причем натошак. Он обернулся к официанту и хотел потребовать еще messo litro⁸². Но в этот миг глазам его открылась тягостная картина, омрачившая день, как туча. Не далее чем в десяти шагах от него происходила катастрофа. Оборванная женщина из тех, кого он видел в долине, тяжело дыша, остановилась: существо без возраста, с выпученными от натуги глазами, под вечным грузом хвороста, она сама гнулась, как надломленный сук. Позади нее стояла девочка в лохмотьях и сосала палец. Когда Касс повернулся, женщина отчаянным рывком попыталась подпернуть груз сверху, но плохо сбалансированная, покосившаяся вяанка свалилась со спины и со стуком упала на булыжник. Женщина безмолвно вскинула руки — в этом жесте не было ни злости, ни отчаяния, а только безнадежность, покорность миру, где тяжкая ноша вечно падает с плеч для того, чтобы ее опять поднимали, — и с помощью девочки, кряхтя и выбиваясь из сил, поволокла хворост к стене. А потом произошло нечто такое, отчего у Касса взмокли подмышки и лоб покрылся холодным потом. Женщина, согнувшись, в позе осла, бесформенным своим задом уперлась в стену и стала хрипло выкрикивать команды, а девочка, у которой от напряжения дрожали костлявые руки и ноги, принялась втаскивать груз ей на спину. Ребенок тащил и дергал, женщина прогибала спину, и вот вязанка, словно подтягиваемая невидимыми небесными таями, грозно поползла вверх. Но до плеч не дошла: она накренилась, закачалась, невидимые канаты не выдержали, и хворост с треском обрушился на землю. Девочка залякала. Женщина топталась возле хвороста, бормоча и размахивая руками. Словно тоже взбунтовавшись против этого зрелища, желудок у Касса сжался от резкой боли. Касс приподнялся было со стула, но одумался и опять сел. Да что он может сделать, что может сказать? Мадам, будьте добры, позвольте мне взять на себя вашу ношу, я готов тащить ее хоть на край света? Он за-

⁸¹ Семейю.

⁸² Пол-литра.

стонал и отвернулся. Филиппоне, официант с покатыми плечами, сутулясь, шел к нему из-под тента. Касс устремил взгляд на стену вдаль, стараясь забыть обо всем и не думать, и сквозь сальный отпечаток пальца на линзе очков прочел три белых полинявших слова: «VOTATE DEMOCRAZIA CRISTIANA»⁸³.

— Un altro mezzo litro⁸⁴, — произнес он вполголоса, не отрывая глаз от стены. Но что-то заставляло его помучить себя еще, и, когда он наконец оглянулся, женщина уже взвалила на плечи свой громадный груз. Под башней хвороста, согнутая, искореженная, словно пришелица из другого века, она шлепала босыми подошвами по булыжнику, а за ней на тонких, как щепки, ногах тащи́лась девочка.

Далеко в долине, со стороны Скалы, нестройно, перебивая друг друга, словно кастрюли и миски в небе, загремели, забренчали колокола. Филиппоне ушел и вернулся. Касс выпил залпом вино, и, когда кромка стакана оторвалась от носа, половины бутылки как не бывало; он почувствовал, что опять пьян, но словно со вчерашнего, похмельно, устало, неприятно пьян, — и день посерел от знакомой тревоги. Недавняя ясная приподнятость подевалась неведомо куда. На него как будто взвалили тяжелый груз. Взгляд его скользнул по опустевшей площади, ища чего-нибудь ободряющего — яркого цветового всплеска, живого движения, — но не нашел ничего... только толстый, без подбородка Саверио задумчиво жамкал в горсти приподнявшийся орган. Умберто свистнул ему, подзывая к чемоданам, сваленным у автобуса, и он, как ожившее чучело, снялся с места, набухая в шаг и напевая магические пеаны. Площадь лежала пустая и ровная, как сонное озеро. На зеленом языке за долиной, чуть ли не в километре, кто-то засмеялся, и женский возглас: «Non fa niente!»⁸⁵ — прозвучал серебристо и звонко, словно у него над ухом. Снова все стихло. Касс перевел взгляд на море, и отражение солнца, карабкавшегося к зениту, ударило по глазам, так что на мгновение он ослеп, как крот. И в тот же миг с колокольни над площадью, точно пернатые ракеты, взвились голуби, и черный воздух вокруг наполнился хлопаньем крыльев. Галлюцинация! Сердце сжалось от тупого, отчаянного ужаса. Незрячий, он слышал вокруг шорох множества крыльев; рот наполнился желтой, сернистой горечью, и во мраке ему почудились громовые шаги, приближавшиеся по морю. Неподалеку опять как будто бы мелькнула согнутая женщина... «Shpinga!»⁸⁶ — хрипела она девочке на почти непонятном диалекте, а воздух благоухал цветами, каких он не нюхал никогда в жизни. Внезапно в голове у него пронесся со скоростью света холодный сквозняк: шаги, цветы, птицы, ужас — все исчезло, и вместо них осталось знакомое белое, чистое, чистое, как вода, пространство бескрайнего покоя.

Голова его не успела удариться о стол — он очнулся и выпрямился рывком. Заморгал. Во время этого обморока очки свалились и теперь висели, зацепившись одной дужкой за ухо. Он поймал их дрожащими пальцами, посадил на нос и устоялся на площадь. Чудо из чудес: как тогда в Париже, прошло не больше пяти секунд; Саверио еще скакал к автобусу; голуби бутылочно-зеленой трепещущей пеленой только что спланировали к фонтану. Чья-то рука хрястнула его промеж лопаток.

— Ой! — вскрикнул он, задохнувшись от ужаса. — Дьявол!

— Все улажено, друг мой, — бодро сообщил Луиджи.

Касс собрался с силами, пошире открыл глаза, заставил себя слушать — он боялся выдать свое состояние. Далеко в море ошметками галлюцинации возникли водяные смерчи — черный лес уносился к горизонту, море под ним сводила немощная судорога. Потом все улеглось. Сердце у него стучало за ребрами, как перегруженный насос.

— Все улажено. Синьора Каротенуто видела сегодня девушку — она сейчас где-то в городе. За ней пошлют Саверио.

— Но... — Кассу трудно было говорить. — Саверио?

⁸³ Голосуйте за христианских демократов.

⁸⁴ Еще пол-литра.

⁸⁵ Все равно!

⁸⁶ Пихай!

— Да. Я и сам предпочел бы более приличного гонца. — Луиджи запнулся. — Саверио, так сказать.... — хмуро начал он, но не кончил фразу.

— Что?

— Да просто Саверио... Ничего. Когда-нибудь я вам расскажу. Бог с ним. Касс увидел возле автобуса хозяйку кафе: толстая женщина с узлом волос на затылке что-то втолковывала полоумному, помогая себе руками. Саверио повернулся и затрусил по мощеной улице. В это время на площадь выплыл бордовый «кадиллак», за рулем которого сидел молодой мужчина в летней рубашке, а рядом блондинка, оба в темных очках. С резким двухтонным, очень громким гудком машина проехала мимо фонтана. Вертясь и извиваясь, как пескари, ее стайкой окружили горластые мальчишки. Молодой американец, красивый и щеголеватый, еще раз включил свой хроматический надменный сигнал. Би-и! Подрагивая от почти не слышимой мощи, машина стала посреди площади.

— Еще один соотечественник, — проворчал Касс, немного опомнившись. — Все, уезжаю в Россию.

— Касс, я принес вам *mozarella*⁸⁷, — сказал Луиджи и сел рядом. — Поешьте. Вам надо есть, друг мой. Вы уморите себя вином.

— Я еду в Россию.

— До чего вы похожи, американцы и русские!

— *Some*?⁸⁸

— Нет, в самом деле, Касс. Сходство между вами гораздо сильнее бросается в глаза, чем различия. Но ни они, ни вы, кажется, этого не сознаете. А общих черт у вас сколько угодно.

— Задумывался ли? Не помню.

— И ваша увлеченность материальными вещами. Вы говорили об искусстве в Америке. Не хотел бы я быть художником ни там, ни там. У русских, пусть пока под спудом, есть запас духовности, которая в Америке вообще не развилась. Они будут образованным народом с холодильниками и ваннами. Вы будете темным народом с холодильниками и ваннами, и образованный народ возьмет верх. *Capito*?⁸⁹

— Хм. — Почти не слушая его, Касс откусил большой кусок сыра: свежий, сливочный, восхитительно вкусный, он нырнул в желудок и сразу утихомирил гложущую язвенную боль, которую Касс уже и замечать перестал. Но он был крепко, опасно пьян. Голова все время норовила лечь на стол. Бродячее облако в форме Африки плавно нашло на солнце, угол площади покрыла ностальгическая тень, принеся озорной ветерок; Луиджи схватился за голову, но поздно: его зеленая фуражка улетела с клубом пыли. Он погнался было за ней, но ветер тут же улегся, площадь снова затопил яркий свет и тишина.

— Булка, дорогой, — произнесла высокая блондинка, вылезая из машины, — скажи ему, чтобы сперва отнес зеленую шляпную коробку.

— Но там свободно, — услышал Касс собственный голос и хихиканье, отраженные мокрой крышкой стола. — Там демократия. Все едят. Свободно.

Ему показалось, что он просидел, уронив голову на руки, много минут. А почему ему показалось так долго, он сам потом понял: виноват был сон, который внезапно застлал ему глаза, — подробное, достоверное повторение ночного кошмара, вновь зарядившее его мозг тем же отчаянным страхом, какой он пережил десять минут назад, когда потерял сознание.

— Касс, — глухо донесся сверху голос Луиджи. — Касс, шли бы вы домой, поели бы, легли спать.

Но Касс не слушал, почти не слышал — черный парад сна разворачивался перед ним, и он не мог оторваться, цепенел от ужаса и удивлялся предательству хмеля, который не затушил тревогу и страх, как должен был, а, наоборот, довел до пыточной остроты все самые тяжкие предчувствия. Он вдруг понял, почему обморок вызвала женщина с хворостом. Он поднял голову и мутным взглядом уставился на Луиджи.

— Женщина, — сказал он. — Которая дрова несла. Кто она?

⁸⁷ Мягкий сыр.

⁸⁸ Как?

⁸⁹ Понятно?

— Какая женщина? — Недоумение на лице. — О какой женщине вы спрашиваете?

— Да знаете, о какой. — нетерпеливо сказал он. — Тошная, заезженная, хвост несла. С девочкой. Кто она?

— Iddio!⁹⁰ — воскликнул Луиджи. — Кто же их упомнит, этих крестьян! Они все на одно лицо, — добавил он примерно так, как на родине у Касса говорили о неграх сонные лавочники. — Касс, я в самом деле не знаю, о ком вы говорите.

Но он уже понял, сам! Эта женщина просто похожа на женщину из сна, и правильно сказал Луиджи — все они на одно лицо. В любом случае такие ничтожные подробности не могли бросить тень на всеобъемлющую правду сна — правду, казалось ему, настолько бесспорную и ясную, настолько вросшую всеми корнями в существование, что, рассказывая капралу свой сон, он не мог сдержать радостного смеха. Полицейскому уже не сиделось на месте.

— Да что вы едите, Луиджи? — хохотнул он. — Посидите спокойно, я расскажу вам, э-э... видение, которое посетило меня ночью.

Он рассказывал, мало-помалу оживляясь; страх отступил, сменился озорной веселостью, словно вернувшейся из тех давно прошедших дней, когда он еще мог творить, работать, — состояние было настолько странное, что даже не верилось, и внутренний голос предостерегал, что оно ничем не оправдано, — но шлюзы открылись, и его несло без удержу.

— Понимаете, сон был такой, как будто я эфиру нанюхался. Пробуждаешься после такого эфирного сна, и все необъяснимые тайны оказываются детски простыми. Мы ехали в большом туристском автобусе по горной дороге из Майори к Неаполю. В автобусе было тесно и шумно. И, кажется, очень жарко. Помню, я обмахивался. Какие-то шумные парни из Салерно пели под гитару, заигрывали с девушками. Мы ехали вверх над пропастью — знаете там глубокое ущелье перед самой вершиной? И вдруг начинаем разгоняться. На полной скорости проезжаем по деревне. Помню, я закричал шоферу, чтобы ехал потише, что он нас угробит. Но автобус все набирает и набирает ход и с ревом несется по деревне. И вдруг что-то попало под колесо. Звук какого-то мягкого удара. Как будто переехали сумку или мешок с мукой. Я кричу шоферу — останови: Остановились, я вышел. И вот что странно: вышел из автобуса я один... Вы меня слушаете?

Луиджи печально кивнул. И с расстроенным видом стал вытирать лоб.

— Касс... — начал он.

— Да поуждите же вы минуточку. Я вылез и пошел назад посмотреть, на что мы наехали. Все думал, что это мешок с мукой, — почему, не знаю. Пока шел, похоже было, что это и вправду мешок. Но когда подошел, оказалось, что это никакой не мешок. Это была... собака. Раздавило ее страшно. Вся задняя часть до грудной клетки расплющена вроде отбивной, которую мясник полчаса колотил у вас на глазах. Представляете, зад собаки раздавлен, раскатан, ка...

— Послушайте, Касс...

— И бедная тварь еще жила! Ужасно изуродованная, она тем не менее еще жила. Она скулила и пыталась подняться на передних лапах. Это я помню особенно четко: как она плакала, и скулила, и, выкатив глаза, мучительно пыталась оторваться от земли. Потом из автобуса вышел шофер... и странно, он вроде казался знакомым, но лица у него не было вообще... шофер вышел, встал рядом со мной и, глядя, как корчится бедная собака, спросил: «Интересно, чья это?» И вдруг рядом с нами оказалась крестьянка, та самая костлявая сгорбленная женщина, которую я, кажется, только что видел. Она стояла с нами, тоже смотрела на собаку, а потом сказала: «Это была моя собака». Шофер сошел с дороги и поднял большую палку. Вернулся — по-прежнему без лица, понимаете? это было очень странно — и палкой стал иступленно бить собаку по голове, повторяя снова и снова: «Надо прекратить ее мучения, надо прекратить мучения несчастной твари!» Он иступленно молотил ее по черепу и все бормотал, бормотал эти безумные слова. Но собака не желала умирать! Это было страшное зрелище! Невыносимо было наблюдать, как мучается собака, как она скулит и плачет, видеть эти выпученные от боли глаза — она все пыталась подняться, а он молотил ее по го-

* Бог мой!

лове, желая избавить ее от страданий, и каждым ударом только увеличивал пытку! И тут...

— Что?— спросил Луиджи.

Лицо капрала смотрело на него будто из мутной хляби. Касс подумал, что сейчас потеряет сознание, но как-то удержался; он уже не радовался своему открытию, а ужасался, и какая-то непонятная сила заставляла его заглянуть дальше, хотя душу заполнил липкий, холодный страх.

— И тут...— сказал он.— И тут я поглядел вниз и вот что увидел в клубах пыли. Бил он не по собачьей голове, а по голове этой женщины, этой тощей крестьянки с хворостом. Она превратилась в собаку. Она лежала раздавленная и изуродованная, ее распущенное тело корчилось в пыли, и она жалобно кричала: «Боже! Боже!»— снова и снова. «Избавь меня от этих мучений!» И после каждого вскрика палка обрушивалась на ее окровавленную голову и вбивала в землю, чтобы через секунду голова опять поднялась и умоляла об избавлении, а палка била опять и опять, и все напрасно, и не смерть несла ей, а только продолжение бесконечной необъяснимой пытки. Вы понимаете? Понимаете или нет? — хриплым пьяным голосом заорал Касс.— Она кричала: «Liberatemi! Избавь меня! Избавь меня!» И откуда-то с высоты ей отвечал голос человека, который бил ее: «Я стараюсь! Я стараюсь!» И бил, и бил, и рыдал от отчаяния, и повторял: «Не могу! Не могу!» И я понял во сне, что это и есть он, он, тот, кто по прихоти, по ошибке сотворил страдающую смертную плоть, которая не хочет умирать, даже когда нет жизни. И только мучается оттого, что он сам в своем запоздалом сострадании не может избавить своих тварей от прижизненной боли. Они...— Касс запылся. Он чувствовал, что у него дрожат губы.— *Noi*⁹¹... Он бьет нас, но ж а л е я...

Продолжать не было сил. Голова, и так дурная, совсем перестала работать. Луиджи глядел на него тупо, как человек, угодивший на лекцию, которую читают на непонятном языке. Луиджи не понимал его, а кроме того, явно подозревал, что он не в своем уме. С подозрением этим еще можно было смириться, непонимание же показалось Кассу своего рода предательством, и он вскочил из-за стола, опрокинув стул.

— Вы что, не понимаете меня, Луиджи? Почему же тогда,— крикнул он с отчаянием,— стоит нам прогнать одну болезнь, нас валит другая? Разве это не он пробует отделаться от нас таким жалким способом? Отвечайте мне! Разве нет? Нет?

Ответа не было. Неодолимый страх сжимал горло.

— *Stupido! Idiota!*⁹² — рыгнув, сказал он.— Души болезни!— Потом повернулся и побежал прочь от капрала, от его умоляющих рук, ужасаясь тому, что выставил себя дураком, ужасаясь натужным, хриплым звукам, которые вырывались у него из груди...

К западу от городка, неподалеку от древней развалины, которая называется виллой Кардасси (владелец ее, англичанин викторианских времен, был классицистом: девиз *DUM SPIRO SPERO*⁹³ до сих пор сохранился на мраморном портике), есть между скал площадка, куда ходят любоваться морем. Деревья тут приземистые и кривые от вечного ветра. Парапет на площадке оберегает неловкого, пьяного, беспечного: трехсотметровая круча низвергается в каменистую долину. В погожий день Средиземное море открывается во всю ширь: от сонной умбры берега, уходящего на юг, к Калабрии, до отвесных утесов Капри блестит под солнцем изумрудная вода. Вот здесь и очутился Касс, но почему — он потом не мог вспомнить, хотя представлял себе, какой у него был вид, когда он галсами шел по городу, икая, рыгая, растрепанный, с маниакальным ужасом в глазах. Перед стеной он остановился, тяжело дыша, и заглянул в знакомую пропасть. Далеко внизу кто-то ростом с муравья трудился в маленькой, будто игрушечной лимонной роще; вздувшаяся, белая от пены речка на дне долины казалась отсюда безобидной, как струйка молока. В Кассе умерло все, кроме дурноты да полугасшего инстинкта самосохранения; он наклонился над бездной и ощутил ужас, горячий и затягивающий, как любовь. «*Prendemi*, — прошептал он.— Возьми меня». Когда он нагнулся над парапетом, ладонь съехала по раскрошенной известке, его кинуло

⁹¹ Мы...

⁹² Глупец! Идиот!

⁹³ Пока дышу, надеюсь (лат.).

вперед, и небытие дохнуло на него, а рощи, река, виноградники встали дыбом перед его глазами, маня. С придушенным криком он уцепился за стенку другой рукой и попробовал вытянуть себя обратно. Но поздно. Поздно! Известка крошилась, рука не находила опоры. Он уже нырнул в пропасть, умоляюще раскинув руки, и пространство ждало его. Распятый над пустотой, он удерживался только напряжением бедер: пятки чудом заклинило под каким-то камнем. Наконец при помощи одних ног, загребая руками воздух, он вполз животом обратно на парашет, с которого тихо сыпалась раскрошенная известка. Выбрался; ему казалось, что вытащила его невидимая рука. Вздрагивая, он опустился на каменную скамью перед парашетом. Просидел там с закрытыми глазами несколько долгих и черных минут; солнце и теплый ветер высушили потные волосы, прогнали страх и дрожь, и даже в пьяной одуре возникли просветы. Рулада автобусного рожка в долине привела его в чувство; он открыл глаза.

Позади зашуршали кусты. Касс оглянулся. Кусты раздвинулись, высунулась сперва лопатообразная голова Саверио, а потом и сам он, словно адское видение из Иеронима Босха, на четвереньках выскочил из зарослей и встал перед ним, ухмыляясь и что-то объясняя руками. От его распаренных лохмотьев исходил аромат грязи и бедности, а правый глаз, деморализованный связью с одним из бог знает скольких тысяч перегоревших предохранителей, которыми была заполнена его черепная коробка, налившись кровью, совершенно равнодушно вращался в глазнице и дьявольски косился ни на что. Губы шлепали лихорадочно, вместе с кряхтением вылепливая болванку известия, которое он имел сообщить, и заполняя воздух слюнным туманом. Потом, словно кто-то от досады и нетерпения пнул его в голову, слова стали разборчивыми, опрыскивание почти прекратилось, и глаз-штатун наконец успокоился в лузе.

— Я вас искал, синьор Кин,— сказал он.— Девушка у вас работать хочет! Вот она!

По тропинке шла девушка — та самая, из полиции. Стройная, полногрудая, с нежным лицом, она подошла к Кассу степенно, но на лице ее была как бы тень жалкой, несчастной улыбки. По этому случаю она надела туфли — наверно, у кого-то одолжив: они были велики на несколько размеров и сваливались с ее загорелых ног.

— Она хочет у вас работать! — гаркнул ему в ухо Саверио.

Касс все еще не мог опомниться.

— У меня денег нет,— прошептал он, глядя на девушку и удивляясь ее красоте.

— Она хочет у вас работать! — гаркнул Саверио.

— Заткнись,— сказал он.

И хотел обратиться к девушке, уже открыл рот, но вдруг ощутил такую слабость, что у него помутилось в глазах и земля качнулась под ногами. Он опустил лицо на руки.

— Мне нечем платить,— сказал он. Он не мог ее нанять, но и не мог допустить, чтобы она второй раз исчезла из его жизни. И сказал, как бы прекращая разговор: — Приди ко мне завтра.

Он почему-то побоялся взглянуть на нее еще раз и только услышал, как она повернулась и, хлопая громадными туфлями, ушла обратно по тропинке, а за нею следом зашаркал полоумный.

«В себе увяз,— подумал он.— Господи Иисусе. В себе. Если скоро не выберусь из этого, точно не удержусь на краю».

Запись в дневнике. Sabato 4 Maggio ⁹⁴.

«Что меня спасает в конечном счете, понять не могу. Иногда ощущение, что во мне два человека, то есть человек из моих снов и человек дневной, такое сильное, что боюсь взглянуть в зеркало и увидеть там лицо, которого отродясь не видел. Вроде как сегодня — и это не просто вино, а какой-то бог или демон впился в меня клыками и хищно рвущими когтями и не отпустит, пока душа не расстанется с телом. Ну хотя бы как я сегодня осатанел — обозлился на Луиджи, зарорал, вскочил и очертя голову понесся к пропасти — ведь я был будто во власти

сна и жил в этом самом сне, и голос говорил мне: ТЕПЕРЬ. ПОРА. НЕ МЕШКАЙ. Приди ко мне, и будет мир, тишина, покой. Что меня спасло, не знаю. До сих пор разум пересиливал, и молось: пусть пересиливает, пусть пересиливает. Да не сгинет Касс в желтом доме, да не повергнет в расстройство и во прах свою обитель и свое пристанище.

Сего дня принято решение, и поклялся всем, что еще осталось стоящего: ни одна капля C_2H_5OH не смочит моих губ до 15 июня — дня рождения Поппи, и, может быть, тогда она позволит мне отметить этот день. Вино есть могильщик, и лопата, и гроб, и жена могильщика, и семья его. Каждый сам себе выбирает яд.

Два часа ночи. Наверно, я еще не совсем дошел, если способен видеть эти сказочные огни над пучиной. Не ослеп еще. Луиджи с его вежливым и невыносимым сарказмом заметил, что, с тех пор как эвакуировались американские войска и рыбаки обзавелись бензиновыми калильными лампами из армейских излишков, рыбацьи лодки выглядят далеко не так красиво — *graziose*, он сказал. С обыкновенными керосиновыми фонарями они выглядели гораздо более *graziose*, сказал он, кривя губу с усами над сигарой. Ессо⁹⁵ Луиджи. Он смущен и недоумевает. Не совсем понимает, как со мной говорить о США, наверно, чувствует нутром, что у меня к ним такие же двойственные чувства. В общем, бензин не бензин, огни великолепны. И не так уж похожи на звезды, как мне сперва казалось, а если глядеть подольше, они расплывчатые и набухшие — глядишь, и стираются все границы, все пределы, и в гипнотической бескрайней тьме исчезает всякая перспектива, они похожи только на чистые белые цветы, на мясистые хризантемы, брошенные в черное лоно какой-то вечности, рожденной воображением азиата. Наверно, в них есть какая-то идея, но я могу только глядеть. Разгадать не могу. И осмыслить тоже. И рукой пошевелить, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Порой, когда я могу взглянуть на себя критически и думать не кривя душой, мне кажется, что капитан Слоткин был прав, когда посмотрел на меня своими грустными еврейскими глазами и сказал что-то в том смысле, что, мол, ладно, сынок, если уж хочешь перевести это в этический план из психоаналитического, то можно выразиться так: самоуничтожение — последнее прибежище труса. А я, помню, ответил, вроде сетуя на судьбу, — вовсе нет, это торжество человека, загнанного в угол, и, во всяком случае, лучше вечного отвращения к себе. Спорить он не стал, но по глазам видно было, что он понял, что я выкручиваюсь и тоже понимаю, что он прав. Почему он возился со мной — не по-медицински и не по-флотски, — не знаю, но часто думал, что южанин-методист и еврей из Бруклайна, Массачусетс (даже психоаналитик), родственней друг другу, чем пара пенсильванцев, и, конечно, два человека, которые знают Исаяю или Иова, 38, скорей почувствуют странное, но основательное родство, чем двое католиков, которые в жизни ничего не видели, кроме «Нью-Йорк журнал американ». А вообще-то, может, я его просто купил: ему, еврею, наверно, было удивительно, что солдатик из округа Колумбус в Северной Каролине, чуть ли не бывший издолщик, с незаконченным средним образованием интересуется — по-настоящему интересуется — Софоклом и Мишелем Эйкемом⁹⁶, не говоря обо всех остальных, которые дались мне легче легкого, и в 21 год у меня уже была разработана собственная теория живописи. Интересно, что случилось со Слоткиным, наверно, лечит где-нибудь в Бостоне и купается в деньгах. Но когда я думаю о нем — и это потому, наверно, что, кроме него, ни с кем не мог говорить о том, что меня гложет, — я испытываю необыкновенное чувство и ясно помню тот день, когда прочел ему эту строчку из «Эдипа», которая попала мне под вздох, из книги, которую он же мне и дал, — «Ни себе, ни родным, если б умер я, не был бы в тягость» и т. д., а он сказал примерно так: да, мы часто терим неудачу, но прав у нас не меньше, чем у греков, — пытаться освободить людей для любви. И так у него, собаки, складно вышло, так человечно и порядочно, что я с ним чуть не согласился.

Так оно и есть, наверно: какое-то хитрое замыкание или путаница в проводах между любовью и ненавистью — вот в чем секрет моего несчастья, и в конце концов, если будет этому конец, единственный для меня выход — самому за-

⁹⁵ Вот.

⁹⁶ Монтенем.

лезать туда изо дня в день, как напуганному электрику, распутывать эту путаницу. Своих мыслей, своих снов я не мог открыть даже Слоткину. Да самому себе открыть — ужасное, отчаянное дело. Со своими демонами надо быть осторожнее, и кто знает, может, лучше видеть кошмары, огненную геенну, залив и гибель в пучине и всю жизнь вулканы над головой, чем понять в конце концов их смысл. Кто знает, может, если смысл обнажится и прояснится, человек от этого станет трижды проклятым и освободится не для любви, а для ненависти, такой огромной, что все предыдущее покажется нежным и кротким. Кто это знает наверняка — покажите мне такого человека. А пока что я собственной души разведчик, и найти мне надо только то, что немедля меня утешит. И пенять не на кого, кроме себя. И когда мне снится дядя в роли палача, я эту жуть на него не сваливаю. Он был хороший и добрый, темный, нищий фермер, и самое плохое, что он сделал мне, это вlepил затрещину, когда я не тем занимался в сортире, или, как в тот раз, на озере Уаккамоу, за ухо привел домой, когда я в 14 лет накачался пивом, — наверно, он показал себя не самым передовым педагогом, но не он виноват — ни в блудливости моей, ни в моем пьянстве. Слоткин все хотел покопаться в этом — сиротство, дядя, прочее, — но мне кажется, он взял неправильный след. Дядя виноват не больше, чем мыс Глостер, где я и все мы ходили с полными штанами⁹⁷. И если уж совсем начистоту, США я тоже не могу винить, хотя часто хочется и часто виню, да и чего ждать от беженца, рядом с которым самый отпетый бродяга покажется домоседом. Потому что даже Поппи этого не знает, но бывают минуты, когда вспомнишь одну какую-нибудь сосну возле дома и песок, негритянскую церковь в роще, куда бегал в детстве, и горячее воскресное солнце, и как негры пели «В хорамах светлых наверху» (?), — и чувствуешь, а вернее знаешь, что прошепчи тебе кто-нибудь на ухо одно только трепетное слово АМЕРИКА, и ты заревешь, как малый ребенок.

А в остальном подавитесь этой самонадеянной, придурочной, инфантильной, полуфабрикатной, стерилизованной, пропащей страной, где ненавидят красоту. И это точно. Нет, может, не так уж плохо повидать кое-что из ночных ужасов, а что до дяди, то, думаю, кто бы ни вставал перед тобой во сне с печатью вечного проклятья на лице, это сам ты и есть, только в маске, вот в чем дело».

⁹⁷ Мыс Глостер на острове Новая Британия в юго-западной части Тихого океана. В 1942 году остров был захвачен Японией. Американцы высадились там в 1943 году, но до конца войны так и не сумели полностью очистить остров.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

МИХАИЛ МАКОТИНСКИЙ



ЗАПИСКИ ФРОНТОВОГО МАСКИРОВЩИКА

Г

од 1941

Сегодня я дежурный по батальону. Сейчас ночь. Полная луна освещает лагерь. Уже восемнадцать дней война...

Все, что было до 22 июня, теперь кажется сказкой, мечтой, чем-то далеким-далеким. Как ребенок, не избалованный игрушками, прячет в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так я прячу в себе целый мир воспоминаний о довоенной жизни.

20 июня 1941 года я стоял на платформе Ленинградского вокзала и внимательно всматривался в окна вагонов подходящей «красной стрелы». Наконец увидел лицо, которое хорошо помню с двухлетнего возраста. Мама, тревожно глядя в мои глаза, спросила: «Ну что, как живешь, сынок, как настроение?» «Ничего, мамочка, все хорошо, — ответил я и добавил: — Если не будет войны». Никаким пророческим даром я не обладал, просто время было тревожное.

И вот вечером 22 июня красноармеец принес мне, московскому архитектору, младшему лейтенанту запаса, повестку с приказом 23-го в 8.00 явиться в воинскую часть. Моя родная старушка поспешно собрала меня в действующую армию. Позволил руководителю архитектурной мастерской М. Я. Гинзбургу, сообщил, что не приду на работу, и попрощался. Ночью звонил в Ленинград, говорил по телефону с отцом. В трубке звучал его приглушенный и тревожный голос, который в ту ночь я слышал в последний раз.

На следующий день прибыл в пункт, где формировался отдельный инженерный батальон Западного фронта...

Оттуда выехали на рассвете. Растянулись по шоссе на километр. Вот и Москва. Трудно сознавать, что многие близкие мне люди рядом, но я не могу с ними увидеться. Многочисленные стройки приостановлены. После 22 июня вся энергия людей и все средства страны обращены на другое — защиту Родины.

В шестидесяти километрах от Москвы на магистрали Москва — Минск сделали остановку. Был нестерпимо жаркий день. Я отошел в сторону от дороги и прилег под деревом. Через несколько минут подошли девочки и высыпали мне в ладони две кружки земляники. Деньги взять отказались...

Через Можайск проезжали ночью. Здесь уже видны следы разрушений. Навстречу шли грузовики и автобусы с детьми, женщинами и стариками...

Из первых дней на фронте больше всего запомнился день 22 июля. Накануне мы вошли в состав армии и были приданы одной из новых дивизий, которой предстояло идти на запад.

Когда колонна тронулась в путь, было уже темно. Продвигались медленно. Над нами на большой высоте гудели вражеские самолеты. Шум моторов проходил зловедшей волной. Самолеты летели бомбить Москву.

Наше продвижение остановил Днепр. Мост был поврежден. Под утро начали строить переправу.

Через два часа после переправы очутились в большом лесу. Не успели рассредоточить машины, как в воздухе появились немецкие самолеты...

Справа и слева от меня рвались бомбы. Я лежал между стволами двух больших поваленных сосен и старался как можно плотнее прижаться к земле. Впервые реально ощутил возможность умереть... Самолет, пикируя, как мне показалось, прямо на меня, быстро приближался к земле. Через секунду я увидел огонь и услышал звук разорвавшейся бомбы. У опушки леса, метрах в тридцати от меня, стояли две машины: грузовая и легковая. Бомба попала в грузовик, накрыла и легковую машину... Самолеты, идя над нами, стали стрелять из пулеметов. Пули ложились рядом, взрывая землю. Казалось, они пришивают меня к земле, я только этого не чувствую...

Через час, воспользовавшись наступившими сумерками, мы перебрались в глубь леса, где почувствовали себя лучше: враг бомбит главным образом опушки и стреляет вдоль просек.

Уже четвертый день я в новой части. Формируется отдельная маскировочная рота Западного фронта. В нее кроме меня откомандировали из нашего батальона еще двух средних командиров и около восьмидесяти человек рядового состава. Формироваться, наверное, будем дней десять. Провожу занятия по маскировке с личным составом.

Я начальник маскировочной мастерской, которая должна создавать макеты боевой техники и участвовать во фронтовых маскировочных операциях. У меня заместитель моих лет, бывший техник-строитель, прослуживший пять лет в пограничных войсках. Есть еще два младших командира, среди солдат — маляры, слесари, столяры, плотники. Есть техник по обработке металла — ополченец. Ему пятьдесят пять лет, но он старается не отставать от молодых.

...Гитлеровцы заняли Николаев, город, в котором я провел детство и юность. Там остался мой старый дед... Только что передали, что враг наступает на Ленинград. Там мой отец... Я содрогаюсь при мысли о зверствах, которые сейчас творятся на нашей земле. Много убитых, замученных, искалеченных людей. Погибли стоявшие века памятники архитектуры и изобразительного искусства. Учебник по истории архитектуры (в работе над ним я принимал участие) еще не увидел свет, а описанные в нем памятники уже исчезли. Много, что было достигнуто на протяжении столетий, рушится, сравнивается с землей. Никакие варвары так не поступали...

Лето и осень запомнились особенно хорошо. Казалось, никогда на земле не было такого богатого урожая. Мы отступали через десятки деревень. Шли по хлебам в рост человека. За спиной оставались женщины, старики и дети. В их глазах было столько печали, горечи и тяжелого предчувствия...

Фронт приблизился к Москве.

В ночь на 6 декабря мой взвод с электрическими минами выехал на двух машинах к перекрестку Дмитровского и Рогачевского шоссе. Здесь, у станции Лобня, противник совсем близко подошел к Москве. На рассвете наша армия пошла в наступление. Я видел, как красноармейцы шли в атаку. Слева от меня — батальон сибиряков, справа — морская пехота. Многие из них полегли в то утро, но ни один не лежал на поле боя спиной к противнику.

А наш взвод должен был минировать исходный рубеж этих двух батальонов электрическими минами — на тот случай, если фашисты пойдут в контратаку. Тогда мы из специального укрытия приведем мины в действие: каждая из них разрывается на 900 осколков.

Но до этого не дошло. Атака завершилась взятием высоты и расположенной на ней деревни. Я был в этой деревне сразу после боя, видел ужасную картину варварства и зверства...

30 декабря мы расположились в одной из прифронтовых деревушек — пока еще не очень далеко от Москвы. Обучаю пополнение, прибывшее в нашу часть.

Получил письма.

В новогоднюю ночь весь командный состав нашей части собрался в доме, где размещался штаб. Конечно, шли за победу, за Родину, за матерей, жен, отцов и де-

тей. Кроме полагающегося пайка каждый из нас еще получил и новогодние подарки. Я получил подарок и письмо от молодой колхозницы Насти. Простое, бесхитрое письмо, от которого повеяло теплом и лаской. Подарила мне Настя сшитый своими руками кисет с табаком и пачку сахара. На кисете с одной стороны было вышито «Со скорой победой», с другой — «С Новым годом. От Насти».

Второе письмо было криком души из блокадного Ленинграда. Писала знакомая студентка университета. Сообщала, в частности, что гитлеровцы увезли Янтарную комнату из детскосельского Екатерининского дворца и разобрали фигуру Самсона в Петергофе. Эти памятники близки сердцу моему так же, как и многие другие, оскверненные и разрушенные фашистами.

Год 1942

Опять перебираемся на новое место. Едем через Москву. Поезда в нашем направлении идут только до Нары. Оттуда до Малоярославца довозят нас санитарные летучки. По дороге видим лес, побитый осколками, покореженные машины, танки, повозки, трупы лошадей и людей. Большинство деревень сожжены дотла.

Ночью по дороге, занесенной снегом, веду роту к месту дислокации. Немцы в этом районе хозяйничали два с половиной месяца. Много об этом времени нам рассказали местные жители...

В одной избе нашел немецкую карту. На ней в районе Серпухова подробно указана дислокация наших войск, важнейшие предприятия и даже питьевые колодцы. Поразительная осведомленность и отличная полиграфия!

Зимний пейзаж здесь очень хорош. Три основных тона: лес, небо и снег. В каждом — множество оттенков. Очень хочется рисовать. В воображении рождаются акварели, которым не суждено появиться на свет.

Сколько новых задач придется решать нашим людям сразу после войны! События, которые мы переживаем, повлияют и на архитектуру. Восстановление городов потребует много средств, поэтому придется отказаться от любых излишеств. В то же время потребуются покой для глаза и души, чувство легкости и радости. Вот что будет формировать послевоенный стиль в архитектуре.

Только что в избу вошла погреться женщина с девочкой. Идут сами не знают куда. Жили в деревне около Боровска. Немцы сначала их обобрали до нитки, потом сожгли дом. Вот и ходят собираются... Сколько сейчас таких!

Завтра еду на передовую. Нам приказано создать впечатление охвата нашими войсками с флангов населенного пункта, в центре которого засел противник. Мы должны заставить противника сосредоточиться на ложном направлении.

Как все в мире относительно! Что может быть нежелательнее на войне, чем налеты вражеской авиации? А мы при выполнении этого задания будем считать бомбежку благом, хотя сами можем стать жертвами бомбежки.

Получил открытку от жены Владимирова. «Вчера пришла страшная весть о смерти Вячеслава Николаевича... Не могу примириться с мыслью, что уже нет в живых моего близкого друга.

Четыре года мы проработали в нашей мастерской на Гоголевском бульваре. Нас связывала не только творческая работа. Я обязан ему многим из того, что теперь есть во мне, что составляет суть моей личности. Вячеслав был тонким человеком, глубоким в суждениях о жизни и талантливым в творчестве. Мы часто и много беседовали — бродили по бульварам и говорили обо всем. Человек с именем в архитектуре (его знали и за рубежом), Владимиров, когда началась война, пошел добровольцем в народное ополчение, стал рядовым бойцом саперной роты...

В этот день долго вспоминалась Москва: Маросейка, мое окно, солнечное утро, крыши домов, теряющиеся в дымке, веселые голоса людей... Вспомнил свой рабочий стол с книгами, журналами, эскизами, рукописями, три шкафа с книгами и две этажерки с журналами, мои акварели на стенах и яркий ковер над тахтой.

Все это пахло утренней свежестью.

Я брлся, принимал душ, пил чай и к девяти часам был в мастерской. В середине дня — обед в Доме архитектора, где обязательно немало старых знакомых и часто среди них приветливый, остроумный, вечно балагурящий, самый веселый архитектор в Москве Александр Гуля... Дом архитектора и сейчас стоит в Гранатном переулке.

Там по карточкам отпускают обеды членам Архфонда. Но Гуля там уже никогда не появится: он убит еще в декабре сорок первого.

Вечером чаще всего я бывал дома: подбирал материал по Киеву, Чернигову, Новгороду для учебника по истории архитектуры. Сейчас Киев, Чернигов и Новгород под пятой фашистов, и вряд ли уцелели там многочисленные памятники древнерусской культуры...

Я часто был недоволен жизнью и работой. Так уж устроен человек — что имеем, не ценим. А сейчас в моем представлении все, что было до войны, кажется голубым утром...

29 апреля проезжали через Москву. Пока рота шла от Киевского вокзала к Белорусскому, я на метро съездил к себе. Убедился, что дом наш цел... Наш поезд уходил только в 9 вечера. Поехал в Академию архитектуры. Основная часть академии во главе с президентом В. А. Весниным — в эвакуации. В Москве работает группа сотрудников под руководством К. С. Алабяна. Организована и маскировочная мастерская, работы которой служили для нас пособием при создании материальной части (макетов танков, самолетов, автомашин, пушек и т. д.). Хотел повидаться с Каро Семеновичем, от которого недавно получил хорошее, теплое письмо. Являясь ответственным секретарем Союза советских архитекторов, он заботится об архитекторах-фронтовиках, об их семьях и о семьях тех, кто погиб на фронте. Алабяна не застал. Встретил архитекторов А. К. Бурова и И. Ф. Милиниса. Они мне рассказали о своих делах, я — что мог о своих...

...Последние семь суток занимаемся изготовлением ложной боевой техники. Работаем по тринадцать-четырнадцать часов в сутки. Делаем сборно-разборные самолеты, ганки, автомашины, орудия... Все это мы же будем применять при выполнении заданий по ложному сосредоточению войск у переднего края.

Пришла весна. Сегодня я сидел на свежезеленой поляне у опушки леса. Поляна вся была усеяна цветами, и мне захотелось собрать букет. Когда я нагнулся, увидел, что все поле так же, как и цветами, усыпано осколками снарядов. Какой жуткий контраст: полевые цветы и... осколки снарядов.

Окончена первая часть задания — производство макетов. Два больших сарая забиты ими. Когда заходишь сюда, кажется, что попал в огромную бутафорскую театральную мастерскую. Сарай стоят среди леса. В лесу поют соловьи. А над лесом сейчас, когда пишу, висит полная луна. Тихая, весенняя, немного прохладная лунная ночь. На мгновение кажется, что нет войны.

Я начальник «аэродрома». Получил машины и приказ выступить с материальной частью на северо-запад, к фронту. Ночью шли приготовления. В 2 часа колонна двинулась. Прибыли на место в 7 часов. Людей разместил в нескольких уцелевших домах. Машины направил к месту расположения ложного аэродрома. На опушке леса закипела работа. Первые двое суток не спали. И вот на старте красуются уже два «самолета», остальные — на замаскированных стоянках. Организована и «база горючего». Несколько раз появлялись самолеты противника, тогда на летном поле мы имитировали бурную деятельность. Мне приданы два отделения стрелков, 4 автомашины и один легкий танк (нужен шум).

Здесь, в верховьях Москвы-реки, очень красиво. Крутые берега, мельница, плотина. На горе — старый заброшенный погост. На нем растут березы. В деревне было 65 домов, уцелело 5...

На «аэродроме» нахожусь днем и ночью.

Два дня шел проливной дождь. В эти дни в основном и был построен «аэродром»...

Он сыграл ту роль, которая ему предназначалась.

...Наша колонна, состоящая из нескольких десятков автомашин, по магистрали Москва — Минск идет на восток. Остановились в пятидесяти километрах от Москвы, здесь сдали свой груз (макеты), оставили для себя только 15 «машин». Отдыхали с часу ночи до четырех утра — заняли несколько домов. Утром получил приказ повернуть на запад. У Кубинки свернули на юг, к Наро-Фоминску...

Выясняя задание: мы должны маскировать командный пункт фронта. Дислоцировались в лесу, в полукилометре от автомагистрали и в пяти километрах от объекта

маскировки. Место сырое, много комаров. Почти всю ночь строили для себя шалаши. В шесть утра направились на работу.

Начались длинные рабочие дни и короткие ночи сна. Ежедневно подъем в 5 утра, отбой в 12 ночи. Но все это пустяки. Эти трудности сейчас почетны. Я худо себя чувствовал бы, если бы мало работал. Плохо другое: все время, не переставая, идут дожди. Ходишь по колено в грязи по пятнадцать—двадцать километров в сутки. Сверху льет и снизу мокро. На работе мокро и во время сна мокро — шалаши протекают.

Сижу меж трех больших сосен у костра. Бойцы натягивают горизонтальную маску над дорогой.

Сегодня ровно год, как я на фронте. За этот год получил массу впечатлений, и большая часть их связана с ужасами войны. Первое боевое крещение. Октябрьское отступление из Вязьмы, Волоколамск, Серeda, Кресты... Гибель Владимирова, Гули, Бобылева, многих других. Разрушенные города и села. Поля сражений с сотнямиtrupов. Грандиозная битва под Москвой, и мое в ней участие у станции Лобня. Жизнь в снегу, в воде и в грязи. Развалины памятников культуры...

Теперь я командир «танковой бригады». Она находится в лесу возле цветочного поля, в полутора километрах от замечательной деревушки. У меня своя радиостанция и целый парк «автомашин». У поля, между двумя большими березами, мой командный пункт. Здесь блиндаж с радиостанцией. В свободные минуты слушаю Москву и Ленинград. Но свободных минут мало. За последние десять суток лишь пять ночей спал нормально.

Командиру-маскировщику нужно многое знать. Оперативная фронтовая маскировка требует знаний всех родов войск, их материальной части и особенностей боевых действий.

Мы находимся на одном из наиболее отдаленных участков Западного фронта, в языке, который проделал кавалерийский корпус Белова. С трех сторон окружены противником. Первые два дня здесь не было активных действий, а теперь не умолкает артиллерия. Фашисты стараются перерезать язык восточнее того места, где мы проводим свою операцию. Если это им удастся, мы попадем в окружение. Если придется принимать бой, нам поможет пограничная часть, находящаяся по соседству. Позавчера ездил к ним договариваться о взаимодействии.

13 немецких бомбардировщиков бомбили соседний полевой аэродром. Вечером над расположением моей «бригады» кружил «фокке-вульф». Значит, и нам следует ожидать прихода бомбардировщиков.

...Приехал ко мне командир роты из соседнего батальона. Батальон два дня тому назад был в бою. Сначала наступали фрицы. Шли пьяные в полный рост. Это у них называется психической атакой. Не пойму, почему до сих пор не отказались они от этого глупого приема. Их подпустили на сто пятьдесят метров и стали поливать градом пуль. Потом батальон перешел в контратаку, занял две деревни. Помогла «катюша». Я на своем командном пункте видел этот бой. Батальон почти не имел потерь.

Знакомился с занятыми позициями врага. Блиндажи с восемью рядами наката. Внутри обшиты материей. Между двумя близко стоящими деревнями есть даже перекрытые ходы сообщений, почти от самого Варшавского шоссе на несколько километров тянется частично подземная дорога...

Вечером был у командира соседней части. Тот сообщил: в нашем районе ожидается высадка десанта противника. Договорились о совместных действиях.

Когда я был в штабе инженерных войск фронта, мне предложили сделать несколько строительных проектов — летней столовой и маленьких деревянных домиков. Я настолько изголодался по любимому делу, что с энтузиазмом взялся за работу. В один день была спроектирована столовая, а на завтра — проект сборного домика.

В ночь на 5 августа проснулся от сильного толчка. Через секунду понял: это моя «бригада» подвергается бомбежке. Еще через секунду услышал злое свист и шипение над головой — пронеслась бомба большого калибра. Где-то рядом раздался оглушительный взрыв, сопровождаемый сухим треском... Вызвал машину и поехал посмотреть, нет ли потерь в людях и материальной части. Нашел на своем участке несколько воронок диаметром около семи метров и глубиной примерно три с половиной метра. Значит, вес каждой бомбы был около 250 килограммов.

На следующий день бомбардировщики появились снова, опять стирали с лица земли нашу «танковую бригаду»... Одна бомба упала возле моего КП и не разорвалась. Она глубоко ушла в землю, на поверхности остался исковерканный стабилизатор.

Ночью мой участок был обстрелян из пулеметов. Трассирующие пули ложились у самого КП и по всей опушке леса. Немцы, очевидно, поверили, что здесь создается мощный кулак из танковых и моторизованных частей. Значит, мы добились своего — ввели противника в заблуждение.

Наши настоящие танковые части оттянуты на юг, поэтому мы все более энергично проявляем признаки жизни «танковых подразделений»: все время работаю радиостанцией, демонстрируя активность «танкового штаба», непрерывно движется танк, приданный нашему подразделению.

Третьи сутки льет мелкий осенний дождь. Все промокло. У меня забрали взвод стрелков из охраны «района сосредоточения». Остался с маскировщиками и радистами. Количество людей уменьшилось, а работы прибавилось. Люди стоят на посту по двенадцать часов без отдыха. Я все время на КП возле радиостанции.

Темная ночь. Изредка слышен гул артиллерийского обстрела. Сажу в палатке у огня. Читаю только что полученные газеты.

В мое распоряжение поступили новые стрелки. Командует ими совсем молоденький лейтенант — ему всего девятнадцать лет. Такой славный, совсем мальчик. Все о маме своей вспоминает. Он со своими стрелками уже пять месяцев на передовой.

В пять утра получил приказ свернуть материальную часть. В 14.00 снялись стрелки. Через час прекратила работу радиостанция.

Сейчас ночь. Сажу в своей палатке, жду, когда придут машины. Куда теперь поедем, не знаю. У палатки стоит часовой. С вечера громыхали пушки.

28 сентября нас погрузили в эшелон. Едем выполнять важную и срочную операцию...

Передний край обороны. Блиндаж командира роты. В ста метрах отсюда — линия крайних дзотов, между ними ходы сообщений. Перед дзотами и ходами сообщений — проволочные заграждения, за ними — минные поля и фугасы. Дальше полоска ничейной земли. Если подойти к передним дзотам, у которых сейчас работают мои бойцы, то отчетливо видны укрепления противника. Они идут вдоль опушки леса.

Днем нельзя устанавливать ложные дзоты — не миновать обстрела и потерь в людях. Работаем ночью. Светлая, лунная, морозная ночь. Люди разговаривают шепотом.

15 ноября производил обмеры и фотографирование бронепоезда, или «Бориса Петровича», как его здесь называют. Время от времени «Борис Петрович» выходит в боевой рейс, и по рассказам его командира эти рейсы наводят панику в лагере противника. Немцы давно охотятся на «Бориса Петровича». Моя задача: сконструировать и построить макет бронепоезда, который будет передвигаться с помощью дрезины, смонтированной в «паровоз».

Пока нет платформ и дрезины, нас направили к переднему краю для маскировки дзотов и установки ложных огневых точек. И вот мы уже три ночи выполняем это задание.

Два часа тому назад в мой блиндаж вошел старший сержант Есин и доложил о выполнении задания. Я пошел проверить. Небо очистилось от туч, и луна ярко освещала нашу и немецкую линии обороны. Донеслись две короткие очереди пулемета. Спустился в ход сообщения.

Отсюда наши разведчики систематически ходят за языками. Немцы, в свою очередь, тоже. Если днем здесь можно получить на память немецкую пулю, то ночью может случиться худшее — есть шанс попасть в лапы к врагу.

Маскировали железобетонные колпаки дзотов у линии железной дороги. Придумал новую конструкцию маскировочных щитов.

Приказано замаскировать опорные точки в домах деревень Малые Савки и По-

крова. Обе деревни просматриваются и обстреливаются. Дома с огневыми точками находятся на возвышенности, на виду у немцев...

На КП батальона узнал радостную новость: наши войска под Сталинградом перешли в наступление.

Солнечный морозный день. Утром с командирами других подразделений пошел на рекогносцировку в деревню Покрова. Шли лесом. На деревьях сверкал иней. По выходе из леса около километра прошли ходами сообщений — до КП первого батальона. Передний край противника отсюда примерно в шестистах метрах.

Осмотрели укрепленные точки в домах. С наступлением темноты начнем маскировочные работы. Работали всю ночь.

Вернулись в Киров¹. После десятидневного пребывания на переднем крае он кажется глубоким тылом. Устроились прекрасно. У моего подразделения отдельный дом, а у меня отдельная комната. Тепло. Дров сколько угодно. Готовим материалы для постройки макета бронепоезда.

...Получил новое задание построить ложный аэродром. Мне придали людей для изготовления «самолетов». Сегодня же на скорую руку сконструировал макет «МИГ-1». Завтра приступим к его изготовлению. Когда все макеты будут готовы, понадобятся еще три-четыре дня для устройства «аэродрома». Значит, пробудем здесь не менее десяти дней.

Задание в районе Кирова выполнено, 24 декабря в три часа утра уезжаем со станции Фаянсовая...

Получен приказ Военного совета армии. В нем объявлена благодарность всему личному составу роты. Начальнику инженерных войск армии генералу Варваркину предложено представить особо отличившихся бойцов и командиров к правительственным наградам.

Снова тыловые армейские будни с однотипной работой по изготовлению ложных макетов, по составлению отчетов и с нудным лечением больной ноги. Из-за этой ноги я чуть было не попал в госпиталь.

Год 1943

Почти на всех фронтах наши войска наступают. Радостно слушать радио и читать сообщения Совинформбюро. Но когда подумаешь, сколько крови льется сейчас... Ведь наступление всегда связано с большими потерями. Только одна семья — та, что приютила меня здесь, в Меньшовке, — в течение нескольких дней получила два извещения: убит сын под Сталинградом и ранен зять.

Иногда хочется помечтать... Отшумела война. Окончилась невиданная, беспримерная за всю историю человечества бойня. Каким-то чудом я остался жив. Снова Москва — родная, солнечная днем и в ярких огнях ночью. Я снова архитектор.

Гранатный переулок. Ярко освещенный зал собраний Дома архитектора. Ведь мы наверняка соберемся на торжественный вечер в честь победного окончания войны! Сажу в кресле и локтем чувствую рядом любимую женщину. Я счастлив от сознания, что сброшены с плеч и сердца неимоверная тяжесть, что ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю меня никто не убьет, что не будут уже свистеть пули у моей головы, я могу спокойно спать в своей постели, могу заниматься любимым делом, читать книги, ходить в театры...

В этот торжественный час лица наши будет омрачать и печаль. Многих среди нас уже не будет...

...Ночью поднял людей по тревоге. Предстоял сорокакилометровый переход на юго-запад. Оттепель. На дорогах вода, под водой лед. Шли в валенках. По такой дороге это все равно что совсем без обуви... На месте были в 11 часов.

Взял с собой сержанта, бойца-ординарца и пошел выяснять обстановку. Командир стоявшего в обороне полка принял меня тепло. Сам он уже не молод, очевидно из запаса. На груди — орден Красного Знамени и три нашивки за ранения. Рассказал об обстановке и дал связанного к командиру батальона.

С комбатом поехал к переднему краю, на участок четвертой роты. Осмотрев участок, решили на нем сосредоточить ложную танковую часть. Расстояние до против-

¹ Город Киров Калужской области.

ника здесь до километра. Прекрасно просматриваются отдельные места. Видны не только дзоты и траншеи, но и фигуры немцев.

В блиндаже на командном пункте командира роты я и расположился со своими бойцами. Предстоит тяжелая работа в течение пяти суток...

...Наибольшее беспокойство немцы проявляют против нашего правого фланга. Здесь они вчера выпустили по моим бойцам более десятка мин.

Сегодня в десять утра начался беглый артиллерийский огонь по участку соседней роты. Потом, устроив дымовую завесу, фрицы — человек сто — пошли в атаку. Скорее всего это была разведка боем, в результате которой свыше десятка солдат противника были убиты. Остальные под прикрытием огня отошли.

Вчера днем пришлось прекратить работу, так как нас дважды обстреляли. Продолжали работать ночью.

Снова район Кирова. Сильный пронизывающий ветер. Маленькая полуразрушенная избушка. Крохотное оконце выходит на запад. Прямо перед окном растут, спускаясь к реке, березы. Между ними покосившиеся кресты старого кладбища. Заходящее солнце отбрасывает на снег глубокие голубые тени от берез и крестов.

За последние двадцать дней я выполняю со своими бойцами уже третье задание. И ни одно из них не дают закончить. Каждый раз перебрасывают на новое место. На днях получил новый приказ: прекратить «сосредоточение танков», перебросить материальную часть на станцию Фаянсовая.

Грузимся в вагоны. Ближе рвутся снаряды. Над нами все время кружится корректировщик — «костыль», как его называют наши солдаты.

«Костыль» не помог артиллеристам: ни один снаряд не попал в наш эшелон.

22 марта в 5 утра выехал в район Юхнова. Я знал, что где-то здесь воевал мой друг Вячеслав Владимиров. В прошлом году во время проезда через Москву я забежал к его родным. Читал фронтовые письма Вячеслава. Он был убит близ деревни Хвощи...

Раньше здесь, судя по карте, у дороги стояла церковь, а возле нее располагался деревенский погост. Сейчас церкви нет, она разрушена, а старое кладбище пополнилось свежими могилами наших бойцов и командиров.

Я пошел вдоль западной границы кладбища, там, где было больше новых могил. И у большого дерева увидел табличку со словами: «Архитектор-боец Владимиров В. Н. погиб в бою с немецкими оккупантами 25.II.42 г.». Я снял шапку. Сколько так стоял — не помню. Потом обратил внимание, что с некоторых букв сошла краска. Взял черный карандаш и обновил надпись...

Зашел в крайнюю избу деревни. В избе молодая женщина стирала белье. Я попросил ее посадить полевые цветы на могиле Владимирова... В углу избы всхлипывала старушка: по-видимому, моя просьба напомнила ей о гибели на фронте двух сыновей. Эти люди только три дня тому назад, когда фронт продвинулся на запад, вернулись в свою деревню.

20 апреля объявили, что я еду со своим подразделением в 50-ю армию. Со мной — технический взвод. Прodeлали тридцатипятикилометровый путь к передовой — к месту, где предстояло маскировать рокадную дорогу, постоянно находящуюся под огнем противника.

Нам предстояло сменить взвод маскировщиков старшего лейтенанта Кузнецова, но его на месте не оказалось. Послал связного в штаб армии. Тот вернулся с приказом к утру прибыть в штаб инженерных войск. Здесь я получил новое задание — маскировать армейский КП.

Дома Военного совета армии расположены в березовой роще. Тонкие, стройные и высокие березы, голые стволы, а верхушки в листве. Решил применить имитирующее окрашивание. Подал заявку на материалы, но красок не получил. Решение принял простое: вместо того чтобы рисовать на домах березы, стали прибывать к фасадам домов березовые стволы.

Здесь, очевидно, скоро начнутся серьезные дела. Это видно хотя бы по тому, что впервые нас, маскировщиков, вооружили автоматами.

10 мая сделал контрольный полет над территорией КП армии. Все сооружения хорошо замаскированы.

Три дня маскировали вновь выстроенные дома, мосты и новый участок дороги. Затем дал людям один день отдыха. 15-го в 7 утра выехал в артиллерийский полк 50-й армии для маскировки действительных и устройства ложных огневых позиций.

Впервые маскируем огневые позиции на совершенно открытой местности, в безлесном районе. Как будто здесь не средняя полоса России, а Украина или Краснодарский край... Видны следы мартовских боев. Тогда наши войска освободили большую территорию — до реки Жиздры. Фронт теперь проходит по берегу реки. Много неразминированных участков. Все населенные пункты сожжены и разрушены. До последних дней здесь лежали трупы немецких солдат. Теперь их закапывают.

Начали работу в девятой батарее третьего дивизиона. Пушки замаскировали под холмы. «Холмы» прекрасно вписались в общий ландшафт.

Сегодня ночью одно орудие было установлено у переднего края для стрельбы прямой наводкой по танкам противника. Орудие замаскировали как от наземного, так и воздушного наблюдения.

Песок и глина. Вода, глина и песок... Густые черные столбы земли, дыма. Земля смешана с осколками металла... Земля все терпит. И продолжает жить. Повсюду, где нет свежего окопа или воронки, пробивается к свету, растет трава...

Снова работаем на КП 50-й армии. Опять занимались маскировкой дороги и территории, где стоят дома Военного совета. Это в пятнадцати—восемнадцати километрах от переднего края, а кажется, что попал в глубокий тыл. Кроме стрельбы по самолетам, ничто не напоминает фронт. Иногда глухо доносятся звуки артиллерийской стрельбы.

17 июня получил приказ отбыть в распоряжение начинжа 10-й армии генерала Варваркина для руководства маскировкой бронепоездов. Взял с собой ординарца, в 5 утра уехал из Мятлева. Через Калугу прибыл в Сухиничи.

...В моем распоряжении дрезина и мотоцикл. Завтра начинаем работу. Часть материала, необходимого для этого, заготовлена еще до моего приезда.

4 августа взял команду и поехал на станцию Мятлево, где нужно было погрузить на железнодорожные платформы большое количество «танков», «машин», «пушек». Макеты накрывались масксетями. В час ночи 5 августа эшелон вышел по направлению к Сухиничам — туда, где уже шли успешные наступательные бои. Нужно было отвлечь внимание авиации противника от важного участка, где концентрировались наши главные силы.

6-го эшелон прибыл на конечную станцию. В ночь на 7-е погрузили матчасть на машины. Весь день ушел на устройство ложной танковой бригады... Теперь посмотрим, что принесет нам завтрашний день. На соседнем участке противник, поспешно сжигая населенные пункты, оставляет рубежи. Немцы боятся очутиться в окружении.

Предыдущая запись сделана в начале августа. Сейчас конец октября. Вместе со всей армией мы двигаемся на запад. Продвинулись больше чем на двести пятьдесят километров. Позади Смоленск, впереди Орша.

Два года и четыре месяца я на фронте. И все время довоенная жизнь кажется мне ушедшим в прошлое праздником. Забыты все невзгоды и обиды. Вспоминается только хорошее: молодость, учеба, творческий труд, любовь. Сейчас настроение у нас совсем не такое, каким было в октябре сорок первого...

Мои записи о войне и фронтовой жизни на этом обрываются.

В июне 1944 года я был откомандирован штабом инженерных войск Красной Армии в Академию архитектуры СССР для прохождения дальнейшей службы, в срок пятом работал по специальности.

Война еще не закончилась, а мы уже начинали строить.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. КОЗЛОВ



ЧИТАЮ КНИГИ О ГРАНИЦЕ...

Заметки критика

В составе многочисленного отряда писателей, пишущих об Отечественной войне в современной армии (по армейским меркам этот отряд равен не менее чем стрелковому полку), есть подразделение литераторов, посвятивших свое творчество границе. Границе в огне и границе мирных дней. Подразделение это немногочисленное, но крепкое истинной преданностью герою — солдату в зеленой фуражке, зорко охраняющему рубежи Отечества.

Есть у нас такие ветераны пограничной темы, как А. Авдеенко, В. Беляев, Е. Белякин, А. Марченко, Л. Обухова, Л. Прокша, В. Рудов, О. Смирнов, В. Чехов, Е. Рябчиков и некоторые другие из ныне здравствующих и активно работающих писателей, не говоря уже о тех, кого, к сожалению, нет в живых, но кто внес большой вклад в литературу о границе, — С. Диковский, Е. Воеводин, Л. Канторович, П. Лукницкий, Л. Линьков, Н. Романов, П. Федоров... У каждого из них свой благодарный читатель, в чем мне доводилось убеждаться в лично во время встреч с пограничниками на заставах Дальнего Востока, западной и южной границ... На заставе имени Котельникова, например, меня спрашивали, откуда Лидия Обухова так хорошо, в таких подкупающе достоверных деталях знает пограничную службу? Воины одного из отрядов интересовались, удалось ли Владимиру Беляеву разыскать героев боев за Перемышль в июне сорок первого, кроме тех, о которых он уже писал в книге «Помните эти взрывы» Задавали и другие вопросы.

Но весьма существенно в то, что книги о границе читают не только на заставах, читают советские люди повсюду, особенно молодежь.

Подразделение писателей пограничной темы постоянно пополняется. Молодые авторы приносят с собой в литературу новые темы, свое знание жизни, высвечивают новые черты в идейно-нравственном облике современного воина. Эти писатели группируются преимущественно вокруг журнала «Пограничник», который с некоторых пор стал не только ежемесячником общественно-политическим, но и литературно-художественным. Жаль, что наша критика еще мало внимания обращает на молодое пополнение этого подразделения литературы. Хочу несколько восполнить этот пробел.

Разными путями приходят молодые литераторы к художественному освоению пограничной темы. Некоторые — через свою военную профессию, долголетнюю службу в погранвойсках, когда эта служба становится судьбой человека. К таким прозаикам следует отнести, например, Геннадия Ананьева, Валерия Андреева, Виктора Ключева, Виктора Пшеничникова, Бориса Шереметьева; другие — после длительного пребывания на заставах в качестве уже зарекомендовавших себя литераторов, это Сергей Авдеенко, Николай Черкашин, Олег Шилин, Анатолий Дроздов...

Перспективность того или другого пути во многом зависит от творческой индивидуальности автора. Я лично считаю первый путь более результативным у человека, для которого граница стала родным домом, при прочих равных условиях все же больше шансов создать правдивое произведение, чем допустим, у журналиста, прибывшего сюда в командировку.

Вряд ли бы мог с такой эмоциональной точностью и пронзительностью написать, например, следующие строки поэт Михаил Романов, не служи он на границе:

Недалеко у леса где-то,
Сорвавшись вниз, в морской залив,
Звезда, как красная ракета,
Упала, полночь опалив.

По еле видимой дороге
Дозор проходит не спеша.
Полет звезды, как знак тревоги,
Восприняла моя душа.

Впрочем, не берусь утверждать, будто я вывел непреложный закон. Для Нодара Думбадзе, например, пограничная служба не стала профессией, но им написан роман «Не бойся, мама!», который и по сей день остается одним из самых лучших произведений на пограничную тему. Дело в силе таланта. Однако и Думбадзе познал жизнь границы, что называется, изнутри, проработав на одной из застав заместителем начальника по политике.

Переходя непосредственно к разговору о молодых, начну с Валерия Андреева. Лет пять назад Андреев был автором лишь нескольких рассказов, теперь в его активе четыре прозаических сборника.

Самое крупное среди его произведений — повесть «Курильский дневник». Она автобиографична и не оставляет сомнений в подлинности всего, что на ее страницах изложено. А ведь отсутствие вторичности и литературности — одно из веских свидетельств перспективности молодого автора. В основу повести положен профессиональный человековедческий опыт бывшего заместителя погранзаставы на Курилах, а затем инструктора политической комендантуры.

Думается, как читатель, так и пограничник должны уметь читать книгу жизни, наблюдать, суммировать частности для объективного вывода о целом. Андреев-литератор, вырабатывая такие навыки, многому научился у Андреева-пограничника.

В «Курильском дневнике» мне показалась выразительной такая, например, зарисовка: «Вал достиг берега и с ходу ударил. Это было как артиллерийский залп тяжелого калибра — мощно, глухо, раскатисто. Бедная наша Докучаевка (речка.— И. К.)! Ее мгновенно развернуло вспять и погнало в обратную сторону вплоть до бани, как щепу, сорвав по дороге два мостика и ничего не оставив от умяльвани. Что там случилось со складами на берегу, отсюда нам не было видно. Исчерпав всю свою мощь, волна отхлынула. Но мы с Хабибулиным не спешили радоваться и пулять в небо три зеленые ракеты. Мы знали, что вслед за основной волной идет отраженная и она-то чаще всего и бывает более мощная и более разрушительная...»

Автора отличает точность видения вещ-

ного мира, а главное — видения человеческой души.

Головокружительной фабулы в «Курильском дневнике» нет. Однако повесть не бессюжетна. И сюжет ее воспроизводит реальную действительность с ее повседневной, часто неприметной героикой. Убедительно рассказано, как солдат в зеленой фуражке борется с суровой и коварной природой, не щадит своих сил во время учений. Вообще в повести солдатская служба изображена как труд — кропотливый, упорный, но одухотворенный высокой патриотической задачей. Известен суворовский афоризм: тяжело в учении — легко в бою. И хоть не совсем он точен, этот афоризм, ибо легкого боя для солдата не бывает, но абсолютно точна и бесспорная мысль, что отважней сражается тот воин, который умел и вынослив. В свое время Олег Смирнов на страницах повести «Барханы» противопоставил, даже столкнул два представления о пограничной службе: наивно-романтическое, книжное и сурово-реалистическое, продиктованное богатым опытом. Здесь тоже достаточно романтики, только романтики мужественной, проистекающей из суровой пограничной действительности.

Именно этой традиции следует и В. Андреев, показывая не инфантильного мечтателя, а героя труженика, подлинного стража границы наших дней. Характеры героев «Курильского дневника» формируются в труде; таких героев, как лейтенант Дмитриев, капитан Рогозный, отличают упорство, самоотверженность. Другая повесть В. Андреева — «Есть некий час» — более остра и динамична, чем «Курильский дневник», сюжет ее придуман самой жизнью: борьба с коварными уловками нарушителей границы, смелость и умение таких мастеров службы, как лейтенант Земцев...

От собственного жизненного опыта идет в творчестве и Геннадий Ананьев. Свыше двадцати лет он носит на плечах погоны офицера погранвойск.

Богатство этого опыта особенно ощутимо в повести «Встревоженные тутай», где созданы живые образы пограничников, со знанием дела говорится о профессиональной закалке стража границы, об осознании воинском своего места в общенародном деле.

Проблема становления личности занимает Г. Ананьева и в новом романе «Поморье», который переносит нас то на побережье студеного Белого моря, где расположена застава, то на дозорную тропу, пролегшую на многие километры по болотистой тундре, по отрогам гор и ущельям, то на бригадное становище пастухов-олене-

водов... Людей мы видим не только в условиях службы, но и в быту — в своеобразном быту далекой северной заставы. Жизнь ее с тревожными днями и ночами полна глубокого смысла, подлинно государственного значения.

Это одна из благороднейших традиций литературы о границе — изображать солдатскую службу как глубоко содержательный труд. Задумываясь над судьбами персонажей «Поморов» — Полосухина, Баканова, Конохова, Фирсанова — подлинных мастеров пограничной службы, отчетливо представляешь, что такими их сделал большой труд, что с ними советская граница действительно непреступна для коварного врага!

Армия и народ едины. Г. Ананьев достоверно показывает, что в исполнении солдатского долга пограничники опираются на самую действенную помощь народа. Потому и удачны в романе эпизоды, когда жители приграничья участвуют в задержании нарушителей. Эти страницы отражают правду нашей жизни, особенности нашего общественного строя. Исследование автором «Поморов» этой стороны действительности сделало роман идейно более емким, а образы Савелия Елизаровича (род которого идет «от первых поморов, от тех, кто на Грумант ходил, к Новой Земле да в Мангазею»), его внушки Надежды, учительницы, капитана колхозного рыболовного траулера Никиты не просто расширили галерею персонажей произведения, а как бы раздвинули его художественное пространство. (К месту скажу — большая индивидуализация речи каждого вовсе не помешала бы этим героям.)

И роман «Поморы», и повесть «Встревожженные туган» завершаются одинаково — историей задержания шпиона. Такие эпизоды в литературе о пограничниках, разумеется, закономерны — здесь с особой отчетливостью звучит тема героизма наших бойцов, их умения побеждать. Ситуации, исполненные драматизма, всегда были и будут притягательны для искусства. Понятно, если речь идет не просто об остросюжетном эпизоде, а об образном воплощении серьезной темы.

Богат опыт пограничной службы и у Бориса Шереметьева, первый роман которого, посвященный военным морякам наших дней, — «Красная эскадра» — был с интересом встречен критикой. Затем писатель выступил с повестью уже чисто пограничной — «Логика каперанга Варгасова», опубликованной в журнале «Юность».

...Экипаж сторожевого катера «Вымпел», возглавляемый офицером Варгасовым, всту-

пает в единоборство с командой судна иностранной державы, проникшего в наши территориальные воды. Противник дерзок, хитер, не зря наши рыбаки окрестили его «Морской собакой».

Глубокое осознание человеком ответственности за порученное дело, за исполнение своего долга в обстоятельствах, которые принято называть экстремальными, несомненно прибавляет ему душевных сил, позволяет раздвинуть пределы собственных возможностей. Испытание экстремальными обстоятельствами проходит мичман Крюков в схватке с морской стихией, как и матрос Зюкин, спасающий обессиленного Крюкова. Справедливо боцман Мусиенко говорит: «Человек — коли он Человек, а не рында — на многое способен. Силы-то в нем сколько! Нужен только момент, случай особый, чтобы он этак... в полный рост себя выказал...»

Нам всегда дорого образное воплощение этой принципиально важной мысли. В условиях наитруднейших поистине проявляются лучшие черты характера. Потому так строго и подходишь к молодому прозаику, видя, как временами он эту ценную мысль скорее декларирует, нежели воплощает через систему образов. Больше внимания к человеческой психологии! Лучше разрабатывать чисто фабульную сторону повествования! Ведь характер особенно полно проявляется в борьбе...

Когда в повести Б. Шереметьева читаю: «Говорят, чем кривой гвоздь выпрямлять, лучше в дело пустить новый. Варгасов не из таких. Он старательно «выпрямлял» Заусаева. Учил домовито вести корабельное хозяйство, видеть в службе своей ошибки, умело распоряжаться работами, учениями... А еще никогда не быть торопыго — все тотчас вынь да положь», — вижу свежие речевые краски. Но с трудом принимаю те языковые перлы, которые рождены желанием щегольнуть словом. Вроде такого: «Со свертком под мышкой Крюков, круглый, встрепанный, как разбитый ударами кожаный мяч, вкатился в каюту...» Претенциозность и неточность подобного образа в пояснениях не нуждаются...

Молодым (да и не только молодым) хочется сказать: слова надо ценить поштучно. Сошлюсь в этой связи на одно давнее воспоминание. На занятиях литературного объединения И. Бабель говорил (тогда Владимир Кожевников, например, был начинающим — так далеко то время!): «Если бы я мог написать роман страниц на восемьсот, я задохнулся бы от счастья. Могу придумать занимательный сюжет, создать интри-

гу, но на такое количество страниц у меня не хватит слов». Подумать только — не хватит слов... У мастера, стилиста!

Но вернусь к книгам о пограничниках.

Замечено в критике, сколь трудно бывает провести строгую демаркационную линию между хорошим очерком и рассказом, один жанр как бы перерастает в другой. Художественно-документальная книга Николая Черкашина «Судьба в зеленой фуражке» еще раз подтверждает это. Здесь — очерки о конкретных, реально существующих заставах и пограничниках, подлинность изложенных фактов сомнений не вызывает. Некоторые его очерки с полным основанием можно назвать рассказами.

Пишет Черкашин экономно, точно, обнаряживая хорошее знание именно сегодняшней границы с ее технической оснащенностью. Вот он вместе с дозорной группой, возглавляемой начальником заставы капитаном Лебедевым, идет по дозорной тропе. Ночь. Непогода... «Потом пошел дождь со снежной крупой — противный, как перловый суп. Мы шагали с капитаном Лебедевым вдоль границы от радиолокационной станции к стоянке азросаней, от стоянки — к прожекторной установке. Неожиданно и странно вырастали из темноты стены, вышки, башни, лестницы. Трудно представить себе, сколько людей не спит на этом далеко не самом большом участке восточной границы.

До сих пор я был уверен, что ночная граница — это непроглядная тьма. Но граница не любит темноты. Граница — это свет, свет ищущий, сосредоточенный, пристальный. Свет фар нашего «газика», желтый снопок фонаря в руке начальника заставы, иссиня-белый луч прожектора, ослепительное сияние ракеты, дрожание, разбегающиеся от ее падающей звезды тени...

Это не совсем точно, что на границе царит тишина. У нее свой рабочий, деловой шум: она потрескивает в наушниках, тархтит дизель-генераторами, гудит в проводах, шуршит под солдатскими сапогами.

Граница, которая была однажды смята войной, чутка, как шрам».

На мой взгляд, эта зарисовка живо передает атмосферу современной границы.

Ощутима любовь автора к людям в зеленых фуражках, пристально его внимание к их многотрудной службе, героическому труду. Любовь эта передается и читателю.

Повесть Сергея Авдеенко «Имени Махалина» посвящена одной из дальневосточных застав, подвигу, совершенному в боях с японскими самураями летом 1938 года у озера Хасан. Героический подвиг продол-

жает и сегодня формировать души молодых воинов, стоящих в дозоре на тех же дальневосточных рубежах отечества.

Имени Махалина... Именные заставы недаром привлекают к себе внимание писателей. Героизм старших поколений здесь особенно ощутим и нагляден.

Повесть С. Авдеенко принадлежит к произведениям художественно-документального жанра. Она содержит богатую информацию о лейтенанте Махалине и его бойцах. Автор рассказывает об их героизме, исследует его истоки. Белетризация фактов здесь опирается на их строгую логику. Художественные догадки писателя относительно поведения героев в экстремальных условиях основаны на документах и воспоминаниях людей, хорошо знавших Махалина и его бойцов. Среди свидетельств и воспоминания сына — Олег Махалин некоторое время служил на заставе отца. Вымысел и документалистика удачно дополняют друг друга.

Разнородный состав повести скреплен единым сюжетом и самой личностью Махалина.

Недавно С. Авдеенко опубликовал новую повесть «Твой рубеж», которая по общему пафосу близка повести «Имени Махалина»; речь здесь идет о том, как подвиг героев Великой Отечественной формирует личность современного пограничника, решающим образом влияет на становление характера молодого солдата. Преемственность героических традиций — существенная черта советского образа жизни, черта, которая особенно отчетливо прослеживается в повседневной практике наших Вооруженных Сил, в том числе и пограничных войск.

Повесть «Твой рубеж» написана в форме рассказа от первого лица и построена так, что современная нам граница непосредственно соприкасается с опытом 1941 года.

Главный герой, молодой пограничник Антон Орлов, стремится как можно больше узнать о лейтенанте Федоре Морозове, начальнике заставы, принявшем на себя первый удар врага. Антон мысленно переносится в ту пору, старается мерить свои дела мерой поступков и помыслов героев той великой битвы. Он хотел бы равняться на Морозова. Подытоживает автор свой рассказ о становлении молодого пограничника, профессионального и духовного, внутренним монологом другого героя: «Он сумел протянуть не нить, какие-то струны — недаром он Струнников! — между заставой лейтенанта Федора Морозова и заставой его имени, когда прошлое, кажется, существует

параллельно с настоящим, когда **мы** чувствуем, что могли бы если и не повторить подвиг Морозова, то хотя бы лечь где-нибудь в окопе поблизости от него и не подвести его ни в чем».

Жаль, что эти добрые выводы не имеют под собой достаточно прочной эмоционально-психологической основы. Мне представляется, что большие чувства и глубокие переживания, способные убедить читателя, могли бы возникнуть в обстоятельствах особых, экстремальных, тогда как Антон поставлен в условия, в общем, обывденные, пусть он при этом и выполняет свои обязанности весьма добросовестно. Молодой писатель забыл своего героя, а такое забвение всегда чревато снижением героического.

Проблема преемственности уроков сороковых роковых всегда будет занимать писателей — как молодых, так и бывалых. В произведениях, изображающих границу первых послевоенных лет, проблема эта решалась через офицеров заставы, прошедших войну. Тогда это было в порядке вещей. Теперь положение иное: те, кто в сорок пятом возвращался с фронта молодыми людьми, сегодня стали убеленными сединами ветеранами и на заставах появляются эпизодически, наездами, как почетные гости. Авторы повестей и романов, о которых здесь речь, конечно же, учитывают все это. И, как мы видели, дают работу воображению своих молодых персонажей, ищут опоры в самом построении сюжета. К сожалению, далеко не всегда им удается написать военный подвиг с такой художественной выразительностью, которая отвечала бы масштабам реального подвига.

Скажем, в том же романе «Поморы» Г. Ананьева среди персонажей есть и бывшие участники войны — олениводы из стойбища, расположенного неподалеку от заставы. Автор сообщает, что они в те военные годы вместе с пограничниками здесь, на Севере, «отбивали от гитлеровцев остров Маячный», возили рыбу и оленину на фронт, преодолевая трудный и долгий путь, а там, на фронте, с оружием в руках бились с фашистами. Но об олениводах и ратных их делах читатель найдет в романе лишь беглую информацию...

Читая произведения молодых, я не раз вспоминал слова, сказанные мне одним пограничником, проходившим службу на заставе имени Валентина Котельникова.

— Пусть наши писатели, — сказал мой собеседник, — создадут образ современного

Павки Корчагина — пограничника. Мы будем бесконечно благодарны им...

Павел Корчагин принадлежит своей эпохе, характер его наполнен конкретно-историческим содержанием, и думать о его повторении в нашей современности значило бы впасть по меньшей мере в наивность. И все-таки он был далек от наивности, тот солдат: за его плечами среднее образование и неплохое знание литературы. По существу, он высказал свою тоску по крупному, яркому образу современного пограничника, герою, равному Павлу Корчагину по идейно-эмоциональной силе, Корчагину — спутнику юности многих поколений советских людей.

Жизнь современной заставы дает писателю богатый материал для исследования самой природы героического. Ведь на границе люди постоянно начеку, в любую минуту может прозвучать команда: «Застава, в ружье!» — и начнется опасный поединок с лазутчиком, а то и с целой группой врагов. Один из молодых прозаиков, Виктор Пшеничников, свою повесть о границе назвал «Там, где живут мужчины». Настоящие мужчины!

Сколько таких настоящих мужчин служит, например, на заставе имени Валентина Котельникова, воина, павшего в 1935 году при защите этого рубежа родной страны. Погибшего героя тогда с разрешения наркома обороны К. Е. Ворошилова заменил брат — Петр Котельников. Перед строем ему вручили оружие и коня Валентина. Принимая их и целуя клинок, Петр сказал: «Клянусь служить Родине так, как служил мой брат. Я не буду знать усталости в изучении пограничного мастерства и страха в борьбе с врагами»... На этой заставе стало законом: на смену отслужившим приходят земляки героя, молодежь рабочего Донбасса...

Это лишь малая часть той реальной героики, которой полна жизнь границы, и отсюда, из этой реальной жизни, писатели могут черпать богатейший материал, создавая образ героя-пограничника.

В речи на торжественном пленуме правления Союза писателей СССР, состоявшемся в ознаменование пятидесятилетия первого писательского съезда, генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко говорил, что «читатель, зритель, особенно молодой, хотел бы чаще встречаться в книге или на экране с таким своим современником, которому он мог бы поверить, которого он мог бы полюбить, которому захотелось бы подражать». Несколько ранее, на июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС товарищ

К. У. Черненко подчеркивал, что «таких героев не надо выдумывать, они рядом с нами». В пограничной среде, да и по всей стране, нарицательными являются имена Никиты Карацупы, Александра Смолина и других реальных героев, которых писателю не надо выдумывать.

Да, писателю ничто не мешает черпать живые факты из этого океана героики. Как нетрудно понять, и В. Андреев, и Г. Ананьев, и С. Авдеенко, и другие, пишущие о границе, одну из главных своих идейно-художественных задач, а то и самую главную, видят именно в создании образа положительного героя. Но пока еще скромны их успехи, особенно когда соотносишь достигнутое с идеалом, с героем, которого ищет в книгах пограничный солдат котельниковской заставы.

Я не намерен приуменьшать успехи молодых, ставить им в упрек достижения более опытных мастеров. Но хотел бы подчеркнуть: крупномасштабный характер героя — это та высота, стремиться взойти на которую должны и молодые и бывалые литераторы. Это не простое и не легкое восхождение.

Когда мы говорим «масштабный характер», то предполагаем и значительность совершаемых героем поступков, и гражданскую зрелость его сознания. Одно от другого неотделимо. И это следует особенно подчеркнуть, говоря о создании образа героя-пограничника. Ведь специфика пограничной службы такова, что писатель прежде всего сталкивается с происшествием. Не случайно же в некоторых произведениях тема границы решается в жанре детектива. И рассказ о событии, о схватке с нарушителем, конечно же, важен. Но за «фабулой» схватки важно не упустить внутренней значительности героя, осознающего себя не просто стражем границы, а представителем советской державы на вверенном ему рубеже. Произведения о границе сегодня привлекают пристальное внимание нашей общественности. Проявление этого интереса — недавнее решение Комитета государственной безопасности СССР о присуждении премий 1984 года за лучшие произведения литературы, кино- и телефильмы о чекистах и пограничниках. (Кстати, среди награжденных и Г. Ананьев, удостоенный поощрительного диплома за роман «Поморы».)

Произведения о современной границе,

принадлежат ли они молодым начинающим писателям или же писателям опытным, мастерам художественного слова, вливаются в поток большой военно-патриотической литературы. Литературы о войне и о мире. О войне во имя мира и о мире, где ведется борьба за предотвращение войны.

Да, мы живем в год сорокалетия нашей победы. Сорок лет! Я вспоминаю ту грозную огневую пору, своих товарищей — павших и живых. Самыми желанными словами для каждого солдата тогда были — «победа» и «мир». Мир на вечные времена. Нам верилось, что война против гитлеровской Германии, а затем самурайской Японии — а я был на обеих этих войнах — станет последней не только для нашего поколения, но и для тех, кто идет за нами.

Не знали и не представляли мы тогда, с чем еще предстоит встретиться, что преодолеть, чтобы святая наша вера в нерушимый мир обрела материальную силу. Не знали, что классовые наши враги уже в дни победы над свежими могилами павших героев помышляют о новой, еще более жестокой войне. А они и помышляли, и делали все от них зависящее, чтобы пожар войны запольхал снова. Премьер-министр Великобритании Черчилль держал в своей зоне оккупации в полной готовности сдавшуюся англичанам огромную немецкую армию, чтобы в подходящий момент бросить ее против Советской Армии; президент США Трумэн стремился использовать атомное оружие для устрашения Советского Союза и установления американского господства над всем миром. Были и другие поджигатели. Помыслы и дела их убедительно раскрыты, в частности, в романах А. Чаковского «Победа» и «Неожоженный портрет».

Нет ныне у нашего народа задачи более ответственной и благородной, чем сохранение мира. На страже мира стоим сегодня все мы, но особенно велика здесь роль наших Вооруженных Сил, в составе которых — славные пограничные войска. Пограничники выдвинуты на самый передний рубеж отечества, они всегда лицом к лицу с врагом, всегда в полной боеготовности. И такими, во весь их богатырский рост, хотелось бы видеть пограничников на страницах литературных произведений. Это социальный заказ родины нашей литературе, всем писателям — и молодым и опытным мастерам.

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ



ИЗ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ

«**В**ы читаете Тургенева?—спросил меня один литератор.— Нет, серьезно? Так ведь Достоевский же ему руки не подавал. А как он отделал его в «Бесах»!»

Это было сказано с той уверенностью, с какой говорят о делах, давно решенных. Не раз, и, увы, даже от людей думающих, приходилось мне слышать: «После Достоевского Тургенева уже читать невозможно»; слушала я и огорчалась за любимого, а теперь как-то разом ослабевшего Тургенева, и, признаться, самой мне за него стало неловко, самой мне казалось, что после Достоевского... Только сейчас, перечитав тургеневские романы, рассказы, пьесы и воспоминания, я поняла, сколь сильна aberrация и велика несправедливость. И нет, кстати, ничего бессмысленней, чем подобная попытка расставлять великих в некоем иерархическом порядке. Не помню, чья была эта шутка, спор поклонников Пушкина и Лермонтова (вспоминаю приблизительно). «Пушкин крупнее»,— говорил один. «А Лермонтов значительней»,— отвечал другой. «Пушкин выше»,— говорил один. «А Лермонтов глубже»,— отвечал другой. «Пушкин чище»,— сказал один. «А Лермонтов...» — начал другой и упал в оркестровую яму. Иначе подобный спор и решен быть не может.

Честно говоря, после лихорадочного (наши современные ритмы предвосхитившего) Достоевского некоторое время вообще ничего читать нельзя, все кажется если не пресным, то недостаточно напряженным и страстным в духовной работе. Но вместе с тем происходит и другое: пока читаешь Достоевского, ты бьешься в его сетях и совершенно в его власти. В нем вообще было что-то от колдуна — как же заворожил он всех, собравшихся на пушкинские торжества 8 июня 1880 года, если после его речи огромный зал взорвался криками восторга,

если (из письма самого Достоевского) «люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить». Иные бились в истерике, иные падали в обморок, а главное— все, все без исключения были его единомышленниками, даже непримиримые идейные враги. Только потом иные опомнились, стали соображать и увидели, что мысли, высказанные Достоевским, им не близки. И Тургенев был тронут речью, а позже находил ее фальшивой. Мы же читаем ее уже и вовсе спокойно, соглашаясь с одним, отвергая другое.

Есть колдовское очарование и в его романах: пока летит их сумасшествие, тебе не до критических разборов, ты с головой в этой пучине, захлебываешься в ней — и, разумеется, всегда на стороне Достоевского. Тогда-то и возникает: «Тургенева после него читать невозможно!» А кого, повторим, возможно?

Сопоставление Тургенев — Достоевский для нас привычно. Вообще ни о том, ни о другом, кажется, нельзя уже сказать ничего нового — так велика литература о них, а сейчас особенно о Достоевском; но есть точка зрения, которая примелькаться не может — соотнесение классика с современностью, потому что современность воспринимает классику по-своему, — и всегда нова. Сравнение великих писателей отвечает потребностям сегодняшнего дня.

Их сравнивали еще при жизни, сами они всегда помнили друг о друге, вольно и невольно были соперниками, деля меж собою любовь и восторги образованной России. Сейчас многим кажется, будто спор окончен и время отчетливо решило его в пользу Достоевского, на самом деле соперничество этих двоих продолжается и не кончится до тех пор, «пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

Платон считал человеческую душу крылатой, и не метафорически считал,—я бы сказала, «физически», если б это слово было применимо к тому миру, который воображал себе великий философ. Для него, как известно, реальным был мир идей, и потому можно сказать, что душа в его понимании была реально крылата до тех пор, пока не вселилась в материальное тело; тут отростки крыльев затвердели и потеряли способность расти. Совсем было потеряли, если бы не красота, то прекрасное, от созерцания которого крылья души начинают расти вновь. Платону даже известно, как это происходит. «Восприняв глазами токи, исходящие от красоты», человек, ею пораженный, «согревается»; от тепла, «от притока питания стержень крыла набухает, и перья начинают быстро расти от корня по всей душе». Сама же она при этом «вся клокочет и бьет через край».

Странный миф о крылатой природе души рожден, конечно, неким душевным опытом и выражает чувство восторга и подъема при встрече с прекрасным. У каждого, разумеется, «душа клокочет» в ответ на свое; у меня среди других это, конечно, Тургенев, его сильная, гибкая проза, его мужественное слово — пушкинское: Тургенев считал себя учеником Пушкина и был, конечно, первым его учеником.

Вот автор «Записок охотника» вместе с помещиком Полутыкиным наблюдают семью Хоря. «Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки,—подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо... — Смотри же, Вася,—продолжал он, обращаясь к кучеру,—духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феде. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги».

Смотрите, как крепко и чисто сколочен эпизод. Семейство Хорьков, юных великанов, и этот Федя с его великолепной наглостью, и эта их усмешка над «барским черевом», и дурак барин, который ничего этого не заметил, а главное, поднятая вверх и «принужденно улыбающаяся» собака, которая уж наверняка все понимает. Я не

знаю как у кого, а у меня при этом стержень крыла явно набухает и перья его начинают быстро и радостно расти.

Невозможно переписывать классика страницами, а как хочется! Заглянуть в комнату Фенички («Отцы и дети»), где горит лампадка перед образом Николая-чудотворца и крошечное фарфоровое яичко висит на красной ленте на груди святого, прицепленное к сиянию; или войти в зал старинного дворянского степного дома, где стоит верстовой столбик с надписью: «если ты восемьдесят семь раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла билиарда — то сделаешь версту». А пейзаж! Кто только не описывал с тех пор природу — и Пришвин, и Паустовский, а после них писатели кинулись уже в такие подробности, что, кажется, ни один пен, ни один гриб, ни даже стебель не миновали их пера. И все же пейзаж Тургенева стоит в первой весенней свежести, будь то пашня, луг или вечерний лес, где птицы засыпают не все разом, а по породам. Тургеневские страницы, особенно в «Записках охотника», заплетены травами, осыпаны росами, пронизаны природой, как солнечным светом или сетью дождя.

Тургенева невозможно читать после Достоевского? Но ведь и Достоевского после роскоши тургеневских текстов тоже читать трудно: не хватает красок, блеска жизни и этого тургеневского слова, чистого, как родниковая вода.

Еще одна аберрация: когда заходит речь о тургеневских героях, обычно вспоминают каких-то тургеневских девушек да еще вялых лишних людей. Но характеры Тургенева удивительны по силе. «Степной король Лир», помещик Харлов, нечто темное, утробное, нечленораздельное,—медведь в берлоге и тот интеллигентней (где вы, умный Хорь и нежный Калиныч?). А Базаров! А Лиза Калитина! А Чертопханов! Вряд ли когда с большим блеском была написана беда человека, вышибленного из своего сословия. Нищета, жаждущая богатства, гордыня, живущая в унижении. Заветная мечта — взвиться, всех удивить, покорить,—она, представьте, осуществилась: Чертопханов неожиданно стал владельцем великолепного коня. Перед нами, собственно, разработка лермонтовского Казбича: коня у Чертопханова тоже украли. Чуть не умер Чертопханов, кинулся на поиски, год искал — и нашел свою радость, свою гордость. Но, «увы, в глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек-Адель!». Пройдя через кровавые муки и убедившись,

что конь не тот, Чертопханов ведет его в лес — и тут уж невозможно не переписать эти страницы.

«Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малек-Адель — будем называть его этим именем до конца — покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно светлая; Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном... Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо, надо кончить, — вот что он твердил самому себе, тупо и строго, — кончить надо!»

А безвинно виновный трუსил покорной рысцой за его спиной... Но в сердце Чертопханова не было жалости.

Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда... Малек-Адель спотыкнулся и чуть не упал на него.

— Аль задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана.

Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувств, которая, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный юлос испугал его — так дико прозвучал он под навесом темных ветвей, в гнилой и спертой сырости лесного оврага! К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою... Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу — и где же? в этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа...

— Ступай, черт, на все четыре стороны! — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малек-Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек-Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага... и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки.

В свою очередь Чертопханов медленно выбрался из оврага... он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пишу...

Самобийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения.

Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся... Малек-Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за сво-

им хозяином, он тронул его мордой... доложил о себе...

— А! — закричал Чертопханов. — Ты сам, сам за смертью пришел! Так на же!

В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу Малек-Аделя, выстрелил...

Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на десять и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле...

Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия — да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил...

Эти страницы можно читать после кого угодно, и после Достоевского в том числе.

Они полярны, Тургенев и Достоевский, это известно. Уже в их отношении к читателю есть резкое различие. Тургенев исполнен к читателю дружелюбия, Достоевский словно бы раздражен на него, хотел бы его закружить, закрутить так, чтобы у него перехватило дыхание; все время он грозит ему катастрофами (и зазывает ими), держит в тревоге неустанными намеками на грядущую беду, трясет неожиданностями, дразнит тайнами, глушит шумом своих «карнавалов». Кстати, тайны и неожиданности, как и в детективах, рассчитаны на первое чтение, при втором тайна уже не тайна, неожиданность не неожиданность; казалось бы, перед нами несомненный просчет (тут честная простота Тургенева при его мастерстве более прочна), но герои Достоевского заряжены энергией столь высокого накала, что им не страшны никакие потери.

Тургенев считал, что в однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести, и несравненно их писал. Достоевский мчал мимо. Какие там тихие прелести! — убийство, самоубийство, помешательство, шум скандалов, звуки пощечин, обмороки (стук затылка об пол).

Тургенев более всего любил дуэт. В произведениях Достоевского — воспользуемся бахтинским словом — контрапункт, многоголосье. Язык обоих писателей вообще сравнению не поддается: с одной стороны, нечто неустойчивое, двусмысленное, вьющееся ужом, двоящееся, троящееся, мерцающее. С другой — пушкинская простота. Как их сравнивать?

Идейный спор обоих писателей, западничество одного и почвенничество другого,

как-то удивительно вывернулся наизнанку. Тургенев, коренной западник, был решительно дома и в избе и в усадьбе. И дело тут не только в отличном знании русского быта, характеров, природы — главное в том, что в творчестве Тургенева произошла встреча (впрямую) дворянской культуры с культурой народной. Для русских дворян XVIII века крестьяне были детьми, которых нужно всемерно просвещать. О том, что рядом существует мужицкий духовный мир, народная идеология, они и не подозревали. Диалог на равных между дворянином-интеллигентом и мужиком, собственно, впервые произошел в «Записках охотника» (свою Аннибаловскую клятву — всемерно бороться с крепостничеством — Тургенев исполнял, таким образом, очень серьезно). Это и есть главная идея почвы — преодоление той пропасти, которая лежит между народом и дворянской интеллигенцией, идея, разумеется, не только почвенная, достоевская. Она тревожила многих. «Поймут ли они когда-нибудь друг друга, мужик и дворянин-интеллигент?» — спрашивал Герцен. Тургенев сделал бесконечно много для того, чтобы они друг друга поняли.

Достоевский, страстный почвенник, хорошо знал монастырь, знал тюрьму, каторгу, знал солдат, все это, видимо, создавало у него иллюзию, будто он до самых заветных глубин постиг русского мужика (излагаю, разумеется, собственную точку зрения). Тургенев писал своего Хоря как равного, Достоевский своего Макара Ивановича («Подросток») — коленопреклоненно, как иконописный лик, который в реалистическом романе оказался бесплотной тенью. Хорь, не ведая того, могуче работал на идею почвы, у бескровного Макара Ивановича сил на это не было.

Впрочем, Тургенев в своем творчестве не западник, а Достоевский в своем не почвенник, у них были несравненно более широкие духовные задачи.

Но там, где идет идейный спор, на стороне Достоевского всегда огромное преимущество: персонажи Тургенева слишком уравновешены в спорах. «Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса... и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный», — мысль замечательная, но как она спокойна! «...не рассердился, не возвысил голоса...» Герои Достоевского готовы жизнь отдать за свои идеи (а сами идеи так могучи, что могут убить, убить физически — **вспомним**

Кириллова из «Бесов»), это и неудивительно: идея и составляет их жизнь (недаром у Бахтина: герой-голос, герой-идея). Спор — форма существования этих героев, и потому их не так-то просто разбит: «на всех пунктах».

Знаменитые слова Достоевского «я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» истинны, но недостаточны. Да, знаток человеческой души, да, впервые спускался в неведомые дотолы ее глубины, страстно, с болью выступил на стороне униженных и оскорбленных. Вместе с тем чем дальше, тем больше его романы приобретают характер мистерий, где сражаются уже едва ли не полудухи. Многие из его героев могли бы сказать, как Шатов Ставрогину: «Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире». Романы Достоевского, если рассматривать их с точки зрения реальной жизни, — гигантская условность; если говорить о жизни мыслей и чувств человеческих — подлинная реальность. Эта проза как бы реальной самой реальности, вытягивает ее невидимый субстрат, где концентрация правды доведена до невиданной терпкости, до крепости царской водки. Оттого образы, созданные писателем, и выжжены в нашем воображении как огнем по дереву, как кислотой по металлу.

«...последний раз в мире» — они всегда у предельной черты, герои Достоевского, на грани смерти. Тут между Тургеневым и Достоевским не только различие — пропасть. Когда монодия Кириллова привела его к мысли о необходимости самоубийства, его ничто не остановило. У Тургенева есть стихотворение в прозе: герой задумал самоубийство, но услышал крик новорожденного — и спасен! За стенкой у Кириллова напрасно плачет ребенок. Но тургеневское стихотворение не породило и малой доли тех трактовок и критических откликов, какие вызвал образ Кириллова.

Достоевский убирает из текста все, что может стеснить полет мысли, помешать непрестанно напряженному разговору героев. Действие «Идиота» нередко происходит в Павловске, одном из красивейших мест России, — «широкошумные дубровы», пруды и речки, пологие склоны их берегов, места редкого очарования. Что помним мы из всего этого очарования и богатства? Одну скамейку, крашенную в зеленый цвет, возле которой Аглая назначает свидание герою. Как роскошны тургеневские весенние пейзажи! Достоевскому «клеякие весенние листочки» нужны только как аргумент в

споре. Сколько славных птиц на страницах Тургенева, как весело переключается с ними Касьян с Красивой Мечи — они не имеют ничего общего с теми бестелесными и безгласными птичками, у которых брат старца Зосимы «прощенья просил». У Тургенева старик бригадир пошел на огород, вытащил из земли молодую морковь, продернул ее у себя под мышкой «для очищения» и съел — эта морковь не состоит ни в каком родстве с символической луковкой из «Карамазовых», той самой, с помощью которой ангелы тащат из ада злую бабу.

Тургенев спокойно и без ущерба для развития действия останавливает сюжет, чтобы подробно описать внешность героя, — у Достоевского портрет все больше теряет значение. В романах его почти нет интерьера (трактир, мощеное дно двора-колодца, чулан, лестница, порог), герои его безымяны. Мы, как правило, не знаем, во что они одеты; на весь роман «Братья Карамазовы» есть, кажется, одно подробное описание костюма: коричневый пиджак, поношенный, подробно описанный, длинный галстук в виде шарфа, клетчатые панталончики, которые сидели превосходно, и так далее — целый абзац. Так одет черт, явившийся Ивану.

Вихрем страстей взмело быт, интерьер, пейзаж. Зато образы, созданные Достоевским, полны такой невероятной, почти демонической силы (я говорю о свойствах образа, а не о характерах), что мы почти видим их ненаписанные лица и ощущаем вокруг них ненаписанный быт. Герои-идеи, герои-голоса, они опять же реальней самой реальности.

И все же есть в такой супердуховности некая опасность — потеря жизненной основы. Случается, что газовое пламя вдруг отрывается от горелки (это происходит от перенапора перед взрывом), взмывает под потолок и горит, мечется там голубым венчиком, — так, мне кажется, порой отрываются от своей почвы пламенные герои Достоевского и мечутся уже вне жизни.

Между тем сейчас для Достоевского наступили особые времена, в глазах иных он стал авторитетом непрекаемым, учителем нравственности, многие его уже читают, как правоверные — Коран. Причин тому немало. XX век предельно обострил вопросы, над которыми бился писатель, к тому же сбылись иные его пророчества (а иные нет). Но вместе с тем вряд ли годится в оракулы тот, кто живет в непрестанной внутренней борьбе с самим собой, своими страстями (и не всегда побеждает); тот, кого жгут сомнения даже там (а может быть, именно

там), где речь идет о главных проблемах жизни. Знаменитый разговор братьев Карамазовых (Алеша с Иваном) в трактире. Иван потому с таким блеском и, главное, глубиной развертывает свою атеистическую аргументацию, что сам автор некогда ее разделял и ею мучился. Знаменито его высказывание: «Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор (написано в 1854 году. — О. Ч.) и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». А доводы были сильны. «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Но смогло ли это дитя неверия свое неверие преодолеть? Ведь недаром, выпуская в свет Ивана с его богоборчеством, писатель так боялся, что не сможет потом (в шестой книге «Карамазовых» — о Зосиме) опровергнуть его неутомимую, полную жизни и боли логику. «А потому и трепещу за нее (то есть за шестую книгу. — О. Ч.) в том смысле, будет ли она достаточным ответом. Тем более что ответ-то ведь не прямой... а лишь косвенный» и к тому же «не по пунктам». Зачем же он не прямой ответ и как может он, как смеет он быть не прямым, если обвинения Ивана богу построены на невыносимо болезненном материале жизни, на страданиях детей?

Не смог Зосима, появившись в свет, опровергнуть Ивана ни прямо, ни косвенно — не смог, не было у автора аргументов. И Алеша не смог. Когда там, в трактире, Иван спросил брата, чем искупить слезы замученных и «есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить», Алеша ответил, что существо это есть — Христос, который отдал «неповинную кровь свою за всех и за все». Спору нет, среди божеств мирового пантеона страдающее божество — образ самый глубокий и привлекательный, и все же в рассуждениях Алеши не хватает сердечной логики. Нет у Христа права прощать: если на одну чашу весов (высших, судейских) положить его муки, а на другую — муки матери, на глазах которой растерзали сына, Христовы муки не перетянут.

Здесь мы подходим к самому главному водоразделу между Тургеневым и Достоевским. Один спокойно и свято верил в принципы своей жизни, другой — все же думаю,

что это так, — в свои не столько верил, сколько страстно жаждал верить: и в благой божественный промысел, и в мужика Марей, чья правда призвана оздоровить общество. Но мир был полон крови и слез (писатель же был слишком честен и глубок, чтобы свалить все слезы, всю кровь невинных на человеческую свободу воли), а мужик Марей тоже мог стегать по глазам выбившуюся из сил лошадь (см. 83-й том «Литературного наследства» «Неизданный Достоевский»). В этом тревожном сочетании веры с неверием, в этой страстной жажде верить и невозможности оправдать богопорядок — великая сила Достоевского и, кажется, еще одно его преимущество перед Тургеневым.

Вместе с тем сомнения, терзания, раздвоенность (разорванность) не могли не сказаться на романах Достоевского (речь идет о поздних произведениях) неустранимыми противоречиями.

Раньше мне казалось, что раздвоенность образа Ивана присуща ему изначально и объясняется невероятной сложностью его характера, а теперь я думаю, что пламя сорвалось с горелки. По-моему, Ивану напрасно приписана мысль: если нет бога, то все дозволено; для него, болезненно чуткого к страданию, искренне жаждущего правды и справедливости, тезис «все дозволено» невозможен, он означал бы, что и тому барину дозволено было растерзать мальчика псами.

Кто нынче станет оспаривать гениальные прозрения «Бесов»? Но как бы ни была глубока тема романа, мучительно бызает от несоответствия между реальными, живыми, дышащими персонажами (каковы Степан Трофимович или Варвара Петровна) и образами самих «бесов», жестко и сухо сконструированными. Между тем у каждого мира, даже бесовского, есть какая-то своя живая жизнь, тому примером пушкинские бесы, давшие эпиграф роману. Они не только «бесконечны, безобразны» — они несчастливы, они жалобно поют и воют равно и на свадьбах своих и на похоронах; где-то есть у них (если верить черновику) большой бесенок, совсем уж жалостный, он охает в люльке (а люльку-то, наверно, та же вьюга качает). Вот какова она у Пушкина, невеселая бесовская жизнь. Потому-то визжит и жалобно воет нечистое племя, что не по своей воле летит, закружило его каким-то злым ветром, гонит в мутную ночь над снежной равниной неизвестно куда. Горестные, подневольные бесы! — другой такой глубокой тоски, наверно, нет в мировой литературе. Я совсем не хочу сказать, разу-

меется, что вместе с пушкинскими бесами Достоевский должен был взять их концепцию и атмосферу, но все же большой бесенок в люльке — как его тут не хватает!

Пафос понимания и сострадания, столь свойственный «Бедным людям» и «Преступлению и наказанию», уступает место пафосу обличения, а с ним и более поверхностному способу письма. Тут полезно сравнить «Бесов» с тургеневскими «Отцами и детьми», тем более что близки задачи обоих романов — изображение молодого поколения. Базаров представляет его в одиночку, у Достоевского аналогичный образ по крайней мере рассемерен (Петр Верховенский, Ставрогин, «пятерка»), но из них шестеро с Базаровым сравнимы быть не могут, так как несут на себе следы своего газетного происхождения, оформлены почти в жанре памфлета — в этом жанре, разумеется, они тоже бывают ярки и жизненны, — мы понимаем мысль автора, слышим тревожный набат (может быть, только мы, жители XX века, и можем понять всю глубину этой тревоги). Но заглянуть во внутренний мир страшного Нечаева (как некогда в душу Раскольникова) мы не смогли и знаем об этом человеке немногим больше (а может быть, даже и меньше), чем дают нам те же газетные отчеты о нечаевском процессе. Ожил среди «бесов» один Ставрогин, которого, таким образом, можно сравнивать с Базаровым.

Базаров неоспорим. Это человек редкой цельности, волевой, грубый, хищный, его доктрина мощным стволом растет из его сильной и грубой души. Он нам неприятен наглостью, самомнением и самим этим своим убогим нигилизмом — а смерть его мы удивительным образом воспринимаем как невозвратную потерю, трагедию (и сам Тургенев плакал, когда ее писал). Вот загадка! Остальные герои, куда более нам симпатичные, пришли к счастливому концу, сыграно разом две свадьбы, нам же хоть бы двадцать свадеб сыграли — мы неутешны: Базаров умер.

Надежда, что он выживет, не оставляла нас до конца и что жить он будет уже другим, поскольку заглянул в лицо любви и смерти, и страшная догадка, что другим он вообще жить не сможет, тоже нас не оставляла. Трагедия плена! Ум Базарова, его сильная душа задавлены дурной доктриной, в угоду которой его сильная воля готова кроить жизнь. «Отцы и дети» — роман понимания и глубокой печали.

Ставрогин спорен. Если вдуматься в сцену его встречи с Шатовым, сцену кульминационную, поразительную по накалу, по

красоте слов, по точности интонаций, мы обнаружим здесь тот же иллюзионизм, то же Достоевское колдовство, которое заставляет нас принять мнимую логику. Судите сами.

Шатов казнит Ставрогина за вероотступничество, и мы вслед за автором убеждены, что есть у Шатова на то право: он, верный ученик, обманут учителем. Но Ставрогин Шатову учителем быть не мог. Его петербургская жизнь — это некая условная дворянская биография (свет, разгул, дуэли, разжалование); в родной город он приехал загадочным и уехал неразгаданным. Потом более трех лет (опять закулисно) путешествовал за границей, «извездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию... Передавали тоже, что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете». И вот теперь в сцене с Шатовым мы узнаем, что Ставрогин создал целую нравственно-философскую систему, основанную на постулатах православия и почвы: католичество изменило Христу, идеи христианства осуществляет одно только православие; русский народ именно потому, что православный, стал народом-богоносцем, которому предстоит спасти мир. Подобная система требовала немалой работы, в частности исследовательской, сравнительного изучения таких сложных явлений культуры, каковыми являются католичество и православие, хорошего знания стран и народов. Для того чтобы стать учителем, то есть уметь увлечь за собой (в особенности такого умного и чуткого человека, как Шатов), нужна была еще и полная убежденность, которая без духовной работы не дается. Так когда же успел Ставрогин ее проделать? Когда предавался разврату в Петербурге? Или когда примазался к какой-то экспедиции в Исландию? А создав свою доктрину, когда же успел ее предать? Концепция почвы как бы навешена на характер, которому не соответствует, — что этому гвардейцу, барчуку, развратнику до мужика-богоносца? Но оказывается (опять же за кулисами), что Ставрогин, перейдя к «бесам», и тут стал учителем, даже писал устав (видимо, на основе «Катехизиса революционера»). Как это произошло, Достоевского тоже не интересует. И невольно возникает подозрение, будто между Ставрогиным, в котором вспыхнула собственная сильная жизнь, и его создателем идет непрестанная борьба, автор казнит несчастного в угоду концепции и наконец, чувствуя, как неубедительны обвинения в вероотступ-

ничестве, навязывает этому Печорину ужасный эпизод с Матрешей. В Ставрогине совмещается высокое и низкое, добрые и злые начала, сила и слабость, но в нем есть совесть (что делает его антиподом Петра Верховенского), и чувство вины, и благородство (борьба за Шатова); грязное преступление с этим характером как-то не вяжется. В образе Ставрогина заложена глубочайшая мысль: горькая беда его в том, что он не умеет любить (по гениальному определению Достоевского, это и есть ад — неумение любить). Хватает для трагедии. Но Ставрогин атеист и западник, этого достаточно, чтобы в Достоевском вспыхнула антипатия, художественно почти неуправляемая. Потому и конец уготован Ставрогину такой: он не стреляется, что было бы прилично дворянину, он казнит себя повешением. И автор, глядя на это дело, не может отказать себе в почвеннической усмешке («Гражданин кантона Ури...»).

Как тут не вспомнить знаменитый эпизод «Отцов и детей»: «Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами... овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре». И птицы, и фигуры стариков у могилы сына дают нашей печали какое-то странное удовлетворение. Тут спор с Базаровым окончен и решен на уровне понимания высокого.

Герои-идеи Достоевского нередко расслаиваются: герой отслаивается от своей идеи, и происходит это не только с мятущимися, бунтующими и порочными, но также с безмятежными и святыми. В жизни Зосимы есть эпизод, который не может нас не задеть. Старец рассказывает о своем детстве: «Прислуга же была у нас вся крепостная, четверо человек». Из них «продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную». Читатель убежден, что судьба этой проданной кухарки задержит внимание старца Зосимы, — ничуть не бывало. Он продолжает умильный рассказ о предсмертном прозрении брата, который понял вдруг, что «жизнь есть рай», что «одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и ста-

нем гулять и резвиться...» И нигде нет больше кухарки Афимьи. Но ведь нам трудно «гулять и резвиться», если ее продали.

Самое удивительное, что Афимья повествованию вовсе не нужна и даже из него выпадает,— зачем же понадобилась автору эта пожилая, хромая, проданная за шестьдесят рублей? Не менее удивительно второе приближение Зосимы к социальной реальности. Его проповедь — слуги в миру необходимы, но они должны быть «как родные», — вызвала возражения слушателей. «„Что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему чай подносить?“ А я тогда им в ответ: „Почему же и не так, хотя бы только иногда“». Ответ Зосимы ни на что не отвечает. Ну а если все же отвечать, в том числе и Ивану, «по пунктам», если вместо Афимьи взять того же растерзанного мальчика, как будет выглядеть призыв «станем гулять и резвиться»? Умнейший Достоевский не мог не заметить ужасного противоречия, им же самим и созданного. Явно дразня читателя, он делает старца демонстративно равнодушным к социальным проблемам. Нам важен не самый спор, уже решенный жизнью: альтернативы нет — необходимо сочетание обеих программ, социальных преобразований и нравственного усовершенствования, одна без другой неосуществима. Нам важно иное — расслоение образа доброго, обаятельного старика, который в угоду тенденции автора вдруг теряет и свою доброту, и обаяние, и простой такт. Жестко, почти маниакально навязывает писатель своим героям несвойственные им идеи (у Тургенева такого не бывает). Но ведь и характеру самого Достоевского свойственна некая маниакальность.

В последнее время возникла тенденция из любви к великому писателю сглаживать резкие грани его характера, словно бы защищая его от каких-то упреков или чьей-то нечуткости к трагическим обстоятельствам его судьбы. Достоевский прошел через запредельные страдания (для Тургенева максимум общественных невзгод были арест и ссылка в родовое имение — Достоевский пережил минуты перед расстрелом и годы каторги), недаром он умел погружаться в преисподнюю больной, разорванной души — надо же кому-то спускаться в ад, понаслышке об этом не напишешь. Корить Достоевского его характером было бы великой пошлостью, но об иных чертах этого характера забывать нельзя, особенно если речь идет о его отношениях с окружающими — и особенно с Тургеневым.

Пушкинские торжества (1880 год), Достоевского захватил водоворот литератур-

ной жизни, оглушил шум славы — но и оглушенный, никогда не упускает он из виду соперника. «Приняли меня прекрасно, — пишет он жене, — долго не давали читать, все вызывали, после чтения же вызвали три раза. Но Тургенева, который прескверно прочел, вызывали больше меня. За кулисами (огромное место в темноте) я заметил до сотни молодых людей, оравших в испуге, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры, claque — посаженные Ковалевским... Я сказал лишь несколько слов — рев энтузиазма, буквально рев... Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм». Перед нами, конечно, некая мания, с которой этот человек, как видно, справиться не в состоянии. Речь уже не только об идейных расхождениях или несовместимости художественного метода — о личной неприязни. Ею продиктован и образ Кармазинова в «Бесах».

Достоевский — писатель замечательного юмора, который в полной силе сказывается, наверно, именно в «Бесах», и особенно в образе старшего Верховенского. Ну, можно ли без смеха читать пересказ поэмы, которую сочинил Степан Трофимович и которая «открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частью о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаша с какими-то латинскими sacramentalными словами, и даже, если припомню, тропел о чем-то один минерал...». Совсем иное дело — Кармазинов, который по воле автора должен изображать собою Тургенева. Расслабленный, сюсюкающий старикашка, ничтожный, трусливый и подлый — крыса, бегущая с корабля, потому что вдруг решил, что тонет российский корабль; исписавшийся, хотя совершенно непонятно, как он вообще когда-либо что-либо мог написать, — сколько бы ни было дано нам усиленно намекающих внешних примет, нет попадания, а потому и не смешно. Ничто не напоминает здесь Тургенева с его благородством и умом — вот уж кто до конца жизни держал сильную руку на пульсе эпохи и своим высоким принципам не изменил. А какова была до конца сила его кисти, свидетельствует блестящая «Песнь торжествующей любви», один из последних рассказов. Кармазинов к Тургеневу никакого отношения не

имеет, это печальный факт биографии Достоевского. Тургенев ему той же монетой не отплатил, он высоко чтит талант соперника, но не раз отзывался на эту выходку с глубоким презрением.

Гений Достоевского, мечущийся в сомнениях и тонуший (едва ли не сознательно тонуший!) в противоречиях,— как отзывается он в сердцах? Ведь чтение великих произведений не может не влиять на жизнь читающего.

Проблема воздействия великой литературы на жизнь так же сложна, как сама эта литература и сама жизнь. Но ведь (знаменитый пример) кончали же с собой молодые люди после выхода «Вертера»! Стало быть, возможен и такой, прямой и грубый, выход литературы в действительность. Возможны, конечно, и более тонкие воздействия вымышленных судеб на судьбы реальные. П. А. Кропоткин, в уме, душевной восприимчивости которого никто не станет сомневаться, писал: «Повесть Тургенева «Накануне» определила с ранних лет мое отношение к женщине, и если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу».

А возможны воздействия и вовсе неожиданные.

— Я начинаю жить по Федору Михайловичу,— сказал некий муж жене в разгар бракоразводного дела.

— Что это значит?

— Увидишь. У нас нынче пойдет карнавализация.

И карнавализация, которая означала, что молодой человек читал не только Достоевского, но и Бахтина, началась. Судебное дело приняло фантастический характер, появилось в нем и обязательное «вдруг». Молодые люди дружно жили вместе восемь лет, вдруг муж подал заявление, будто их брак с самого начала был фиктивен, будто жена, вступая в этот брак, преследовала корыстные цели, стало быть, ее нужно выселить не только из их общей квартиры, но и, как иногороднюю, из Москвы. Карнавал шел полным ходом, стал, как ему и положено, многолюден, захватив множество народа должностного и не должностного,— долго крутилась развеселая карусель.

Смердяков, читающий Достоевского и Бахтина,— ситуация, согласитесь, острая. Вообще искаженное восприятие Достоевского не редкость. Мы ждем от великой книги «Преступление и наказание» благо-

творного влияния на юношеский ум, а юношеский ум откликается на нее порою очень странно. Из школьного сочинения (включенного Ю. Карякиным в инсценировку романа): «Раскольников правильно сделал, что убил старуху. Жаль, что попался».

Есть тут и еще одно обстоятельство. Высокая духовность Достоевского сложна, его идеи все время во взаимном борении, без подготовки их трудно воспринять. Всего проще усвоить сюжет, часто к тому же детективный; у детектива же вообще наркотические свойства, что же говорить о детективе гениальном! Достоевского читают именно запойно. Так же просто усвоить атмосферу романа (да ее и нельзя не почувствовать, она, как ток, бьет по нервам). Именно она, надо думать, порою создает в сознании современного читателя культ некоего душевного сдвига, когда собственные комплексы, стрессы и депрессии перечисляют с гордостью, как знак утонченности, когда для полного самоутверждения интеллигентному человеку, по-видимому, не хватает только эпилепсии или по крайней мере небольшого психического вывиха. А главное, люди с подобными тенденциями не сдерживают нервных взрывов, не стыдятся истерик, не видя в подобном ничего зазорного. Но как же так? Ведь Достоевский, эта воплощенная нравственность, Раскольникову на его «право имею» ответил: «Не имеешь!» — и с такой силой, что это крепко помнят поколения; на «все дозволено» Ивана Карамазова он ответил: «Не дозволено!» Но в то же время его героям на удивление много оказывается дозволенным. Конечно, роман не свод нравственных нормативов, а его герои не образцы для подражания, но и мы имеем в виду не простые нравоучения, а серьезные проблемы.

Любовь! Какой же странной предстает она порою у Достоевского — не спасительная, не питательная, а бесплодная и даже разрушающая, с пароксизмами ненависти. Любовь Ивана Карамазова и Катерины Ивановны, например, построена как детективная загадка: кого любит Катерина Ивановна, Митю или Ивана? — вот о чем гадают читатель; если же чувство изложено по законам детектива, то оно должно быть завуалировано. Так оно и есть. Мы не видим влюбленных внаедине, не знаем, как развиваются их отношения, не слышим слов любви. Зато вдруг, между прочим, в главе «Первое свидание со Смердяковым», то есть решительно не к месту, нам дано объяснение: «...он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось

много причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил,— о, она слишком это знала,— и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на ней». Конспект чувств, поспешный и невнимательный. В борьбе идей или страстей облом героя не до любви. (А как пленительна любовь у Тургенева!— богата, увлекательна, благоуханна; не полусимволическая, жертвенная, не надрывная, мгновенно трансформирующаяся в ненависть, а глубокая, животворная, даже если и несчастна; неповторимы тут тургеневские страницы, и терять нам их — чистое безумие.) Конечно, в жизни героев Достоевского есть высокие минуты (Соня и Раскольников, Мышкин и Аглая, Митя и Грушенька), но, как правило, кривая их отношений похожа на запись электрокардиограммы непрерывных инфарктов.

Если раньше женщины Достоевского казались мне значительными и глубокими, то теперь сомнительны стали мне его иные хохочущие «инфернальницы» (конечно, есть у него тихие и ясные — Соня или Кроткая, но громкие и демонические их собою явно заслонили).

Двух героинь «Карамазовых», Катерину Ивановну и Грушеньку, мы видим впервые в тот день, когда они и сами друг друга впервые увидели. Катерина Ивановна в состоянии умиленного восторга, она помирилась с соперницей, заключила с ней союз во спасение Мити, уже влюблена в нее и спешит сообщить Алеше все те восхитительные Грушенькины качества, которые до сих пор никто не замечал: «Знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны». И еще: «...обаятельница, волшебница!.. Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла, так вот чтоб она еще больше припухла, и еще, еще... Посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела... Алеша краснел и дрожал незаметною малою дрожью» (поневоле задрожись!). Но вот ангел Грушенька коварно выпускает когти, начинается мучительство, и неистовая любовь Катерины Ивановны сменяется иступ-

ленным: «Вон, продажная тварь!.. Ее нужно плетью, на эшафоте...»— и так далее. Алеша пьтится от нее к двери (поневоле попятиться!).

На суд Катерина Ивановна пришла, чтобы спасти Митю. Презрев собственные обиды, спокойная, достойная, очень умная, она дает показания, которые сильно склоняют в пользу Мити и суд и общественное мнение. Но тут же после безумного выступления Ивана она опять в истерике, в иступлении губит Митю, предъявляя суду его пьяное письмо.

Этой женщине нельзя ни доверять, ни тем более довериться, ее благородные решения тают в воздухе, ее любовь, ее верность тут же превращаются в ненависть и предательство. Она не исключение в ряду «инфернальниц». Ненадежные, неверные, на них нельзя опереться. Между тем это странно: русский XIX век дал замечательные женские типы и даже породил убеждение, высказанное еще Пушкиным в «Table-talk», Герценом в «Былом и думах» и тем же Достоевским в «Дневнике писателя», что женщина по своему нравственному уровню, а соответственно и той роли, которую играет в жизни общества, стоит выше мужчины. «Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи»,— пишет Достоевский.

Катерина Ивановна из «Карамазовых», Лиза из «Бесов», Настасья Филипповна из «Идиота» — от них ли ждать помощи! Что они могут? Они не выют гнезда, у них нет детей — у героев Достоевского дети, как правило, вообще не рождаются (разве что у мелких чиновников), а если бы родились, их бы потеряли в буре страстей и не подобрали никогда. Какую судьбу назначил автор Катерине Ивановне, мы не знаем, но ее сестры, Настасья Филипповна и Лиза,— одна зарезана, другая забита толпой. Не жилицы они на белом свете.

Мне кажется, лучших русских женщин XIX века написал именно Тургенев и, может быть, он один с такой силой. Его женщины очень разные (Джемма ничем не похожа на Асю, как Елена из «Накануне» на Зинаиду из «Первой любви»), но есть у них общее великое свойство: верность, неизменная, неподкупная, глубоко серьезная, которая может стать надежной основой жизни.

Героям Достоевского, как правило, чужда работа самоусовершенствования, им бы справиться со своими страстями! За вычетом немногих, воплощающих прочное и светлое начало,— Соня, Мышкин, Алеша, старцы-праведники — герои Достоевского

вообще за себя не отвечают. Как отвечать за свое слово, если, произнося его, ты словно бы «полетел с горы» или «в бездну»; за письмо, если оно написано «больной кровью»; да и как за самого себя отвечать, если ты весь во власти какой-нибудь «одичалой мечты». Версилов! В начале «Подростка» он явно нам неприятен, но затем не раз будет высказано «благоговение и удивление к благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича». В порыве темной страсти (именно «больной кровью») он пишет любимой им Катерине Николаевне подлое, грязное письмо (с копией жениху!), но проходит время (появляется странник Макар Иванович, оказавший влияние на Версилова и жизнью своей и смертью), Андрей Петрович как бы воскресает, вылечивается от темных страстей — и какие глубокие (самого Достоевского!) мысли высказывает он сыну; здесь, кстати, и великое: «...осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека». В эти минуты Андрей Петрович понимает, что единственная женщина, им любимая, — это Софья, мать подростка; и как же умен, как светел и обаятелен этот человек в своем воскрешении, и какая радость охватывает Аркадия. Они расстаются, отец и сын, чтобы встретиться дома, но домой Версилов не явился, и замечательно: и в сыне его и в окружающих (и в нас тоже) крепнет убеждение, что благостный порыв его как пришел, так и ушел. Впрочем, Версилов все же вернулся домой, и тут оказалось, что покойный Макар Иванович завещал ему икону, которую считал чудотворной.

Версилов принимает драгоценный дар и говорит: «Знаешь, Соня... мне ужасно хочется теперь, вот сию секунду, ударить его об печку, об этот самый угол. Я уверен, что он разом расколется на две половины». И действительно, когда он ударил образ об угол изразцовой печки, тот раскололся ровно на два куса... Тут же Андрей Петрович объявил, что он «весь точно раздваивается». Кстати, приняв твердое и светлое решение жениться на любимой Софье, Версилов тут же написал страстное письмо Катерине Николаевне, предлагая ей брак. Мы поражены, но не возмущены, и в бурной сцене его свидания с Катериной Николаевной наши симпатии все равно на стороне обоих, потому что Катерина Николаевна прекрасна, а Версилов страдает.

Страдальцам тут же полная амнистия (и об их жертвах порой бегло). Грушенька, ко-

варная соблазнительница, ростовщица, ссужает деньги «на злые проценты», но стоит ей стать несчастной любящей женщиной, и мы тотчас прощаем ей и коварство и «злые проценты». Иные этические выводы художника вовсе непонятны. Анна Андреевна Версилова хочет женить на себе милейшего старого князя. Сеть интриг раскинута ею широко, сами интриги незаурядны по наглости. Беспомощный старик в ее энергичных руках становится полубезумным и вскоре умирает. А странность заключается в том, что Анну Андреевну никто не осудил, ни положительные герои, ни, по-видимому, сам автор. «Анну тоже не пугай, — говорит о ней добрая и умная Татьяна Павловна, — люблю ведь я и ее; ты к ней несправедлив, потому что понимать тут не можешь: она обижена, она с детства была обижена». Герой романа, брат Анны Андреевны, убедившись, что она погубила старика не из корысти, а потому, что была в когтях страстей (сатанинская гордыня, ненависть к дочери князя), все тотчас ей прощает и делается ее другом. Достоевский как бы извиняет преступление страстью и той болью, какую несет в себе страсть, — происходит словно бы «оправдание преступления внутренним наказанием». Но нынешние убийцы, между прочим, на место злодеяния не приходят, в дверной колокольчик не звонят, да и у Достоевского в черновых заметках к «Карамазовым»: «Нынешнего преступника не мучат угрызения совести» — заявление, авторитетное в устах автора «Мертвого дома». Следовательно, может возникнуть опасность внутренней безнаказанности при некоем ложном ореоле страдания.

«С детства обижена» — снимает ли обида нравственную ответственность, и на каких весах взвешивать тяжесть обиды и спровоцированного ею преступления? И наконец, хотя мы и условились не рассматривать литературное произведение с точки зрения ходячей морали, но опасность дурного примера все же исключать нельзя. Как-то в редакцию одной газеты разом пришли три похожих дела, героем и жертвой в одном был известный врач, в другом — крупный коллекционер, в третьем — академик (богатые старики, за которыми охотились молодые энергичные дамы). Все три истории кончились трагически, и подумалось мне: если дамы-охотницы прочтут историю Анны Андреевны — а может быть, и читали? — разве к их бесчисленным самоамнистиям не может прибавиться индальгенция, данная столь великим авторитетом?

Достоевского не раз обвиняли в нравст-

венном релятивизме, как не раз его от подобных обвинений и защищали. М. Бахтин, говоря о полифонии романов, особо оговаривает, что она с релятивизмом ничего общего не имеет. Но если герои Достоевского, как указывает сам М. Бахтин, являют собой не образы, а голоса, «чистые голоса», равноправные не только меж собой, но с голосом самого автора, если они ведут меж собой непрерывный нравственный спор, который, как опять же полагает М. Бахтин, решен быть не может, то мысль об опасности нравственного релятивизма напрашивается сама собой. Ко многим героям Достоевского можно применить слова самого писателя, что они «безо всякого самообладания своей природой и даже без подозрения, что это надо». Герои Тургенева тоже бывают неверны и тоже под властью страстей, но неверность, нестойкость чувств переживается тут как главная беда характера и основная причина погубленной судьбы (кстати, герои Тургенева, как правило, страдают молча, это благородная пушкинская сдержанность — вспомним последнее свидание Ленского с Ольгой: «Что с вами? — Так. — И на крыльцо»; ни слова больше и совсем не то, что в опере, где произошел шумный скандал, тоже своего рода карнавал).

Тема страстей, постоянная в литературе XIX века, это действительно одна из главных тем жизни. Однако и нынче страсти пылают не меньше, чем в XIX веке, сместились, может быть, иные болевые точки (например, распад семейных союзов, дележ детей и прочее), но ревность, но зависть, но дьявольское тщеславие — все эти пожары горят по-прежнему трудно угасимым огнем. Позиция великого писателя тут активна. Разгулу страстей у Достоевского Тургенев противопоставляет сосредоточенность не менее мучительную и глубокую, сдержанность чувств, обузданность страстей. И еще: страстным героям Достоевского чуждо сознание ответственности перед жизнью, перед теми, кто рядом. Супернравственность нередко бывает весьма невнимательна к простой повседневности. И наконец: свертконцентрация убийств, самоубийств и умопомешательств постепенно приучает к ним как к норме. Словом, опасностей немало, чтобы их показать, нам не остается ничего другого как еще глубже войти в жизнь, тем более что она сама нередко ставит трагические эксперименты.

«А вот я еще тебе расскажу. Звонил вчера Сережа из твоей деревни, он, как и ты, говорит «помаленьку», «не шибко» и вме-

сто «да» — «ну». Я проводила его маленько. Смотрела тебя в фильме, потом мне стало плохо в метро. Истерзана я вся, Стасик. Ужасно измучена. Помоги мне».

А он ничем ей помочь не может, потому что в могиле.

Произошло это несколько лет назад, в комнате было двое, он и она, они уже два года как жили вместе. «Скорая помощь», вызванная ею, нашла его с ножевой раной в груди, нож лежал рядом. Она объяснила (потом, а тогда, узнав, что он мертв, пыталась зарезаться тем же ножом), что вошла в комнату и увидела, как Стас сползает с кресла. Все говорило о том, что он мог сам себя ударить, дело было прекращено; а через пять лет Валентину Александровну арестовали и осудили за убийство. Многих, очень многих, сидевших в зале, приговор не убедил, но сейчас у нас речь не о том.

«Я не деревенский, — говорил о себе Стас, — я райцентровский». И действительно, он приехал в Москву из маленького сибирского городка, поступил в театральное училище, потом в академический театр: способности его были очевидны, темперамент колоссален. А цели? «Терпеливо ждать (это я цитирую его дневник). Ждать чего? Ждать удачи, счастья, любви — ведь именно этого хочется теперь, и очень. А как стать великим актером? Работать, работать и работать. Роли, роли и еще раз роли. А где их взять?.. Какая-то неувязка получается. Просто жить, радоваться солнышку, белому свету, просто трудиться. Нет!!! (Далее я следую грамматике подлинника.) Слишком претно. Славу подовай, счастье подовай. Славную славушку. Ух, как распирает!» Дневник полон чудовищных грамматических ошибок, но было в Стасе то, по сравнению с чем правила орфографии ничего не значат, — талант, искренность, неусыпные духовные искания. Напрасно уговаривает он себя «потихоньку, полегоньку», «не гнать лошадей» — все равно своих коней он хлестывал.

Влюбился он в нее, знаменитую актрису, из зрительного зала во время ее гастролей в Новосибирске. А ее сердце дрогнуло позже, когда она увидела его Раскольниковым в выпускном спектакле московского училища. Разница в возрасте серьезного значения для них не имела, тем более что она выглядела его сверстницей (и потому мы станем называть ее Валею), к тому же была хороша. Но вот беда — она пила (тоже не с радости, а с тех пор, как у нее умерла дочка, прожившая всего пять дней), не погибла пила — сильный профессионал, она много и успешно работала (театр, бесконечные

сьемки), но в свободное время таки закладывала, чем приводила его в отчаяние. Он покаялся, что вырвет ее из власти этого порока и вообще перевернет ее жизнь. Она клялась, что никогда не принесет ему горя.

Для нас сейчас самое важное — он. Полудеревенский парень, попавший в столичную театральную и околотеатральную среду, — ситуация достаточно сложная сама по себе, куда сложнее давно устаревшей схемы столкновения «патриархальной чистоты» и «столичного разложения»... Сам Стас был уже достаточно сложен, сознание его уже с детства было повреждено и раздвоено: его мать, впрочем любимая и любящая, семь раз выходила замуж. И навидался он и страдался, оттого ощущение жизни было в нем обострено, а переход к новой, столичной, он воспринял уж и вовсе с болезненной остротой. Прошедшая жизнь, пишет он, была скудной, полууголовной, новую он ощущал как жажду «знаний, силы, славы, любви, ужасов, поэзии, красоты жизни — новой». Да, он теперь жаждал и знаний и поэзии — и ужасов тоже (но о них потом). Был умен. Поразительно в нем, юном, это стремление понять другого, поставить себя на его место — на место матери, как тяжело ей было жить одной («...работа, хозяйство, скука, одиночество»), на место Вали, — но еще удивительнее понимание: сперва самого себя надо постичь, «за самим собой надо устроить наблюдение». Замечательный вывод, к которому он пришел сам. Несмотря на явную тягу к людям — совершенное внутреннее одиночество, «полная пустыня, пустыня Каракум». И все чаще в его дневнике появляется тема бездны.

Собственно, было несколько бездн. Первая — ревность, бешеная и погибельная. Немалую роль сыграла тут атмосфера театра, бесконечные нашептывания: она с тем, она с другим. Он верил, но и тут старался быть справедливым к предполагаемым соперникам: «Я люблю ее, но и она любит. Я понимаю ее, хочу понять и оправдать, но больно, больно. Ох, Валя, Валя!» И опять: «А я кричу, ревную, издаваюсь, разрываюсь на части. А может, это, наоборот, моя судьба? Может, не каждому суждено ощущать эту бездну? И я счастливчик, мне повезло? Жутко повезло!!! И надо больше погружаться в жизнь, не отталкиваться, не отшатываться от нее. Наоборот, принимать, всматриваться, постигать. Может быть, в этом самом огромном смысле? Может, эта боль отзовется когда-нибудь сладчайшей творческой болью? Выдержу ли я все это?!!»

Стас был прав: жизнь, включая ее боль и страдания, — единственный источник твор-

ческих сил. Но он понимал опасность дара, который получил от судьбы. Позту для реализации таланта нужны лишь перо и бумага, художнику — кисти и холст. Актер тут всецело зависит от других, от того, кто дает роль. Ему хотелось воплощать огромные дostoевские образы, а приходилось играть «тонюсенькие роли с глупыми словами». Правда, была удача — он отлично сыграл в фильме главную роль, но фильм не прошел по экранам, его мало кто знал. А кругом знаменитости, таланты, гремит кругом, бродит «славная славушка» — и все не его. Что это было — зависть или боль художника, которому не удалось реализоваться? Как бы то ни было, и с этой стороны его сторожила бездна.

А сил было — невпроворот. «Я пружу, как паровоз, пружу, пружу со своим инфузорным, книжным представлением о жизни — в жизнь, по жизни...» Он пер грубо, он главного режиссера театра называл шефом и на «ты». «Не дразни их», — молила Валя. Он не мог не дразнить. Беззащитный и бешеный, утонченный и грубый — вот каков был двадцатидвухлетний мальчик, который связал свою судьбу с Валей, талантливой, знаменитой, пьющей, доброй и тоже своих порывов сдерживать не умеющей. Кто-то сказал про нее «фантастическая головка» — этими словами, как мы помним, определена в «Карамазовых» Грушенька.

В судебном протоколе соседствуют две фразы. Свидетель: «В этом деле Достоевский сыграл ужасающую роль». Председательствующая: «Суд снимает вопрос о Достоевском». Я думаю, что мы этого вопроса снимать не должны.

Еще до знакомства друг с другом оба, и Валя и Стас, были покорны Достоевскому — до восторга, до лихорадки. Теперь они, если позволительно так сказать, соединили свои лихорадки. Дело не в том, что он играл Раскольникова, мечтал сыграть Рогожина (и писал инсценировку — для себя, но и с некоторыми надеждами — «Братьев Карамазовых»), а она играла Аглаю. Знаменитые «надрывы» Достоевского — помните, «Надрыв в гостинной», «Надрыв в избе»? — их подобие вполне можно встретить в малогабаритных, крупноблочных и разных других квартирах. Поклявшиеся дать другу другу счастье, Валя и Стас терзали друг друга и не раз были на грани разрыва. Безответственные герои Достоевского, переходя от ссоры к миру, от любви к ненависти, убеждены: если обидчик сам мучился, каялся и наконец внутренне просветлел, тем самым зло уничтожено. Не так все просто в жизни (и тут уже спор с самим великим

автором), на деле обида рассасывается медленно, как гематома (если вообще рассасывается), причиненное зло обычно никуда не девается, остается в мире, начиная самостоятельную злую жизнь. Стас и Валя этого не понимали.

«Я пру, как паровоз, пру, пру, со своим инфузورным, книжным представлением о жизни — в жизнь, по жизни. Нет, я почему-то верю, что это не может, не должно меня сломать. Было бы очень глупо. Тогда просто Мышкин, но есть еще и Рогожин, есть и Лебедев, есть и Снегирев, и Иван Карамазов, и все это в одном Достоевском. Вот главное. Вобрать в себя все проявления жизни. Быть добрым и злым. Иначе все впустую. Но пока я — это я». Вот нам замечательная (и печальная) возможность проследить, как читает Достоевского молодой человек, к этому чтению и, кажется, вообще к грузу культуры еще не готовый.

Релятивизм, в котором обвиняли Достоевского, в восприятии Стаса, на его читательском уровне расцвел пышным цветом. «Просто Мышкин», этот «положительно прекрасный человек», само благородство (великая удача Достоевского!), идет у Стаса заодно со злым шутком Лебедевым, добро и зло на равных, любовь и ненависть в одной цене. Недаром в кругу героев Стас выделил Рогожина.

Герой этот не голос-идея, он голос-страсть, даже и не голос вовсе: если при первом своем появлении он еще разговаривает (сцена в вагоне), то потом становится все замкнутее, все угрюмее и в конце концов является молчаливо, как смертельная угроза. Сила и обаяние его таковы, что он становится некоей черной дырой, неизбежно в себя затягивающей: и Настасью Филипповну, которая идет к нему, зная, что он ее зарежет, и князя Мышкина, который не в силах предотвратить убийство. Никто не может сопротивляться Парфену. «Надоть», — скажет он, когда позовет князя идти к мертвой. И князь пойдет. В ту же черную дыру затянуло и Стаса. Стас говорит: «Хочется быть просто Рогожиным. Хочется убить ее. Но и этого я не сделаю, потому что трус». «Хочется быть просто Рогожиным»? Но стойте, как же так, ведь Рогожин — убийца! Так вот что значит у него «пока я — это я»! Тут сознание собственного ничтожества перед величием героя, который в силу роковой страсти ударом ножа решает свою и чужую судьбу.

Здесь уже дело не в неверном прочтении Достоевского, здесь, напротив, точно прочтен присудий этому писателю культ страсти. Она у Достоевского никогда не вино-

вата, потому что бескорыстна; пусть это адское пламя, но пламя чистое — очищенное страданием. И преступники его куда больше страдают, чем раскаиваются. Раскаяние Раскольниково нам только обещано, оно настолько за кадром, что мы о нем и не помним; непрерывные раскаяния Мити Карамазова хоть и дороги нам, но на редкость нестойки; Рогожин не раскаивается совсем.

Можно ли не думать о том, как отражаются в сознании нашего современника, особенно юного, все эти преступные, страдающие, обаятельные и нераскаянные герои Достоевского?

Если во времена Достоевского страдания преступной души были великим открытием, то сегодня уже ясно видно, что в таких «хождениях по мукам» есть своя опасность, что подобные путешествия, это главное, требуют специальной подготовки и точного компаса. У Стаса компаса не было.

Один из его приятелей, безнадежно влюбленный в Валентину Александровну, решил убить сперва ее, а потом себя. «Убить ее, а потом себя, — пишет Стас. — Да, да, да, я могу это понять, это похоже на страсть». Произнесено заветное слово, и тотчас все становится по местам. Разве это дело, такие игры с кровью для неустойчивого, не готового к жизни молодого сознания? Кстати, к теоретической крови Стас порой примешивал реальную, он любил кровавые эффекты — однажды, перед тем как явиться в компанию, где была Валя, гвоздем сильно раскровенил себе щеку; другой раз в гневе резался бритвой — отзвуки призрачного мира, к которому, по его словам, он некогда принадлежал. На него вообще накатывали непонятные припадки бешенства, он их не сдерживал и даже, кажется, ими гордился как знаком незаурядности.

Шаткому внутреннему миру Стаса необходим был бы духовный авторитет высокой дисциплины, сдержанности и ответственности чувств — а в нем безраздельно царил Достоевский.

Убийство, самоубийство, помешательство (тоже форма ухода в небытие) — они, как известно, нужны Достоевскому не для внешнего эффекта: именно на границе бытия и небытия испытывает он свои заветные идеи, для него, скажем словами Ю. Карякина, «встреча со смертью и есть именно способ познания, не заменимый ничем, а познание такое и есть именно способ сопротивления смерти, способ одоления ее». В неустойчивом сознании Стаса великая идея, как попутай на жердочке, кувырк-

нулась вниз головой, разом став нелепой и даже страшной. Он понимал убийство попросту, по-рогожински, как способ разрубить узел, затянутый страстью. В ходе всех этих игр тема крови очень глубоко вошла в его сознание, свидетельством тому отрывки его собственного сценария: «Сперва рубанул ей по вдоль, как рубят пиленые чурки. Потом стал кромсать, по телу, по лицу...» Словом, дикий бред с отголосками «Преступления и наказания». Между тем необходимый барьер между бытием и небытием в его сознании отчетливо разрушался. Мой ход рассуждения может показаться слишком прямолинейным, и так оно, конечно, и есть, но прямолинейность эта не моя. Это Стас впрямую хотел быть Рогожиным (сил нет, как горько, как безутешно жаль Стаса). Он читал Достоевского простодушно, он, как утренний кофе, глотал адский огонь.

Валентине Александровне Достоевский был близок по-другому. Как большинство его героев, она жила чувствами и была бескорыстна. Полюбив другого, она тотчас сказала об этом мужу и ушла в общежитие. Но и ей была введома достоевская экстремальность чувств, и ей «хотелось исключительной жизни и любви, до изнеможения, до самоуничтожения доходящей». Однажды, рассказывает она в письме Стасу, в Ленинграде забрела она на какую-то улицу. «Становилось темно. Вокруг никого. Страшно стало немножко... Улица в булыжниках, темная, небольшая, надо уходить отсюда. Двор какой-то. Петербургские дворы как темные колодцы, так и тянет вглубь. Зачем? Раскольников стучится в сердце, прощит, мо- впусти. Я впустила его в сердце, впустила и испугалась. Бежать стала из этого двора, а он догоняет, не хочет покидать меня. Устала я бежать от него и с ним устала... Необыкновенная жизнь, полная Восторга и Ужаса, пришла ко мне...» — и так далее. Такой дурной литературщины с ее невразумительными «Ужасами» было, по-видимому немало в их жизни. Впрочем, в том же письме содержится разумное рассуждение (эта актриса все же сильный профессионал) о том, что обоим им важнее всего творческое спокойствие, а Восторги и Ужасы пусть будут на сцене.

Но ведь и тема самоубийства не миновала этих двоих. В записках Вали возникает Кириллов из «Бесов», а Стас, который в дневнике защищает право на самоубийство, всегда, даже в минуты счастья, как бы ощущает край жизни. «Я еще живу, сердце мое еще не остановилось, оно еще колотится,

больно колотится, но все еще колотится» — поразительное ощущение у него, юноши, последнего предсмертного биения сердца.

Любовь это ощущение только обостряет. «У нее большие-пребольшие черные глаза и нежный рот. Я люблю целовать ее. Мне с ней так хорошо. Но все это кончится катастрофой... Мы оба это понимаем и все же продолжаем любить друг друга. А катастрофа неминуема». Но почему же, почему? Потому что он погибельно не уверен в себе. Страх потерять ее туманит голову. «Я делаю вид, что мне все равно, бросит она меня или нет. А на самом деле страшно боюсь... ревную, мучаю ее и себя. Господи, что мы делаем!» (И еще раз карандашом: «О, господи!»)

Еще одна беда, толкающая в пропасть, — тяжкий конфликт с людьми, в круг которых попал. Ему кажется, что его окружают враги, «страшные люди, страшные», неверные, коварные, и он клянется «и богу, и небу, и земле» отомстить «за все, за каждый удар, за каждый плевок, за каждую насмешку над собой». И в то же время: «Я не могу без них, не могу! Я хочу обратно, на улицу, в поле, я хочу любить, я хочу драться, я хочу жить. — Пожалуйста, живи. — Нет, не могу! Я убью себя! — Убей».

Боль не отступает, «таранит сердце и мозг. Не хватает, да, наверно, уже и не хватит сил бросить всю эту дребедень человеческую, весь этот актерский бедлам и возвратиться на истоки свои. Растопить печку. Заварить крепкий чай, бросить туда пучок мяты и успокоиться. Нет, не бывает этому никогда. Слишком окунул я в сутолоку дней. Читаем Достоевского и Гофмана, понимаем все, что есть, что было и что будет, однако же продолжаем лить грязь на все, что под солнцем есть дорогого, на себя, на театр. Продолжаем потому, что уже потерянные. Скоты мы, скоты!» И опять, и снова: «Выйди из цепи. Выйди без следа, без наследства, без наследника. Так, господи, я уже слышу тебя». Тот же порог.

Убийство. Самоубийство. Как ни дико это звучит, насильственная смерть в его представлении была престижная. И у нас нет оснований не верить Валентине Александровне, когда она говорит, что последние слова к ней Стаса были (шепотом): «Пойдем со мной, пойдем со мной».

«Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни» — Валентина Александровна, оставшись одна, постигла это вполне. Ее сознание не могло примириться с тем, что Стаса больше нет на свете, ее жгла мысль: «Не уберегла его. Счастье свое не уберегла». Она пытается уйти в воспоминания, но

и они стали болью. Вот восходит на небе месяц, он красный и лежит на спине, как когда-то, когда они смотрели на него вместе. Любимое ими пастернаковское «Я кончился, а ты жива...» приобретает страшный смысл. «Страшно мне сейчас очень. И опоры нет. Совсем нет».

В ее дневнике уже не найти прежних полунинтеллигентских игр под Достоевского (слово «достоевщина» я намеренно не употребляю, пошлости в отношениях Стаса и Вали не было и следа). Уже не гоняется за нею Раскольников, уже не жаждет она сомнительных «Ужасов» — пришел настоящий. Теперь из Достоевского она вспоминает строчки, написанные им в день смерти жены: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?» Беспомощная, потерянная, она хватается за эту мысль — «увижусь ли?». И страстное желание охватывает ее — увидеть во сне или наяву, пусть в самом страшном обличье (это близко пушкинскому: «Приди, как дальняя звезда, как легкий звук иль дуновенье, иль как ужасное виденье»). Сперва это сны. Видеть его во сне великая радость, хотя она и помнит, что он умер, хотя и плачет, глядя на него, но даже утром, проснувшись, счастлива и назначает ему свидание на следующую ночь. Она рассказывает ему в своем дневнике все, что случилось за день, выбирая сюжеты, которые должны быть ему интересны, — кто-то приехал из его деревни, кто-то хвалит его игру в фильме. Она жалуется ему, просит его помощи — выдержать, выстоять: «Роденький мой, Стасик, укрепи меня, мне бы немножко (маленько) сил». Ей кажется, что он руководит ею (вздумалось вдруг поехать за город, в лес, «кто-то толкнул туда — верно, Ты»). «Ты» теперь всегда с большой буквы, как к богу, и, как к богу, она обращается: «Что же мне делать, Стасик, любимый, научи». Он успокаивает ее, он вроде ангела-хранителя стоит за нею и защищает. Она знает: кругом шепчут, обвиняют ее в смерти Стаса. «Успокой их всех, милый мой, успокой. Я тебя люблю». Это как рефрен, после каждой строчки: «Я тебя люблю».

Но напрасны ее попытки как-то приспособиться к жизни без него, сквозь все сны и самообманы отчаяние прорывается с новой силой. «Кто же так поступил с нами? Солнце ты мое! Счастье ты мое! Ох, какое же горе свалилось на меня». (Сил нет, как жаль Валу.)

Наконец уже наяву с нею стали происходить странные вещи. К ней в метро подошел парень и спросил: «Вы из Сибири?» Парень был похож на Стаса, который тоже

из Сибири. «По-моему, лишаюсь разума», — догадывается она. А кончилось это, чем и должно было кончиться, — клинкой.

Более чем странно было бы в трагедии Стаса винить Достоевского, а если его влияние в этой истории все же прослеживается, то дело тут, конечно, в неумении его читать. Ошибка многих читателей в том, что они, как и Стас, читают Достоевского, в чьем мире, полагаю, черт реальней Ивана, как простую правду жизни, как читали бы Тургенева. А у них разная правда, разная и жизнь.

Спор о том, кто выше, смысла не имеет — оба выше. Оба умнейшие люди своего времени, оба великие художники, исследовавшие жизнь с позиций сострадания (неужели тихую Лукерью из «Святых мощей» менее жаль, чем бурную Катерину Ивановну из «Преступления и наказания»?), один не уступает другому в глубине и художественной силе. Оба нам кровно необходимы. Разные взгляды на жизнь, разные способы ее писать? Так тем они и дополняют друг друга. Иное дело вопрос о том, кого после кого читать. Такой вопрос существует. Достоевский всегда считался поздним чтением, и это понятно: в любой жизненной педагогике освоение простых и добрых начал предшествует постижению сложных и трудных, только усвоив здравые основы верности, благородства и деликатности чувств, можно подходить к болезненной операции исследования злой души. Любопытно, как Чехов, который высоко чтит Тургенева и для которого «Записки охотника» были настольной книгой, объяснял Вл. Немировичу-Данченко, почему не читал «Преступления и наказания», — бережет-де это удовольствие к сорока годам.

Тургеневу и не снились духовные взлеты Достоевского? Да, мир Тургенева теснее, уже, спокойнее, но, наверно, лишь в подобных условиях возможно тончайшее постижение нормальной жизни души. Великую литературу каждый воспринимает по-своему, для меня, решусь сказать, в мире Достоевского, как бы ни были тут горячи и плотны страсти, от романа к роману все более тянет неким астральным холодом (суперпроблемы!), в то время как творчество Тургенева неизменно согрето теплом солнечного дня, что отнюдь не исключает в нем трагизма и печали. Его хорошо понял А. Доде, когда говорил о «сострадательной доброте, сквозящей в книгах славянского романиста, доброте печальной, как мужицкая песня»; далее француз приводит текст народной песни, только не русской, а кре-

ольской: «Больно тебе — вздохни, не то боль задушит тебя».

Бывает, что из круга героев Достоевского, неверных, дрожащих от боли и ненависти, хочется вырваться в мир Хорьков, тех самых, что в разговоре с баринном даже не переглянулись, всего лишь усмехнулись, настолько они уверены друг в друге, так прочно стоят на земле; и уж они-то никогда никакую лошадь по глазам хлестать не станут. Но из мира Хорьков нас неизбежно вновь потянет к Достоевскому, к грозным разрядам его прозрений.

Нет, наше дело — пить из обоих источников, все же помня при этом, что один всегда благоворен, а с другим надо быть поосторожнее.

Меня всегда поражал приход Варвары Петровны Ставрогиной в комнату сына. Образ Варвары Петровны по методу изображения скорее тургеневский — в творчестве Тургенева, кстати, немало таких своеобразных и властных матерей. Конечно и в Ставрогиной хватает достоевской сложности и яда, но все же она объемна, надежна,

спокойна. И вот она входит в комнату Ставрогина, который вдруг уснул в углу дивана. «Ее как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно; даже дыхание почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно, он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание, и вдруг ее обнял страх; она вышла на цыпочках...» Так, на цыпочках, в испуге и тоске, отступает тургеневское начало перед фантомами Достоевского.

Но вот что любопытно: Достоевского, который заставляет нас глотать адское пламя и пропускает через мясорубку, мы читаем с не меньшей радостью, чем ясного Тургенева. Я говорю именно о том удивительном чувстве радости, с каким закрываешь его гажкие романы. А все потому, что перед нами истинно прекрасное, от которого, как уже не раз было сказано, «стержень крыла набухает и перья начинают быстро расти от корня по всей душе».



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александра Спаль. Апрель сорок пятого и будущее.— **Григорий Левин.** Песня в строю.— **Я. Варшавский.** Портрет слова.— **Н. Анастасьев.** Impregno критика.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов. На пути к сближению.— **Наум Мар.** Неисчерпаемая тема.

Литература и искусство

АПРЕЛЬ СОРОК ПЯТОГО И БУДУЩЕЕ

Александр Чаковский. Неоконченный портрет. Роман. «Знамя», 1983, № 9; 1984, №№ 7, 8.

Политическая биография? Историко-документальный беллетризованный очерк типа «ЖЗЛ»? Нет. Сам автор определил жанр как роман. Но думается, здесь и не роман в прямом смысле слова. Скажем пока условно — повествование.

Художественная реконструкция нескольких последних дней жизни президента США Франклина Делано Рузвельта остро целенаправленна. Фабульный прием основан на внутреннем монологе, который по самой своей природе художественно (а не документально) воссоздает мыслительно-эмоциональный процесс героя — известного всему миру человека. Такой метод дает автору выход на основные, программные точки концепции, ради которой, вообще говоря, он взялся за эту работу.

В сюжетном отношении все сводится к двум — трем основным идеям, которые герой всесторонне разрабатывает, ища подтверждение правоты прежних своих действий и опору тем действиям, которых, как понимает читатель, уже не последует.

Мысли эти о ситуации, сложившейся в отношениях союзников к концу войны. О японском вопросе, сильно беспокоившем американского президента. Размышления о «доме добрых соседей», то есть о сложностях создания Организации Объединенных Наций. И еще о том, как поведет себя в

дальнейшем Сталин... Поскольку в романе в основном показано личное отношение Рузвельта к Советскому Союзу, мы ощущаем, как сквозь все его опасения, недоверчивость, присущую осторожному политику, проглядывают и симпатии, да и просто интерес к СССР, желание понять этот неведомый ему мир. Когда-то, в самом начале своей политической карьеры, будучи заместителем морского министра, Рузвельт, фактически ничего не зная о России, все же позволял себе довольно грубые высказывания в ее адрес. Теперь, к концу войны, взгляд президента на Россию стал куда серьезней, он словно почувствовал природу этого государства, далеко не во всем ему понятного, но имеющего свои твердые основы, и, главное, ощутил доверие к внешнеполитической тактике Советской страны.

Однако, понимая, что политическое поведение США и Англии по отношению к союзной державе далеко не безукоризненно, Рузвельт серьезно опасается, что тем самым СССР получает моральное право на отказ от выполнения взятых обязательств, в частности в вопросе с Японией.

История сочинения Рузвельтом письма Сталину проходит через весь роман, нанизывая на себя экскурсы в историю и сопровождаясь романтической линией лич-

ной жизни героя. И хотя фактологическая точность в необходимой мере соблюдена, в книге почти нет дат, почти нет цитаций документов. Надежды и огорчения, мысли и чаяния... Элемент романа здесь бесспорен.

Интересно в этом смысле сравнить «Неоконченный портрет» с вышедшей в 1981 году в издательстве «Международные отношения» книгой Н. Н. Яковлева «Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение». Подробная, содержащая самые последние сведения политическая биография дает представление о том, какого рода отбор материала произвел в данном случае Александр Чаковский для своей вещи, отказываясь от многих выигрышных фактов и сведений ради целостности задуманного.

Половина книги вообще вынесена за скобки, ее дополняет воображение читателя. Этот любопытный эффект создан тем, что повествование обрывается 12 апреля 1945 года, в день смерти ФДР, а все, что происходило в мире после войны, для героя — не наступившее будущее, и оно не присутствует в книге ни словом и тем не менее постоянно в своей реальности существует!

Автор написал книгу так, будто сочинялась она в апреле 1945 года, но читатель то раскрывает ее в 1984 году! Он сопоставляет, сравнивает, думает, то есть активно работает вместе с автором.

«Неоконченный портрет» — это горькая книга, обращенная из прошлого в будущее. Постоянный двойной ряд проходит перед нами: явное — мысли, надежды и опасения героя и ненаписанное — сорок послевоенных лет, подтверждающих самые невеселые предположения американского президента. Этот художественный прием, создающий напряженную драматургию политики в развитии, существенно расширяет видимые рамки повествования. Это-то и придает книге объем и жизненность.

Рузвельт Чаковского не думает о близкой смерти, но тем не менее, подчиняясь авторскому замыслу, как бы подводит итоги всей своей деятельности и опасается, что для воплощения задуманного ему не хватит времени. У него нет уверенности в тех, кто продолжит его дело, займет президентское кресло, и это тревожит и гнетет его, ибо он, как истинный политик, политик до мозга костей, не может не предвидеть возможности дальнейшего развития событий. Он думает: «Теперь Гитлер фактически разгромлен. Но ведь еще кто-то из древних пришел к выводу, что опыт

предыдущего поколения никогда ничему не научил последующее... А ведь это последующее поколение — а может быть, уже и нынешнее! — будет обладать новым смертельным оружием, атомной бомбой».

Опыт не передается — тревожным пульсом бьется в книге горькая мысль.

И горечь эту ощущает читатель. Да, мы знаем, теперь знаем — фашизм выжил. И дело не только в расплывшихся по свету (не без участия тех же США) фашистских недобитках. Опыт не передается. Всегда есть люди, которые могут самоутвердиться, почувствовать свое превосходство лишь одним способом — вооружившись, за получив в карман огнестрельную штучку. Читая роман Чаковского, не раз вспомнишь столь часто мелькающие телекадры — улыбочивые американские парни, чересчур уж смачно носящие военную форму, с видимым удовольствием играющие автоматом. Наемником быть не стыдно — об этом говорится открыто.

Так постоянно при чтении «Неоконченного портрета» возникает материал для сопоставлений.

Вот, например, фрагмент книги, посвященный встрече Рузвельта с филиппинским президентом Серхио Осменей. Рузвельт собирает пресс-конференцию, на которой никто, кроме него, не хочет и говорить о филиппинских делах. Свое намерение дать наконец Филиппинам обещанную еще в 1934 году полную независимость Рузвельт выполнить не успел, хотя в искренности его намерений трудно сомневаться. Теперь-то мы знаем, какая «независимость» была дана Филиппинам в 1946 году: все вооруженные силы Филиппин поступили под командование американских «инструкторов», а армия США получила 22 (!) участка для сооружения военных баз. Теперь невозможно проверить, о какой ли независимости для Филиппин думал Рузвельт, как невозможно представить, таким ли был бы сегодняшний мир, если бы Рузвельт полностью прожил свой четвертый президентский срок.

ФДР, как известно, был доволен результатами Ялтинской конференции, хотя в связи с вопросом о том, какой будет Германия после войны, ему было очевидно, что раздела Германии в духе итогов Тридцатилетней войны, то есть раздробления страны на микроскопические государства, как ему виделось, не получится. Вообще он отдавал себе отчет в том, что послевоенный мир не может быть прежним. Что же касается польского вопроса, то в отличие от Черчилля он хорошо понимал: невоз-

можно диктовать России какие бы то ни было условия относительно страны, которую она освободила ценой таких невероятных усилий и потерь.

После смерти ФДР в США резко ухудшились отношения к ялтинским соглашениям. Но уже и при жизни Рузвельта реакционные силы в Америке прямо обвиняли президента в ялтинском предательстве национальных интересов. Поэтому когда Рейган сегодня призывает к пересмотру ялтинских решений, ничего нового он тут не изобретает.

Рузвельт — какой он? Сам факт жизнедеятельности этого политического руководителя так много внес в соотношение сил на международной арене, что незаурядность этой натуры очевидна. Но и неоднозначность его четко проступает в повествовании сквозь явную авторскую симпатию.

И еще один интересный момент. Устами самого президента Рузвельта — героя своей книги — Чаковский назвал все основные болезни американского общества, существовавшие тогда и проросшие в будущее. «Единственно чего нам нужно бояться, так это самого страха». Эти слова из речи Рузвельта, сказанной им при вступлении на пост президента в 1932 году, произвели на американцев громадное впечатление. Они не утратили своей актуальности и сейчас, когда запугивается целая нация.

Для политического деятеля США синонимом нравственности в политике может быть названа надежность. Симпатии Рузвельта к Стране Советов в немалой степени вызваны тем, что она выполняет взятые на себя обязательства. И президент не мог не признавать, что политика США в этом отношении далеко не безупречна. Самокритичность — какое это прекрасное человеческое качество и как оно необходимо президентам!

Главным для Рузвельта из «Неоконченного портрета» является вопрос о возможности и необходимости мирного сосуществования двух систем. Он вновь и вновь мысленно возвращается в 1933 год. Одним из первых его дел на посту президента было признание СССР. И он жалеет лишь об одном — что США это сделали поздно...

И вот еще штрих к портрету.

В 1929 году в своей речи при вступлении на пост губернатора штата Нью-Йорк Рузвельт, в частности, сказал: «...наша цивилизация не сможет уцелеть, если мы отдельные люди, не поймем нашу личную ответственность перед остальным миром и

нашу зависимость от него». Звучит удивительно актуально и для наших дней. Такое высказывание сделает честь любому сегодняшнему президенту. Таков масштаб личности. И задача А. Чаковского заключалась в большой степени в том, чтобы передать этот масштаб.

«Когда Рузвельт обдумывал какой-нибудь вопрос, его мысль выходила далеко за пределы этого вопроса. Он рассматривал этот вопрос в его связи с прошлым, настоящим и будущим». Так писал о Рузвельте Роберт Шервуд, известный американский журналист и драматург, хорошо знавший президента лично, в своей книге «Рузвельт и Гопкинс». А. Чаковский строит нескончаемый внутренний монолог своего героя таким образом, что создает ощущение постоянной напряженности мысли и в то же время свободного движения во времени. Выходы из этого потока обусловлены внешними событиями, происходящими вокруг, репликами, вопросами окружающих. Этот композиционный прием дает автору возможность в чисто художественном плане создавать ситуации, из которых явствует, насколько может быть нереальна действительность по сравнению с иллюзорной, казалось бы, но столь животворной работой глубоко направленной мысли. Всячески обыгрывается в этом плане «принудительное» общение с художницей Шуматовой, постоянно требующей «присутствия» у позирующего президента, которому «присутствовать» на сеансе попросту некогда, ибо мысль его далека.

Есть свидетельства людей, долго, с молодых лет знавших Рузвельта, о том, как изменила его болезнь. Человек, который не мог подолгу сидеть за письменным столом, вдруг оказался прикован к нему болезнью. Потребность во внешних действиях ушла внутрь, была поглощена новыми формами бытия.

Значительную часть повествования, как уже говорилось выше, занимает обдумывание Рузвельтом ответа на сердитые письма Сталина, вызванные бернскими переговорами и разногласиями союзников по поводу Польши. Сама эта длительность говорит о сугубой серьезности, с которой политический деятель такого масштаба должен рассматривать возможные последствия каждого сказанного и написанного слова. Невольно приходят на память зловещие шутки нынешнего хозяина Белого дома. О собственной смерти может шутить лишь глубокий человек, о смерти другого шутит человек недалекий, а уж острить, опери-

руа тоннами обожженной, изуеченной человеческой плоти...

В романе Чаковского напряженная умственная деятельность президента является основным строительным материалом, главной опорой всего сюжета. Тем более что это человек последних своих, столь насыщенных событиями лет жизни. Герой не просто предается размышлениям и воспоминаниям — он работает. Вот он пытается восстановить в памяти разговор, который в свое время не был запротоколирован, или думает о событиях давних лет с целью переосмысления их значимости в свете сегодняшнего дня. По сути, вся книга — непрерывная цепь вопросов, которые ФДР задает себе не только для решения сегодняшних проблем, но и пытается понять нечто главное, что постоянно ускользает за текучкой неотложных президентских дел.

Средства, которыми автор повествования добивается своей цели, предельно просты, но вместе с тем достаточно хорошо найдены, чтобы, не прибегая к бесчисленным ремаркам и кавычкам, давать необходимые (весьма скупые) авторские комментарии. В комплексе это делает чтение романа открытым, то есть не усложненным всякими стилистическими фигурами, отвлекающими от основного потока. О стиле попросту не думаешь.

А. Чаковский выстраивает душевный мир своего Рузвельта таким образом, что он полностью совпадает с духом и содержанием его речей и докладов, то есть сознательно очищая образ героя от разнородных напластований, противоречивых подчас сведений, разбросанных по многочисленным биографиям, воспоминаниям и мемуарам, посвященным необычному президенту. Воссоздается тот облик ФДР, который был, если можно так сказать, официально обозрим для мировой общественности в 40-е годы, когда не были еще опубликованы подробности, полнее выявляющие подоплеку его деятельности. Нет, например, и намек автора на тайную дипломатию Рузвельта. Поэтому на первый взгляд кажется, что Рузвельт «Неоконченного портрета» стилизован, чересчур уж все гладко. Но суть именно в верности автора избранному пути — никаких новейших оценок и объяснений задним числом. В этом смысле портрет ФДР, написанный Чаковским, тоже как бы не окончен, подобно живописному портрету акварелистки Шуматовой. Да и сама личность Рузвельта, невероятно интересная и объемная, все же не единственное, для чего пи-

салась книга. Это портрет мира, каким он был к 1945 году. Незаконченный портрет мира, который рассматривается глазами американского президента, и в зеркале которого мы видим отражение мира сегодняшнего.

Автор не позволяет себе нарушить правила выбранной им игры, он не говорит о преимуществах социалистического устройства общества, а лишь проецирует реально существующее в глубоком умственном политиком. Может показаться, что сам Чаковский беспристрастен. Однако это не так. Пристрастие писателя сильно, но его видишь, лишь окидывая взглядом всю вещь в целом и понимая, для чего в конечном итоге она написана.

Главная мысль проста (что не делает ее менее значимой) — политик такого масштаба, как президент великой державы, должен быть профессионально серьезен. Ответственность и самокритичность — вот качества, которых подчас не хватает нынешним политическим деятелям США. Не мешает им также лучше знать историю и помнить ее уроки, чтобы не повторились ошибки прошлого. В сегодняшнем мире такие ошибки могут стать последними в мировой истории.

И в заключение о жанре.

И все-таки это роман, хотя и не в классическом понимании слова, ибо развитие действия, событийность и психологические нюансы заменены здесь динамикой мысли. Ключ в самом названии: это роман-портрет. И портрет, как сказано, незавершенный. Экспрессия мысли дает ту жесткость ограничения изобразительных средств, при помощи которой движение романа направленно идет вглубь, концентрируясь лишь на одном человеке, но этот человек размышляет о целом мире.

Интерес советских писателей к жизни, истории и культуре других народов не случаен и не сегодня возник. Последние десятилетия усилили этот интерес и к политике, ибо мир стал информативно-коммуникабельнее и тревожен как никогда. Сама политика в общественном восприятии приобрела заметный драматургический эффект, ибо проблемы, которые ежедневно освещаются средствами массовой информации, стали частью жизни и забот самого широкого читателя и зрителя. Даже внутривнутриполитические процессы отдельного государства перестали быть автономными, влились в общий поток мировых событий, влияя на его течение не только так, как было прежде, в периоды мировых

войн, а постоянно. События разворачиваются как в драме, где полные противоречий межгосударственные диалоги выполняют функцию реплик, день за днем развивая захватывающее мировое действо. Но это, увы, не театр. Это жизнь.

И политика вошла в современную литературу во всей своей планетарной обзорности, не фоном, а объектом пристального изучения. И главный герой не просто человек, а все человечество.

О художественно-политической литературе можно говорить уже как о новом потоке искусства, ищущем свои жанровые берега.

Политика и раньше существовала в художественной литературе, но зачастую она была декорацией, на фоне которой писатель осуществлял свои замыслы в отношении героев. Теперь литература, которую мы относим к политической, решая, казалось бы, те же задачи, то есть показывая сопряженность судеб и событий, делает все это еще и для того, чтобы поднимать вопросы большой политики.

Можно ли назвать роман Чаковского «Неоконченный портрет» политическим? Можно, конечно, если бы не опасения смазать его характеристику. Хотелось бы вспомнить роман английского писателя Нормана Льюиса «Сицилийский специалист» не в поисках аналогий художественного ряда, их просто нет, а для того, чтобы попытаться определить общее направление: художественная литература на политическом материале. И в «Сицилийском специалисте» и в «Неоконченном портрете» — попытка объяснить средствами искусства зарождение и развитие политического процесса. В первом случае это пересадка многовекового древа сицилийского Общества чести (термин «мафия» — поздний американизм) на благотворную почву послевоенных США, во втором — это формирование отношений США — СССР до 1945 года.

Строгая документальность, хотя она и может в отдельных случаях быть использована как художественный прием, такой прозе, собственно говоря, и не нужна. Не буква, а дух. И как один из самых точных инструментов художника — жесткий отбор материала, при котором, кстати, потери в смысле документальности неизбежны.

Очевидно, что к жанру художественно-политической литературы вполне приложимы законы исторического жанра.

Почему же роман Чаковского, принадлежащий к художественно-политическому

жанру, нельзя назвать политическим в полной мере? Да потому что оценочные критерии здесь смещены лишь к одному из центров объективно существующей политической ситуации того времени. Это, как сказано, сделано автором с определенной целью и является достоинством романа, однако оборачивается против прилагательного «политический».

Политика с точки зрения литературы — явление, сформированное из совокупности всех известных (официально и дополнительно выявленных) сведений и мнений разных сторон, доводимых фактором времени до состояния истории как науки. Если еще совсем недавно, в конце XIX века, Владимир Даль определял политику как науку государственного управления, то сегодня этот термин приобрел более широкое значение, это уже система государственных управлений во взаимодействии и противоборстве, открытая для единовременного обозрения.

В этом смысле роман Чаковского «Неоконченный портрет» не отражает политики как целостного процесса, а показывает человека-политика с его субъективными оценками, мировидением и позициями. Этот роман не о политике как таковой, а о политическом деятеле, и поэтому он, конечно, ближе к биографической литературе, в которой род деятельности героя не отражается на жанровой характеристике. Роман чешского писателя Карела Шульца «Камень и боль» повествует о Микеланджело Буонарроти, но не называем же мы его скульптурным романом!

В «Сицилийском специалисте», где исторические лица проходят узнаваемо, но не названы, и превалирует тема неофициальной политики, подробно дан определенный политический процесс, проведенный автором не через одного героя, а как бы над героями. Как роман он более традиционен, и притом это роман политический.

В романе же Чаковского историческое лицо присутствует вполне конкретно, но обрисовка политического процесса дана локально, через это лицо. Роман — как бы фрагмент целого. Но целое это уже хорошо известно читателю, ибо то, что в 1945 году было политикой, в наши дни уже может быть отнесено к истории. И как бы ни трансформировал автор личные характеристики президента, лицо это узнаваемо в главном — в той роли, которую оно сыграло в историческом процессе.

Итак, роман-портрет, социально-психологическое исследование.

И поскольку нет документа,

который подтвердил бы подлинную достоверность и дословную точность вымышленных писателем мыслей героя, но документы, существующие в рузвельтографии, подтверждают практическую их допустимость, а это, как известно, характерный и желательный признак историзма, можно говорить о принадлежности романа Чаковского «Неоконченный поргрет» к историко-

биографическому жанру, чему не противоречит и время действия книги, и ее ретроспективная панорама, и, что особенно важно, ее социально-нравственный аспект. Именно на материале сорокалетней давности автор увидел возможность наиболее полно выразить то, что тревожит людей планеты сейчас.

Александра СПАЛЬ.



ПЕСНЯ В СТРОЮ

Николай Старшинов. Мое время. Стихи. М. «Советский писатель». 1984. 286 стр.

Николай Старшинов с гордостью говорит о себе «гвардии рядовой». Однако в разработку неисчерпаемой темы Великой Отечественной войны он внес отнюдь не рядовой вклад. И в его стихах мы легко обнаруживаем неповторимо старшинское: мотивы, пластику, ритмический строй. Он не форсирует голос, не ищет эффектных решений. Чужд он и какой бы то ни было нарочитой архаизации, подчеркнутой ориентации на старину. Ему свойственна простота, но не «простячество», по слову Асеева. Своиственны естественность, обыкновение говорить с читателем в силу внутренней потребности, без риторики или ложного пафоса. Себя он ощущает во времени, а время — в себе. Не случайно и новая книга его называется «Мое время». Слово «мое» звучит здесь так же, как у Маяковского «моя республика», «мой труд».

В книгу «Мое время», помимо новых стихов, включены те, что знакомы читателю по прежним сборникам поэта, начиная с самого первого «В нашем общежитии» (1954). Стихи всех семи книг, представленных в сборнике «Мое время», выражают то особенное, выношенное, нередко выстраданное, что свойственно дарованию и душевному состоянию поэта именно в данное время. Обращает на себя внимание неприязательность самих названий книг: «Песня света» (1959), «Лирика» (1962), «Прога» (1966), «Осилик» (1973), «Ранний час» (1977), «Милости земли» (1981). Лишь одно название «Милости земли» кажется мне подчеркнутым, скрывающим в себе заряд полемики против известного изречения: «Мы не можем ждать милостей от природы». Отмечаю это потому, что благоговей перед землей-кормилицей и, разумеется, не ставя под сомнение необходимость творческого отношения к ней, Н. Старшинов не приемлет чересчур волевого с нею обращения.

Однако основа книги — стихи о годах Великой Отечественной войны.

«И вот в свои семнадцать лет я стал в солдатский строй... У всех шинелей серый цвет, у всех — один покррой» — так начинается стихотворение. Эта одинаковость, похожесть вызывают у молодого солдата опасение: «Я думал, что не устою, что не перенесу, что затеряюсь я в строю, как дерево в лесу». Но солдат перенес испытания, устоял, не затерялся, и для него важна мысль, что «солдатам холодно поврозь, а сообща — тепло». А кончается стихотворение строками, убедительно опровергающими первоначальные опасения: «И я иду, и я пою, и пулемет несусь, и чувствую себя в строю, как дерево в лесу». Образ, составляющий сердцевину стихотворения, естественно возникает из образа, вначале как будто ему противостоявшего. Стихи эти не только о солдатском строе на войне. Они, если шире взглянуть, о душевной общности, духовном слиянии советских людей, советского народа. И потому они не стареют со временем.

Или вот стихотворение «Зловещим заревом объятый...» — о том же солдатском строе. Но поворот темы иной: не в силах глаз оторвать от «ромашек-тонконожек» («Для нас, для нас они, быть может, цветут сейчас в последний раз»), солдаты замечают вдруг в грязи дорожной пятак, у которого «обметало зеленой окисью края», а там — «рубль в траве примятой». Но строй ни на миг не задерживает шаг, как бы и не замечая разбросанных денег, как бы ощущая их незначительность перед лицом большой своей задачи.

Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют...
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.

И снова житейский факт поднимается до значительного обобщения, оказывается подключенным к нашей славной традиции (вспомним: «Мне и рубля не накопили строчки...»).

«Я был когда-то ротным запевалой», — вспоминает Н. Старшинов. В то время когда солдаты с учений идут по «раздрыганной дороге», когда «густую глину месят сапоги», выручает солдатская песня (о которой впоследствии Н. Старшинов напишет в сердечном стихотворении, посвященном его любимому поэту-песеннику А. Фатьянову, автору незабываемого «Соловьи. соловья, не тревожьте солдат...»). Старшина приказывает запевать молодому солдату, у которого, по собственному его признанию, «ни голоса, ни слуха и нет и не бывало никогда». Да, голос его слаб. Но песню подхватывает строй, и оказывается: «О, как могуч и как красив мой голос, помноженный на соню голосов!» И опять ненавязчиво возникает образ общности советских людей, устремленных к единому. А закончил стихотворение поэт скромно, словно бы с застенчивой улыбкой: «Я был когда-то ротным запевалой, да и теперь я изредка пою».

К теме фронтовой дружбы Н. Старшинов возвращается вновь и вновь. В одном из стихотворений он пишет:

Друзья моих военных дней,
Где вы теперь, как вы живете?
Той, давней дружбы нет верней,
Рожденной в пулеметной роте.

Поэту кажется, что дружба «по-прежнему живет между Смоленском и Калугой... Она живет, как человек, понятный и донельзя близкий. Она под орудийный гром сидит над гаснущим костром, ползет по снегу с автоматом, как в том крутом сорок втором, как в легендарном сорок пятом».

Это своеобразное олицетворение фронтовой дружбы в образе реально существующего бойца придает поэтической интонации особую выразительность.

В поэме «Семеновна», замечательной своим народно-песенным частушечным строем, приближающим ее к «Песни о великом походе» С. Есенина, говорится о том, как в мирную, слаженную жизнь советской деревни беспощадно врывается «война лютая», как «все мальчишечки запартизанили»:

Уж мы скажем врагу
Слово веское!
Еловый лес кругом,
А власть — Советская...

Вот и героиня поэмы, колхозница Семеновна, становится партизанской связной:

Не блины пекла
В воскресения,
А к своим несла
Донесения!

Так в одной человеческой судьбе преломляется всеобщее незабываемое: «Идет война народная, священная война».

Решительно отвергая ходульную патетику, Н. Старшинов вовсе не избегает высокого строя речи, если речь о главном:

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли
За нее.

Вспоминается Тушин в «Войне и мире», солдаты в «Севастопольских рассказах», их непоказной героизм. В советском человеке эта черта получила естественное развитие, ибо само патриотическое чувство стало немислимым без преданности советскому строю.

Но коренные начала национального характера остаются нерушимы, как нерушима преемственность героических дел народа.

Н. Старшинову дороги и преемственность, и глубина национальных традиций.

Но как бы это к неким срокам,
Достигнув новой высоты,
Не исказить нам ненароком
Ее прекрасные черты.

А то потом найдем кручину:
Ну хорошо ли, если мать
Уж так изменится, что сыну,
Что даже сыну не узнать?

Отсюда и обращенные к родине проникновенные слова. «Да будет жребий твой велик! Но сохрани неповторимый свой материнский светлый лик»

Н. Старшинов не первый сказал «Россия-мать», но это сочетание у него обрело новую выразительность и предметно осязаемый характер: оба понятия как бы слились в одно.

В книге «Мое время» много прекрасных стихов о русской природе, которую поэт воспринимает трепетно, о судьбе которой думает с тревогой. И, как известно, не без основания. Это прежде всего относится к включенным в книгу стихам из сборников «Протока» и «Осинник».

В стихотворении «Рассвет» поэт вспоминает одно утро из своего детства, когда он раньше всех односельчан ушел в лес за грибами: «Многое забывается, этот рассвет — никак!.. Знаю, он мне припомнится даже в последний час». Со щемящим чувством читаешь и такие строки:

Пашню увижу заново,
Ельник рассветный.
Тать.
Крыши и крест — Рахманов!
И на крыльчке — мать...

Проникновенного лиризма исполнено стихотворение «Рябина от ягод пунцова...» с его зачином, перефразированным в конце: «На родине Коли Рубцова идут затяжные дожди». Поэт со светлой грустью думает: «В такую ненастную пору не шумной толпой, а вдвоем пройти бы к сосновому бору прекрасным и грустным жнивьем... Забраться в осинник, послушать, что шепчут друг другу листья. И думать: а наши-то души, как прежде, по-детски чисты?..» Чистая нота печали звучит в строках: «Мы часто случайно встречались, и все в толчее городской».

Важное место у Н. Старшинова занимает тема любви. Старшинов любит, я бы сказал, светло и свято. В его стихах и живая боль, и благозарность за подаренное счастье, и стремление уберечь любимую от страдания, от горя. А если неизбежна разлука с любимой — ни слова укора, упрека, обиды. Тут верность пушкинской поэтической традиции. А из наших современников так писали о любви Маяковский, Есенин, Пастернак, Асеев («Не за силу, не за качество золотых твоих волос...»). Широко известно стихотворение Н. Старшинова «Руки моей любимой»: «Сколько работы было, самой необходимой! Только вам все под силу, руки моей любимой».

Включены в книгу «Мое время» и сатирические стихи. Особенно удачны цикл

«О старом холостяке Адаме», задорная «Ода ваньке-мокрому», «Про Гришку-дурачка» и «В Музее чертей»; поэт не шадит и себя: «Да это ж, черт возьми, и сам я в роли черта!» — характерная черта задорного, озорного, но вместе с тем и мягкого юмора поэта.

Но есть людские свойства, поступки, к которым поэт беспощаден. А к чему он более всего непримирим, мы узнаем из стихотворения «Древний сюжет». В этом стихотворении, где переосмыслен известный евангельский сюжет, заклеяно предательство, тот Иуда, который вознамерился «злость на всех сорвать, чтоб себя утешить, чтобы снова предавать, а предавши, продавать, а продавши, вешать»...

Одна из миниатюр в сборнике «Мое время» называется «Просветление». Год за годом в поэзии Николая Старшинова шло высветление главных духовных начал и всего богатства нашей жизни. В одном из новых стихотворений, где возникает образ моря, которое «работало, как вол», Н. Старшинов иронически говорит о себе: «Лишь я блуждал без всякой цели — куда, зачем и кем влеком?.. И ветер за мое безделье весь день швырял в меня песком». Какое уж там безделье! Непрестанный труд во имя нашей поэзии — таково главное содержание второй, послефронтальной жизни «гвардии рядового» Николая Старшинова, заслуженно получившего Государственную премию РСФСР 1984 года за книгу стихов «Река любви».

Григорий ЛЕВИН.



ПОРТРЕТ СЛОВА

Ст. Рассадин. Испытание зрелищем. Поэзия и телевидение, М. «Искусство», 1984. 223 стр.

Есть теперь у нас книги литературоведческого, искусствоведческого характера, быстро исчезающие с полок магазинов, — они интересны и специалистам и просто читателям. У этих книг много общего. Это не популяризация чужих исследований, не переложение чужих мыслей, а свое, авторское мышление-исследование. Это не заигрывание с читателем, а беседа на равных. И не только о литературе или о каком-нибудь одном искусстве, а непременно о многих искусствах, вообще об общем мышлении. Здесь не одна лишь теория, но и критика — в самом деле, теория без критики обычно безжизненна, критика без теории безоружна. Но рядом с критикой и теорией — лирические отступления,

мемуарные страницы, случаи из жизни. И конечно полемика.

Авторы книг — литературоведы и искусствоведы, умеющие быть нескучными. Для кого они пишут — для художника, зрителя? Доказано, что завязать диалог с художником можно голько в том случае, если он увлекателен и для просто читателя.

Две таких книги, одну следом за другой, выпустил Ст. Рассадин: первую («Спутники», о поэтах пушкинской поры) в 1983 году, вторую («Испытание зрелищем») в минувшем году. Здесь мы сосредоточим внимание на второй книге. Автор ведет речь о шедеврах поэзии воплощенных на голубом экране, исследуя при этом природу телевидения, его силу, его возможности.

Анализ экранизации поэмы, стихотворения, пьесы в стихах позволяет увидеть, какие головоломные задачи решает телережиссер, понимающий, где начинаются преимущества голубого экрана и перед сценой и перед киноэкраном. Уже немало удавшихся передач, посвященных поэтам и поэзии, осуществлено редакцией учебных программ. Они переходят из четвертой программы в первую и вторую, а это уже о многом говорит. Здесь не боятся посвятить передачу, скажем, и такому сверхтрудному поэту, как Владимир Хлебников...

Искусство требует умного толкования. Анкеты, социологические исследования, опыт встреч режиссеров и актеров со зрителями убеждают: даже самое понятное искусство, подобное «Балладе о солдате» или «Служебному роману», один зритель воспримет полно и верно, другой — частично, третий — вопреки замыслу автора. Что уж говорить о «Неоконченной пьесе для механического пианино» или «Репетиции оркестра»? У фильмов которые принято называть поэтическими, судьбы всегда складываются труднее, чем у кинопрозы, это и доказывать не требуется.

А может быть, именно поэтический фильм, в частности телефильм, сблизит миллионы людей с поэзией? Ст. Рассадин считает самой драгоценной особенностью телезрелища то, что оно воспринимается в уединении, с глазу на глаз с автором, актером. Исходное положение книги выражено строками Евг. Виокурова: «Единственный способ дойти к миллионам — это быть интимным, обращаться к каждому в отдельности, к одному отдельно взятому лицу». По мысли Ст. Рассадина, телевидение отвечает интимности общения поэта со зрителем.

Не станем принимать эту точку зрения за аксиому. Надо заметить, что в любом сколько-нибудь содержательном труде о телевидении вы непременно найдете попытку определить его коренные свойства — может быть, потому, что эстетическая природа телезрелища еще не исследована до конца. Лет двадцать назад шел по этой целине Вл. Сапжак, автор талантливой книги «Телевидение и мы». Появляются новые тележанры, обновляются старые. открываются прежде неведомые перспективы и публикуются обобщающие критико-теоретические сочинения, в том числе коллективные, скажем сборник «Поэтика телевизионного театра» (1979), написанный сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания. На него ссылается Ст. Рассадин. Мы находим здесь ценные

наблюдения, верные умозаключения; одно все же смущает: очень уж торопятся исследователи с окончательными обобщениями, а потому малоубедительны некоторые формулы, выведенные из крута фактов, который все расширяется. Наверно, время аксиом в теории телеискусства еще не пришло.

Ст. Рассадин предлагает читателю вместе с ним поразмыслить над вопросом: в чем же истинная телевизионность? Ответов существует много. Нам, например, говорили: истинная телевизионность в эффекте зрительского присутствия, в сопричастности зрителя происходящему на телеэкране. Но какое же искусство, древнее или новое, не достигает этого эффекта в своих шедеврах? Мы присутствуем и в Эльсиноре, и в гостинице Турбиных с кремовыми шторами, и на Бородинском поле.. Нас убеждали: преимущество телезрителя — неотобранный монтаж, одномоментность события и его восприятия. Но с тех пор, когда было обнаружено это преимущество, одновременность события и его восприятия все больше уступает место обычной съемке, позволяющей смотреть матч, состоявшийся ночью, в любое удобное время. И уж наверняка известно нам теперь, что актер, читающий стихи перед камерой, знает: будет еще повторная съемка, режиссер отберет, перемонтирует, доснимет — о волнении первого неповторимого контакта с публикой сегодня никто и не думает.

Нам объясняли: телевизор не терпит условностей, стилизации, его стихия — прямая достоверность. Но вот появляются чудесные, волные юмора, грации, чувства стили телевизионные балеты, придуманные А. Белинским и великолепно исполненные Е. Максимовой, В. Васильевым, М. Лиепой, — и телевидение открыло новые для себя перспективы. Считалось, что для телеэкрана специфичны крупные, только крупные планы, плавный повествовательный ритм, известная статичность изображений. Но вот на экраны выходит и держит внимание зрителей в течение месяца сериал В. Краснопольского и В. Ускова «Вечный зов» по роману А. Иванова с массовыми эпизодами, динамикой событий, напряженным стремительным монтажом — и мы убеждаемся: телевидению все это сподручно. Очень трудно вывести нерушимые законы в этом быстро меняющемся виде искусства!

Уединение зрителя? Телепередача равнозначна книге? Допустим... Но вот что на самом деле видит зритель, уединившийся у телевизора. В Останкинской студии вы-

ступают поэт Д. Самойлов. Это одна из самых удачных находок — останкинские поэтические вечера с чтением стихов, вопросы и ответами, рассказами о прожитом. Перед поэтом там, в Останкине, зрительный зал, в нем несколько сот человек, захваченных выступлением. Операторы дают крупные планы особенно увлеченных людей, внимательных лиц, выражающих сопереживание поэту. По всем законам человеческого вы разделяете чувства этих людей. Тонкая улыбка одного зрителя, веселый блеск в глазах другого, задумчивость третьего — все это побуждает и вас вслушиваться, всматриваться, обострять внимание. Все происходит примерно так же, как в присутствии тысячи человек. Ведь вы и в обычном театре изредка смотрите по сторонам, интересуясь реакцией соседей. Нет, проблема уединения не так проста...

Другая сторона дела — «визуальная» встреча с поэтом. Похож ли автор на свои стихи? Маяковский был во всем героем своих стихов, как и Бальмонт. Читая книгу стихов, мы невольно — мысленно хотя бы — производим их, представляем себе, как они должны звучать в авторском исполнении. Для прозы это, пожалуй, необязательно, а поэта хочется слышать и видеть. Литературный салон прошлого века давал человеку избранного круга возможность личного общения с поэтом, литературный концерт начала этого века сближал его с сотнями зрителей.

Вообще у телевидения много общего с дизайном, они делают эстетическую ценность общедоступной. Значит, у тебя появляется множество единомышленников, а это дорогого стоит. Постепенно, с распространением видеокассет, появятся различные видеобиблиотеки, в том числе и поэтические. Может быть, как раз останкинские вечера и составят основу видеофонотеки поэтов. Авторское исполнение всегда отличается от актерского и приносит больше для восприятия поэтической формы: ритмов, звукописи, всех образных слагаемых стиха. Актер — даже талантливый — жертвует ритмам ради переживания психологии. Стих превращается в прозу. Между тем психологию стиха и должен выражать его ритм.

Одна из глав книги Ст. Рассадина удачно названа «Портрет слова». Так можно назвать каждую удавшуюся поэтическую телепередачу.

Есть у телевидения особенность, не привлекающая пристального внимания теоретиков, но в жизни искусства имеющая немалое значение. Станет ли режиссер пере-

лагать для сцены или киноэкрана заведомо незрелищную прозу? Например, «Скучную историю» Чехова? Невыигрышно для театра и кинотеатра, касса не допустит. А в нашем телевидении этой стороны дела, к счастью, нет, и вот режиссер П. Резников осуществляет чеховскую телепостановку с Борисом Бабочкиным. Едва ли я преувеличу, если скажу, что незабываемый Бабочкин раскрыл еще неизвестные богатства своего дарования в «Скучной истории». И уж совсем не бывает ни в театре, ни в кино таких постановок, как «Домик в Коломне». Автор композиции Р. Копылова, режиссер Л. Елагин и исполнитель Сергей Юрский открывают второй план в пушкинской вещи, по традиции считающейся легкой шуткой гения. Шутливый «Домик...» поставлен в монтажную связь со стихотворением и романсом «Мне не спится, нет огня...», с историческими свидетельствами о том, как прустно жилось в ту пору Пушкину. Может быть, в те дни ему только и оставалось что отшучиваться. Для миллионов читателей, ставших телезрителями, открылся путь или хотя бы дорожка к более тонкому, значит, более верному пониманию поэмы и ее автора. Или «Моцарт и Сальери», где фрагмент исполнения роли Сальери Иннокентием Смоктуновским соединен не только с фрагментом историко-философского труда Ю. Карякина о «маленькой трагедии» Пушкина, с выступлением Ии Саввиной, но еще и с фресками Микеланджело, живописью Рафаэля, графикой Фаворского... Что за жанр? Можно ли представить себе нечто подобное в традиционных искусствах? Теоретически можно, но ведь ни театр, ни кино к такому сочетанию слагаемых не прибегали. Так раскрываются неизвестные возможности телеискусства, и Рассадин внимателен к ним.

Поэзия более свободно, более личностно распоряжается художественными формами. Верно говорится в книге, что тяготение к авторскому началу, нередко идентификация автора и его героя характерны для телевизионного поэтического строя. В чем смысл этого тяготения? Для всего современного искусства характерно проникновение в духовный мир человека, в интерьер его души; у выдающегося психолога Л. С. Выготского есть несколько тяжеловесное, но верное определение этого процесса — интеръеризация искусства. Она очевидна в литературе и театре, в кинематографии и живописи. Думается, что желание авторов и режиссеров телевизионных композиций сфокусировать действие на образе автора, ведущего, рассказчика — выражение

того же процесса. При этом драма духовной жизни автора благодаря монтажному сцеплению стихотворной строки и строки письма, мемуарного свидетельства и официального документа становится предметом телевизионного просвещения. Недаром так редко пьеса, поэма предьявляется публике телережиссером в ее неприкасаемой академической редакции — чаще она лишь основа композиции, вбирающая в себя другие слабые.

Кстати, Ст. Рассадин в целом не одобрил телефильм М. Швейцера, поставленный по «маленьким трагедиям» Пушкина. Он считает неправомерным делать центральным персонажем, сочиняющим трагедии, итальянца-импровизатора из «Египетских ночей», не соглашается с тем, что знаменитая песня Вальсингама из «Пира во время чумы» оказывается в фильме как бы авторским монологом самого Пушкина. И не соглашается поэтому с моей одобрительной оценкой фильма Швейцера в статье «Есть упоение в бою...» («Театр», 1980, № 12). Что ж, споры такого рода полезны, во всяком случае неизбежны. Замечу только вот что. Ст. Рассадин считает прославление чумы безразличным, бесчеловечным. Конечно! Однако бессмертные строки Пушкина прославляют не чуму, но бесстрашие перед чумой, как и перед сражением, вообще перед смертью: бессмертия может быть залог. Только поэтому навеки пушкинскими, а не вальсингамовскими, конечно, стали эти строки, торжественные и могущественные, словно гимн — гимн Человеку, а не эпидемии холеры...

А вообще-то, яркий критический темперамент, вкус к полемике, энергичный и выразительный язык — привлекательные черты Станислава Рассадина как теоретика искусства. Автор судит о ценности того или другого способа телеэкранизации по художественным результатам. Дело не в одних лишь оценках — плюс или минус. Важна логика одобрения или осуждения. Верную оценку может высказать любой зритель, талант критика в аргументации. Она и интересна в книге.

Немало сказано в ней о мастерстве актера. Едва ли еще какая-нибудь профессия из мира искусства привлекает такое внимание и любовь миллионов людей. И все меньше пользуется телевизионный актер гримом, все реже изменяет свой облик. Все так... Зачем парик М. Ульянову, борода Д. Янковскому? Они умеют перевоплощаться без грима и накладок. Может быть, оттого, что все реже применяется на телевидении старинная технология актерского

перевоплощения, считают, что кинофильму и телефильму вообще нужна лишь сама личность актера, что личностное начало в выступлении артиста и артистки — это и есть зерно современного зрелища. Но само актер вовсе не мечтает о том, чтобы его личность предстала перед зрителями! «Только не играйте!» — твердит ему режиссер, всерьез поверивший в отмирание артистического перевоплощения. И критик теперь частенько восхищается личностным началом, а не артистическим искусством. Кино и телевидение, умеющие и неактера сделать — в элементарной ситуации — подобием актера, содействуют распространению мнения, будто современный стиль актерской игры не игра. Да нет же! Это игра, только тонкая, искусная!

Теперь в газете распространенный жанр — интервью с актером. Обратите внимание на то, что они все без исключения ждут, желают, требуют ролей, заставляющих перевоплощаться, — других им не нужно! На что уж натурален и обаятелен прекрасный актер Андрей Мартынов, а мечтает он о лицедействе, о гротеске. Его идеал — Фаина Раневская. Мощный гражданский темперамент пронизывает роли Михаила Ульянова, ставшего одним из ведущих артистов страны, но самовыражение в ролях его не привлекает, его личность, мировоззрение выражаются в сыгранных ролях, через роли совсем не похожих на него самого людей. Актерское искусство не намерено разоружаться.

Природа телевизионного актерского искусства вовсе не в том, чтобы, скажем, Сергей Яковлев выражал в композиции об А. Фете свою личность, и не в том, чтобы загримироваться под Фета. Надо найти фетовское в самом себе — в этом артистизм. Нашел, выразил — задача решена. Заменяй бы Фета собою, своей личностью — был бы холостой выстрел.

Всеми пишущими о природе телевизионности отмечается тяга к настоящему, подлинному. Но доподлинная музейная авторучка Маяковского может не помочь, а помешать стихам, если зрителя убеждают: глядите, мол, вот об этой подлинной вещи писал Маяковский; нет, Владимир Владимирович имел в виду другое — инструмент писательства в широком значении слова. И подлинные здания Растрелли и Росси, и мосты через Неву, и фонари на Фонтанке могут не помочь, а помешать экранному воплощению «Медного всадника». Ведь за бедным Евгением скачет в поэме истукан воображаемый, страшный символ самовластия. Буквализм мешает на телеэк-

ране гениальным стихотворным строкам. Надо режиссеру считаться с подобными парадоксами перевоплощения слова в зрительный образ. Режиссеры молодого искусства иногда повторяют заблуждения древних искусств, давно осознанные художниками.

В работах о природе телевизионности часто отмечается, что слово играет здесь большую роль, чем изображение, в отличие от кино. Мне кажется, что такие выводы — только черновики теории. Помню, как часто приходил Иракий Луарсабович Андроников в редакцию журнала «Искусство кино», когда было решено снять фильм по его знаменитому рассказу «Загадка Н. Ф. И.». При экранизации даже такой давно прошедшей испытание зрелищем, то есть эстрадой, вещи, где зрителю были показаны блистательно исполненные писателем-актером портреты обитателей старой Москвы, возник все же вопрос о поисках нового, другого зрительного ряда. Андроников предпочитал едва намеченные силуэты, графические наброски, искал точную меру условности, отвечающую телезрелищу. С тех пор телевизионная техника стала изощреннее, теперь режиссер без груда варьирует изобразительные приемы. Но в литературных передачах преобладает испытанный набор: портрет, фото, строки письма, пейзаж, кинохроника, опять портрет.

Сегодня кинематографисты, работающие над изобразительным воплощением поэтического сценария, находят вполне оригинальные формы. Режиссер Ю. Хржановский поставил большой, многокастовый мультфильм, в котором главное действующее лицо — страница пушкинской рукописи. Строчки рукописей то бегут спокойно по экрану, то бунтуют, словно морской прибой. Оживают по законам мультипликации силуэты, профили, нарисованные Пушкиным на полях. И возникают образы шуточные, горестные, иронические, трагические. Какая остроумная идея — взглянуть на поэта вот так, сквозь строки его рукописей и рисунки... Может быть и галантийные рисунки Нади Рушевой что-то подскажут телережиссерам?

Каждая поэтическая передача требует изобретения оригинальной формы, но не часты поиски такого рода. Будто уже все, что требуется, найдено. Ст. Рассадина вполне справедливо хвалит А. Адошкина за сценарий и исполнение телевизионных портретов А. Одоевского и В. Кюхельбекера. В самом деле, Адошкин находит тонкие связи поэтических и прозаических фрагментов. Мне представляется удачным и исполнение

монолога А. Фета Сергеем Яковлевым в телевизионном портрете. Поэтический репертуар привлекает новых и новых авторов и исполнителей. Если бы к тому же побольше интересных постановочных идей!

Есть у телевидения драгоценная особенность, оно способно объединять зрителей разных возрастов. Уже одним этим ускоряется процесс эстетического развития младших зрителей, а старшие лучше понимают своих детей и внуков. Мы немало говорим и пишем о том, как важно понимать искусство сложное, образы противоречивые, и это справедливо, но надо уметь радоваться и искусству, возвращающему нас в детство и юность. Смотрели вы «Конька-Горбунка» в исполнении Олега Табакова? Если смотрели — согласитесь со мной...

Мы говорим здесь все время о поэтах, полностью осуществившихся в книге. Театр также обращался и обращается к поэтам, писателям, которых люди узнали и полюбили без его содействия, но растит и своих творцов слова. Неужели телевидение будет всегда довольствоваться тем, что несет ему состоявшаяся литература, и не вырастит своих поэтов и прозаиков, своих поэтических и прозаических драматургов?

Вот сколько вопросов вызывает чтение этой книги. Может быть, главное ее достоинство и заключается в том, что она будоражит мысль, заставляет задуматься о том, что, став привычным, не перестало быть загадочным. В. Б. Шкловский — он, конечно, появляется на страницах «Испытания зрелищем», — готовивший мемуарный телесериал, написал о телевидении: «...это сон, смысл которого мы еще не разгадали».

Книга Ст. Рассадина побудит иного читателя обратиться и к другим нескудным сочинениям о литературе и искусстве. В ней упомянуты «Об искусстве фортепианной игры» Генриха Нейгауза, «Психология искусства» Л. Выготского — это ведь чудокниги, раскрывающие некие тайны художественного творчества. Или настоящий бестселлер — теоретический и документальный роман Майи Туровской о Марии Ивановне Бабановой! Эту книгу читают в метро, кому удалось достать ее. Должен признаться: всегда интересно заглянуть, что читает сосед в самой удивительной читалке — метро. Про шпионов? Псевдоисторический роман? Потерянное время... Но и хороших книг в руках пассажиров немало. Жаль, всего лишь раз увидел я раскрытую книгу стихов... Ничего, будут читать и собрания стихотворений: есть теперь надежный ускоритель всеобщего эстетического развития — телевидение.

Я. ВАРШАВСКИЙ.



IMPEGNO КРИТИКА

Ц. Кин. Алхимия и реальность. Борьба идей в современной итальянской культуре. М. «Советский писатель». 1984. 399 стр.

Читая эту книгу Цецилии Кин, как и предыдущие впрочем, поражаешься глубоко неравнодушной интонацией разговора — почти не чувствуется дистанции между автором и предметом изображения.

Кто бы еще из наших коллег, занимающихся зарубежной культурой, печатно высказался так: «Моравиа... опять написал бог знает что»? Или так: «Марио Помиллио выше этой грызни»? Правда, в последнее время распрощалась привычка упоминать как бы невзначай, что гому или иному автору статьи о зарубежном писателе приходилось встречаться с ним в уютном ресторане лондонского клуба, что на Стрэнде, или в неуютном баре гостиницы «Шератон», что на углу Мэдисон-авеню и Сорок второй улицы. Реальной надобности в таких справках, как правило, нет. Ц. Кин ничего подобного никогда себе не позволяет. Если пишет о знакомстве с героями книги — писателями, журналистами, религиозными деятелями, — то исключительно по делу: такой-то разрешил сослаться на него, такой-то позвонил с просьбой написать статью для сборника С равной мерой личной заинтересованности говорит Ц. Кин о событиях и людях сегодняшнего дня и о событиях и людях дня вчерашнего, а то и вовсе забытой старлны. «Вспомнила я об Энее только потому что это очень увлекательно». Эней—это Эней Сильвий Пикколомини (1405—1464), известный также под именем папы Пия II.

И соответственно, предшественников и современников Ц. Кин судит с равной мерой страсти и нравственного максимализма. В предисловии к книге она пишет, что принадлежит «к поколению, которое интеллектуально и морально сформировалось, читая книги Маркса, Энгельса и Ленина и вдыхая воздух революции. Можно ли говорить о возвышенном отношении к идее революции? Мне кажется, можно, быть может, даже нужно» Говорить можно, даже нужно. Но важнее сохранять такое отношение Цецилия Кин его сохраняет. Открывая книги писательницы, сразу же попадаешь в атмосферу, которая прекрасно выразилась в строках ее современников — романтических поэтов 20-х годов. «Нас водила молодость в сабельный поход...» — культурологическое, литературоведческое,

литературно-критическое творчество Цецилии Кин своим напором и моральной неуклончивостью и впрямь родственно боям и походам. И, наверное, не случайно в написанном слове удивительно точно сохраняется ритм, интонация, весь стиль устной речи — та же нефорсированная твердость голоса, та же естественность сцеплений различных тем, та же обезоруживающая прямота суждений.

Все же стилю должно найти оправдание не только в характере пишущего, но и в теме и содержании книги.

Тема обычная для автора — Италия, ее культура, «судьбы людей и идей», выросших на итальянской почве. Только теперь исследование отличается еще большей спецификой. Ц. Кин пишет о католической культуре, обращаясь и собственно к литературе, и к политике — светской и религиозной, — и к философии, и к быту. В ее книге встречаются, вступая в союз или непримиримую борьбу, прозаики, публицисты, папы, идеологи католицизма, масоны, «черные» и «красные» террористы и т. д.

Но если бы содержанием исчерпывалось темой и героями книги, я бы никогда не осмелился на этот отклик. Пусть судят специалисты. Однако содержание темой не исчерпывается. Не только (даже не столько) потому не исчерпывается, что большая и острая проблема — католицизм и литература — включает в себя наряду с творчеством итальянцев И. Силоне и П. П. Пазолини творчество французов Ж. Бернано-са и Ф. Мориака, англичан Г. Грина и И. Во, американца (натурализовавшегося в Англии) Т. С. Элиота, немца Г. Бёлля, но потому главным образом, что явления, которые Ц. Кин исследует, опираясь на опыт Италии, в иной форме и с иной (иногда большей, иногда меньшей) мерой драматизма возникают в других частях света, воздействуя на пути культуры и судьбы писателей.

В книге «Алхимия и реальность» есть ключевое слово-понятие *impegno* — добровольно принятые на себя деятелями культуры гражданские и моральные обязательства. Понятно, что необходимость нравственного выбора возникла не сегодня и не вчера. Но понятно также, что именно в XX веке с его мощными социальными ка-

таклизмами, с его трагическими испытаниями значение такого выбора повысилось неизмеримо. «С кем вы, мастера культуры?» — это вопрос и нашего времени; и в 80-е годы, когда силы реакции столь безрассудно подвергают угрозе само продолжение жизни на земле, он требует той же определенности в ответе, что и пятьдесят лет назад, когда фашизм начинал свой поход на культуру и гуманизм. Недаром смыкаются эти времена, на наших глазах возрождается, набирает новые силы прекрасная традиция 30-х годов — международные конгрессы, на которых писатели самых разных убеждений поднимают голос в защиту мира, разума, будущего. И эти конгрессы не есть нечто внешнее по отношению к творчеству. Они факт, особенность художественной жизни эпохи. Ибо никогда прежде общественная позиция и гражданское поведение писателя не отражались столь ясно в его книгах. И никогда прежде литература не была связана столь тесно с идеологическими и философскими доктринами.

Ц. Кин остро ощущает эту закономерность, настойчиво ищет — и находит — подтверждения ей; отсюда эта неизменно личная интонация — она оправдана самой реальностью жизни.

Далеко не только итальянской жизни, вторяю. Ц. Кин пишет, допустим, о книгах Гуидо Пьовене, связывая их с биографией автора, с его самоопределением относительно событий и явлений национальной действительности. Ничего не упрощая, она в то же время заявляет со всей ясностью: «К сожалению, в годы фашизма серьезный писатель Гуидо Пьовене сделал выбор, не делающий ему чести». Я верю автору. Верю и потому, в частности, что Ц. Кин не просто декларирует, а аналитически обнаруживает внутренние сцепления книг писателя и его поступков, его *impugno*. В этом смысле рассуждения автора порождают некоторые ассоциации.

Можно, важно, интересно писать о том, как построен роман «По ком звонит колокол». Но мы окажемся неспособными разобраться в поэтике этой замечательной книги, если Хемингуэй-художника будем рассматривать в отрыве от его общественных идей, от бьющей в глаза противоречивости этих идей. С одной стороны, презрение к «романтичным непонятым мэтрам», которые свои позиции «утверждают пишущей машинкой и укрепляют вечным пером», презрение тем более оправданное, что сам Хемингуэй, как мы знаем, всегда был на переднем крае — и в Испании и в

Нормандии. С другой — «жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве... Избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред его творчеству». Если мы не станем по-школярски объявлять хемингуэевский индивидуализм временным, преходящим заблуждением, если оценим столь явственный идейный дуализм во всей его серьезности, то, может быть, поймем, почему писателю так и не удалось органически объединить лирику и эпос. А значит, не удалось написать в полном объеме и содержания картину гражданской войны в Испании. Хотя каждому понятно: дай бог литературе побольше таких «неудач».

Обдумывая важную для нынешнего столетия проблему связи литературы и мифа, как минуешь классический роман Т. Манна «Иосиф и его братья»? Но опять-таки многого не поймешь в этом романе, если не придашь должного значения замыслу писателя — выбить этой книгой миф из рук фашизма.

Есть, к сожалению, в литературе и примеры противоположного свойства. Скажем, поэмы из цикла «Cantos» — книги, в которой Паунд хотел сравниться с Гомером и Данте. В ней часто видят образец модернистского насилия над формой. Но как убедительно показал в своей работе «Модернизм в литературе США» А. Зверев, поражение художника стало результатом нравственного падения человека, который заключил позорный союз с итальянским фашизмом.

Такова цена морального выбора — он определяет творческий и гражданский статус писателя.

В книге Ц. Кин немалое внимание уделяется терроризму, «черному» и «красному». Это естественно — речь идет о самой, быть может, болезненной проблеме современной Италии. Естественно и то, что в согласии с замыслом и материалом книги (но прежде всего в согласии с самой не книжной действительностью) автор рассматривает эту проблему в связи с современным католицизмом, пытаясь понять, как религиозная идея могла стать оправданием идеи и практики политического убийства. Тут, конечно, сказывается специфика Италии — католической страны. Но не упустим опять-таки за особенным общим. Вспомним хотя бы о западногерманской группе Баадер — Майнхоф или американской банде Мэнсона — тут близость к «красным бригадам» непосредственная, вплоть до религиозного (пусть не католического) момента. Но важнее другое.

Разумеется, физическое уничтожение человека, будь он известным политиком или скромным судейским чиновником, — преступление и трагедия, не имеющие аналогий. И все-таки терроризм в отношении людей и терроризм в отношении культуры, культурной традиции (в Европе и Америке 60—70-х годов) имеют одну природу, одни и те же корни. Если можно теоретически обосновывать необходимость бунта «против самого существования искусства» (Г. Маркузе), если под пером «новых романистов» человек может программно исчезать, уравниваясь с неодушевленными предметами, то насилие становится морально оправданным и даже логически неизбежным. Недаром Бретон в свое время говорил, что простейший акт сюрреализма — выйти на улицу и начать палить в толпу из пистолета. Конечно, это метафора, но метафора, особенно если принять во внимание нынешний разгул терроризма на Западе, зловещая. Из проповеди гуманизма такая «культура» превращается в проповедь разбоя. Горько и тяжело думать, что за эту подмену нарядом с маленькими геростратами разных национальностей должны нести свою долю ответственности такие люди, как Сартр и Адорно. В книге об этом Ц. Кин не пишет или почти не пишет, напомним, однако, что все здесь сказанное прямо вытекает из рассуждений автора.

Неоавангардистский бум кончился, искусство с достоинством выдержало неистовую атаку слева, выдерживает и продолжающиеся атаки справа, со стороны массовой культуры (которая, как показывает Ц. Кин, может принимать и религиозную окраску). Выдержала, выдерживает, опираясь на накопленные вековые ценности, но главным образом на усилия тех современных художников, которые идеологии страха, отчаяния, насилия противопоставляют веру в человеческую способность выстоять и победить.

В книге Ц. Кин есть глава о католическом романисте Луиджи Сантуچی — тонкий эстетический разбор писательского творчества. Можно только пожалеть, что автор так редко выступает с подобными разборами, а порой даже позволяет себе обронить такую фразу: «Я не вижу принципиальной разницы между всеми этими романами, если не иметь в виду рост мастерства». Как будто мастерство — нечто пятистепенное.

Впрочем, оставим это и вернемся к Сантуچی. Легко почувствовать его внутреннюю близость Ц. Кин. В чем? А в том, наверное, прежде всего, с какой необычайной

настойчивостью проводит он мысль, что смерти нет, что «черную легенду смерти он хочет заменить поэтической белой легендой». В книге приводятся слова писателя, которые уместно процитировать и здесь: «Для меня настоящая история мира и цивилизации начнется, когда мы сумеем преодолеть черную легенду, говорящую, будто мертвые мертвы».

Пример творчества Сантуچی имеет, как любит говорить Ц. Кин, эмблематический характер. Он лишний раз свидетельствует о том, что западная литература (во всем многообразии этого понятия), ее здоровые силы оборачиваются в сторону положительного идеала. Это трудный процесс. Нередко получается, что высокий замысел терпит творческое поражение — от назидательной публицистичности (например, романы фон дер Грюна) или сентиментальной риторики (например, «Теофил Норт» Уайлдера, последний роман Грина «Монсеньор Кихот»). Но и процесс необычайно плодотворный. Послевоенная литература Западной Европы и США, даже если говорить о литературе реалистической, изображала в разных формах одну и ту же, в общем, ситуацию: уменьшение человека под гнетом буржуазной потребительской цивилизации. Понятно, сколь важны в этих условиях попытки писателей найти такие силы и таких героев, которые могли бы этому гнету противостоять и защищать достоинство личности. Иные из подобных попыток проросли значительными удачами — скажем, «Осенний свет» Д. Гарднера, маленькие повести Фриша или роман М. Делибеса «Кому отдаст голос сеньор Кай». Насколько могу судить, удачны и вдохновенные теми же, при всей их специфике, идеями книги Сантуچی.

Одну из глав книги Ц. Кин начинает с воспоминания о журнальной полемике с известным итальянским писателем Ф. Камонем, который «считал неизбежной гибель Европы», а я не могла хотя бы отчасти согласиться с этой апокалиптической концепцией. Мы, убежденные в правоте принципов научного социализма, не имеем нравственного права быть фаталистами, потому что верим в поступательный ход мировой истории». Это точно сказано, но надо добавить: такая вера требует осуществления в действии, в основе которого всегда остается *impegno*. Для критика, для исследователя культуры это понятие сохраняет тот же высокий и серьезный смысл, что и для писателя и для религиозного мыслителя.

Литературный опыт Цецилии Кин пре-

красно демонстрирует это, ее книга отличается безусловно нравственным отношением к предмету, без которого любое умствен-

ное занятие превращается в *tour de force*—упражнение на трудность.

Н. АНАСТАСЬЕВ.



Политика и наука

НА ПУТИ К СБЛИЖЕНИЮ

В. И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом. Документы и материалы. М. Политиздат. 1985. 285 стр.

Буржуазные идеологи по сей день не прочь прибегнуть к старому и испытанному приему — подмене классовых отношений национальными. Профессор Гарвардского университета Ганс Кон даже объявил XX век веком национализма. Между тем опыт истории учит, что решение национального вопроса немыслимо без коренных социальных перемен. «При всяком действительно серьезном и глубоком политическом вопросе, — указывал В. И. Ленин, — группировка идет по классам, а не по нациям».

Поистине всемирно-историческое значение приобрел опыт нашей партии в решении национального вопроса в такой огромной многонациональной стране, как Россия. В годы разгрома столыпинской реакции после поражения первой русской революции царское самодержавие и российская буржуазия по-своему прилагали все силы к сохранению и упрочению империи. Именно к этому сводился для них национальный вопрос. Известный в ту пору реакционный публицист-теоретик национализма М. О. Меньшиков в статье «Чье государство Россия?» отвечал на вопрос, поставленный в заголовке, весьма недвусмысленно: русское государство — это государство русских. Что же касается «инородцев», то даже предположить, что они такие же граждане, как и русские, казалось Меньшикову оскорбительным: «Конечно, не такие и не должны быть такими».

А вот ответ премьер-министра царского правительства Столыпина социал-демократам в Думе: «Вам нужны великие потрясения, нам же нужна великая Россия».

Всей этой оголтелой шовинистической кампании, политике насильственного русификаторства и разъединения народов надо было противопоставить ясную и четкую пролетарскую программу решения национального вопроса. Она была сформулирована в классических трудах В. И. Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» и «О праве наций на самоопределение».

Подвергнув критике позиции сторонников буржуазно-националистической програм-

мы «культурно-национальной автономии», В. И. Ленин выдвинул в статье «Критические заметки по национальному вопросу» важное положение о наличии двух культур: «В каждой национальной культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую».

В условиях капитализма, учил В. И. Ленин, главное в национальном вопросе состоит в том, чтобы в борьбе с буржуазно-помещичьим национализмом объединять рабочих всех наций, сближать их между собой, добиваться единства их действий в классовой борьбе.

В. И. Ленин не уставал повторять марксистский гезис: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Интересы свободы русской нации требовали борьбы с угнетением нерусских национальностей. Вместе с тем В. И. Ленин прозорливо указывал, что нельзя смешивать национализм наций угнетающих и национализм наций угнетенных. В отличие от буржуазного национализма угнетающих наций «в каждом буржуазном национализме угнетенной нации есть общедемократическое содержание *против* угнетения, и это-то содержание мы безусловно поддерживаем».

Когда разразилась первая мировая война, особенно важно было занять четкую интернационалистскую позицию. И она была ясно выражена в ленинском манифесте о войне, а затем в статье Владимира Ильича «О национальной гордости великороссов».

В 1914 году В. И. Ленин, будучи в Берне, часто обменивался письмами с В. А. Карпинским, который находился в это время в Женеве. Речь в письмах шла о материалах для газеты «Социал-демократ». Именно тогда Владимир Ильич послал в газету свою знаменитую статью «О национальной гордости великороссов». Содержание ее хорошо известно. Она и поныне вооружает теоретически и вдохновляет

идейно революционеров всего мира. Интересно письмо В. А. Карпинского, в котором он делится впечатлениями от этой статьи.

«Статья, по существу, нам понравилась, и мы отлично понимаем, куда она бьет,— писал В. А. Карпинский В. И. Ленину. Но тут же оговаривался: — ...нам,— не скром,— было как-то неприятно читать: «мы великорусские с.-д.», «мы полны чувства национальной гордости» и т. п...

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости?» — спрашиваете Вы. И отвечаете: «Конечно, нет!» (т. е. не чуждо).

Конечно, чуждо! — отвечаю я, великорусский, сознательный, интеллигентный пролетарий. Мне не чуждо только одно чувство гордости: пролетарской гордости (равно как и пролетарского стыда). Я в одинаковой степени горжусь двумя сербскими с.-д., смело выступившими против войны, как и пятью великорусскими с.-д. Мне не приходило даже в голову спрашивать, кто эти с.-д. по национальности: великороссы, малороссы, белоруссы и т. д. Мне достаточно, что они пролетарии, члены моей партии, моего класса.

В. И. Ленин ответил В. А. Карпинскому:

«С интересом прочел замечания о «национальной гордости». но.. согласиться не мог. Надо с **разных сторон** «освещать» шовинизм».

Почему же не мог Владимир Ильич согласиться с замечаниями В. А. Карпинского, признавая их интересными? Судя по письму, В. А. Карпинский понял и принял первую часть, первую половину концепции, предложенной Владимиром Ильичем в статье «О национальной гордости великороссов», но не понял, а потому и не принял вторую, самую главную: шовинизм многолик, его надо освещать, говоря ленинскими словами, с разных сторон.

В начале первой мировой войны социал-демократические партии II Интернационала почти поголовно были охвачены шовинистическим угаром. Лишь единицы вроде К. Либкнехта, Ю. Дебса, не говоря, разумеется, о В. И. Ленине и большевиках-ленинцах, смогли подняться выше национальных чувств и стать на подлинно классовые, интернациональные позиции. При столь резком размежевании социал-шовинисты спекулятивно присвоили себе монопольное право говорить о любви к своей родине о национальной гордости. Против этого-то и выступил В. И. Ленин в статье «О национальной гордости великороссов». Владимир Ильич понимал под этой гордостью

чувство разумное, сознательное, а не стихийное. И вполне был согласен с В. А. Карпинским, призывавшим «не упиваться чувством национальной гордости».

Казалось бы, переписка В. И. Ленина и В. А. Карпинского имеет лишь историческое значение. Огнюдь нет.

Когда в 1831 году во Франции на подмостках театра появился Н. Шовен, ветеран наполеоновских войн, воспитанный в духе преклонения перед императором и воспевающий «величие» Франции, вряд ли кто предполагал, что он, подобно Герострату, оставит о себе долгую память и даже «подарит» миру новый термин. Шовинизм как крайняя форма национализма живуч и опасен. И прежде всего в международном масштабе.

Н. А. Добролюбов писал более ста лет назад, что «все утопические мечтания о высшем предназначении одной нации к тому-то, другой — к тому-то, все национальные перекоры о взаимных преимуществах — исчезают в мысли человека, правильно и вполне развившегося». Правильно и вполне развиваться человек может, будучи вооруженным самой передовой идеологией — марксизмом-ленинизмом.

Сборник наглядно показывает, как последовательно и настойчиво выполняет наша Коммунистическая партия ленинские заветы по национальному вопросу. Извлечения из партийных резолюций и постановлений убеждают читателя в том, что в наши дни, на этапе совершенствования развитого социализма, встают новые величественные задачи по укреплению межнациональных отношений в СССР.

«Братский союз наций и народностей СССР, их совместный труд, прогрессирующее сближение, взаимообогащение национальных культур — важнейшие факторы укрепления сплоченности советского народа, успешного решения задач воспитания в духе социалистического интернационализма», — говорится в постановлении июньского (1983) Пленума ЦК КПСС.

На апрельском (1984) Пленуме ЦК КПСС товарищ К. У. Черненко подчеркнул, что в такой стране, как наша, естественно, не могут быть сняты с повестки дня задачи совершенствования межнациональных отношений. Выступая на заседании Комиссии ЦК КПСС по подготовке новой редакции Программы КПСС, он указал, что в этой редакции «следует раскрыть характер национального вопроса в условиях зрелого социализма, осветит будущее наций, которое вырастает из объективного процесса

интернационализации общественной жизни, из их постепенного, но неуклонного сближения».

Следуя ленинскому учению по национальному вопросу, КПСС и коммунистические партии братских стран поддерживают борьбу народов Азии, Африки, Латинской Америки за свое национальное освобождение, против империалистической агрессии и экспансии.

Тематический сборник документов и материалов «В. И. Ленин, КПСС о борьбе с национализмом» служит хорошим подспорьем в идеологической борьбе на международной арене. Непреходяще актуальны для нас вещи ленинские слова: «Буржуазный

национализм и пролетарский интернационализм — вот два непримиримо-враждебные лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики (более того: два мировоззрения) в национальном вопросе».

Нет на свете высших и низших рас и народов. Все народы равны, все имеют право на жизнь. К этому нельзя не стремиться, за это надо бороться. Идеологии буржуазного национализма, расизма противостоит идеология пролетарского, социалистического интернационализма. За ней — будущее.

Ю. ШАРАПОВ,
доктор исторических наук.



НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

Д. Ортенберг. Июнь—декабрь сорок первого. Рассказ-хроника. М. «Советский писатель». 1984. 351 стр.

Недавно я спросил своего старого друга генерала Виталия Александровича Никольского: сколько лет еще будут писать об этой войне?

— А сколько минуло с войны восемьсот двенадцатого? Сто семьдесят три года! А о ней все пишут и пишут. О Великой Отечественной тоже будут писать еще долго и много. Особенно дороги, конечно, свидетельства ее участников, очевидцев, тех, кто сообщает суровую военную правду.

Генерал-майор Давид Иосифович Ортенберг в годы Великой Отечественной войны был ответственным редактором газеты «Красная звезда». Его новая книга пополнила библиотеку документально-художественной военной литературы.

Бывалый, многоопытный журналист, ранее известный читателю по книгам «Время не властно» и «Это останется навсегда», Ортенберг так аттестует свою новую, третью книгу о войне: «Это не военно-историческое исследование и не мемуары в прямом смысле этого слова. Это документальный рассказ-хроника, своеобразный дневник редактора, где роль дневниковых записей играют военные номера газеты „Красная звезда“».

И только? Думаю, что авторскую попытку определить жанровые особенности новой работы следует оспорить. Дело не в том, что в данном случае новое произведение чисто внешне выглядит рассказом-хроникой (автор открывает номера «Красной звезды» и вспоминает, как делался каждый из них), а в том, что перед нами

предстает широкая панорама начала войны, день за днем тех труднейших первых лета и осени, когда самая сильная в империалистическом мире армия с бандитской внезапностью навалилась своей огромной мощью на нашу западную границу.

Первый военный номер газеты датируется 24 июня 1941 года. Газете нужны сообщения о первых боях, но их, увы, нет — спецкоры, умчавшиеся на фронты, еще не доехали до мест сражений.

На Западный фронт отправился старший политрук Михаил Зотов (ныне известный военный прозаик), но его поезд дошел до подмосковной станции Голицыно и встал, пропуская вперед мчащиеся военные эшелоны. Оставив в вагоне шинель и все свои пожитки, спецкор едва добрался до станции Колодня, что недалеко от Смоленска, и отсюда на попутных доехал до города, где попал под бомбежку.

Храбрый спецкор Сергей Сапиго одним из первых оказался на линии фронта. У него уже есть материал для номера. Он диктует по телефону в Москву, но стенографистка Женя Ельшанская кричит:

— Повторите, ничего не слышу!

— Я сам ничего не слышу! — отвечает Сапиго. — Рядом рвутся снаряды. Постарайтесь записать хоть что-нибудь...

«Так вот добывалась информация с фронтов, без которой в военное время никакая газета не газета. А уж «Красная звезда» — тем более», — справедливо отмечает автор. Высоко ценя вдохновенное слово писателя, он отлично понимал, что без него тоже

нет газеты. И в этом первом военном номере напечатана огненная статья Всеволода Вишневского «Уроки истории», которая открывает блестящую публицистику в «Красной звезде» Ильи Эренбурга, Алексея Толстого, Константина Симонова, Николая Тихонова, сделавших газету пламенной трибуной.

Редактор считал, что газете в дни всенародных испытаний непременно нужна поэзия. И в этом же номере «Красной звезды» были напечатаны стихи В. И. Лебедева-Кумача «Священная война», которым судьба уготовила долгую и яркую жизнь:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Так сложился первый военный номер «Красной звезды», главной темой которого стал народ на войне. Можно сказать, что это тема и всей сурово-правдивой книги, которая несомненно займет видное место в нашей военной документально-художественной литературе.

Обозревая события каждого дня войны, автор словно разглядывает их в сильный оптический прибор, который дает возможность увидеть действия батальонов, полков, дивизий и вместе с тем отдельных героев — пехотинцев, танкистов, летчиков. Жанр дневника редактора оказывается не только документально надежным, но и весьма объемистым.

«Красная звезда» в годы войны была одной из любимых в народе газет. Она всегда была с бойцами рядом, поддерживала их в трудное время, окрыляла в пору наступления. Достигалось это энергией, горением великолепного творческого коллектива редакции, в котором сплелись первоклассные силы писателей и военных журналистов. Газета стала настоящей летописью героизма советского народа, бесстрашно сражавшегося во имя победы. Показывая войну как величайшее испытание в жизни народа, книга правдиво повествует о том героическом и трагическом, что происходило на войне каждый день. Ни одно серьезное историческое исследование Великой Отечественной войны теперь не может обойтись без зоркого, сурового, надежного провод-

ника, каким была «Красная звезда» военных лет.

Ей принадлежит много открытий. Об одном из них автор повествует особенно подробно. Речь идет о подвиге 28 гвардейцев-панфиловцев у подмосковного разъезда Дубосеково. Об этом уже написано много, существуют даже отдельные книги, претендующие на полную объективность. Но, увы, до выхода новой книги Ортенберга оставалась неизвестной подлинная история освещения этого подвига. Его первооткрывателями так или иначе называли себя разные журналисты, в действительности же его фактическим и литературным первооткрывателем был отважный и скромный спецкор «Красной звезды» Василий Коротеев, который, узнав о подвиге, 27 ноября 1941 года напечатал в «Красной звезде» статью «Гвардейцы-панфиловцы в боях за Москву». Эту статью автор книги с полным основанием называет историческим документом.

Газета подробно рассказала о том, как 28 гвардейцев, отражая атаку 54 фашистских танков, 18 из них уничтожили, на четыре часа задержали наступление врага.

Михаил Иванович Калинин позвонил редактору газеты. «Жаль людей — сердце болит, — сказал всесоюзный староста. — Правда войны тяжела, но без правды еще тяжелее... Хорошо написали о героях. Надо бы разузнать их имена. Постарайтесь. Нельзя, чтобы герои оставались безымянными».

Имена 28 панфиловцев были установлены. Президиум Верховного Совета СССР наградил всех павших в бою высоким званием Героя Советского Союза.

Жанр, избранный автором, позволяет сейчас, более сорока лет спустя, не просто увидеть первые тяжкие месяцы войны вплоть до разгрома фашистской армии под Москвой в декабре 1941 года, но как бы ощутить трепетные нервы первых военных неудач, горе неоплаченных потерь и, наконец, несокрушимую стойкость советского народа.

Сейчас Д. И. Ортенберг пишет новую книгу — «Год 1942-й». Будем верить, что она окажется на той же достойной высоте, что и только что прочитанная нами.

Наум МАР.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА. Книга об Отце. Роман-воспоминание. М. «Советский писатель». 1984. 224 стр.

Это книга о создателях знаменитого танка «Т-34», признанного специалистами лучшим танком второй мировой войны. Об одном из главных его конструкторов, прообразом которого стал отец автора Н. А. Кучеренко (в романе Кочерно). Книга Ларисы Васильевой документальна в основе, автобиографична, и все же это произведение не фактологическое, а художественное, роман. Может быть, даже сказание, легенда, где автор — действующее лицо, свидетель, но главное, собиратель множества свидетельств множества действующих лиц, организующий их в единое повествование. И вот глава «Рассказ Дарьи Петровны, чертежницы» сменяется «Рассказом директора Марина», дополняется словом сборщика Брыкина и записями механика-водителя Петрова, письмами, воспоминаниями, догадками. Волны памяти...

Художественный прием — полифония. многоголосица — прост по замыслу, но не прост в исполнении, требует выверенного стиля, точных психологических и речевых характеристик. Зато и эффект в случае удачи впечатляющий. Так, книга Ларисы Васильевой, не теряя всегда привлекающего читателя исповедального мотива, приобретает тон документальной достоверности и даже эпичности, которого, наверное, здесь трудно было бы добиться другим способом. А ведь автор ставила перед собой именно эту задачу — «отразить не черты той или иной личности, а черты Времени». Если допустить, пишет Васильева, что мир построен по принципу четырехтактного двигателя, то в нашем веке военному поколению достался рабочий ход. Всаживание и сжатие было до, выпуск — теперь.

Жестко сказано. Но не оригинального сравнения ради. «Книга об Отце» — это попытка понять, откуда отцы черпали свою почти былинную мощь и почему мы, их дети и внуки, бываем слабее, хотя занятые спортсмены, меньше можем, хотя больше знаем, часто чем-то недовольны, хотя неудурно устроены.

Была в 40-е годы популярная песенка: «Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом.» Милая шутка. Но что же все-таки в нашей жизни изначально? Дело или чувство, общее или частное, мы или я? Для героев

Ларисы Васильевой первым делом — дело, мы, самолеты, танк. Однако каким-то странным образом это самоотречение приносит им не только счастье творческое, но и счастье личное, что, как известно, не одно и то же и отнюдь не обязательно совпадает.

Правда, огонь увлечения опасен, порой сжигает. «Машина вас уничтожит, если весь не будете принадлежать ей», — это говорит талантливый конструктор, сильный человек такому же талантливому — молодому Кочерно. Кочерно тем не менее берется за работу, а его старший и более опытный коллега устраняется, впоследствии и вовсе меняет профессию, уходит в лесники и всю жизнь живет только природой, семьей, детьми. Живет долго, гораздо дольше, чем его горячие преемники. Счастливы ли? Да. И нет. Потому что дело, которое он бросил, исподволь мучает его мозг, тревожит сердце, и в прощальном письме женщине из другой, «первой» своей жизни слово «Танк» этот человек пишет с большой буквы. Как имя любимой.

Лирическая героиня «Книги об Отце» такое отречение осуждать не берется. Но симпатии ее определены. Они на стороне Векшина, Холодова, Кочерно — главных героев романа, творцов танка-победителя. Симпатии наши, читательские, также конкретны и адресованы тем, кто осуществляет «рабочий ход». И в книгах и в жизни. В жизни, как и в книге, «машину, которой не было равных», создавали многие — чертежницы, директора, сборщики, механики... Но прежде всего три ее конструктора — Михаил Ильич Кошкин, Александр Александрович Морозов и Николай Алексеевич Кучеренко. Вспомним о них, раскрывая роман-воспоминание Ларисы Васильевой.

А. Еремин.



П. А. ЖИЛИН. Михаил Илларионович Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность. М. Воениздат. 1983. 366 стр.

Великому русскому полководцу М. И. Кутузову посвящено немало художественной и исторической литературы. В своей новой книге член-корреспондент Академии наук СССР генерал-лейтенант П. А. Жилин на основе огромного исторического материала

показывает, как сформировался полководческий талант Кутузова, с позиций марксизма-ленинизма дает оценку его выдающейся роли в истории Российского государства.

Дореволюционная историография намеренно искажала и принижала роль Кутузова в развитии военного искусства. И ныне буржуазные историки стремятся уйти от объективной оценки деятельности великого полководца.

В книге Жилина Кутузов показан как непревзойденный стратег, умеющий реально оценить военно-политическую обстановку и далеко предвидеть развитие военных событий. Анализируя малоизвестные высказывания, инструкции, рапорты, письма полководца, автор приходит к справедливому выводу, что Кутузов раньше Клаузевица и других загадочных военных деятелей выдвинул и теоретически обосновал новые способы ведения войны в условиях массовых армий.

Противоречивые оценки вызывало до сих пор сражение под Бородином. Некоторые буржуазные историки пытались представить его результаты как безусловную победу Наполеона. Жилин показывает три результата Бородинского сражения. Во-первых, наполеоновской армии не удалось сломить сопротивление русских, разгромить их. Во-вторых, русская армия вывела из строя почти половину войск противника. В-третьих, на Бородинском поле французская армия понесла невосполнимый моральный ущерб, в то время как русские войска обрели уверенность в победе.

А знаменитое решение оставить Москву? Порой высказывают сомнения в его правильности, ссылаясь на то, что кое-кто из сподвижников Кутузова был склонен на другой же день возобновить сражение с неприятелем. Автор подчеркивает, что единственно правильное решение Кутузова свидетельствовало не только о мудрости полководца, но и о его смелости и самостоятельности перед лицом царского правительства, которое не замедлило напомнить главнокомандующему о его ответственности за потерю Москвы.

В Тарутино Кутузов готовил победу над Наполеоном. Под его личным руководством проходила реорганизация войск, он проявлял заботу о повышении боевой готовности русской армии, снабжении ее вооружением, боеприпасами, решал вопросы тыла. Войну с Наполеоном полководец стремился превратить во всенародную, отлично понимая роль партизанского движения.

Кутузов разработал план боевых действий, который предполагал окружение и полный разгром врага во время его отступления к Смоленску. И хотя в Петербурге был разработан другой план, по которому главная роль отводилась армиям, расположенным вдалеке от Москвы, решающие события развернулись именно так, как предполагал Кутузов. Гибель наполеоновской армии предreshило сражение под Малоярославцем. Здесь, у стен древнего русского города, была вырвана у противника стратегическая инициатива. Отсюда началось изгнание захватчиков из России. В последующих боях Наполеон был не в состоянии парировать многочисленные удары,

которые наносила русская армия по его отступающим войскам.

Многие зарубежные историки пытались объяснить катастрофу наполеоновской армии непредвиденными обстоятельствами — суровым русским климатом, голодом, обширностью пространства и т. п. В литературе бытовали нарочитые упрощения: мол, победили генералы Мороз и Зима. Любопытно, что те же избитые аргументы идут в ход в рассуждениях о событиях куда более поздних — разгроме немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году. В своей книге Жилин убедительно разоблачает попытки фальсифицировать историю войны 1812 года, принизить роль великого русского полководца.

Кутузов выдвинул принципиально новую военную доктрину. Он понимал, что в современных ему условиях исход войны уже нельзя связывать с одним сражением. Эта идея, нашедшая воплощение в конкретных действиях полководца, восторжествовала над наполеоновской стратегией генерального сражения.

Книга Жилина представляет собой важный вклад в исследование жизни и деятельности Кутузова, делает доступным непреходяще актуальное теоретическое наследие великого полководца.

А. Дегтярев.



ВЛАДИМИР КЛИПЕЛЬ. Солдаты Отечества. «Дальний Восток», 1984, №№ 8—9.

Повесть рассказывает о событиях на Калининском фронте в конце ноября — первых числах декабря 1941 года. Это были особо тяжелые дни Отечественной войны. Враг стоял у Москвы, пытался сломать нашу оборону. Но советские солдаты не только выстояли в тех труднейших оборонительных боях, но и в точно рассчитанный командованием момент успешно перешли в контрнаступление.

Сибирская дивизия, в которой служат герои Клипеля, ведет тяжелые бои под Калининском. Она должна оседлать занятые врагом железную и автомобильную магистрали, по которым фашисты вначале бросали под Москву резервы, а потом, когда началось контрнаступление наших войск, стали организовывать отход. Эти магистральные дороги для врага — вопрос жизни и смерти, и он ожесточенно защищает их. Редуют под его огнем наступающие полки дивизии, каждый метр на правом берегу заснеженной, закованной льдами Волги уже обильно полит кровью сибиряков... Ситуация такова, что людские резервы, танки, боеприпасы к пушкам и минометам — под Москвой. там они нужнее, а тут этого не хватает, и все надежды на военную смекалку командиров и отвагу солдат.

Война в повести нарисована без прикрас — во всей ее суровости и беспощадности. Вот, например, такой эпизод. Начальник политотдела дивизии прибывает в полк и решает ночью, когда бой стих, побывать в передовых цепях, опять залегших под самыми домами так и не взятой деревни.

«Разведчик посторонился, уступая дорогу Шмелеву, указал рукой:

— Вот видите? Лежат...

Шмелев понял, что они достигли цели, и дальше ему надо пойти одному. В первой лунке, скорчившись, лежал боец, который на вопрос никак не отреагировал. Под рукой отозвалось мертвое, неподатливое, уже скованное морозом тело; направился к другому, надеясь, что тот, заслышав шорох, поднимет голову и как-то отзовется, но и второй оказался трупом. Третий... Настильный огонь вражеских пулеметов выводил из строя бойцов, которым приходилось укрываться за ненадежными снежными бортиками... Четвертый был жив».

Читая, с волнением следишь за драматическими событиями у деревень Губино, Прибыtkово, Горохово... Волнует правда. Клипель, сам участник войны, хорошо знает, как это было. Не торопясь и не скупясь на детали, он рисует и штаб армии, и землянку комбата, и солдатский окоп; без громких слов и лишнего пафоса рассказывает о напряженной, сложной, самоотверженной работе, которую делают во время боя люди на всех этапах воинской службы, работе, которая в некоторые моменты кажется выше всяких человеческих сил; находит точные слова и краски и для того, чтобы рассказать о душевной красоте своих героев — их солдатской прямоте, честности, любви к родине и святой ненависти к врагу, посмевшему посягнуть на честь и независимость нашей отчизны и уже так далеко продвинувшемуся на восток...

В повести нет главного героя. На первом плане видим то сержанта Крутова, добросовестно, но несколько необычно выполняющего обязанности писаря штаба полка; то подробнее, чем о других, автор, рассказывает об умном, удачливом командире полка Сидорчуке или суровом, но справедливом командире дивизии Горелове. Действие повести часто переносится на передовую линию огня — туда, где, утопая в снегу, с переменным успехом наступают наши атакующие цепи; и тогда чаще, чем с остальными, мы встречаемся с лихим комбатом Зырянко, стойким пулеметчиком Лихачевым и другими действующими здесь лицами. Ни одному из героев по объему и глубине изображения не отдается в повести заметного преимущества. Напротив, иногда кажется, что автор, выстраивая сюжет, сознательно уравнивает их, как бы подчеркивая тем самым их одинаковое для него, автора, значение. С одной стороны, это может быть, и лишает повесть некоторой глубины в изображении человека на войне, с другой — позволяет нарисовать коллективный портрет дивизии, героически сражающейся и в конце концов выигрывающей небольшое, но необходимое для больших побед сражение.

В дивизии несколько тысяч людей. У каждого свое звание, своя должность, свои обязанности в бою и своя мера ответственности за результаты боя. Но все они у Клипеля похожи одним: герои повести — настоящие солдаты отечества.

В. Казаков.

★

АЛЛА АХУНДОВА. Выражение лица. Пять повестей. М. «Советский писатель». 1984. 334 стр.

Повести, вошедшие в эту книгу, очень разные. Две из них — «Судья» и «Выражение лица» — вернее было бы назвать рассказами, они небольшого размера и не столь, как повести, сюжетно разветвлены. Но дело, конечно, не в жанровом определении и даже не в резком несхождении описанных здесь людских судеб и характеров (в самом деле, что, например, общего между бедовым азербайджанским мальчишкой Вагифом — дитяем улицы и Большой Аришей, доживающей свой век в московской коммуналке?). Эти произведения несхожи по самой манере письма.

Ярка, стремительная стилистика повести «Хлеб поровну», она сродни сочным краскам юга, здесь разногласия окраинного бакинского дома переплетается с глумом послевоенной барахолки, и все это как бы связано своеобразным рефреном-мотивом воды — сверкающей, падающей, звенящей, льющейся: «Во-да,— отвечал старик, растягивая слово так, словно оно само по себе лилось, и было влажным, и тяжело входило в горло огромным прохладным глотком, и трудно было перевести дыхание, так прекрасно было это мысленное утоление жаж-ды».

И тут же следом другая повесть с ее беспешными ритмами, осторожным нащупыванием верного слова (писательница будто боится обидеть нечаянной жалостью своего героя — безнозого мальчика, который судьей сидит на волейбольной вышке) и неторопливым, как в замедленной съемке, разворачиванием событийной канвы. Нарочито резкими мазками написана повесть «Переход», где герои, молодые наши современники, точно знают, чего они хотят, и даже в самых сложных ситуациях не ищут компромисса. Диалог тут большей частью короткий, отрывистый. В речах персонажей, как и пристрастие нынешним интеллектуалам, четкость позиций, хоть и с примесью иронии, вера в собственную непогрешимость. В этой неоднозначности стилистики видится мне стремление писательницы слышать жизнь как она есть.

Заключает книгу повесть «Большая Ариша». Вещь эта стоит особо. Я не знаю, в какой последовательности создавались произведения, но закономерно то, что помещена она в конце книги. Превью повести — будто ступени к «Большой Арише», в ней наглядно умение писательницы постигать диалектику души человека.

Деревенское детство и юность Ариши приучили ее к труду, привили прочные основы нравственности. Как часто мы сетуем на то, что человек (будь то в жизни или литературе), оторвавшись от родной почвы, растеряв привитые ранее нравственные устои, не находит себя в новой обстановке. И все же природы здоровые, цельные, сдвинувшись с места, не лишаются своего естества, а накапливают, вернее сказать, отбирают и в новой жизни то, что способствует поступательному движению духа. К таким натурам относится Ариша.

«Трехгорка» стала для нее, деревенской женщины, родной, и не то чтобы она уж очень полюбила ее, но дала ей внутреннюю свободу, свободу распоряжаться своей судьбой и жить по собственному разумению. Фабрика же (хотя впрямую об этом не говорится) открыла Арише секрет общения с людьми («...всем стало легко от ее смеха и весело») и не без помощи деревни, конечно, привила ей удивительное чувство слова (ее речь расцвечена присказками, пословицами, поговорками) и особый дар одушевления всякой неживой вещи (впрочем, возможно, это свойство и врожденное). Ощущение причастности ко всему, что происходит в жизни, не покидает ее. Отсюда осознание значительности собственного бытия, своей нужности людям.

Страницы жизни Ариши читаются Алькой — постепено взрослеющей ее внучкой (от имени которой и ведется повествование). Трудно сказать, насколько автобиографична эта повесть, да и вряд ли стоит гадать, но вот письма, написанные Аришей во время войны, поражают своей жестокой реальностью. За ними тяжелый военный быт и обнаженность сердца страдающего, рвущегося помочь близким.

Любопытен сам процесс осмысления Алькой (а следовательно и автором) жизни Ариши, окружающего мира и своего места в этом мире. Первая встреча Альки с Москвой и со своей бабушкой принесла слезное разочарование: вместо обещанной большой и красивой бабушки — горбатая старуха, приволакивающая ногу... К концу повести голос рассказчицы обретает все большую глубину. Через постижение образа своей героини к мысли о бесконечности мира и единства всего живого на земле — таков этот путь.

В издательской аннотации сказано, что сборник из пяти повестей — первая книга прозы поэта Аллы Ахундовой. Писалась она долго. Похоже, что жизнь рождала некоторые сюжеты раньше, чем рука взяла перо.

Г. Койранская.



АЛЕКСАНДР ЛИВАНОВ. *Солнце на полдень.* Лирическая повесть. М. «Советский писатель». 1984. 416 стр.

Не с легким чувством читается эта книга, ибо повествует о судьбе сироты, заставляет задуматься о сложностях взаимоотношений детей и взрослых, о воспитании.

Детский дом встречает маленького Сашу, героя повести, после того как умирает его мать. В душе мальчика — безрадостные воспоминания, в глазах — печальная сцена: отец — философствующий пьяница, несостоявшийся сельский писатель, промышляющий хлеб угольным извозом, хромящийся на деревянной ноге (инвалид первой мировой) за тощей лошадкой, — разговаривает с мертвой матерью, лежащей в телеге. Нежные слова говорит отец, добрые слова. Как же так? Ведь именно он разрушил семью и виновен в смерти матери.

Позднее Саша поймет, что трагедия отца — абстрактное желание хорошей жизни

при полной пассивности, при полном отсутствии нравственной основы, без которой душа оказывается попросту пуста. Даже если эту пустоту попытаться заполнить размышлениями — сдобренной водкой философией отщепенства, порождающей ненависть к труду.

Детское сознание бывает восприимчиво к этой философии. И с ней необходимо бороться. Об этом думают, этим живут воспитатели херсонского детского дома № 40, описываемого в повести «Солнце на полдень». В самом названии повести как бы вскрывается ее сущность — время перелома в жизни героев, переоценки ценностей, время преодоления. Очень точно определил его С. Есенин, строки которого уместно здесь привести: «Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране, и простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине». Разберемся и простим, чтобы обратить силы и знания на пользу большой жизни.

Самое действенное средство воспитания детской души есть сознательный труд. И автор не скупится на краски в описании работы детдомовцев в цехах завода, на полях подшефного колхоза. Читатель видит, как постепенно, порой нелегко складываются характеры маленьких героев повести, с помощью взрослых обретающих дело, которому предстоит служить, избирающих свой путь.

Странно, однако, что не очень ясен образ главного воспитателя — умного, проникательного директора детского дома Лемана. Он часто появляется на страницах повести, но так и не раскрыт до конца. Настораживает его обмолвка насчет того, что воспитывать детей нужно подале от семьи, тогда они станут новыми людьми. Что это значит? Ведь детдом — явление чрезвычайное. И для все понимающего Лемана, каким он выведен в повести, подобная элементарная мысль должна, казалось бы, быть очевидной. Но автор пошел дальше, не разобравшись.

Повесть названа лирической. Это действительно так и это, по-моему, правильно. Для выражения той высокой идеи, ради которой писалась книга, — воспитания юных граждан — мягкий, лирический тон выбран, думается, верно.

Ю. Трифонов.



ПОЭЗИЯ ПЛЕЯДЫ. М. «Радуга». 1984. 828 стр.

XVI век счастливый для французской поэзии, может быть, самый счастливый. Никогда позже, даже в моменты расцвета, которых было немало, французская поэзия не бывала столь богатой, щедрой, безыскусственной, воздушной, непосредственной, патетичной, веселой и грустной одновременно, способной без фальши и резонерства говорить о высоких и вечных материях, искренне видеть в мифах не аллегорико, а утро мира, воспевать, не ведая цинизма, все прелести земной любви. Тогда поэзия так верила в себя, в свое призвание, в свою юность и силу своего слова, в свое право

говорить на равных с королями, что эта вера могла сдвинуть горы, преодолеть инерцию времени. Плейада, поэтический венец французского Ренессанса,—итог и начало.

Во всем этом можно убедиться, взяв в руки изданный «Радугой» том двуязычной антологии «Поэзия Плейады». Перед нами образчик прежде всего полиграфического искусства: продуманный макет, чудесная офсетная бумага, с любовью подобранные иллюстрации, отпечатанные на нежно-голубом фоне: портреты поэтов, фотографии их родных мест, автографы.

В предисловии, написанном с энтузиазмом подлинного исследователя поэзии, И. Подгаецкая, опираясь на французскую и отечественную традиции изучения Плейады (в частности, на работу Ю. Виппера «Поэзия Плейады»), рассказывает о том, как группа молодых поэтов, объединившихся вокруг своего учителя-гуманиста Жана Дора для чтения греческих и латинских авторов, почувствовала себя в силах бросить вызов всей современной поэзии и предложить ей новый, отнюдь не легкий путь.

Как это нередко бывает в истории литературы, новое стало не только шагом вперед, но и — минуя вчерашний день — обращением назад, к забытым классическим образцам, в данном случае к античной поэзии. Несмотря на различие талантов, политических взглядов и темпераментов, поэтов Плейады объединяла мысль о том, что занятие поэзией — дело нешутливое, оно требует от поэта напряжения всех его душевных сил, всей его жизни. В отличие от придворных поэтов, небрежно и ловко слагавших стихотворные штучки на случай, поэты Плейады поставили перед собой грандиозную цель достичь величия древних.

Именно с этой целью автор бунтарского манифеста Дю Белле, который по силе дарования не многим уступал признанному главе созвездия, «божественному Ронсару», предложил программу воспитания нового поэта, энциклопедически образованной личности.

Этап ученых поисков и подражания древним стал только первым этапом поэтических опытов Плейады. На смену высокому стилю ранних од Ронсара приходит низкий стиль его же «Книжки шалостей», в которой развенчивается культ великих поэтов и платонической любви, вводится живая струя анакреонической лирики, что через столетия отзовется в стихах Гёте и Пушкина.

Ронсар, прелестный искуситель, призывает не терять даром времени: жизнь мимолетна, старость страшна «Живите, верьте мне, ловите каждый час» — обращается он к юной гордячке, — роз жизни тотчас же срывают цвет мгновенный». Но призы зы насладиться жизнью звучали бы одиозно, если бы их не развивали свободолюбивые мотивы. Плейада впервые в европейской поэзии ввела противопоставление умерщвляющей душу жизни при дворе вольной жизни вдали от власти.

Так складывается картина универсальности поэтов Плейады живой поэзии, которая, чужаясь выпренности, стремится к «народному и приятному» стилю. Ее осознанности и нюансы наши достаточно точ-

ное выражение в русских переводах целой плеяды замечательных переводчиков, которых можно было бы упрекнуть лишь в излишней гладкости стиха, не всегда соответствующей некоторой юношеской неуклюжести становящегося языка французского Ренессанса, этой еще не совсем остывшей языковой лавы.

Как специалисты, так и широкая публика несомненно оценят полноту антологии, представившей в таком масштабе, в каком этого не было и в самой Франции, двадцать одного поэта — от Ронсара до «малых» творцов созвездия, творческие принципы которого настолько вошли в плоть европейской культуры, что стали критерием подлинной поэзии вплоть до наших дней.

Вик. Ерофеев.

★

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА В ЗАПАДНОМ ИСКУССТВЕ XX ВЕКА. М. «Наука». 1984. 216 стр.

Рецензируемый сборник — одна из книг, выпущенных в последнее время сектором ВНИИ искусствознания, занимающимся современным искусством капиталистических стран. — это первая часть задуманного исследования, которое предполагается довести до наших дней.

Как явствует из названия, сборник посвящен главной проблеме современного искусства — проблеме человеческой личности, приобретающей в буржуазном обществе все более сложный и противоречивый характер. Эта сквозная тема объединяет все пять статей, превращая сборник в цельную коллективную монографию. Нельзя сказать, что книга читается легко: каждая статья весьма концентрирована по мысли, насыщена разнообразным материалом и плотно написана. Чтение превращается в сложный, но увлекательный труд. Статья за статьей, дополняя друг друга, постепенно и всесторонне раскрывают основную тему сборника, привнося в диалог с читателем все новые убедительные аргументы.

В статье Н. А. Дмитриевой «Опыты самопознания» на широком фоне художественной жизни начала XX века исследуются истоки многих современных течений западного искусства и анализируются глубинные перемены в стилистике пластических (и не только пластических) искусств XX столетия. Другие статьи — С. П. Батраковой «Художник переходной эпохи (Сезанн, Рильке)», Б. И. Зингермана «Пикассо, Чаплин, Брехт, Хемингуэй», В. Ю. Силюнаса «Люди и страсти», С. К. Бушуевой «Проблема личности в италийском искусстве 1920—1930-х годов (Петролин, Звево, Моранди)» — рассматривают эти художественные проблемы на примере творчества отдельных мастеров самых разных видов искусств. Казалось бы, творчество таких всемирно известных художников, как Модильяни и Аполинер, Сезанн и Рильке, Пикассо и Чаплин, Брехт и Хемингуэй, Лорка и Дали, Петролин и Моранди, уже достаточно глубоко исследовано. Однако в сопоставлении друг с

другом эти мастера предстают в новом, свете, во многом дополняя наши сведения о художественных процессах в целом. Исследование ведется с позиций широкого историзма, проблема рассматривается в постоянном движении и изменении от десятилетия к десятилетию. В этом смысле сборник оказывается не только искусствоведческим исследованием, но и историческим жизнеописанием драматических судеб современных нам поколений.

Образ человека в западном искусстве первой трети XX столетия рассматривается авторами в тесной связи с личностью художника. Самое же важное, что сборник представляет собой одну из первых в советском искусствознании попыток комплексного исследования западноевропейского искусства. Своего рода истончение (по удачному выражению одного из авторов) непроницаемых границ между отдельными видами искусства, характерное для XX века, неминуемо влечет за собой и размытие жестких рамок традиционных областей искусства.

Авторы сборника выступают как искусствоведы широкого профиля, владеющие методикой художественного анализа не только в избранной ими сфере, тонко чувствующие искусство в целом. Отсутствие цеховой ограниченности по отношению к смежным искусствам дает исследователям ту непосредственность восприятия, свежесть оценок и свободу художественных ассоциаций, которые отличают статьи сборника. В сравнении, в непривычных и смелых ракурсах начинают высветиваться такие грани искусства, которые позволяют увидеть за сложными, иногда взаимно отрицающими творческими поисками гуманистическую концепцию человеческой личности, отстаиваемой прогрессивными художниками в капиталистическом обществе.

Е. Борисова.



СИНТАРО НАКАМУРА. Японцы и русские. Из истории контактов. Перевод с японского с сокращениями. М. «Прогресс». 1983. 303 стр.

Синтаро Накамура (1911—1977) начал свою деятельность учителем (в 1933 году его уволили как красного), затем неоднократно менял работу, мечтая стать писателем, а после войны занялся литературой и историческими исследованиями. Он автор многочисленных публикаций об истории Японии и Китая, активно сотрудничал в обществе «Япония — СССР», регулярно печатал в журнале общества статьи о японо-русских культурных контактах. После смерти С. Накамуры его старший сын издал работы отца отдельной книгой. В послесловии к переводу ее на русский язык Синдзю Накамура указывает, что его отца прежде всего интересовали личностные, психологические аспекты отношений русских и японцев, ему хотелось показать как представители этих народов стремились друг к другу, невзирая на межгосударственные и религиозные противоречия. Не контакты

государств, а контакты людей — вот что прежде всего привлекало внимание автора. Книга написана увлекательно, живо, полна подробностей и фактов. Это не учебник, не научная монография, но и не художественное сочинение. Это строго документированная работа, которая хотя и не является исчерпывающей и не лишена ряда погрешностей, но подробно и правильно освещает главные вехи общения двух народов с XVII столетия и до начала XX века.

Говоря о продвижении русских в Сибирь и на Дальний Восток, С. Накамура подчеркивает, что инициатором заселения восточных земель было не царское правительство (во всяком случае, до середины XIX столетия), а простой народ, бежавший в глубинку от произвола помещиков в поисках лучшей жизни. Дойдя до Тихого океана, русские познакомились с японцами — в основном с моряками, терпевшими кораблекрушение которым оказывали помощь; некоторые из них даже попадали в столицу так, в 1702 году Петр I принял одного из этих моряков — возможно, первого японца.

В книге излагаются и многие другие (часто малоизвестные) факты русско-японских контактов. С. Накамура, в частности, рассказывает о миссиях Н. П. Резанова и Е. В. Путятина в Японию, полном драматических событий плавании капитана В. М. Голловина и т. д. Пишущему эти строки, врачу по профессии, небезынтересно было, к примеру, узнать, что первую обстоятельную монографию о русских, выпущенную в Японии в 1783 году, создал медик. Книга называлась «Размышления о красноволосях Эдзо», ее автор Кудо Хэйскэ. Или такая деталь. Один из японских моряков, попавший в шторм, был спасен русскими и в 1813 году отправлен на родину. Там он опубликовал «Заметки о дрейфе у берегов России», а также первым привез в Японию изготовленную в Охотске противооспенную вакцину.

Примеры, приведенные в книге, несмотря на их определенную фрагментарность, складываются в довольно полную картину контактов двух народов. Правда, их связь С. Накамура освещает несколько непропорционально (возможно, если бы книга была завершена автором, этого недостатка удалось бы избежать): он больше пишет о японцах, что-то узнававших о русских, и меньше о русских, побывавших в Японии. С другой стороны ряд официозных, так сказать, эпизодов можно было бы, думается, освещать не столь обстоятельно (например, пребывание в Японии будущего царя Николая II). А вот о том, что думали о Японии передовые представители русской культуры, хотелось бы узнать подробнее. В 1889 году, скажем, Японию посетил врач-путешественник А. В. Елисеев. По возвращении на родину он издал несколько книг о Японии, пользовавшихся в свое время большой популярностью. В одной из них Елисеев, в частности писал, что «из всех иностранцев вообще многочисленных в Японии, русские пользуются наибольшей симпатией местного населения, особенно среди низких классов народа, чуждого политиканства». Но о Елисееве и о многих других русских, посещавших Япо-

нию и потом знакомивших русских читателей с этой страной, автор, к сожалению, не упоминает. Так, не назван им Василий Ерошенко, слепой писатель и путешественник, которого многие японцы воспринимали как посланца революционной России, чьи произведения и поныне популярны в Стране восходящего солнца.

С. Накамура касается и острых проблем дня нынешнего, характеризуя, например, реваншистскую пропаганду реакционных кругов Японии, требующих возврата так называемых северных территорий. Здесь автор проявил определенную независимость суждений и как объективный исследователь строго придерживался подлинных исторических фактов и материалов. Он осветил основные вехи освоения Курил и Сахалина, убедительно показав, что именно русские были первооткрывателями и жителями этих островов, а Япония много десятилетий и не подозревала об их существовании, тем более что до середины XIX века она, как известно, придерживалась политики строжайшей самоизоляции от внешнего мира.

Искренняя, объективная книга С. Накамуры будет не только с интересом встречена читателями, но, без сомнения, послужит и делу лучшего взаимопонимания двух соседних народов.

Михаил Буянов,
кандидат медицинских наук.



ПАУЛЬ ВЕРНЕР ЛАНГЕ. Великий скиталец. Жизнь Христофора Колумба. Перевод с немецкого. М. «Мысль». 1984. 224 стр.

Колонизаторы существовали задолго до испанских конкистадоров. Так же как и человеческие свойства, концентрированно выразившиеся в завоевателях эпохи великих географических открытий: неуемная энергия, любознательность на грани риска, тщеславие, алчность и жестокость...

«В глубине залива был остров, полный диких людей. Более многочисленны были женщины с телями, покрытыми шерстью... Трех женщин мы схватили, но они, кусаясь и царапаясь, не захотели следовать за ведшими их. Убив их, мы сняли с них шкуры и привезли в Карфаген». Этот текст, описывающий путешествие к берегам Западной Африки в VI столетии до нашей эры, был высечен на каменной плите, найденной в Карфагене. По счастью, упомянутые здесь «женщины» были самками горилл. Но поход античных мореплавателей предвещал другие походы, во время которых перед просвещенными европейцами уже не стоял вопрос, кого они встречают на новых землях.

Только на Кубе за полвека хозяйничанья европейцев было уничтожено 200 тысяч индейцев таино. Примерно за то же время полностью исчезло с лица земли коренное население Эспаньолы (так назывался остров Гаити) предполагаемой численностью около трех миллионов.

В своей книге о Христофоре Колумбе, одном из самых выдающихся людей той эпохи, П. В. Ланге приводит рассказ оче-

видца про то, как казнили индейского вождя. «Едва его привязали к столбу костра, как один монах-францисканец взялся рассказывать ему о нашем боге и нашей вере». Перед несчастным язычником, таким образом, впервые в жизни открылась возможность обрести истинную веру и вечное блаженство в загробном мире. Вождь оказался мудрым человеком. Он спросил, где будут обитать души его мучителей, и предпочел не встречаться с ними, отправиться в ад.

Автор книги не пытается изобразить своего героя и его сподвижников — одними только черными красками. С пытливецью историка он вглядывается в бурную эпоху, столь богатую начинаниями, породившую не только авантюризм и культ золотого мешка, но и явления высочайшего духа, исследует политическую обстановку в Испании во второй половине XV века, восстанавливает биографические факты и личные черты, которые позволили Колумбу возглавить грандиозное предприятие. С точностью профессионального моряка он описывает корабли, снаряжение экспедиции, карты и навигационные инструменты того времени, изображает штормы в Атлантике и раскрывает суть гениального заблуждения великого морехода. Широкое использование в книге дневников Колумба и записок его современников дает читателю возможность проникнуться духом эпохи и узнать удивительные подробности. Вот о чем свидетельствует, например, Фернандо, сын Колумба, мальчиком принимавший участие в одном из плаваний: «Корабельные сухари от жары и влажности так кишели червями, что, бог тому свидетель, я видел многих, которые дожидались темноты, чтобы съесть сухарное крошево, не видя червей». Немногие добровольно пускались через океан — одних гнала нужда, другие прибывали на корабли прямо из заточения и только в море получали возможность снять с себя кандалы.

«Сейчас, видимо, не стоит сожалеть, что на Эспаньоле пролилась кроме индейской и испанская кровь», — пишет П. В. Ланге, рассказывая, с какой жестокостью подавлял Адмирал Моря-Океана (титул, дарованный Колумбу испанскими монархами) не только сопротивление индейцев, но и мятежи своих соотечественников. С этими словами трудно согласиться. Большинство из соплавателей Колумба были такими же невольными жертвами колонизации, как и местные жители. Об этом действительно стоит пожалеть и, во всяком случае, над этим фактом поразмыслить, ибо он приоткрывает трагический закон, общий для многих так называемых великих деяний прошлого.

Несите бремя белых —
Восставьте мир войной,
Насытите самый голод,
Покончите с чумой,
Когда ж стремлений ваших
Приблизится конец,
Ваш тяжкий труд разрушит
Лентяй или глупец.

В этих парадоксальных строках, как бы переворачивающих с ног на голову привычные нам представления о колонизализме, Р. Киплинг подчеркивает коварную мно-

гозначность людских поступков. Под нарочито вызывающей формой высказывания (строки взяты из стихотворения «Бремя белых») таится очень человечная, в сущности, мысль: настоящие победы достигаются не за счет чужих жертв, а личным жертвенным подвигом, они должны способствовать жизни, а не разрушать ее.

Может, как раз такой определенности, тенденциозности суждений не хватило П. В. Ланге, чтобы до конца выполнить поставленную перед собой задачу: через живой портретный облик великого человека раскрыть смысл его свершений. И все-таки книга заставляет задуматься каж-

дого, кто еще не потерял надежду увидеть человечество милосердным. «На что способен человек в определенных общественных условиях, было продемонстрировано не в нашем столетии, а значительно раньше», — назоминает автор. Правда о заблуждениях прошлого нужна, чтобы понять жизнь, слабая и беззащитная жизнь, которая во все века безжалостно истреблялась и оказалась наконец под угрозой полного исчезновения, — вот что составляет в наши дни главную заботу человека и является мерой его подлинного величия.

С. Яковлев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

А. Алдан-Семенов. Гроза над Россией. Повесть о М. Фрунзе. («Пламенные революционеры») 414 стр. Цена 1 р. 40 к.

Война. Народ. Победа 1941—1945. Статьи

Очерки. Воспоминания. 255 стр. Цена 95 к.

С. Гуськов. Эхо бесшумных боев Художественно-документальная повесть 208 стр. Цена 50 к.

Ю. Поморин, Р. Юнге, Г. Биманн. Тайные каналы. По следам нацистской мафии. Перевод с немецкого. 143 стр. Цена 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Алексеев. Сто рассказов о войне. 223 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Гончарова. Еврипид. («Жизнь замечательных людей») 271 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Липатов. И это все о нем. Роман 448 стр. Цена 1 р.

Д. Свифт. Путешествия Лемюэля Гулливера. Перевод с английского. 287 стр. Цена 70 к.

«РАДУГА»

Б. Берта. Последний день лета. Рассказы. Перевод с венгерского. 256 стр. Цена 2 р.

И. Кальвино. Тропа научных гнезд. Несуществующий рыцарь Раздвоенный виконт. Барон на дереве. Романы. Облако смога

Повесть. Путь в штаб Рассказ. Перевод с итальянского 493 стр. Цена 3 р. 80 к.

К. Рифберг. Будет дождь. Роман. Рассказы. Перевод с датского 238 стр. Цена 1 р. 80 к.

М. Юрсенар. Воспоминания Адриана Философский камень. Романы Перевод с французского 402 стр. Цена 3 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Домбровский. Неистовый сын Трира. Повесть 302 стр. Цена 60 к.

И. Золотусский. По следам Гоголя Очерк. 191 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Катаев. Велет парус одинокий. Повесть. 272 стр. Цена 65 к.

В. Ян. Никита и Минитка Исторический рассказ. 64 стр. Цена 10 к.

«ИСКУССТВО»

Я. Варшавский. Если фильм талантлив. 160 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Воронов. Советская монументальная скульптура. 1960—1980. 398 стр. Цена 3 р. 20 к.

Ю. Клепинов. Пацаны. Киносценарий. 78 стр. Цена 45 к.

Б. Петкер. Исповедь актера 92 стр. Цена 25 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Алимжанов. Дорога людей. Роман. 255 стр. Цена 75 к.

А. Вознесенский. Прорабы духа 495 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Стреляный. В гостях у матери Очерки. 352 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. За миллиард лет до конца света. Повести. 415 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Ю. Козлов. Новобранцы Повести. 287 стр. Цена 1 р. 30 к.

Л. Медведникова. Лестница в скале Рассказы, повести 351 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Межиоров. Тысяча мелочей. («Библиотека поэзии «Россия») 399 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Санги. Путешествие в стойбище Лунво. Романы, повести, рассказы, очерки, легенды. 359 стр. Цена 2 р. 40 к.

«СОВРЕМЕННИК»

Антология осетинской поэзии. Переводы. Составители Х. У. Алберты. А. Кодзаев, С. Хугаев Орджоникидзе. «Ир». 640 стр. Цена 2 р. 90 к.

В. Вересаев. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. Предисловие Д. Урнова, В. Саятанова. «Московский рабочий». 703 стр. Цена 3 р. 10 к.

Звезды поэзии. Перевод с фарси. Составление и предисловие И. Врагинского. Душанбе. «Ирфон» 516 стр. Цена 2 р. 50 к.

Б. Корнилов. Поэмы. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 319 стр. Цена 2 р.

Д. Стурца. Судьба. Эпизоды жизни Николая Вараташвили. Тбилиси. «Мерани». 176 стр. Цена 65 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращается в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 24.01.85 г. Подписано к печати 18.03.85 г. А 10420.

Формат бумаги: 70×108^{1/16}. Высокая печать Объем 18 п. л. (25,2 усл.-печ. л.) 29,02 уч.-изд. л.

Тираж 430.000 экз. (1-й завод 1 — 200.000 экз.). Зак. 370.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» Москва К-6 Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1985, № 4, 1—272.